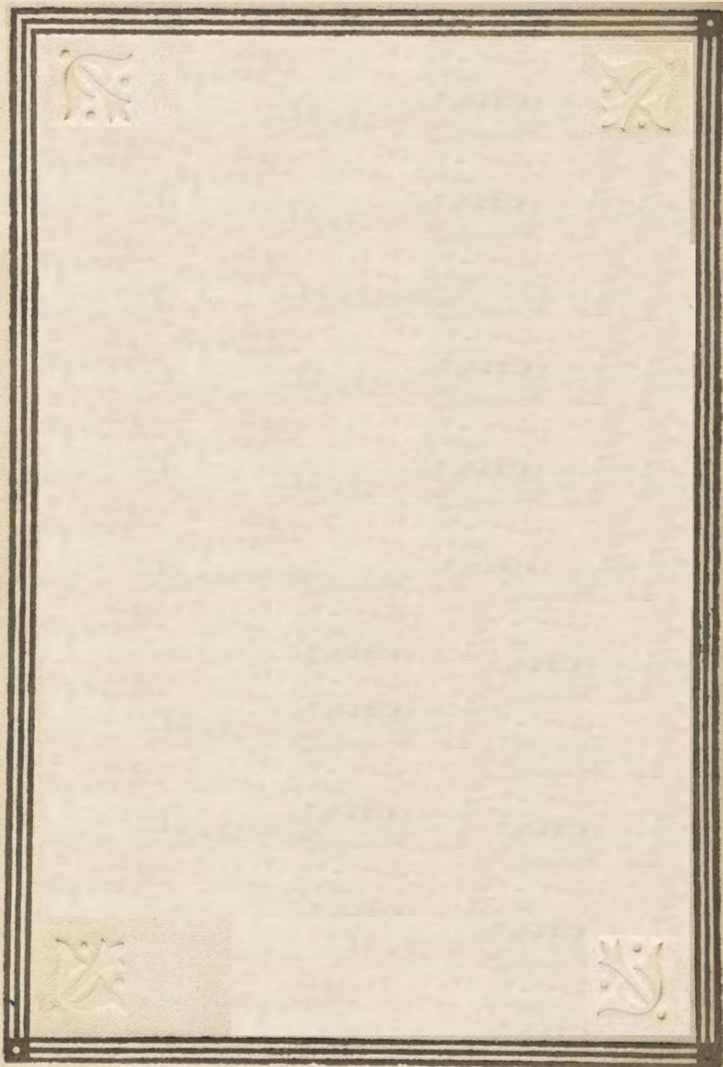


ДЕНИ
ДИДРО
III

ACADEMIA





ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ДЕНИ ДИДРО

(1713 — 1784)

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в десяти томах

Под общей редакцией

И. К. ЛУППОЛА

А С А Д Е М И А

Москва — Ленинград

Д Е Н И Д И Д Р О

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ III

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ

Вступительная статья

А. Ф. Пващенко

Перевод Е. Б. и Н. П. Соболевского

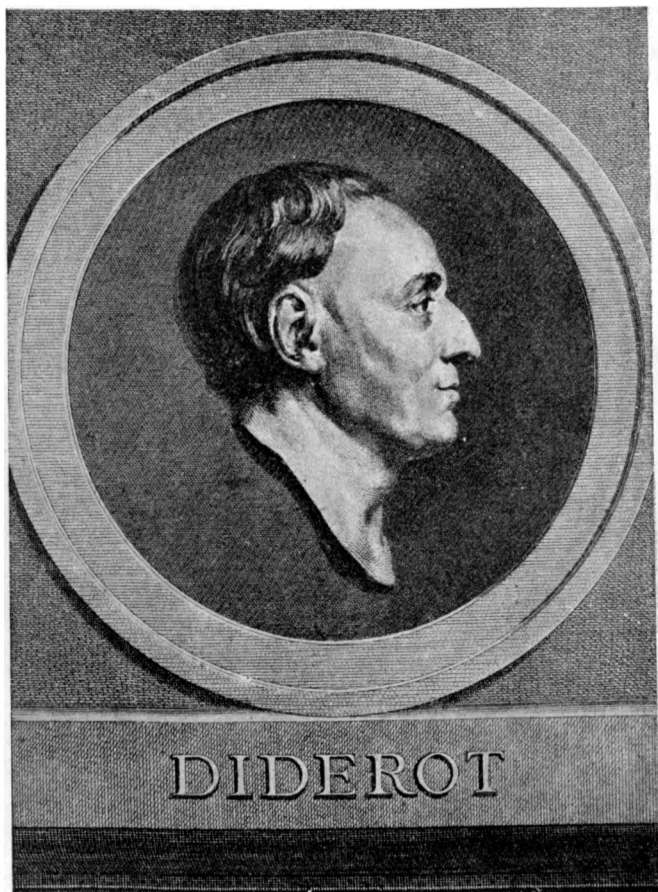
Ред. замечания

А С А Д Е М І А

1937

DENIS DIDEROT
OEUVRES CHOISIES

Супер-обложка и переплет
Б. В. Шварца



Дени Дидро
С гравюры О. де-Сент-Обена по рис. Греза

Реалистические повести Дидро

На истории литературы французского просвещения можно заметить сильные следы влияния английского материализма. Всю первую половину века из Англии идет усиленный «экспорт» философских и государственно-правовых идей. «Не подлежит сомнению, — писал Энгельс, — что Бекон, Гоббс и Локк были отцами той блестящей школы французских материалистов, которые... делают XVIII век преимущественно французским веком»*.

От Локка вели две дороги: одна — в тупик субъективного идеализма (солипсизма), другая — к последовательному материализму. «И Беркли и Дидро вышли из Локка» (Ленин).

Дидро сумел, отталкиваясь от Локка, преодолеть непоследовательность его гносеологической концепции. Признание за ощущением единственного источника нашего познания, первичного акта его; признание внешнего опыта человека объективным критерием истинности наших представлений — характеризует последовательно-сенсуалистические позиции Дидро в теории познания, его материалистический монизм.

Высокий уровень мировоззрения обеспечил наиболее глубокое проникновение писателя в объективные связи

* Ф. Энгельс, «Анти-Дюринг», Соцэкгиз, 1931, стр. 371.

окружающей действительности, максимально возможный охват явлений жизни в их диалектической текучести («Племянник Рамо»), в типической характерности явлений («Жак-фаталист»), в их идейно-политической насыщенности («Монахиня»).

Но не только по линии философской шло влияние Англии, уже проделавшей свою буржуазную революцию. Стерн и Ричардсон становятся кумирами французского читающего общества. Многотомные романы последнего открывали перед читателем целый мир; в накаленной атмосфере французской общественной жизни эти романы резонировали со страстью и резкостью, даже несвойственной им.

Дидро чувствовал всю важность того нового, что открывали и несли с собой эти романы. Он восторженно приемлет автора «Грандисона». В год смерти Ричардсона (1761) Дидро откликается на его кончину статьей, полной благодарности и преклонения перед английским романистом. Статья важна и интересна потому, что в ней нашли место литературно-теоретические взгляды, как раз в это время образно воплощенные в «Монахине».

Сопоставляя исторические события, даже самые достоверные, с романами Ричардсона, Дидро отмечает, что первые наполнены вымыслами, тогда как вторые полны истины. История берет своим объектом изображение нескольких индивидов. «А ты изображаешь человеческий род, — говорит Дидро, обращаясь к Ричардсону. — Все, что ты приписываешь человеку, он говорил и делал»...

И наконец, заключительный вывод в рассуждении: «Я осмелюсь сказать, что история бывает похожа на дурной роман, а роман в том виде, как ты его создал, есть хорошая история».

Эти положения знаменательны. Правдивые, достоверные истории все же полны вымыслов потому, что в них много случайного, «пены» явлений и событий. В этом плане изображение жизни нескольких индивидов далеко от истины. У Ричардсона романы полны истины, несмотря на вымысел художника, потому что он берет «человеческий

род», а в этом родовом — индивидуальное. Истина достигается образно-художественным воплощением типически характерного в человеческом роде.

Так вымысел писателя становится «историчнее» самой истории.

Заметим тут же, что способность искусства постигать «человеческий род» в его существенных проявлениях противопоставляется не случайно эмпирической правде жизни. С одной стороны, Дидро призывает художников идти на улицу, в живую жизнь, к толпе, с другой — он возвеличивает театр за то, что он на место дисгармонии и хаоса улицы выдвигает гармонизованное, приведенное в соответствие с идеалами зрелище.

Эмпирическая жизнь буржуа, жизнь эгоиста, стяжателя не укладывалась в рамки идеализованного мира — «царства разума». Типизация оборачивалась здесь известной идеализацией и гармонизацией представителей «третьего сословия». Жизнь буржуа, как она есть, не могла служить образцом гражданственности. Здесь должен был выступить буржуа — член сословия, гражданин, представитель «человеческого рода».

Дидро не считает и растянутость романов Ричардсона пороком. Многосложны перипетии жизни, и произведение должно передать ее широкое дыхание, — говорит автор статьи. Фон действия является немаловажным средством к наиболее полному изображению характера героя.

Страсти раскрываются в реакциях персонажей на явления внешнего мира: они как бы проявляют человеческий характер, «вызывают наружу страсти», по выражению Дидро. Среда выступает активным творческим фактором в ее воздействии на героя.

Верный своей боевой демократической натуре, он не забывает подчеркнуть, что «в романе Ричардсона, как и на свете, люди делятся на два класса — на тех, кто блаженствует, и на тех, кто страдает». Это последнее представляется глазам Дидро наиболее ценным.

Вспоминая о том впечатлении, которое он испытал от чтения романов Ричардсона, Дидро говорит, что они на-

учили его ненавидеть порок и любить добродетель, стать над заботами о личном благополучии во имя пламенной любви ко всем обиженным и угнетенным.

Дидро поднимает идейный комплекс наследства Ричардсона. Он видит в нем не только то, что есть, но и то, что он хочет в нем видеть. Подтверждение этому можно видеть на анализе «Монахини», антирелигиозного произведения, написанного под сильным влиянием Ричардсона, не посягавшего, однако, на религиозно-церковный кодекс.

Ко времени написания «Монахини» (1761) Дидро углубляет свои взгляды на сущность и задачи искусства. 60-е годы застают его сложившимся борцом и мыслителем. Период философских исканий позади, он становится на путь атеизма. «Монахиня», являющаяся ярким документом воинствующей антицерковности, как бы подводит итоги целому этапу страстной борьбы в области религиозно-теологических проблем.

«Монахиня» не отличается богатством и сложностью сюжетного построения. Весь интерес сосредоточен на главном действующем лице — Сюзанне; все прочие обрисованы лишь в той мере, в какой они попадают в орбиту внимания героини.

Тематика «Монахини» характеризуется выдвиганием на первый план социальных мотивов. Сюзанна Симонен живет в семье, претерпевая всевозможные нравственные лишения. Вся семья не может простить ей ее умственного и физического превосходства, которое бросается в глаза посторонним. Наконец она открывает причину антипатии к ней семьи. Родители обеспечили приданым старших дочерей, на долю Сюзанны не остается ничего. Единственный путь — монастырь. Мать открывает ей, что она незаконная дочь ее, а поэтому, в глазах общества, отверженное существо. Но Сюзанна, молодая, еще не заглянувшая в жизнь девушка, протестует против желания заживо похоронить ее в монастырской келье. Такова стремительная, сжатая, остро намеченная писателем экспозитивная площадка для развертывания конфликта. Неравная борьба между одинокой Сюзанной и единым фронтом семьи и обще-

ства, желающими изолировать ее, и составляет содержание романа.

То, что монастырь является единственным фоном для событий, изображенных в романе, ведет к его сюжетной собранности; к большой конденсированности действия. Перипетии событий в монастыре являются основным планом в сюжетной схеме. Второй план (внешнее, мир, общество) намечен, так сказать, пунктирными линиями. Внешний мир проступает в романе отдельными разбросанными точками (семья Сюзанны, адвокат Манури, образы духовников, Париж в финале). Несмотря на то, что второй сюжетный план не развернут, он ощущается как постоянная параллель первому. Все движение конфликта строится на противопоставлении внешнего мира явлениям монастырской жизни.

Но есть в романе и третий план, с которым соотносятся два первых. Это природа, ее установления, ее законы. Непрестанное сопоставление двух миров — общества и монастыря — с естественными, извечно действующими законами природы служит в романе к разоблачению этих обоих миров.

Эта композиционная сторона произведения логически вытекает из социально-этических взглядов автора. В мире действуют три ряда законов, утверждает Дидро. Законы религиозные, гражданские и законы природы. Первый ряд законов — законы религии — подлежат безусловному устранению, ибо они противоречат основным установлениям человеческого общежития и самой природе человека; законы гражданские (социально-политический строй) испорчены и нуждаются в исправлении. Они должны быть исправлены в соответствии с законами природы — истинными законами, которые раскрывают подлинную суть человека и направляют его во всех его житейских делах и поступках.

Тройственный «кодекс законов» тезисом ложится в основу повествования. Пробуя весь строй монастырской жизни на камне законов природы, автор подвергает бичеванию эту жизнь, как выражение религиозных законов, как жизнь, подлежащую уничтожению.

Вся ярость Дидро обрушивается на монастыри. Монастырь — не мирная обитель отчуждающих себя божеству, а вынужденное общежитие выброшенных за борт жизни людей. Монастырь похищает у человека самое драгоценное — его свободу, его самостоятельность, его личную волю в утверждении своей жизни. Если первоосновой существования человека, — утверждает Дидро, — является стремление к счастью, если удовольствие представляется той целью, которая в конце концов определяет все мотивы поведения, не ясна ли враждебная, растлевающая человека роль монастырского пленения?

Борьба за свободную личность — одно из программных требований революционной французской буржуазии — составляет идейный стержень повести. Образ Сюзанны, поставленный в коллизию противоборствующих законов, приобретает поэтому большую агитационную остроту. Героиня становится рупором идей энциклопедистов; она раздражается тирадами в защиту естественных прав человека, против деспотизма общественного и монастырского.

Строго говоря, все герои Дидро отличаются общностью поведения. Фанатическая страстность в преследовании поставленной задачи, неуклонная последовательность, с которой они ее осуществляют, делает их мноманами.

Момент разрешения конфликта обычно ставит предел движению образа. Герой немислим вне атмосферы острых коллизий. Стихия напряженной борьбы, в которой ставится на карту существование, — истинная стихия героев Дидро. Победив, они даже не знают, что делать с этой победой; они не умеют воспользоваться ее плодами, и это набрасывает на образы ощутимый трагический оттенок. Здесь лишний раз ощущается разрыв между теоретическими послылками просветителей и жизнью в ее будничных негероических проявлениях.

Обратимся непосредственно к образу Сюзанны. «Кодекс законов» обуславливает не только композиционные особенности произведения в его целом, но он положен в основу и внутренних мотивов поведения Сюзанны. Круг, в который Сюзанна насильственно заключена, предста-

вляется для писателя как бы неким экспериментальным полем. Условия этого эксперимента: молодая, неопытная девушка, почти не знающая жизни, но томимая неопределенными чувствами перед раскрывающимся входом в жизнь, попадает в обстановку, исключаящую всякое проявление живых страстей, в изолированную коробку монастыря. Поведение человека в подобной исключительной обстановке, — вот что интересует писателя. Героиня дает протоколно-точное описание всего перенесенного ею. Каждое столкновение Сюзанны с враждебным окружением сопровождается точной регистрацией ее физического состояния. Писатель в обнаженном виде демонстрирует сенсуалистскую механику воздействия среды на человека. Гнев, страх, отчаянье — таков комплекс переживаний, которым характеризуется психологическое содержание образа девушки. Внутренняя душевная жизнь скрыта от читателя: перед ним встает лишь внешний механизм реакций, настойчиво сводимых автором к одному знаменателю — *биологическому*. Облик героини предельно биологизирован. Перемена монастырей, столкновение со средой нанизывает лишь цепь таких непосредственных, несложных эмоций, которые отсылают нас к *биологическому* примитиву, к *природе* человека.

Непримиримая вражда ко всему строю монастырской жизни, страстная жажда освобождения так мотивируется героиней: «Я с этим родилась». Эта реплика — ключ к пониманию всей образной системы и замысла произведения. Протест Сюзанны — это голос самой природы, властно заявляющей свои права на свободу и счастье. Образ девушки вырастает в символ одушевленной материи, бунтующей против оков. Законы природы не могут сосуществовать с законами фанатизма и мракобесия.

Но образ Сюзанны двупланен, он не исчерпывается ее биологической характеристикой. Дидро наделяет свою героиню острой способностью к точному самоанализу, к рассудочной ясности. Заметим, кстати, что рационалистическая ясность в трактовке образа типична для писательской манеры Дидро. Резкая очерченность образов,

их философское, рационалистское наполнение — эти особенности образной системы проходят красной нитью по всему творчеству писателя (образы Сюзанны, Рамо, Жана). Это типично в особенности для Сюзанны, которая резюмирует свои наблюдения над монастырской жизнью в духе излюбленных морально-этических положений Дидро.

Почти каждое столкновение является для героини поводом к глубокомысленным философским сентенциям. Она обличает ханжество и суеверия монахинь, дикий фанатизм и моральную развращенность их.

Биологизм идет рядом с социальной активностью героини. Разоблачительный пафос ее речений сплетается с неудержимым тяготением ее к социальному. «Я ненавижу одиночество, я ненавижу заключение», — говорит героиня. На фоне забитой и обезличенной массы монахинь Сюзанна выступает единственной живой личностью, носителем активных социальных начал. Это живое начало Дидро еще резче подчеркивает, ставя рядом с Сюзанной ее подругу Урсуду — забитую, безропотную, апатичную девушку, жертву религиозных законов. Акцент на социальных чертах в характерах своих героев, выдвижение этих черт на виднейшее место является важной особенностью революционного творчества Дидро.

Присмотримся поближе к этой второй, «социальной» стороне образа Сюзанны. Сюзанна — исключительная личность. Уже в семье она дана одинокой, благодаря своим особенностям, резко выделяющим ее из среды. «Я безусловно превосходила своих сестер приятностью ума и наружности, характером и талантами». Эта исключительность составляет источник и внутренней гордости, и страданий девушки. Она приходит в столкновение с нивелирующими стремлениями своей семьи. Яркое, индивидуальное, самобытное является диссонансом в одноцветной ячейке общества — семье. Но такой же одинокой и исключительной она проходит и по всем страницам повести. Во всех перипетиях конфликта резко освещенная фигура Сюзанны оттеняется мрачным фоном обезличенной массы ее врагов. Она окружена стеной вражды и непонимания. Исключая

несколько эпизодических фигур (настоятельница Мони и Христина, сестры Урсула и Тереза), с которыми Сюзанна входит в отношения дружбы или личной ненависти, — Сюзанна никаких точек соприкосновения с монастырем не имеет: она в нем — чужеродное тело.

Но именно эти личные связи Сюзанны и представляют интерес. В первом монастыре Сюзанна сердечно привязывается к настоятельнице Монн. Настоятельница увлекает ее пафосом своего религиозного экстаза, человечностью, чуткостью. Личность Сюзанны находит объективное признание своей значимости, ценности. Дидро показывает, как в этих условиях затухают мотивы мятежа и неповиновения у Сюзанны. Но в ее столкновениях с преемницей Мони — Христиной ее бунтарство вновь вспыхивает. Аскетизм, фанатизм, строжайшая регламентация во всем, подавление индивидуального и своевольного — вот что заставляет Сюзанну восстать. Конфликт со средой дополняется еще одним мотивом: борьбой девушки за сохранение своей индивидуальности. Подчиниться, смириться — это значит растворить свое «я» в массе обезличенного «мы», отрезать все пути к отступлению в манящую жизнь. Но Сюзанна вновь обретает покорность и смирение, как только попадает в другой монастырь. Анархические «порядки», царящие в обители, приходятся как нельзя более по душе героине. Что же значит свобода Сюзанны? Безграничная возможность в проявлении и утверждении своего «я», стремление к достижению максимального счастья и пользы для себя. Это стремление — выражение самых глубоких основ человеческой природы, ибо потеря его ведет к духовному распаду личности (Тереза, Урсула). На какой же основе объединяются и биологическая рефлексорность Сюзанны, и черты ее социальности? Могучие, всеопределяющие *законы природы* — вот их общая основа, из которой они вырастают. Художник с необыкновенной точностью схватил и прогрессивные, и регрессивные черты нового мира: его борьбу за раскрепощение личности, утверждение ее суверенности и предельный эгоцентризм, индивидуализм, присущий миру частной собственности. Дидро позволяет

здесь заглянуть в лабораторию, в которой совершается таинство рождения человека буржуазного общества. Человек этот представлен как продукт вечных естественных законов природы. Пафос утверждения новой личности идет через биологизацию ее; и эмоциональные и социальные качества личности возведены к извечным проявлениям природы. Такова Сюзанна в гармонии ее центробежных и центростремительных начал.

Обратимся к другим персонажам романа. Нагнетая длинный ряд сцен преследования и травли Сюзанны, Дидро подчеркивает, что эта жестокость совершается в искреннем убеждении необходимости ее для бога. Чем более молодой попадает монахиня в келью, тем больше шансов у нее обратиться в дикого зверя, ибо, чем моложе она, тем меньше она знает общество и жизнь, тем слабее у нее социальный иммунитет против религиозной заразы. «Счастливого слабоумия моих товаров» — вот чего страстно желает Сюзанна в моменты отчаяния. Это сближение религиозного чувства с психической аномалией, с безумием, особенно ярко раскрывается в образах настоятельниц.

Дидро наделяет их такими чертами, что каждая из них непременно какой-нибудь стороной приходит в непримиримое противоречие с формулой монастырского обета посвящения. Бедность, послушание, целомудрие обращаются в свою противоположность. У Дидро настоятельницы демонстрируют совокупность низких качеств: жестокость, вероломство, мелочную мстительность, себялюбие, жадность, — этим он показывает, в чьих руках находятся жизни заключенных женщин. Агитационно-разоблачительная функция характеров настоятельниц косвенно вскрывается в одной из защитительных речей адвоката Манури, ведшего процесс Сюзанны. «Давать обет бедности — значит обязываться клятвой быть лентяем и вором; давать обет целомудрия — значит обещать богу постоянно нарушать самый мудрый и самый важный из его законов; давать обет послушания — значит отказываться от неотъемлемого права человека — от свободы... Монастырская жизнь — удел фанатиков или лицемеров».

Несомненно, самая яркая фигура — это настоятельница Арпажонского монастыря.

Настоятельница сжигает ее противоестественная страсть к Сюзанне. Она переходит от тоски к набожности, к сумасбродству. Монастырская жизнь обращается в вакханалию. Чем больше опускается физически и умственно настоятельница, тем набожнее она становится; богохульство и ханжество в ней причудливо переплетаются. Наконец, обезумевшая, она впадает в глубочайший религиозно-мистический транс. В мистике замыкается круг распада и гибели человеческой личности. Патологическая аффектация, безумие — вот что является синонимом религиозного чувства. Поэтому и образ настоятельницы Мони (из первой части романа), впадавшей в состояние молитвенного экстаза, доходившей до невменяемости, также интерпретируется как образ аномальный, асоциальный, патологический. Если религиозное чувство не лицемерно, оно — фанатично. Фанатик или лицемер, ханжа и психопат, или ловкий мошенник и бесстыдный фокусник — других типов монастырь не знает, не может знать.

Трагизм героини в том, что страстный порыв к свободе, по существу, не находит отклика в окружающей действительности. Сюзанна не может отдать себе ясного отчета, почему, собственно, хочется ей стать свободной. Она не связывает представления о свободе ни с каким определенным видом деятельности.

Уже бежав из монастыря, с первых же шагов, Сюзанна сталкивается с попыткой насилия над ней. Она бежит, но семьи нет; отныне она должна жить, скрывая имя и прошлое, боясь быть обнаруженной и вновь заключенной в монастырь. Это еще можно истолковать как сильный выпад Дидро против общества, травящего «противозаконную» личность. Но все же бесформенность и неопределенность мечтаний Сюзанны остаются слабым звеном в реалистической цепи повествования. Дидро не перевел мечты героини в плоскость практических, положительных идеалов. Может быть, Сюзанна, деморализованная вечной боязнью, сама уйдет в монастырь? Или оборвет жизнь? Дидро мол-

чит. И это молчание — не в пользу писателя и того идеала «свободы человека», за который он ратует.

Рукой художника водит горячее сочувствие ко всем страдающим и угнетенным, им движет мечта о золотом веке, о счастливом государстве, в котором будет царствовать разум, свобода и справедливость. Трагизм художника в том, что приоткрыв завесу над лживыми собственническими основами семьи, в которой свобода и достоинство человека измеряются деньгами, он, вместе с тем, объективно вскрыл и бесперспективность существования Сюзанны, ибо единственная форма общественной реабилитации — это жизнь в семье: из нее никуда не уйдешь. Никуда вырваться человеку из этого обреченного и безысходного круга. Выхода из него не мог видеть Дидро, поэтому яркий показ отрицательных характеров перемежается с рационалистически-декларативной схемой положительного типажа в романе.

Дидро особенно красноречив и ярок в сатирическом памфлете, в отрицании. Революционно-дерзающая буржуазия обратила литературу в мощное оружие обличительной пропаганды, но для вдохновения положительными идеалами ей пришлось обратиться к архивам древнего Рима, на величайшее значение образов которого сам Дидро неоднократно указывал художникам.

«Агитационная» установка «Монахини» подчеркивается не только влетением в ткань повествования обнаженных тезисов. Она сказывается и в усиленном нагнетании мрачных картин преследований и травли. В некоторых сценах Дидро достигает драматического эффекта минимальными художественными средствами. Так, когда, например, умерла сестра Урсула — единственный друг Сюзанны, Дидро роняет в нескольких местах одну реплику героини: «И вот, я одна в этом монастыре, на всем свете»... Этот лирически-грустный мотив в обстановке вражды и травли дает почувствовать всю трагическую весомость фразы.

Пафос отрицания неразумной действительности движет Дидро. Он не обходит подводных камней, а, наоборот, с бесстрашием идет им навстречу. Писатель сам формули-

рует свой метод как метод «срывания масок и обнаружения истины» («Племянник Рамо»). Он доходит до объективной критики гнилых устоев семьи и общества, до беспощадной сатиры на излишества роскоши и паразитизм. Дидро не боится обнажать противоположности, сталкивать антагонизирующие явления в яростном конфликте, настойчиво обнажать социальные тенденции. Откуда у художника эта смелость? «Определения нравственных существ, — говорил Дидро, — всегда делаются на основании того, какими должны быть эти существа, а не на основании того, каковы они на самом деле. Люди постоянно смешивают то, что должно быть, с тем, что есть». Пламенная вера в должное — вот что является пафосом в творчестве Дидро. Сущее — нуждается или в исправлении (общество), или в беспощадном отрицании (религия). Писатель вооружается против сущего оружием должного, разумного, справедливого. Природа является источником должного и разумного. Устами природы говорит новый мир, освящающий дух отрицания, критики, бунтарства. Правда, у Дидро сказывается известная статичность образов, механичность, созерцательность. Причины этого лежат в ограниченности, недоразвитости французского материализма. Признав критерием истинности познания внешний опыт, Дидро не дошел до понимания практики как действительного фактора в процессе познания человека, до практики как критерия истины.

Углубление тематики, перенесение центра тяжести на социальные мотивы конфликтов, подход к пониманию образа как чувственного отражения бытия, философская насыщенность повествования и т. д. характеризуют возникающую революционную повесть XVIII столетия.

«Я думаю о мире, и мир представляется мне китайской тенью... я думаю о ничтожестве славы. : я думаю о ничтожестве честолюбия», — меланхолично заносил в путевой дневник принц де-Линь. Эту запись можно было бы поставить эпитафией к бытию дворянского общества в предреволюционные десятилетия. На одном полюсе ослепительная роскошь, спиритуализм, вакханалия наслажде-

ний, пресыщения и растления; на другом — вымирающие от голода массы крестьян и ремесленников. Жизнь на каждом шагу играет резкими контрастами умопомрачительного богатства и кричащей нищеты. Это — время все возрастающей неуверенности в завтрашнем дне. «Любопытное настало время: можно почти обо всем биться об заклад и за и против», — говорит мадам Дюдеван. В такой обстановке рождается «Племянник Рамо» — произведение, вышедшее из самого горнила социальных страстей и конфликтов.

15 апреля 1869 г. Маркс писал Энгельсу: «Сегодня случайно я нашел у себя дома два экземпляра «Племянник Рамо». Шлю тебе один из них. Это неподражаемое произведение доставит тебе еще раз возможность насладиться им». Позже, в «Введении» к «Анти-Дюрингу», Энгельс в качестве «высокого образца диалектики» приводит того же «Рамо». Так высоко расценивали основоположники марксизма этот острый социальный памфлет.

В живом и блестящем по форме диалоге разворачивается беседа с этим странным существом, которое Дидро рекомендует под именем племянника композитора Рамо. Метод диалога, которым в совершенстве владеет писатель, позволяет ему в небольшом по объему произведении показать собеседника под всевозможными углами зрения. Рамо защищает одну точку зрения, для того, чтобы через минуту стать на диаметрально противоположную. Образ его переменчив и текуч, словно непрерывное течение реки; он весь соткан из противоречий. Плутводство и благородство, подлость и честность, посредственность и гениальность теряют свои границы, переходя друг в друга.

Рамо — паразит, он живет на подачки от стола бездельничающих богачей. Его обязанность — развлекать и потешать своих покровителей. В понятиях Рамо — достоинство и честь мирно уживаются с рабским пресмыкательством. Писатель очень тонко вскрывает механику подобного неестественного «сожития». В момент беседы с Дидро он переживает очередное падение. Он лишился покровительства хозяина. Дидро замечает, что он, на месте Рамо,

поправил бы ошибку раскаянием перед хозяйкой. Но тут внезапный поворот на 180 градусов. В Рамо просыпается честь; он не может идти к фаворитке хозяина, «унижаться перед распутницей, молить о пощаде у ног ничтожной комедиантки, перед которой не смолкают свистки партера». Так выражается Рамо, вспомнивший, что он отпрыск дижонского аптекаря, который ни перед кем не гнул спины. Правда, это не мешает Рамо в свое время освистывать соперниц своей хозяйки и бегать к драматургам, выключившая у них роли для заведомо бездарной «комедиантки».

Уже с первых страниц Дидро обращает внимание на огромную общественную значимость фигуры Рамо. Стоит одному из Рамо появиться в обществе, и он, как лакмусовая бумажка, проявляет индивидуальность каждого. К этой яркой, экспансивной, порывистой фигуре нельзя отнестись равнодушно, ее можно приветствовать или проклинать, одобрять ее поступки или протестовать против них. Он как бы воспламеняет дремлющие инстинкты каждого, с кем приходит в соприкосновение. «Он извлекает истину, дает возможность распознавать честных людей, срывает маски с плутов».

Первая площадка, на которой скрещиваются шпаги собеседников, — это вопрос о гении, его преимуществах и обязанностях. Рамо питает «неугасимую» ненависть к гениальным людям. Гениальность — хорошая вещь, но гении, как люди, невыносимы; для них не существует понятий родства, семьи, дружбы. Гении изменяют обличье земного шара, но они бессильны изменить всеобщую, всеобщую человеческую глупость. Лучшая мудрость — у монаха Рабле: «исполнять кое-как свою обязанность, всегда хорошо отзываться о своем настоятеле и предоставить мир самому себе». Это отвечает склонностям толпы. Поэтому гениев следует уничтожать. Дидро горячо протестует против подобной антиобщественной философии. Он ставит перед Рамо характерную дилемму: предпочел ли бы он, чтобы Расин был хорошим мужем, честным купцом и никем более, или вероломным, завистливым, злым, но вместе с тем автором «Федры». Рамо становится на сторону Расина-купца.

Ведь гениальные вещи не принесли ему и двадцати тысяч франков; будь Расин оптовым торговцем или аптекарем с обширной клиентурой, он нажил бы огромное состояние, имея к своим услугам все блага мира, пирушки, игры, вина...

Дидро предлагает ему в этом вопросе стать на историческую точку зрения и расценить гений как славу нации в веках: «Подумаем о благе нашего рода». Рамо отвечает ему апологией эгоизма: «Важно то, что вы и я существовали, и чтобы мы существовали как вы и я, а там — хоть трава не расти». Рамо совершенно равнодушен ко всему общественному: он индивидуалист, партизан, устраивающий охоту на кварталы богачей Парижа. Дороги Франции кишат бродягами, выбитыми из седла жизни; алчными стаями они стремятся в Париж, как бабочки на огонь. Наилучший порядок тот, где можно пожитья, и поэтому Рамо «нет никакого дела до самого совершенного из миров, если нет там его самого». Он предпочитает «существовать и даже быть пошлым болтуном, чем вовсе не существовать».

Дидро становится на защиту «особой морали» для гения. Здесь, таким образом, мы вновь сталкиваемся с одной из главнейших особенностей его метода: акцентированием общественных начал у человека. Истинную сущность человека (гения) составляет его общественно-значимое — талант, а не личные качества его как семьянина или приятеля.

Скачок в процессе мышления Рамо — и психология мещанской посредственности и эгоизма сменяется мечтой о славе, о радости творческого труда. Гениальность могла бы дать много прекрасных вещей для всеобщего наслаждения и славу ему, и сознание собственного достоинства, и гордости за созданное, но это — мнимое сближение с точкой зрения Дидро.

Быть гениальным человеком — быть счастливым человеком — быть богатым человеком, — эти понятия равнозначны. Так расценивает Рамо гениальность, и это не его личное измышление: он — рупор, многоголосое эхо окружающего. Он отщепенец и деклассированная личность, но он не одинок. Он сам подчеркивает, что он — один из

многих и что если бы он разбогател, то вел бы точно такую же жизнь, какую ведут богачи всех сословий. «Вы не подозреваете, господин философ, что в настоящую минуту я представитель самых выдающихся людей, из числа тех, которые живут в городе и при дворе». Представитель «дна», огромной армии бездомных и нищих, переполняющих Париж, он с предельным цинизмом обнажает тайное тайных общества. Богатство, деньги, наслаждения — вот чему поклоняются богачи всех сословий.

Пораженный безграничным цинизмом Рамо, Дидро напоминает ему об отечестве, об общественном положении и обязанностях. «Защищать отечество? Пустяки! Нет никакого отечества: от одного до другого полюса я ничего не вижу, кроме тиранов и рабов», — таков ответ Рамо. А разве так уж важно занимать общественное положение? Рамо знает, что если и выбирают себе положение, то при этом руководятся соображениями о возможностях обогащения. Исполнять свои обязанности? Но ведь в обществе все этим занимаются — все «делают карьеру». Использовать влиятельных людей, изучать их капризы и вкусы и обратить их себе на пользу, — в этом секрет.

Социальному идеализму Дидро Рамо противопоставляет здравый смысл буржуа и аморализм аристократа, причудливо совпадающие во взглядах на бессмертие. Рамо не знает и вечных нравственных норм. Единственное правило — расчет, в соответствии с ним люди делаются хорошими или дурными, честными или порочными. Если бы добродетель вела к богатству, следовало бы представляться добродетельным. Так Рамо афиширует законченный аморализм. Они говорят с Дидро на разных языках, как представители разных мировоззрений. Но Рамо делается в высшей степени красноречивым, как только заходит речь о борьбе за существование. Он мошенничает, давая уроки музыки, но и мошенничество это у него теоретически оснащено. Рамо с гениальной пронизательностью обнажает «душу» эксплуататорского общества: разрыв между пороками частной жизни и лицемерием добропорядочных правил общественного поведения. Существует, — утверждает он, — так

называемый идиотизм ремесла. Государии, министры, финансисты, судьи, ремесленники — честные люди, но практика их жизни расходится с общей совестью. Идиотизм — исключения из общей совести — явление вечное. Поднять во что бы то ни стало значение своего ремесла, — в этом весь смысл. «Говорят, что честь дороже денег; но тот, у кого есть честь, не имеет денег, и я вижу, что в наше время тот, у кого есть деньги, едва ли нуждается в почете. Необходимо, поскольку возможно, иметь и честь, и деньги; это я и имею в виду, когда стараюсь поднять себя в глазах других с помощью того, что вы называете унижительными и недостойными уловками». Нет, поэтому, честных ремесл, — все они дутые. Если бы мошенники не сидели с утра до вечера в своих лавках, они бы не богатели, а значит — не были бы в почете.

Так намечается глубочайшая связь «низов» и «верхов». («Низы» показывают истинное лицо «верхов»). Рамо становится глашатаем беспощадной правды о царстве рабов и тиранов, о мире богатства и нищеты. Он приоткрывает завесу над глубокой тайной рождения буржуазного общества. Рамо мошенничеством зарабатывает деньги, значит он вор, — но он вор, который крадет у вора. Родители нынешних богачей темными путями приобретали свои богатства. Рамо, как и многие другие, будучи на содержании у наследников, помогают лишь перемещению нечестно нажитого ютцами. «В природе взаимно пожирают друг друга виды; в обществе пожирают друг друга сословия», — так формулирует он подлинное содержание жизни. Финансист, князь, обойщик, артистка, жулик, горничная, повар, шорник — все воюют один против другого, стараясь урвать в свою пользу кусок пожирней.

Каждый борется по-своему. У Рамо свои средства борьбы, свой арсенал мимических средств, долженствующих выражать собачью преданность, восторг, обожание. Особый изгиб спины, выражающий восторг, он считает своим изобретением, непревзойденным в практике жалких подражателей.

Рамо — музыкант. Он так же понимает музыку, как

человеческие души. Нежность и гнев, удовольствие и горесть попеременно вспыхивают у него на лице, в то время как он исполняет автору отрывки из всевозможных арий. Он громоздит друг на друга десятки мелодий. Когда он самозабвенно играет, подражая своим голосом то флейте, то гобою, то целому оперному оркестру, — в эти минуты до дна раскрывается душа этого человека, его гигантская способность к творческому перевоплощению, к глубочайшему проникновению в тончайшие нюансы музыкальной фразы. Он угрожает, повелевает, гневается; он то король, то раб. Он чувствует себя в музыке, как рыба в воде. Грозовая, исполосованная молниями ночь и лирика заката, стихающий щебет птиц, отчаяние обреченных на гибель и патетика любви — все подвластно Рамо-чародею. Нет ни одного состояния в природе и обществе, которые он не передал бы с гениальным проникновением в самую суть изображаемого, с потрясающей силой экспрессии и правдивости. Дидро захвачен этим бурным музыкальным темпераментом, этой игрой совершенно исключительной силы. Почему в таком случае не писать? — переспрашивает Рамо автора. Конечно же, он пытался! Ему не было еще и пятнадцати лет, как он начал грезить о завоевании мира мощью своего таланта. Зачем же дело стало? — задавал он себе вопрос. Этот вопрос он задавал себе в течение всей последующей жизни. Но — «ах, господин философ, нищета — ужасная вещь!»

Голод не ждал, и Рамо вступил на путь попрошайничества, на путь жалких, унижительных драк со своими товарищами из-за брошенной корки хлеба. В такой обстановке нет места для возвышенных мыслей и прекрасных творений. Жизнь играла Рамо как мячом, бросая его со ступеньки на ступеньку все ниже и ниже, пока он не скатился на самое дно. «Ничто не прочно в этом мире. Сегодня — на коне, а завтра — под конем. Проклятая случайность управляет нами, и управляет плохо».

Как приговор всему обществу господ и рабов, в котором все продается, звучат яркие тирады Рамо.

Ни старому, ни новому обществу не нужны таланты,

не нужна истинная поэзия. Им нужны только шуты. Отщепенец и паразит, он бросает вызов всему обществу богатых и сытых. «Я не могу назвать хорошими такие порядки, при которых не всегда имеешь, что есть. Что за дьявольское устройство! Одни сыты по горло, а другие, у которых такой же неугомонный желудок и такое же беспрерывно возобновляющееся чувство голода, не имеют, что перекусить».

«Образы «Скупого» и «Тартюфа», — писал Дидро в «Парадоксе об актёре», — списаны поэтом со всех Тоанаров и Гризелей (финансист и аббат. — А. И.) всего света: в них собраны все их наиболее яркие, общие, родовые черты». Также и Рамо, и даже еще в большей мере — образ синтетический. Изображая так своего героя, Дидро не боится обвинения в преувеличении и лжи: он идет путями большого реалистического искусства. Сливая в одно целое родовые, типические черты улицы и салона, Дидро создает образ такого широкого типического обобщения, что в нем, как в зеркале, встает Франция второй половины XVIII столетия.

«Рамо» — приговор буржуазному обществу. Во всеоружии исторической правды, Дидро противопоставляет аморализму, эгоцентризму, цинизму Рамо веру в вечные законы всеобщей справедливости, широту и историзм взглядов, признание общественной значимости человека.

В своеобразном поединке между собеседниками на стороне Рамо — логика фактов, правда жизни. Рамо говорит, что он шарлатан, жулик, паразит, но ведь он — зеркало общества. «Рамо должен быть таким, каков он есть: счастливым разбойником среди богатых разбойников, а не фанфароном добродетели». Дидро признает, что в суждениях Рамо много правды, что они многим приходят в голову, но о них не говорят. Разница между героем и большинством окружающих в том, что первый говорит о пороках откровенно, не лицемеря. Он «отрастителен не более, не менее, чем они; он был только более откровенным и более последовательным, а иногда даже и глубокомысленным в своей нравственной испорченности».

Но социально-исторический смысл произведения выходит далеко за рамки беспощадной сатиры на разложение дворянского общества. Дидро с огромным бесстрашием затронул столько вопросов, поставил их с такой остротой и наивной прямоотой, что объективно это повело к более глубоким выводам. Молодой капитализм уже успел показать свои хищнические зубы: его победоносное продвижение сопровождают толпы голодных ремесленников и вымирающих крестьян. Париж кишит массами нищих, бродяг, людей, выброшенных из жизни. Поворачивая Рамо к различным сторонам жизни, Дидро кладет мазок за мазком на его изумительный портрет: от одного положения к другому все глубже и серьезнее делается значимость Рамо. Образ его вырастает в огромный, потрясающей силы символ унижения и нищеты, рабства и животной тупости, раздавленного человеческого достоинства. Дидро критикует в этом плане и буржуазное общество, хотя принцип частной собственности остается для него священным принципом, а отношения эксплуатации («тираны и рабы, сытые и голодные») выступают не как экономические отношения, а как категории пользы и использования. В силу неразвитости тогдашней буржуазии и оппозиционного положения ее в дореволюционном обществе, теория эксплуатации необходимо приняла оттенок наивной идеалистической лакировки: «вся деятельность индивидов в их взаимном общении... изображается в виде отношений пользы и использования»*. Дух наживы, — пишет здесь же Маркс, — дух спекуляции, овладевший всеми сословиями, финансовые затруднения правительства, разговоры о налоговом обложении, положение Парижа, явившегося центром общения членов всех сословий, наконец универсальный характер самих французов превратили эту теорию в универсальную теорию общепольности. Она находит свое своеобразное преломление и у Дидро: «К чему бы человек ни прилагал

* Маркс и Энгельс, «Немецкая идеология», Партиздат, 1933, стр. 398—399.

свой труд, оказывается, что природа предназначила его именно к этому».

«Жак-фаталист и его хозяин» (1773) — последняя по времени крупная литературная вещь Дидро. По своему значению роман этот стоит в одном ряду с написанными в начале 70-х годов философскими работами Дидро. По своим реалистическим данным «Жак-фаталист» занимает важное место во всей цепи литературного развития Дидро. Нигде теоретические положения не получили такого образного воплощения, как здесь. Знаменитые «Салоны» (1759—1781), создавшие Дидро славу родоначальника художественной критики, богатый глубокими и блестящими мыслями «Опыт о живописи» (написан в 1765 г.), вся его предыдущая практика — вот теоретические основы, на которых и в окружении которых появился роман.

Одиннадцать лет отделяют «Жака-фаталиста» от «Племянника Рамо». Это были годы мощного, стремительного подъема. За плечами Дидро «Энциклопедия»; у него признанная слава вожака «литературной республики»; он вырос в главу школы материалистов. Этот теоретический рост идет у Дидро в неразрывной связи со страстным участием в разнообразных сферах идеологической жизни. Реальная жизнь — вот что вдохновляет писателя. Дидро против мертвого академизма, обрекающего художника на бесплодие. «Отправляйтесь в трактир, — пишет он, — и вы там увидите человека в гневе. Ищите уличных сцен; будьте наблюдательны на улицах, в садах, на рынках, в домах, и вы получите там верные представления о правдивом движении в явлениях жизни». Не рабское копирование природы проповедует Дидро, не фотографически точное ее воспроизведение, а отбор таких резко индивидуальных, «необычных» явлений жизни, которые могли бы раскрыть типическое в его страстной жизненной полноте и идейной значительности. Поэтому для Дидро характерно постоянное стремление к «сталкиванию лбами» антагонизирующих явлений.

В «Жаке-фаталисте» свет и тени, черное и белое поданы резкими мазками, фиксированы крупным планом.

Это больше, чем копия жизни, ибо «солнце художника не равняется солнцу природы», ибо «во всяком поэтическом произведении всегда есть доля лжи, границы которой не были и не будут определены». Но вместе с тем для художника должно быть обязательным проникновение в сущность явлений, стремление к вскрытию реальных закономерностей, стремление к правде, когда можно было бы сказать: «Я не видел этого явления, но оно существует».

«Жак-фаталист» композиционно представляет собой целый ряд разрозненных новелл, являясь в этом отношении подражанием «Тристраму Шенди» Стерна. Весь интерес сосредоточен не на основной, казалось бы, стержневой линии (рассказ Жака о своей любви), а на многочисленных авторских отступлениях и вводных новеллах, то и дело перебивающих основную нить повествования.

Цепь новелл, внешне никак не связанных друг с другом, вместе с авторскими ремарками создают широкое полотно нравов второй половины XVIII в. Перед нами — крестьяне и судьи, авантюристы и купцы, аристократы и ученые, солдаты и офицеры, аббаты и ремесленники, проститутки и содержатели кабаков — словом, представители всех сословий и званий, вся пестрая и красочная галерея образов предреволюционной Франции. Широк диапазон действия и по своим пространственным данным: от корчмы до будуара маркизы.

Возьмем одну из первых новелл — рассказ Жака о капитане (прежнем хозяине Жака) и его товарище. Почему взято такое резко необычное сожительство двух чувств — любви и ненависти? Замысел вскрывается в заключительной части рассказа: «Наши офицеры были просто два паладина»; они «опоздали родиться». Дидро намеренно заостряет противоположные чувства, чтобы тем резче развенчать страсть дворянского общества к дуэлянтству, к петушинным наскокам и калечению друг друга из-за «чести». Для Дидро дворянский способ реабилитации чести — анахронизм. Поэтому он не щадит сатирических красок в изображении поведения двух приятелей.

лей. «Им часто делали замечания насчет странности подобных отношений; я сам говаривал капитану — он позволял мне делать ему замечания: — «Ну, а если, сударь, вы убьете его?» При этих словах он начинал плакать и, зажав пальцами глаза, бегал по комнате, как сумасшедший. А часа через два — смотришь: или он тащит приятеля раненого, или приятель его самого ведет окровавленного». Это — смелый, плакатный шарж, в котором ложно понимаемое достоинство и честь утрированы, доведены до предельной остроты. В этом и есть «доля лжи» художника, отлета в сторону фантазии. Но этот акцент на одной из характерных черт дворянина, — обыденное, доведенное до «невероятного», — позволяет наиболее философски глубоко и многопланно раскрыть типическое. Абсолютные понятия дворянства о чести в глазах «третьего сословия» уже имеют характер весьма условный и относительный. Этот взгляд прямо подчеркнут автором в отступлении: «На всякое достоинство и на всякий порок приходит и проходит мода».

У Дидро отношения индивидуального и типического в явлении и сущность их выступают во всей своей конкретной сложности.

Относительность человеческих понятий о нравах, олицетворенная в образе двух офицеров, вскрывает не только определенные черты дворянского общества. Отсюда вырастает и другой ряд — философское осмысление того, как, какой стороной своей это отдельное связано с бытием всесословного целого. Почему капитан переуступил назначение на должность коменданта приятелю? Сам он (капитан) объясняет это своей обеспеченностью. Выходит, стало быть, что это жест дружеского бескорыстия. Но автор сомневается в этом. (Форма гипотез, в которой автор высказывает категорические убеждения, это частый прием Дидро — подцензурного писателя.) Автор и пишет: а может быть в этом факте сказалось нечто обратное, что характерно для кодекса офицерских понятий о порядочности. «Почему не предположить, что наши офицеры вступали ежедневно в опасные драки единственно из же-

лания найти в сопернике слабую сторону», получить над ним превосходство, раздавить противника, подчинить его себе? Дуэль является не формой реабилитации чести и пр., а вопросом властвования человека над человеком, вопросом силы и бессилия. Побеждающий не только унижает противника, но и обогащается насчет его силы. Не честь или позор, а слуга или господин. Так равенство повело к противоречиям. В этом случае вопрос переводится в плоскость практического сближения с современными явлениями жизни. «Дуэль повторяется в обществе во всевозможных формах между попами, судьями, литераторами, философами; у всякого ремесла свое оружие и свои рыцари». Борьба ведется в новых формах, перо обращается в острый меч; поединки перенесены в плоскость идеологической борьбы. Борьба всех против всех — вот что стало законом общества. Или ты победишь противника, или противник наступит тебе на горло и сделает тебя своим рабом. Через отдельное вскрывается смысл целого. Для самого Дидро это имело смысл идеологических стычек со старым миром перед тем, как в решающем поединке с ним решить вопрос о праве его на историческое существование.

Рамо — это глубоко правдивый, типизированный образ человека беспринципного, аморального, рожденного столкновением двух собственнических миров. Моральные сентенции буржуа не могли служить панацеей от разорения, нищеты, вымирания мелких собственников. В этом величайшая победа реализма Дидро, отличающегося широчайшим демократизмом и чуткостью.

Тесно примыкает к образу Рамо и знаменитый рассказ Дидро о мадам Помре, приведший в восторг Гете и Шиллера. Маркиза терзается муками и торжествует одновременно, толкая маркиза на сближение с д'Энон. История мести маркизы своему мужу за охлаждение и измену разработана с большой живостью и естественностью. Мечь маркизы приводит к неожиданному результату. Обрел ли постоянство маркиз? Но это уже другой вопрос. Нет ничего абсолютного и вечного в человеческих

чувствах. Все — в процессе непрерывного изменения и развития. «Первая клятва, данная друг другу двумя существами во плоти, была произнесена у подножия скалы, которая рассыпалась в прах; в свидетели ее было взято небо, которое ни минуты не остается одинаковым; в них и вокруг них все изменялось и превращалось, а они думали, что сердца их чужды этих превращений». Человек не свободен в своих чувствах. Сила внешних обстоятельств такова, что все человеческие расчеты рассыпаются, как карточные домики от дуновения бури. К этим мотивам Дидро возвращается неоднократно. «Племянник Рамо» и «Жак-фаталист» — показатели глубокой эволюции в художественном методе писателя.

«Эксцентричность» характеров героев — не личное мышление автора. «Природа, — говорит он в «Жаке», — так разнообразна, особенно в инстинктах и характерах, что нет той фантазии поэта, которую опыт и наблюдение не открыли бы вам в природной действительности». Через «эксцентричность», необычность характера, Дидро схватывает явления в их наиболее глубоких типических проявлениях. Дидро реализует те указания, которые он сам обращал к художникам: не заниматься пассивной регистрацией явлений жизни, не «фотографировать», не гоняться за соблюдением внешней реалистической правдоподобности.

Глубина проникновения в закономерности действительности идет от глубокой субъективной взволнованности, пытливого, пристрастного «допроса» всего окружающего. «Вы не добьетесь ничего, — говорит Дидро племяннику Рамо, — если и за, и против будут вам одинаково дороги». Дидро стоит или за, или против. Он судит, оценивает, выносит приговоры, но ни на минуту не оставляет читателя в сомнении относительно субъективных позиций автора. Последовательность, верность своим принципиальным убеждениям в наибольшей мере обостряет глаз художника, ведет к расширению и заострению социальной тематики. Демократизм, вера в должное помогает Дидро блестяще реализовать метод срывания масок и обнаружения истины.

Одна категория образов в «Жаке-фаталисте» связана с философским заданием автора, и образы призваны раскрывать те или иные стороны объективной действительности, осмысливаемой в свете определенных философских посылок (Помре, Гусс, капитан, Лепельтье, Ришар). Здесь Дидро в понимании функциональной роли образа движется в общем направлении «философских повестей» Вольтера.

Другой ряд образов не оставляет сомнения в подчеркнутой обнаженной сатирической функции их. Это или сельский поп-сластолюбец, захваченный на месте преступления мужем; или живой, прекрасно нарисованный образ кармелита Жана, ловкого мошенника, гуляки и далеко не аскета (образ, родственный монаху, изображенному Рабле), который занимается устройством счастливых браков, в результате чего появляются дети, поразительно смахивающие на Жана. Все эти коротенькие новеллы, в том числе новелла о шевалье де-Сент-Уэне и Агате, зло высмеивающие аристократа-афериста, написаны с большой выразительностью и правдой. Они — показатель того влияния, которое имел Рабле на творческую практику Дидро.

Но венцом в этой цепи образов является рассказ о настоятеле монастыря Юдеоне.

Всю силу своей сатиры направляет автор на эту фигуру. Отец Юдеон назначается в один из монастырей, славящихся распутством и бесчинством монахов. Он наводит строжайший порядок, но для себя лично разрешает пользование всеми благами жизни. Понятно, что в лице монахов Юдеон приобретает злейших врагов. В результате доноса генералу возмущенных несправедливостью монахов, в монастырь инкогнито приезжают два монаха для установления истины. Юдеону грозит разоблачение, и он идет на смелый шаг, подсылая молодую девушку, которую он выманил у родителей, с доносом на себя. Перехватив таким образом инициативу, он добивается, в конце концов, заключения в тюрьму монахов, обвинив их в нечистых побуждениях относительно девушки. Лю-

боязливо и отношение Дидро к Юдеону. Он рассказывает спокойно и даже слегка любуется колоритной фигурой настоящего. Писатель чувствует связь, поддержку и силу за спиной, он не опускается до истерически-гневногo визга по адресу противника. В сознании своего превосходства и силы, он спокойно выписывает эту фигуру, с иронической усмешкой наблюдая за ее действиями.

Жак и его хозяин проходят через всю книгу; они помогают сохранить и внешнее сюжетное единство. Образы движутся в двух плоскостях. Рассмотрим первую. Жак — резонер; каждый случай, приключение для него — повод к философским сентенциям и размышлениям. Излюбленная его идея — идея о предопределенности, обусловленности и несвободе всего существующего. «Il était écrit là haut» — вот лейтмотив, сопровождающий все разглагольствования Жака. Жак твердо убежден, что если он задумал какое-нибудь предприятие, то последствия будут противоположны замыслу. Вернее всего — поступать наперекор задуманному. «Человек с такой же необходимостью идет к славе или позору, с какой шар катится с горы». Вся разница в том только, что человек сознает себя. «Если бы мы проследили все сцепления причин и следствий, составляющих человеческую жизнь с минуты рождения до последнего вздоха, мы убедились бы, что человек постоянно делал только то, что ему необходимо было делать... все мое существование было лишь рядом необходимых следствий», — говорит Жак.

Принцип детерминизма проникает и в композиционную структуру романа. Дидро беспрестанно играет приемом обнажения сюжетной механики.

Так Жак, например, рассказывает о своем солдатском прошлом. Когда он доходит в рассказе до момента разговора лекаря с хозяином о том, куда бы поместить раненого Жака, Дидро прерывает рассказ, заявляя, что он мог бы придать делу зловещий оборот, что читатель увидел бы Жака выброшенным на дорогу или в канаву. Автор заклинает не верить его злодейским намерениям, что не мешает ему в свое время «выпустить» на Жака

«разбойников», которые грабят и выбрасывают его на дорогу.

Идея слепой необходимости, встающей на пути человека и разрушающей его замыслы, проходит через весь роман. Помре мстит маркизу; желая отравить всю его жизнь, женив на проститутке, он мстью кладет начало его счастью и постоянству чувства. Гусс, строящий коварные замыслы против жены, целиком и с избытком обращает их на свою голову. Монах Анж (повесть о кармелите Жане), блестяще начав карьеру популярного поповедника, оканчивает ее в одиночестве.

Где же выход из этой детерминированности? В объединении,— отвечает автор.

Естественно и законно стремление человека быть счастливым. Но отсюда намечаются две линии поведения: одна — продиктованная узким и слепым эгоизмом, который в своей изолированности обречен на поражение. Человек единоличными усилиями не может добиться счастья: этому мешает и природа, и другие люди. Другой путь — такой подход к личному интересу, который ведет к объединению с людьми. Человеку необходима помощь других в его борьбе за счастье. Эту помощь можно получить лишь в том случае, если и мы будем помогать осуществлению счастья других, или, во всяком случае, занимать позиции благожелательного нейтралитета. Следовательно, помогая счастью других, мы помогаем себе. Эти выводы находят свое завершение в философских работах. Общее благо, по мысли Дидро, становится критерием поведения человека: оно выше отдельного частного блага.

Этим положениям нельзя отказать в революционности. В переводе на язык общественной борьбы они были призывом к объединению всех сил в борьбе с мерзкой действительностью феодально-абсолютистского строя. Таков первый, важнейший вывод, вытекающий из романа.

Взаимоотношения Жака с хозяином оригинально смещены. Жак выступает в роли руководителя. Приниженное, второстепенное значение барина усиленно акцентировано автором. Взаимоотношения этой пары — параллель

бессмертному дуэту Дон-Кихота и его оруженосца Санчо. Это вариант Мигуэля Сервантеса в «энциклопедическом» издании XVIII в. Это образ слуги и его барина, прошедший через двойное отражение. Пассивности и паразитизму барина противопоставлен живой, деятельный, философски образованный слуга. В его уста Дидро вкладывает резкий протест против попираемых прав «низших классов». «Каждый человек хочет кем-нибудь повелевать», а так как низшие классы у всех остальных под командой, — так что ниже себя на общественной лестнице они находят только животных, — то они «берут себе собак, чтобы все-таки иметь кого-нибудь под властью. У всякого своя собака». Перечислив прихоти своего барина, Жак говорит: «Что я такое, как не собака его? Слабые люди — собаки сильных». Он предается философским размышлениям над участью себе подобных, бежавших из деревни в города за легкой жизнью и вынужденных вести паразитическую жизнь слуг, вместо того, чтобы заниматься честным и добродетельным трудом земледельца.

Но Жак не так уж слаб — он «помыкает своим барином». После спора Жака с барином о правах и обязанностях слуги, они мирятся на своеобразной конституции. Она устанавливает, как «выше предначертанное», что Жак — слуга своего хозяина. По конституции барину будет принадлежать титул, а Жаку настоящая власть; устанавливается также и право быть дерзким с хозяином.

Барин спрашивает, не лучше ли в таком случае им поменяться местами?

Жак: «Знаете, что из этого выйдет? Вы потеряете титул и не получите сущности. Останемся как есть... Отныне, — резюмирует Жак, — вы будете называться барином, а я буду вашим господином».

В аллегории о замке Дидро атакует прерогативы дворянства. Оно выводится под видом обитателей замка. «Человек двадцать нахалов, овладевших лучшими комнатами, которые они находили все-таки слишком тесными. Вопреки здравому смыслу, они утверждали, что замок завещан им в их собственность; при помощи нескольких наем-

ных негодяев они убедили в этом множество других наемных негодяев, готовых за пятак зарезать или повесить всякого, кто осмелится противоречить этому».

Выступая боевым представителем «третьего сословия», Дидро считает его самым просвещенным сословием государства. Он подчеркивает типическую значимость спора Жака с баршпом о правах, говоря, что споры эти в миниатюре повторяют перебранку, ведущуюся из конца в конец Франции. С одного конца Франции барин кричит Жаку: «сойди», и Жак немолимо отвечает: «не сойду».

«Третье сословие» стало силой и необходимой частью общества; оно уже протестует против того, чтоб его третируют. Так оживает в специфически-художественной форме идея Дидро об общесословном представительном государстве, идея, покрывавшая революционные требования французской буржуазии XVIII в. Ни слуга, ни господин — вот к какому идеалу приходит Жак, чувствующий свою силу настолько, что не желает быть слугой, но не настолько, чтобы стать уже господином.

Таковыми идеями пронизан роман Дидро, венчающий заключительный этап его творчества.

Особую роль в «Жаке-фаталисте» играют авторские отступления. В отступлениях, ремарках, философских рассуждениях «Жака» «по поводу» щедрой рукой рассыпаны реалистические сценки, эпизоды, разговоры, философские сентенции, дающие в совокупности наглядную картину Франции начала 70-х годов XVIII в. Авторские ремарки делаются как бы невзначай, мимоходом. Но чем невиннее, случайнее их форма, тем больше в ней сатирического яда.

В повести нет ни одного эпизода, смысл которого не раскрывался бы в четком выводе или самим автором или его героями. Из страницы в страницу, от начала до конца повести, Жак предается философским размышлениям вслух по многообразным поводам. Эта установка на исповедь-монолог вытекает из дидактизма, характерного для Дидро. Повесть приобретает все черты своеобразного жанра «философской исповеди». Эта тенден-

ция к «учительству» достаточно ярко разворачивается в «Монахине», она вскрывается всей логикой диалога в «Племяннике Рамо», она, наконец, составляет одну из характерных черт и «Жака». Отсюда та исключительная роль, которую приобретает философский диалог в повести. Он составляет «душу» повестей. Это — излюбленная у Дидро форма страстной темпераментной схватки идей, мировоззрений. За счет наибольшего уменьшения внешних (описательных) черт и черт внутренних (психологических) разрастается идейное содержание образа. Все герои Дидро — мыслители. Точка зрения героя на мир, на природу и общество — вот что выделяется на первый план. Явление реального мира обрастает лесом комментариев, осмысливающих его в свете того или иного тезиса, сводящих частное явление к его целому. Такова новелла о Гуссе, о Лепельтье, о проповеднице и др.

Дидро не любит описаний (пейзажам нет места, весьма редки и эскизны портреты героев). И это находится у писателя в тесной связи с враждебностью ко всему туманному, недосказанному. Он дает читателям уже готовый вывод, четко сформулированный приговор.

Откуда идет этот рационализм? Разум, по Дидро, является универсальным органом, строгим и взыскательным судьей, который контролирует данные «свидетелей» — чувств, взвешивает их, не поддаваясь наптию и власти первого впечатления. Герои поэтому рационалистичны: они доносят до читателя не чувственно-живую форму своей реакции на мир, а уже рационально очищенные, логически взвешенные формулы (Сюзанна). Дидро стоит за философски-насыщенное, идейно-сознательное искусство. Выдвижение чувств на первый план перед разумом было бы вреднейшей ошибкой, так как это уводило бы художника от возможности познания мира.

Дидро убеждает, «агитирует» читателя, апеллируя непосредственно к его разуму. «Учительство» Дидро идет от веры в мощь освобождающего, критического слова. Рационально познанная действительность становится могущественным фактором воздействия на человека. Разум

и просвещение — вот что подведет людей к царству справедливости и гармонии — «золотому веку человечества».

Не случайны поэтому мотивы «пантагрюэлизма» в «Жаке-фаталисте». В целой серии вставных новелл Дидро воскрешает колоритные фигуры из мира Боккаччо и Рабле. Таковы новеллы о кармелите Жане, сластолюбивом деревенском попе, эпизоды из любовных приключений Жака и его хозяина в их молодости. В окружающем обществе царит лицемерие и ложь, свободное проявление человеческих чувств подменено фальшивыми правилами морали, безжизненным этикетом салонов. Дидро строит целую речь в защиту своего права «называть вещи своими именами», отводя от себя таким образом лицемерно-ханжеское обвинение в безнравственности.

Плотский эпикуреизм Рабле, мощная игра освобожденной материи в его бессмертном романе привлекают к себе Дидро. У Боккаччо и Рабле, мог думать Дидро, «несложность и примитив, это даже, может быть, шаг назад от изощренной «цивилизованной» сложности его эпохи. Но зато в этом мире царствует свободное, ничем не сдерживаемое проявление данных человеческой природы; это мир прозрачных человеческих отношений, мир, в котором любовь, честность, хитрость выступают в своем безыскусственном, естественном виде, которыми люди обмениваются как полноценными, настоящими монетами.

Так перекидывался мост от XVIII к XVI веку.

Буржуазная историко-литературная наука поспешила зачеркнуть свою революционную родословную. Она занялась опощением боевого демократического духа революционной литературы просветителей. Дидро был предан анафеме. «Какой француз подписался бы теперь под произведениями Дидро и Гельвеция? Кто пожелал бы их читать? Я готов почти спросить: кто знает их заглавия? Даже той неполной опытности, которую мы приобрели за последние 60 лет в политической жизни, было достаточно, чтобы оттолкнуть нас от этой опасной литературы»*.

* Токвиль, «Старый порядок и революция», 1896, стр. 174.

Трудно выразиться откровеннее и выразительнее, чем это сделал Токвиль. И лучшей оценкой Дидро-писателя является факт уничтожения царской цензурой в 1872 г. двух, вышедших в русском переводе, томов его литературных произведений.

На вопросы Токвиля ответила история. Великое наследство Дидро принадлежит по праву трудящемуся человечеству, а не эксплуататорским классам. Проникновенные слова Дидро о бессмертии, о надежде на доверие и память потомства находят у нас отклик. Неправильность к угнетателям и горячие симпатии ко всем обездоленным и поработанным, широкий демократизм и партийность художника, многочисленные меткие и глубокие мысли по вопросам литературы и искусства — все это входит богатейшим вкладом в лучшие образцы прошлого мировой литературы.

А. Иващенко

МОНАХИНЯ

Ответ маркиза де-Круамар, если я получу его, послужит материалом для первых строк моего рассказа. Прежде чем писать, я навела о нем справки. Это светский человек, сделавший блестящую служебную карьеру, пожилой, был женат, имеет дочь и двух сыновей, которых любит и которые обожают его. Он знатного рода, отличается просвещенностью, умом, веселым нравом, любовью к искусствам и большой оригинальностью. Мне хвалили его за чувствительность, порядочность и честность. Судя по живому интересу, который он обнаружил к моему делу, и по всему тому, что мне о нем говорили, я нисколько не скомпрометировала себя, обратившись к нему, но можно сказать заранее, что он не решится изменить мою судьбу, не зная, кто я такая, и это побудило меня победить свое самолюбие и нежелание братья за перо. Я начала эти записки, в которых рисую часть своих мытарств неумело и посредственно, с наивностью девушки моих лет и с откровенностью, присущей моему характеру. Мой покровитель мог потребовать или же мне могла придти фантазия окончить эти записки в то время, когда давно минувшие события изглядятся уже из моей памяти, и я полагала, что этот краткий обзор и глубокое впечатление, которое останется от этих событий до конца жизни, позволят мне с точностью вспомнить их.

Отец мой был адвокатом. Он женился на моей матери

уже немолодым и имел от нее трех дочерей. У него было более чем достаточное состояние, чтобы надежно их устроить, но для этого его любовь должна была распределяться между ними равномерно, а этой похвальной черты я никак не могу ему приписать. Я, безусловно, превосходила своих сестер приятностью ума и наружностью, нравом и талантами, но мои родители были, казалось, крайне огорчены этим. Преимущества, данные мне природой и прилежанием, сделались для меня источником мучений; с самых юных лет я желала быть похожей на сестер, чтобы меня всегда любили, нежили, баловали, прощали, как их. Если кто-нибудь говорил моей матери: «У вас прелестные дети», то это никогда не относилось ко мне. Иногда я бывала сторицей отомщена за такую несправедливость, но, когда мы оставались одни, я так жестоко расплачивалась за доставшиеся на мою долю похвалы, что предпочла бы равнодушные или даже обиды. Чем больше знаков внимания оказывали мне чужие, тем больше раздражения бывало дома после их ухода. О, сколько раз плакала я о том, что не родилась безобразной, тупой, глупой, чванливой, словом со всеми недостатками, которые обеспечивали сестрам благоволение родителей! Я спрашивала себя, откуда эта странность у отца и матери — в остальном честных, справедливых и благочестивых людей. Признаться ли вам, сударь? Кое-какие фразы, вырвавшиеся у отца в гневе, ибо он был вспыльчив, некоторые факты, подмеченные в различные периоды жизни, слова соседей, замечания слуг заставили меня подозревать причину, несколько извинявшую моих родителей. Может быть, отец не был вполне уверен в моем происхождении; может быть, я напоминала своей матери ее грех и неблагодарность человека, рабой которого она стала, — кто знает? Но как ни мало обоснованы эти подозрения, чем я рискую, доверяя их вам? Вы сожжете это письмо, а я обещаю сжечь ответное.

Мы появились на свет одна за другой, и все три одновременно сделались взрослыми. Представились пар-

тний. За старшей сестрой ухаживал один милый молодой человек; вскоре я заметила, что он обращает особенное внимание на меня, и догадалась, что сестра все время была лишь предлогом для его частых посещений. Я почувствовала все горе, которое это предпочтение могло навлечь на меня, и предупредила мать. Пожалуй, это единственный поступок за всю мою жизнь, которым я угодила ей, и вот какую награду я получила за него. Четыре дня спустя, или во всяком случае очень скоро, мне сказали, что для меня приготовлено место в монастыре, и отвезли туда на следующий же день. Мне так тяжело жилось дома, что событие это нисколько не огорчило меня. Я очень весело отправилась в монастырь св. Марии, в свой первый монастырь. Тем временем, возлюбленный сестры, не видя меня более, забыл обо мне и стал ее супругом. Его зовут г-н К***. Он потарнул в Корбе; они живут, как кошка с собакой. Вторая сестра вышла замуж за г-на Бошон, торговца шелковыми тканями в Париже, на улице Кенкампуа; их семейная жизнь сложилась довольно хорошо.

После того, как обе сестры были пристроены, я полагала, что подумают обо мне и что я не надолго останусь в монастыре. Мне было тогда шестнадцать с половиной лет. Сестрам дали значительное приданое, я надеялась на такую же судьбу; голова моя была полна увлекательных планов, как вдруг меня вызвали в приемную. Там находился отец Серафим, духовник моей матери, бывший прежде и моим духовником,— поэтому он мог с полной откровенностью объяснить мне цель своего посещения. Он явился убедить меня вступить в монашество. Я вскрикнула в ответ на это странное предложение и объявила ему без обиняков, что не чувствую ни малейшей склонности к этому званию. «Тем хуже,— сказал он,— ибо ваши родители истратились на ваших сестер и, по-моему, ничего не могут дать вам в том стесненном положении, в каком они очутились. Подумайте об этом, мадемуазель; приходится или вступить навсегда в этот монастырь, или уйти в какой-нибудь провинциальный, где

вас примут за скромную плату, и откуда вы выйдете только после смерти ваших родителей, что может случиться не скоро»... Я горько жаловалась и проливала потоки слез. Настоятельница была предупреждена и ждала меня на обратном пути из приемной. Я была в неопишемом смятении. «Что с вами, дорогое дитя? — сказала она (ей было известно лучше меня, что со мной). — Какой у вас ужасный вид! Никогда еще не приходилось мне видеть подобного отчаяния, я дрожу от страха, глядя на вас. Не умерли ли ваши батюшка или матушка?» Я собиралась ответить ей, бросившись в ее объятия: «Ах, если бы богу угодно было взять их!..», но ограничилась тем, что воскликнула: «Увы! У меня нет ни отца, ни матери; я несчастная, которую ненавидят и хотят похоронить здесь заживо». Она дала пройти первому взрыву отчаяния, ожидая, когда я успокоюсь. Я сообщила ей только что полученную весть. Она как будто сжалась надо мной; соболезнуя, укрепила в намерении ни в коем случае не принимать звания, к которому у меня не было никакой склонности; обещала просить, умолять, ходатайствовать. О сударь, вы не представляете себе, какие лицемерки эти настоятельницы монастырей! Она действительно написала моим родителям, прекрасно зная, какой ей дадут ответ, и сообщила мне его; лишь много времени спустя я научилась сомневаться в ее искренности. Между тем, срок, данный для моего окончательного решения, наступил, и она явилась ко мне узнать его, изобразив печаль на лице. Сначала она безмолвствовала, затем бросила несколько слов соболезнования; по ним я догадалась об остальном. Повторилась сцена почти не поддающегося описанию отчаяния. Уменьше владеть своими чувствами — великое искусство монахинь. Она сказала, как будто в самом деле плача: «Что же, дитя мое, значит, вы нас покидаете! Дорогое дитя, мы не увидимся более!..» и другие слова, которых я не расслышала. Я упала на стул и то хранила молчание, то рыдала, то оставалась неподвижной, или поднималась и прислонялась к стене, или же изливала свою скорбь на груди настоятельницы. Вот

что происходило со мной, когда она прибавила: «Но почему бы вам и не поступить так? — Слушайте и только не говорите никому о моем совете; рассчитываю на ваше ненарушимое молчание: ни за что на свете не хотела бы я заслужить чей-либо укор. Чего хотят от вас? Чтобы вы стали послушницей? Ну, что же, отчего бы вам не стать ею? К чему это вас обязывает? Ни к чему — только пробыть еще два года с нами. Человек не волен в своей жизни и смерти; два года — срок большой, мало ли что может случиться за два года»... Она присоединила к этим вкрадчивым словам столько ласк, столько изъявлений дружбы, столько притворной нежности, что я дала себя убедить: я знала, в каком положении я нахожусь, но не ведала, как хотят со мной поступить. Итак, она написала моему отцу; ее письмо было очень хорошо составлено, о, как нельзя лучше, — мое горе, скорбь, протесты нисколько не были затушеваны; уверяю вас, что даже более проникательная девушка, чем я, была бы введена в заблуждение; однако, письмо кончалось выражением моего согласия. С какой поспешностью все было приготовлено! Назначение дня церемонии, шитье моего одеяния, наступление часа обряда — ныне мне кажется, что все это следовало одно за другим без малейших промежутков.

Я забыла сказать вам, что виделась с отцом и с матерью; я пустила в ход все, чтобы тронуть их, но они остались непреклонными. Меня напутствовал аббат Блен, доктор Сорбонны; епископ Алексский совершил надо мной обряд. Обряд этот сам по себе наводит уныние; в этот день он был особенно мрачен. Хотя монахини теснились вокруг, чтобы поддержать меня, я десятки раз чувствовала, что мои колени подгибаются, и едва не упала на ступени алтаря. Я ничего не слышала, ничего не видела, была в столбняке; меня вели, и я шла; меня спрашивали и отвечали за меня. Между тем, эта жестокая церемония кончилась; все удалились, и я осталась среди паствы, к которой только что приобщилась. Товарки окружили меня и говорили, целуя: «Посмотрите, посмотрите,

сестра, как она прекрасна! Как оттеняет белизну ее кожи это черное покрывало! Как идет ей эта повязка! Как округляет ее лицо! Как удлиняет щеки! Как хорошо охватывает эта одежда ее стан и руки!..» Я едва слушала их; я была безутешна; однако, надо сознаться, что, оставшись в своей келье одна, я вспомнила их льстивые слова и не могла удержаться от искушения проверить их в своем зеркальце: они показались мне не совсем неуместными.

К этому дню приурочены особые торжества; ради меня их сделали еще более пышными, но меня это мало тронуло. Делали вид, что верят противоположному, и говорили мне это, хотя было ясно, что нет ничего подобного. Вечером, после молитвы, настоятельница вошла в мою келью. «По правде сказать,— промолвила она, внимательно оглядев меня,— я не знаю, почему у вас такое отвращение к этой одежде; она чудесно идет вам, и вы очаровательны; сестра Сюзанна — прехорошенькая монахиня; вас будут любить еще больше. Ну, пройдите, посмотрим на вас. Вы держитесь недостаточно прямо; не надо так горбиться»... Она поворачивала мне голову, ноги, руки, стан, плечи; это был урок монастырской грации,— почти урок Марсея¹, ибо каждое сословие имеет свой кодекс грации. Затем настоятельница села и сказала:

— Очень хорошо; теперь поговорим серьезно. У вас впереди два года, ваши родители могут изменить решение; вы, вы сами, может быть, захотите остаться здесь, когда они пожелают взять вас отсюда,— в этом нет ничего невозможного.

— Об этом нечего и думать, сударыня...

— Вы давно среди нас, но не знаете еще нашей жизни; в ней, несомненно, есть тернии, но она не лишена услады...

Вы, конечно, догадываетесь обо всем том, что могла она прибавить о мире и о монастыре: эти прописные, избитые истины общезвестны; слава богу, мне давали читать целые вороха писаний, в которых монахи разглагольствуют о своем звании, хорошо известном им и ненавидимом ими,

La Religieuse.

La réponse de M. le Marquis de C***,
Il n'a pu faire que me souvîra les premiers
lignes de ce récit. Avant que de lui écrire j'ai
voulu le connaître. C'est un homme au
moment; il a été illustré au Service; il est
âgé, il a été marié; il a une fille et deux
fils, qu'il aime et dont il est chéri. Il a
eu la naissance, des lumières, de l'esprit, de
la gaieté, du goût pour les beaux-arts,
et surtout de l'originalité. On m'a fait
leloge de sa bousillité, de son honneur et
de sa probité, et j'ai jugé par le vif inté-
rêt qu'il a pris à mon affaire, et par tout
ce qu'on m'en a dit, que je ne m'étais point
compromis en m'adressant à lui, mais
il n'est pas à présumer qu'il se détermine

Факсимиле первой страницы ленинградской копии
«Монахини»

обрушиваясь на мир, который они любят и который хулят, не зная его.

Я не буду вдаваться в подробности относительно своего послушничества; если бы соблюдать его со всей строгостью, то невозможно было бы выдержать; но, в действительности, это наиболее приятное время монастырской жизни. Наставницей послушниц бывает самая снисходительная сестра, какую только можно найти. Она старается скрыть все тернии монашества, — это курс самого утонченного и самого искусного соблазна. Наставница сгущает окружающий вас мрак, убаюкивает, усыпляет, вводит в заблуждение, обольщает вас; наша обратила на меня особое внимание. Не думаю, чтобы какая-нибудь молодая и неопытная душа могла не запутаться в сетях этого рокового искусства. Мир имеет свои бездны, но я не воображала, что в них попадают по такому отлоному склону. Стоило мне чихнуть два раза подряд, и меня освобождали от церковной службы, от работы, от молитвы; я ложилась рано, вставала позднее обыкновенного; для меня не существовало устава. И представьте, сударь, что бывали дни, когда я жаждала наступления времени пострижения. Не происходило ни одной скандальной истории в миру, о которой бы не рассказывали нам здесь; истинные происшествия преподносились в особом освещении, изобретались небылицы, а затем следовали бесконечные хвалы и благодарения богу, охраняющему нас под своим покровом от этих унижительных похождений. Между тем приближалось время, которого я иногда ждала с таким нетерпением. Я стала задумываться и почувствовала, что мое отвращение к монашеству снова пробудилось и растет. Я исповедалась в своих сомнениях настоятельнице и наставнице послушниц. Эти женщины умеют мстить за скуку, которую вы причиняете им, ибо не надо думать, что им доставляют большое удовольствие разыгрываемая ими роль и те глупости, которые они принуждены повторять нам; в конце концов, это набивает им оскомину и наводит на них тоску; они обрекают себя

на это из-за какой-нибудь тысячи эку, которая достается их монастырю. Вот главное, из-за чего они лгут всю жизнь и готовят для юных неискушенных душ муки отчаяния на сорок, на пятьдесят лет, а, может быть, и вечную гибель, ибо можно считать достоверным, сударь, что из ста монахинь, умирающих до пятидесяти лет, ровно столько же губят свою душу, не считая тех, которые делаются идiotками, полоумными или сумасшедшими в ожидании смерти.

Как-то одна из этих последних убежала из кельи, где ее держали взаперти. Я увидела ее. С этого часа начинается мое счастье, или мое несчастье, — в зависимости от того, как вы поступите со мной. Я никогда не видела ничего столь отвратительного и ужасного. Волосы ее были всклокочены, она была почти раздета и тащила за собой железные цепи; глаза ее блуждали; она рвала на себе волосы, била кулаками в грудь, бегала, выла, осыпала самое себя и других самыми страшными проклятиями; пыталась выброситься в окно. Ужас охватил меня, я дрожала с головы до ног, видя свою судьбу в судьбе этой несчастной, и тотчас же твердо решила скорее умереть тысячу раз, чем подвергнуться такой же участи. Предвидя, какое впечатление могло произвести на мой ум это происшествие, сочли нужным изгладить его. Мне наговорили об атой монахине кучу смешных и противоречивых небылиц: ум ее будто бы был уже расстроен, когда ее приняли в монастырь; когда-то, в переходном возрасте, ее сильно испугали; она стала подвержена видениям, верила, что находится в сношениях с ангелами; пагубное чтение извратило ее ум; она слышала проповедников чрезмерно строгой морали, которые так утрашили ее судом божиим, что рассудок ее пошатнулся и она сошла с ума; ей чудятся демоны, преисподняя и геенна огненная. Это такое горе для них, это неслыханный случай; ничего подобного никогда не бывало в монастыре, и так далее — без конца. Все это несколько меня не убедило. Безумная монахиня ежеминутно представлялась мне, и я повторяла клятву не давать никакого обета.

И вот, наконец, наступил день, когда надо было показать, умею ли я держать слово. Однажды утром, после литургии, ко мне вошла настоятельница. Она держала письмо. На ее лице были написаны печаль и уныние, руки ее висели, как плети,—казалось, они не в силах поднять это письмо; она смотрела на меня, на ее глазах как будто наворачивались слезы; она молчала, я также хранила молчанье. Настоятельница ждала, что я заговорю первая; я едва не заговорила, но удержалась. Она спросила меня, как мое здоровье, не слишком ли затянулась сегодня служба, не кашляю ли я; я показала ей нездоровой. На все это я отвечала: «Нет, матушка». Она попрежнему держала письмо в бессильно повисшей руке. Задавая эти вопросы, она положила его на колени и прикрыла рукой, но не совсем. Наконец, поговорив о моих родителях, настоятельница сказала, видя, что я не собираюсь спрашивать о письме: «Вот письмо»...

При этих словах я почувствовала, что сердце мое дрогнуло, и спросила прерывающимся голосом, с трясущимися губами: «От матушки?»

— Вы угадали, вот прочтите...

Я немного оправилась, взяла письмо и сначала читала его, сохраняя самообладание, но по мере того как я подвигалась вперед, ужас, негодование, гнев, досада, различные страсти сменяли во мне друг друга; у меня вырывались различные восклицания, менялось выражение лица, я делала различные движения: то едва держала эту бумагу, то хватала ее, как будто хотела разорвать, или же яростно сжимала, словно меня искушало желание смять ее и швырнуть подальше.

— Ну, что же, дитя мое, что мы ответим на это?

— Вы знаете, сударыня.

— Да нет же, нет, я этого не знаю. Наступили тяжелые времена, ваша семья понесла большие убытки; дела ваших сестер расстроены; у той и у другой много детей; родители истощили свои средства, выдавая их замуж,—они разоряются, чтобы поддержать их. Вас они никак не могут пристроить, вы стали послушницей,—это

ввело ваших родителей в расходы, своим поступком вы обнадежили их, слух о вашем вступлении в монашество распространился в миру. Впрочем, попрежнему рассчитывайте на мою помощь во всем. Я никогда никого не заманивала в монастырь. К этому званию нас призывает господь, и очень опасно смешивать наш голос с его голосом. Я ни в коем случае не буду обращаться к вашему сердцу, если благодать господня ничего ему не говорит. До настоящего времени я не могу упрекнуть себя в том, что стала виновницей чужого несчастья; неужели же вы, дорогое чадо мое, будете моей первой жертвой? Я отнюдь не забыла, что первые шаги вы сделали по моему настоянию, я не потерплю, чтобы этим злоупотребили, заставляя вас дать обет вопреки вашей воле. Давайте посмотрим, обсудим это вместе. Хотите вы стать монахиней?

— Нет, сударыня.

— Вы не чувствуете никакой склонности к монашескому званию?

— Нет, сударыня.

— Вы не исполните воли своих родителей?

— Нет, сударыня.

— Кем же вы хотите быть?

— Кем угодно, только не монахиней. Я не хочу быть и не буду ею.

— Ну, что же! Вы не будете ею. Давайте обдумаем ответ вашей матушке.

Мы сговорились по некоторым пунктам. Она написала и дала мне прочесть свое письмо, и на этот раз оно показалось мне очень хорошим. Между тем ко мне направили монастырского духовника; прислали ученого богослова, который уговаривал меня принять постриг; я была поручена особому попечению наставницы послушниц; виделась с монсеньером епископом Алекским. Мне пришлось ломать копыя с набожными женщинами, интересовавшимися моим делом, хотя я не была с ними знакома; происходили непрерывные собеседования с монахами и священниками. Приезжал отец, я получала письма от сестер; мать явилась последней — я противостояла

всему. Тем не менее был назначен день пострига. Не пренебрегли ничем, чтобы добиться моего согласия, когда же увидели, что бесполезно домогаться его, приняли решение обойтись без него.

С этого времени я была заперта в келье, мне предписали молчание, я была отделена от всего мира, предоставлена самой себе; и мне стало ясно, что решено распорядиться мною помимо моей воли. Я ни за что не хотела давать обет монашества, — это было решено раз навсегда: все действительные или мнимые ужасы, которыми меня беспрестанно пугали, не могли поколебать моего решения. Однако я была в плачевном состоянии и совершенно не знала, долго ли оно продлится; еще меньше знала я, что может произойти со мной, когда оно кончится. Судите сами, сударь, о решении, принятом мною в этой неизвестности. Я не видела больше никого: ни настоятельницы, ни наставницы послушниц, ни товарок; я дала знать первой, будто я склоняюсь к исполнению воли своих родителей, но в действительности намеревалась положить конец этим преследованиям, предать дело огласке и публично протестовать против замышляемого насилия. Итак, я сказала, что они хозяева моей судьбы и могут располагать ею по своему усмотрению, что я буду монахиней, если требуют, чтобы я была ею. И вот, по всему монастырю распространилось ликование, вернулись ласки со всей лестью и всеми соблазнами. Мое сердце де вяло гласу божию, я предназначена для состояния совершенства более, чем кто-либо. Это неотвратимо, всегда ожидали этого. Только тот, кто воистину призван, исполняет свои обязанности так примерно и неукоснительно. Наставница послушниц ни у одной из своих учениц никогда не видела столь ярко выраженного призвания; она была крайне поражена моими странностями, но всегда повторяла матушке-настоятельнице, что надо держаться твердо и что это пройдет, — даже самые лучшие монахини переживают такие минуты; это — внушения злого духа, который удваивает усилия, когда видит, что добыча готова ускольз-

нуть; я избавлюсь от него; впереди меня ждут одни розы; обязанности монашеской жизни покажутся мне тем легче переносимыми, чем сильнее я их преувеличивала; если я внезапно почувствовала тяжесть этого бремени, то это милость неба, которое воспользовалось этим средством, дабы облегчить его... Особенно странным показалось мне, что одно и то же происходит от бога или от дьявола, в зависимости от того, как моим наставникам вздумается изобразить дело. В религии много подобных несуразностей; утешавшие меня часто говорили о моих мыслях — одни, что это дьявольское навождение, другие, что бог внушил мне их. Одно и то же происходит или от бога, который подвергает нас испытанию, или от дьявола, который искушает нас.

Я вела себя так, что никто не догадывался о моих намерениях, и полагала, что могу отвечать за себя. Я увиделась с ютцом, он холодно говорил со мной; увиделась с матерью, юна поцеловала меня; я получала поздравительные письма от сестер и от многих других. Мне стало известно, что напутственное слово будет говорить господин Сорнен, викарий церкви св. Рока, а господин Тьерри, канцлер университета, примет мой обет. Все шло хорошо до кануна великого дня, как вдруг я узнала, что церемония будет тайной, что при ней будут присутствовать немногие, и дверь церкви будет открыта только родственникам. Тогда я через привратницу позвала всех наших соседей, своих друзей, своих подруг; мне позволили написать некоторым знакомым. Оказалось такое стечение народа, какого вовсе не ожидали; пришлось разрешить войти всем; было многолюдное собрание, нужное для осуществления моего плана. О сударь, какая ночь предшествовала этому дню! Я не прилегла ни на минуту и сидела на своей кровати; я призывала бога на помощь; воздевая руки к небу, брала его в свидетели совершаемого надо мной насилия; мне живо представилась сцена у подножья алтаря: молодая девушка, громким голосом протестующая против обряда, на который она согласилась для вида, скандал среди присутствующих, отчаяние монахинь, ярость моих родителей. «О госюди!

Что будет со мной»... Произнося эти слова, я почувствовала внезапный упадок сил и упала без чувств на свое изголовье; за этим обмороком последовал озноб, от которого мои колени колотились одно о другое и зубы громко стучали; вслед за ознобом начался страшный жар; ум мой помутился. Не помню ни того, как я разделась, ни того, как вышла из кельи; однако меня нашли полунагой, в одной рубашке, распростертой на земле перед дверью настоятельницы, без движения и почти без признаков жизни. Все это я узнала после. Утром я очутилась в своей келье; вокруг моей постели собрались настоятельница, наставница послушниц и так называемые сестры-помощницы. Я была в полном изнеможении; мне задали несколько вопросов; по моим ответам увидели, что я ничего не знаю о случившемся, и ничего мне не сказали. Меня спросили, как мое здоровье, осталось ли я верна своему благочестивому решению, чувствую ли себя в силах перенести тяготы этого дня. Я ответила утвердительно, и, против их ожидания, церемония не расстроилась.

Порядок ее был выработан накануне. Зазвонили в колокола, возвещая миру, что собираются погубить еще одну несчастную. Сердце мое снова заколотилось. Пришли одевать меня; этот день — день облачения; в настоящее время, когда я вспоминаю всю эту церемонию, мне кажется, что в ней было нечто торжественное и очень трогательное для молодой простодушной девушки, не имеющей иного призвания. Меня проводили в церковь, отслужили обедню; добрый викарий, усмотревший во мне покорность воле божией, которой у меня не было и в помине, произнес длинную проповедь, где не было ни одного слова, не противоречившего здравому смыслу; было очень смешно все то, что он говорил о моем счастье, о благодати, о моем мужестве, рвении, пламенной вере и о всех прекрасных чувствах, какие он во мне предполагал. Противоречие между его хвалебной речью и поступком, который я собиралась совершить, смутило меня; были мгновения, когда я испытывала нерешительность, но длились они недолго. Я еще сильнее почувствовала, насколько не хва-

тает мне всего того, что необходимо для хорошей монахини. Наконец, страшная минута наступила. Когда пришлось взойти на амвон, где я должна была произнести обет монашества, ноги у меня подкосились; две товарки взяли меня под руки; моя голова опрокинулась на плечо одной из них, я едва волочила ноги. Не знаю, что происходило в душе присутствующих, но они видели перед собой молодую умирающую жертву, несомую на алтарь, и со всех сторон раздались вздохи и рыдания, однако я твердо уверена, что среди них не было слышно голоса ни моего отца, ни моей матери. Все встали; молодые девушки взобрались на сиденья, держась за перекладыны решетки; наступило глубокое молчание, и принимавший обет сказал мне: «Мария-Сюзанна Симонен, обещаете ли вы говорить правду?»

— Обещаю.

— По вашей ли доброй воле и по вашему ли собственному желанию находитесь вы здесь?

Я ответила «нет», но сопровождавшие ответили за меня «да».

— Мария-Сюзанна Симонен, даете ли вы богу обет целомудрия, бедности и послушания?

Я колебалась мгновение; священник ждал, и я ответила:

— Нет, сударь.

Он снова начал:

— Мария-Сюзанна Симонен, даете ли вы богу обет целомудрия, бедности и послушания?

Я ответила ему более твердым голосом:

— Нет, сударь, нет.

Он остановился и сказал:

— Дитя мое, придите в себя и слушайте меня.

— Батюшка, вы спрашиваете меня, даю ли я богу обет целомудрия, бедности и послушания; я хорошо слышала вас и отвечаю вам: нет...

Повернувшись затем к присутствующим, среди которых поднялся довольно громкий говор, я сделала знак, что хочу говорить; говор прекратился, и я сказала:

— Господа, и в особенности вы, батюшка и матушка, беру вас всех в свидетели...

При этих словах одна из сестер задернула занавесом решетку, и я увидела, что продолжать бесполезно. Монахини окружили меня, осыпая упреками; я слушала их, не говоря ни слова.

Меня отвели в келью и заперли там на ключ.

Размышляя в полном одиночестве, я начала успокаиваться душой; вернулась мысленно к своему поступку и несколько не раскаялась в нем. Мне представлялось, что после той огласки, какой я достигла, нельзя будет долго оставлять меня здесь, и что, может быть, не решатся отдать меня и в другой монастырь. Я не знала, как поступят со мной, но мне казалось, что нет ничего хуже, чем быть монахиней вопреки своей воле. Я провела довольно много времени, не слыша звука человеческого голоса. Приносившие мне еду входили, ставили обед на пол и молча удалялись. По прошествии месяца мне принесли мирское платье; я сняла монашескую одежду; пришла настоятельница и велела мне идти вслед за ней, и я последовала за нею до монастырских ворот; там я вошла в карету, где меня ожидала мать, кроме нее никого не было; я села на переднюю скамейку, и карета тронулась. Некоторое время мы сидели друг против друга, не произнося ни слова; глаза мои были опущены, я не смела взглянуть на мать. Не знаю, что происходило в моей душе; но вдруг я бросилась к ее ногам и склонила голову ей на колени; я не говорила с ней, но рыдала и задыхалась. Она резко оттолкнула меня. Я не поднялась; из носу у меня хлынула кровь; я схватила ее руку вопреки ее желанию и, орошая слезами и кровью, продолжавшей течь, прижималась губами к этой руке, целовала ее и говорила матери: «Вы попрежнему остаетесь моей матерью, я попрежнему ваше дитя»... И она ответила мне (отталкивая меня еще грубее и вырывая свою руку): «Встаньте, несчастная, встаньте». Я повиновалась, снова села и надвинула капор на лицо. В ее голосе была такая властность и непреклонность, что я сочла

нужным скрыться от ее взоров. Слезы и кровь, которая текла из носа, смешиваясь, струились по моим рукам и я, сама того не замечая, была вся залита ими. Из нескольких слов, сказанных матерью, я поняла, что испачкала ей платье и белье, и что она недовольна этим. Мы приехали домой, и меня тотчас же отвели в заранее приготовленную комнатку. Я еще раз припала к коленям матери на лестнице; я удерживала ее за одежду, но добилась лишь того, что она повернулась в мою сторону и посмотрела на меня, выражая движением головы, рта и глаз негодование, какое вам легче себе представить, чем мне описать.

Я вошла в свою новую тюрьму, где провела шесть месяцев, каждый день тщетно умоляя разрешить мне говорить с матерью, видеть отца или писать им. Мне приносили есть, прислуживали, в праздники служанка сопровождала меня к обедне и снова запирала. Я читала, работала, плакала, иногда пела; таким образом проходили мои дни. Тайное чувство, что я свободна, и что моя судьба, как бы она ни была сурова, может измениться,— поддерживало меня. Но было решено, что я должна стать монахиней, и я стала ею.

Такая бесчеловечность, такое упорство со стороны родителей окончательно укрепили во мне подозрения относительно моего происхождения,— ничем другим я никогда не могла бы извинить их. Мать очевидно боялась, как бы я не подняла когда-нибудь вопроса о разделе имущества, не потребовала своей доли и не заняла одинакового положения с законными детьми. Но то, что было лишь догадкой, вскоре превратилось в уверенность.

Находясь в заключении дома, я плохо выполняла церковные обряды; однако, меня посылали исповедоваться накануне больших праздников. Я сказала вам, что духовник матери был и моим духовником; я говорила с ним, обрисовала ему всю суровость обращения со мной за последние три года. Он знал это. С особенной горечью и обидой жаловалась я ему на мать. Этот священник поздно принял сан; у него оставалось человеколюбие; он спокойно выслушал меня и сказал:

— Дитя мое, вашу мать надо скорее жалеть, чем порицать, у нее добрая душа; будьте уверены, что она поступает так вопреки своей воле.

— Вопреки своей воле, сударь! Кто же может ее принудить к этому! Разве она не произвела меня на свет? И разве есть какая-нибудь разница между моими сестрами и мною?

— Большая.

— Большая! Я совершенно не понимаю вашего ответа.

Я собиралась сравнить своих сестер с собою, но он остановил меня и сказал:

— Полноте, полноте, бесчеловечность не является пороком ваших родителей; старайтесь терпеливо нести свой крест, и вы заслужите, по крайней мере, милость господню. Я увижу вашу матушку, и будьте уверены, что воспользуюсь всем своим влиянием на нее, чтобы помочь вам...

Слово «большая», которым он мне ответил, было для меня лучом света; я не сомневаюсь более в истинности того, что думала раньше о своем происхождении.

В следующую субботу, около пяти с половиной часов вечера, приставленная ко мне служанка вошла и сказала: «Ваша матушка приказывает вам одеться»... Через час она явилась снова: «Мадам желает, чтобы вы поехали со мной»... У подъезда ждала карета, я села в нее со служанкой и узнала, что мы едем в фельянский монастырь к отцу Серафиму. Тот ожидал нас; он был один. Служанка удалилась, а я вошла в приемную. Я села, с тревогой и нетерпением ожидая, что он мне скажет. Вот с какими словами он обратился ко мне:

— Мадемуазель, сейчас для вас разъяснится загадка сурового обращения ваших родителей: ваша матушка дала мне разрешение на это. Вы рассудительны, вы обладаете умом и твердым характером, вы в таком возрасте, когда вам можно было бы доверить тайну, если бы даже она вас вовсе не касалась. Прошло много времени с тех пор,

как я впервые увещевал вашу матушку открыть вам то, что вы сейчас узнаете; она никогда не могла решиться на это: матери трудно признаться своему ребенку в своей тяжкой вине; вы знаете ее характер, с ним не вяжется унижительность некоторых признаний. Она думала, что сможет, не прибегая к этому, привести вас к осуществлению ее намерений, — она ошиблась и разгневана этим. Ныне ваша матушка хочет последовать моему совету и поручила мне довести до вашего сведения, что вы не являетесь дочерью г-на Симонен.

Я сейчас же ответила, что подозревала это.

— Посмотрите теперь, мадемуазель, обдумайте, взвесьте, судите сами, может ли ваша матушка без согласия и даже с согласия вашего отца уравниять вас с детьми, сестрой которых вы не являетесь; может ли она признаться вашему отцу в поступке, относительно которого у него и без того уже достаточно подозрений.

— Но кто же мой отец, сударь?

— Это остается для меня тайной, мадемуазель. Более чем достоверно лишь одно, — прибавил он, — вашим сестрам даны огромные преимущества, приняты все мыслимые меры предосторожности, чтобы свести на-нет причитающуюся вам долю в случае, если бы вы когда-либо обратились к содействию суда, с требованием раздела: брачные контракты, изменение состава имущества, добавочные условия, фиденкомиссы и другие средства — все пущено в ход. Если вы лишитесь родителей, вам достанется немного. Отказавшись от монастыря, вы, может быть, пожалеете, что не находитесь там.

— Этого не может быть, сударь; я не прошу ничего.

— Вы не знаете, что такое житейские невзгоды, труд, нищета.

— Зато я знаю цену свободы и тяжесть монашества, когда к нему нет никакого призвания.

— Я сказал вам то, что обязан был сказать, теперь вы должны поразмыслить об этом хорошенько, мадемуазель...

Затем он встал.

— Еще один вопрос, сударь.

— Сколько вам угодно.

— Знают ли мои сестры то, что вы мне сообщили?

— Нет, мадемуазель.

— Как же могли они решиться обобратить свою сестру? Ведь они верят, что я их сестра.

— Сребролюбие, сребролюбие, мадемуазель! Без приданого ваши сестры не сделали бы таких выгодных партий. В этом мире все думают только о себе, и я не советую вам рассчитывать на них в случае смерти ваших родителей. Будьте уверены, что у вас будут оспаривать до последнего обола жалкие крохи, которые вам придется делить с ними. У них много детей, — это более чем благоприятный предлог для того, чтобы обречь вас на нищету. Затем у них связаны руки: всем орудуют мужья. Если бы даже они чувствовали какое-нибудь сострадание, то помощь, оказанная ими вам без ведома мужей, стала бы источником семейных раздоров. Я на каждом шагу встречаю или покинутых детей, или даже законных, которым помогают в ущерб домашнему миру. И кроме того, мадемуазель, чужой хлеб очень черств. Если вы верите мне, то помиритесь с родителями и сделаете то, что ваша мать вероятно ждет от вас — примете монашество; вы будете получать маленькую пенсию, на которую просуществоете, если не счастливо, то по крайней мере сносно. К тому же не скрою от вас, что явная нелюбовь к вам матери, ее упорное желание снова заточить вас в монастырь и некоторые другие обстоятельства, которые не приходят мне на память, но которые я знал в свое время, произвели на вашего отца точно такое же впечатление, как и на вас. Ваше происхождение казалось ему подозрительным; он больше не сомневается в нем. Даже не будучи посвящен в тайну, он твердо уверен, что вы считаетесь его ребенком только потому, что закон приписывает отцовство лицу, официально носящему звание супруга. До свидания, мадемуазель; вы добры и рассудительны; подумайте о том, что вы только что узнали.

Я встала и заплакала. Отец Серафим сам был, видимо,

тронут; он кротко возвел глаза к небу и проводил меня. Я позвала приехавшую вместе со мной служанку, мы снова сели в экипаж и вернулись домой.

Было поздно. Я размышляла часть ночи о том, что мне сейчас открыли; я размышляла об этом и весь следующий день. У меня не было отца; раскаяние матери отняло ее у меня; приняты предосторожности, чтобы я не могла претендовать на права законнорожденной; домашнее заточение очень сурово; никакой надежды, никаких средств к существованию. Если бы раньше, после того как выдали замуж моих сестер, мне объяснили, в чем дело, то, может быть, меня оставили бы дома. У нас продолжали бывать многие, и нашелся бы кто-нибудь, кому мой нрав, мой ум, лицо, таланты показались бы достаточным приданным; это и теперь еще возможно, но скандал, учиненный мною в монастыре, затруднял это: на такой крайний шаг девушка семнадцати-восемнадцати лет могла решиться, лишь обладая необыкновенно твердым характером. Мужчины очень хвалят это качество, но мне кажется, что они охотно мирятся с отсутствием его у тех, на ком предполагают жениться. Тем не менее, надо было попробовать этот выход, прежде чем принимать другое решение. Я решила откровенно сказать об этом матери и попросила ее переговорить со мной, на что она изъявила согласие.

Была зима. Мать сидела в кресле перед камином; лицо ее было сурово и неподвижно, взгляд устремлен в одну точку; я подошла к ней, бросилась к ее ногам и попросила прощения за все свои вины.

— Мое прощение, — ответила она, — зависит от того, что вы мне сейчас скажете. Встаньте, вашего отца нет дома, в нашем распоряжении более чем достаточно времени, чтобы объясниться. Вы видели отца Серафима, вы знаете, наконец, кто вы и чего можете ждать от меня, если в ваши намерения не входит наказывать меня всю мою жизнь за грех, который я уже более чем искупила. Ну, что же, мадемуазель, чего вы хотите от меня? Что вы решили?

— Матушка, — ответила я, — мне известно, что я ничего не имею и не должна ни на что претендовать. Я очень далека от намерения увеличивать какие бы то ни было горести ваши и, может быть, оказалась бы более покорной вашей воле, если бы вы посвятили меня ранее в некоторые обстоятельства, о которых мне трудно было догадаться; но, наконец, я знаю все, я знаю, кто я такая, и мне остается только вести себя соответственно своему положению. Меня не удивляет более разница в тех условиях, в какие поставлены мои сестры и я. Я признаю справедливость этого, согласна с этим, но я не перестаю быть вашей дочерью, — вы носили меня под сердцем, и я надеюсь, что не забудете этого.

— Горе мне, — прибавила она с живостью, — если я не буду признавать вас своей дочерью, насколько это в моих силах.

— Верните же мне свое расположение, матушка, — сказала я ей, — позвольте мне быть с вами; верните мне любовь того, кто считается моим отцом.

— Еще немного, — продолжала она, — и он будет так же уверен в вашем происхождении, как вы и я. Всякий раз, как я вижу вас подле него, мне слышатся его упреки; его суровое обращение с вами — укор мне; не надейтесь вызвать в нем нежные отцовские чувства. И затем, должна вам признаться, вы напоминаете мне измену, неблагодарность со стороны другого, столь чудовищную, что мысль о ней для меня невыносима. Этот человек беспрестанно появляется между вами и мной, он отталкивает меня, и моя ненависть к нему переносится на вас.

— Как! Я не могу надеяться даже на то, что вы и г-н Симонен будете обращаться со мной, как с чужой, неизвестной, подобранной вами из человеколюбия?

— Ни он, ни я не можем относиться к вам так. Дочь моя, не отравляйте мне более жизни. Если бы у вас не было сестер, то я знала бы, как мне поступить, но у вас две сестры; и у той, и у другой многочисленная семья. Поддерживавшая меня страсть давно уже угасла; совесть вступила в свои права.

— Но тот, кому я обязана жизнью...

— Его нет более; он умер, не вспомнив о вас; и это наименьшее из его злодеяний...

Тут ее лицо исказилось от сильного гнева, глаза засверкали; она хотела говорить, но не могла произнести членораздельно ни одного слова, так дрожали ее губы. Она сидела, склонив голову на руки, чтобы скрыть от меня бушевавшие в ней страсти. Некоторое время она оставалась в такой позе, затем встала и прошла несколько раз по комнате, не говоря ни слова; наконец сказала, сдерживая наворачивавшиеся слезы:

— Чудовище! Если все то горе, которое он причинил мне, не задушило вас в моей утробе, то он тут ни при чем; но бог сохранил нас обоих, чтобы дочь искупила грех матери. Дитя мое, у вас нет ничего и никогда ничего не будет. То немного, что я могу сделать для вас, я делаю тайком от ваших сестер,— вот следствия слабости. Однако, я надеюсь, что когда буду умирать, мне не в чем будет упрекнуть себя; путем бережливости я скоплю для вас вклад в монастырь. Я несколько не злоупотребляю снисходительностью мужа, но я откладываю изо дня в день то, что получаю время от времени от его щедрот. Я продала бывшие у меня драгоценности и получила от него разрешение распорядиться по своему усмотрению вырученной суммой. Я любила игру и не играю более; я любила театр и лишила себя его; я любила общество и живу в уединении; я любила роскошь и отказалась от нее. Если вы примете монашество согласно моей воле и воле г-на Симонен, то ваш вклад будет плодом того, что я каждый день отнимаю у себя.

— Но, матушка,— сказала я,— у вас продолжают бывать разные достойные люди; может быть, кто-нибудь из них удовольствуется моей особой и не потребует даже сбережений, предназначенных вами для меня.

— Об этом нечего более думать, ваш поступок получил широкую огласку и погубил вас.

— Неужели беда непоправима?

— Непоправима.

— Но если я даже не найду супруга, неужели я должна непременно запирается в монастырь?

— Если только вы не хотите продолжить моих страданий и моих угрызений совести до той минуты, когда я закрою глаза. Эта минута неотвратима, в этот страшный миг ваши сестры соберутся вокруг моей постели. Подумайте, могу ли я видеть вас среди них; как омрачит ваше присутствие эти последние мгновения! Дочь моя, ибо вы являетесь ею вопреки моей воле, ваши сестры законным путем получили имя, которое вы носите благодаря преступлению; не огорчайте же свою мать в час ее кончины; дайте ей спокойно сойти в могилу, дайте ей возможность сказать самой себе перед тем, как предстать перед верховным судьей, что она загладила свою вину, насколько это было в ее силах, и может утешаться надеждой, что после ее смерти вы не внесете никакой смуты в дом и не потребуете себе возвращения прав, которых не имеете.

— Будьте спокойны относительно этого, матушка, — сказала я, — пригласите юриста, пусть он составит акт отказа от наследства, и я подпишу все, что вам угодно.

— Это невозможно: дети не лишают сами себя наследства, — это может быть только карой отца и матери, имеющих основание для своего гнева. Если богу угодно будет призвать меня завтра, завтра же мне придется решиться на этот крайний шаг и открыться мужу, чтобы действовать в согласии с ним. Не заставляйте меня выдавать тайну, это сделало бы меня ненавистной в его глазах и полекло бы позорные для вас последствия. Если вы переживете меня, то останетесь без имени, без средств, без положения. Несчастливая, скажите, что станется с вами! С какими мыслями я должна умереть, по-вашему? Значит, мне придется сказать вашему отцу... Что я скажу ему? Что вы не его дочь... Дитя мое, если бы надо было только броситься к вашим ногам, чтобы добиться от вас... Но вы ничего не чувствуете; у вас такая же непреклонная душа, как у вашего отца...

В этот момент вошел г-н Симонен и увидел, что жена его расстроена; он любил ее и был горячего нрава; он

остановился, как вкопанный, и сказал, бросая на меня страшные взгляды:

— Вон!

Будь г-н Симонен моим отцом, я не повиновалась бы ему, но он не был им.

Г-н Симонен прибавил, обращаясь к светившему мне слуге:

— Скажите ей, чтобы она не показывалась нам больше на глаза.

Я была снова заперта в своей маленькой тюрьме. Я размышляла о том, что мне сказала мать. Бросившись на колени, я молилась богу, чтобы он наставил меня; долго молилась, припав лицом к земле; голос неба призывают, обыкновенно, только тогда, когда не знают, на что решиться, и в этих случаях он редко не дает нам совета подчиниться. Таково было принятое мною решение. «Хотят, чтобы я была монахиней, может быть, это также воля господня? Что же! — я буду монахиней; раз мне суждено быть несчастной, то не все ли равно, где я буду ею!»... Я попросила служанку предупредить меня, когда отец выйдет из дому. На следующий день я добивалась разговора с матерью; она велела мне ответить, что обещала г-ну Симонен прервать со мной все сношения, но что я могу написать ей карандашом, который мне дадут. И вот я написала на клочке бумаги (этот роковой клочок нашелся после, и им более чем достаточно воспользовались против меня): «Матушка, меня очень мучают все те огорчения, какие я вам причинила; прошу у вас прощения: я намереваюсь положить им конец. Приказывайте мне все, что вам угодно; если вы хотите, чтобы я приняла монашество, то да будет такова же и воля божья»...

Служанка взяла эту записку и отнесла ее матери. Минуту спустя она поднялась ко мне снова и сказала с восторгом:

— Мадемуазель, почему вы тянули так долго, когда достаточно было одного только слова, чтобы осчастливить вашего отца, вашу мать и вас самих? У барина и барыни такие лица, каких я никогда не видала у них

с тех пор, как я здесь: они постоянно ссорились из-за вас; слава богу, я больше не увижу этого...

Покамест она говорила со мной, я думала, что только что подписала свой смертный приговор, и это предчувствие оправдается, сударь, если вы меня покинете.

Прошло несколько дней; со мной не говорили ни о чем, но однажды, часов в девять утра, дверь моей комнаты внезапно распахнулась; вошел г-н Симонен в халате и ночном колпаке. С тех пор, как я узнала, что он не отец мне, его присутствие вызывало у меня только страх. Я встала, сделала ему реверанс. Мне казалось, что у меня два сердца: я не могла думать о матери без жалости и без слез; не то было по отношению к г-ну Симонен. Конечно, отец внушает такого рода чувства, какие не испытываешь ни к кому на свете, кроме него,— это можно понять, только очутившись, как я, лицом к лицу с человеком, который долго носил это священное имя и вдруг потерял его; для других это навсегда останется непонятным. Если бы вместо г-на Симонен передо мной была мать, то, мне кажется, я была бы иной. Он сказал:

— Сюзанна, узнаете вы эту записку?

— Да, сударь.

— Вы написали ее по собственному желанию?

— Я могу ответить только утвердительно.

— Решили ли вы, по крайней мере, исполнить обещание?

— Решила.

— Предпочитаете ли вы какой-нибудь определенный монастырь?

— Нет, для меня это безразлично.

— Прекрасно.

Вот что я ответила; но к несчастью это не было записано. В течение двух недель я находилась в полной неизвестности относительно происшедшего. Повидимому, обращались в различные монастыри, но скандал, вызванный моим первым поступком, препятствовал принять меня на испытание. В Лошане оказались более сговорчивыми, вероятно потому, что туда дошел слух о мона

музыкальных талантах, о моем голосе. Говоря со мной, очень преувеличивали затруднения, которые пришлось преодолеть, и милость, оказанную мне принятием в этот монастырь — меня заставили даже написать настоятельнице. Я не предвидела последствий этого письменного свидетельства, его потребовали от меня, очевидно боясь, что когда-нибудь я пожелаю расторгнуть свой обет; хотели, чтобы я удостоверила собственной рукой, что дала его совершенно свободно. Если бы это не имелось в виду, то каким образом письмо, которое должно было остаться в руках настоятельницы, попало впоследствии в руки моих шуринов? Но закроем поскорее на это глаза; г-н Симонен выступает передо мной таким, каким я не хочу его видеть: его нет больше в живых.

Меня отвезли в Лоншан, мать сопровождала меня. Я не попросила разрешения проститься с г-ном Симонен, признаюсь, что мысль об этом пришла мне только в дороге. Меня ожидали, о моей истории и о моих талантах были предуведомлены; мне не сказали ничего по поводу первой, но поспешили убедиться, стоит ли хлопот сделанное приобретение. Сначала разговор долго велся на посторонние темы: после случившегося со мной, понятно, не говорили ни о боге, ни о призвании, ни об опасностях мира, ни о сладости монастырской жизни, не рисковали обмолвиться ни единым словом о том благочестивом вздоре, коим обычно заполняют эти первые минуты; затем настоятельница сказала: «Мадемуазель, вы играете и поете; у нас есть клавесин; если хотите, мы пойдем в приемную». На сердце у меня было очень тяжело, но показывать свою неохоту было не время. Мать пошла, я последовала за нею. Настоятельница с несколькими монахинями, привлеченными любопытством, замыкала шествие. Был вечер; мне принесли свечи; я уселась за клавесин и долго перебирала клавиши, стараясь найти какой-нибудь музыкальный отрывок и не находя ничего, хотя знала множество пьес; между тем, настоятельница торопила меня, и я спела без всякой задней мысли, по привычке, потому что этот

отрывок был мне хорошо знаком: *Грустные приготовления, бледные свистильники, день ужаснее ночи* и т. д. Не знаю, какое это произвело впечатление, но слушали недолго. Меня прервали похвалами, и я была крайне удивлена, что так скоро и так легко заслужила их. Мать оставила меня на попечение настоятельницы, дала мне поцеловать руку и уехала домой.

И вот я в другом монастыре, в качестве испытуемой, и, по всей видимости, проходящей испытание вполне добровольно. Но вы, сударь, знаете все происшедшее до сих пор, — что вы думаете об этом? Большинство этих фактов вовсе не приводилось, когда я захотела расторгнуть свой обет: одни — потому, что не могли быть подкреплены доказательствами, другие — по той причине, что, не говоря в мою пользу, выставили бы меня в самом отвратительном виде; меня изобразили бы выродком, оскорбляющим память своих родителей, чтобы получить свободу. Были налицо доказательства, говорившие против; а то, что говорило за меня, не могло быть ни приведено, ни доказано. Я не хотела даже, чтобы у судей возникло подозрение относительно моего происхождения. Некоторые лица, не имеющие ничего общего с юриспруденцией, советовали мне привлечь к делу духовника матери, бывшего прежде моим духовником; это оказалось невозможным, а если бы даже это было возможно, я не допустила бы этого. Но к стати, а то я боюсь, что забуду об этом сказать, и ваше желание помочь мне помешает вам принять это во внимание, — я думаю, если только вы не подадите мне иного совета, что надо молчать о том, что я знаю музыку и играю на клавесине, иначе мне не удастся остаться в тени. К чему кичиться этими талантами, когда я ищу только неизвестности и безопасности? Лица моего звания не умеют это делать, и я не должна иметь об этом никакого понятия. Если я буду вынуждена покинуть отечество, это даст мне средства к существованию. Покинуть отечество! — скажите, почему эта мысль устрашает меня? — потому что я не знаю, куда ехать, потому что я молода

и неопытна, потому что я боюсь нищеты, людей и порока, потому что я всегда жила взаперти и, если бы очутилась вне Парижа, мне казалось бы, что я потерялась в мире. Может быть, все это и не так, но так именно я чувствую, сударь, я не знаю, куда ехать, кем стать — это зависит от вас.

В Лоншане, как и в большинстве монастырей, настоятельницы меняются каждые три года. Когда меня привезли в монастырь, в эту должность вступила г-жа Мони; я могу вам сказать о ней только самое хорошее, и однако ее доброта погубила меня. Это была рассудительная женщина, знавшая человеческое сердце и отличавшаяся снисходительностью, хотя нуждалась в ней меньше всего; все мы были ее детьми. Она всегда замечала только проступки, которые не могла не заметить, или настолько важные, что нельзя было закрывать на них глаза. Говорю это беспристрастно; я строго исполняла свои обязанности, и она воздавала мне должное, говоря, что я не совершила ничего, заслуживающего наказания, ничего, что она должна была бы прощать. Если она оказывала кому-либо предпочтение, то оно было заслужено; после этого не знаю, удобно ли мне говорить вам, что она нежно полюбила меня и что я была не последней среди ее фавориток. Я знаю, что это равносильно величайшей похвале самой себе; не будучи с ней знакомы, вы не представляете себе, как много это значит. Фаворитками остальные монахини называют из зависти любимиц настоятельницы. Я могу упрекнуть г-жу Мони только в одном: она слишком откровенно обнаружила свое увлечение добродетелью, благочестием, прямою, кротостью, талантами, честностью, а ей было не безызвестно, что это еще более унижало тех, кто не мог претендовать на эти достоинства. Она обладала также даром, может быть, более распространенным в монастыре, чем в миру, — быстро распознавать человеческую душу. Редко бывало, чтобы монахиня, не понравившаяся ей сначала, понравилась ей когда-либо после. Она сразу полюбила меня, и я с первого же дня отнеслась к ней с безграничным доверием. Горе тем, чье расположение

Мони завоевывала с трудом! Это могли быть только безнадежно дурные женщины, сами сознававшие это. Она беседовала со мной о происшествии в монастыре св. Марии. Я рассказала о нем, ничего не утаивая, как теперь говорю вам; я сообщила ей все, что только что написала вам; и то, что относилось к моему происхождению, и то, что касалось моих страданий, — ничто не было забыто. Она пожалела меня, утешила, подала мне надежду на лучшее будущее.

Между тем срок испытания истек; мне предстояло стать послушницей, и я стала ею. Я отбывала послушничество без отвращения. Не останавливаюсь на этих двух годах, так как они не были омрачены ничем, кроме тайного чувства, что я шаг за шагом приближаюсь к вступлению в монашество, для которого я была менее всего создана. Иногда это чувство возобновлялось с особенной силой, но я сейчас же прибегала к помощи своей доброй настоятельницы. Она обнимала меня, окрыляла мне душу, выдвигала сильные доводы и неизменно кончала словами:

— А разве другие звания лишены терний? Чувствуешь только свои. Пойдемте, дитя мое, преклоним колена и помолимся...

Тогда она простиралась ниц и громко молилась — с таким умилением, красноречием, кротостью, подъемом и силой, словно дух святой вдохновлял ее. Ее мысли, обороты ее речи, ее образы проникали до глубины сердца; сначала ее слушали; незаметно увлекалась, присоединялись к ней и, охваченные трепетом, сливались с ней в одном порыве. В ее намерения не входило соблазнять, но конечно она делала это: от нее выходили с горящим сердцем, с печатью радости и экстаза на лице, проливали такие сладкие слезы! Она сама это переживала; и она и другие долго оставались под этим впечатлением. Не я одна испытала это, — то же самое испытывали все монахини. Некоторые говорили мне, что они чувствуют, как у них возникает потребность в утешении, и что они видят в этом величайшую радость. Мне думается, что я и сама пришла бы к этому, если бы у меня создалась привычка.

Однако с приближением пострига меня обуяла такая глубокая тоска, что моя дорогая настоятельница подверглась страшным испытаниям; дар красноречия покинул ее, в чем она сама мне призналась.

«Не знаю,— сказала она,— что происходит со мной, когда вы приходите; мне кажется, что бог удаляется и голос его умолкает; напрасно я возбуждаю себя, напрасно собираюсь с мыслями, напрасно хочу воспламенить свою душу; я нахожу в себе заурядную и ограниченную женщину, я боюсь говорить»...

«Ах! матушка,— сказала я ей,— какое предзнаменование! Может случиться, господь заставляет вас безмолвствовать».

Однажды я чувствовала себя более неуверенной и подавленной, чем когда-либо, и пошла в ее келью. Мое появление привело ее сначала в замешательство: она, очевидно, прочла в моих глазах, во всей моей внешности, что глубокое чувство, которое я носила в себе, овладело мной с непреодолимой силой, и не хотела бороться, не будучи уверена в победе. Тем не менее она занялась мною и мало-помалу воодушевилась; по мере того, как моя скорбь ослабевала, ее энтузиазм возрастал; вдруг настоятельница бросилась на колени, я последовала ее примеру. Я думала, что сейчас разделю ее восторг, и желала этого; она произнесла несколько слов, потом вдруг умолкла. Я напрасно ждала; мать Мони не говорила более, заливаясь слезами; она взяла мою руку и сжала ее в своих руках:

— Ах, дорогое дитя,— сказала она,— какое жестокое влияние оказываете вы на меня! Конечно, дух святой удалился, я чувствую это. Идите, пусть бог сам говорит с вами, так как ему не угодно, чтобы его голос звучал в моих устах...

Действительно, не знаю, что происходило с ней,— внушила ли я ей упорное недоверие к собственным силам, сделала ее боязливой, или же в самом деле прервала ее общение с небом, но дар утешения больше не вернулся к ней. Накануне моего пострига я пошла повидаться

с нею; она тосковала не менее меня. Я заплакала, она также. Я бросилась к ее ногам, она благословила меня, подняла и отослала со словами:

— Я устала жить, я желаю умереть и прошу господа избавить меня от этого дня, но на то нет его воли. Идите, я поговорю с вашей матерью; я проведу ночь в молитве, молитесь также; но ложитесь спать, приказываю вам.

— Разрешите мне помолиться вместе с вами,— ответила я.

— Разрешаю вам пробить со мной с девяти часов до одиннадцати, не более. В девять с половиной я начну молиться и вы также, но в одиннадцать часов вы оставите меня молиться одну, а сами пойдете отдыхать. Ступайте, дорогое дитя, остальную ночь я буду бодрствовать перед господом.

Она хотела молиться, но не могла. Я уснула, а тем временем эта святая женщина прошла по коридорам, стуча в каждую дверь, разбудила монахинь и велела им тихонько сойти в церковь. Все пошли туда, и, когда собрались, она призвала их обратиться к небу с молитвой обо мне. Сначала молились молча; затем она погасила свечи; все повторяли речитативом *Miserere*, за исключением настоятельницы, которая, простершись ниц у подножья алтаря, жестоко истязала себя, говоря: «О господи! Если ты отврати лик свой от меня за какой-нибудь совершенный мною грех, то даруй мне прощение. Я не прошу тебя вернуть мне дар, отнятый тобою, но молю тебя — обратись сам к этой чистой душе, которая спит в то время, как я призываю тебя здесь, молясь о ней. Господи, скажи ей свое слово, скажи свое слово ее родителям и прости меня».

На другой день рано утром она вошла в мою келью, я не слышала ее, я еще не проснулась. Она села подле моей кровати, осторожно положила руку мне на лоб и стала смотреть на меня. Тревога, смятение и скорбь сменялись на ее лице — такой она предстала предо мной, когда я открыла глаза. Она не сказала мне ни слова о том, что

произошло ночью, и спросила только, рано ли я легла спать. Я ответила:

— Когда вы приказали.

— Спали ли вы?

— Крепким сном.

— Я так и думала... Как вы себя чувствуете?

— Очень хорошо. А вы, дорогая матушка?

— Увы! — без тревоги я не могла видеть ни одной вступающей в монашество, но никогда не испытывала такого смятения, как теперь. Я очень хотела бы, чтобы вы были счастливы.

— Если вы будете всегда любить меня, я буду счастлива.

— Ах, если бы это зависело только от моей любви! Вы ни о чем не думали ночью?

— Нет.

— Видели ли вы что-нибудь во сне?

— Ничего.

— Что происходит сейчас в вашей душе?

— Я оступела, я покоряюсь своей участи без отвращения и без влечения, я чувствую, что необходимость увлекает меня, и не сопротивляюсь. Ах, дорогая матушка, я не чувствую ничего похожего на тихую радость, на трепет, на печаль, на сладкое беспокойство, какие я замечала иногда в других в такие же минуты. Я бесчувственна, у меня нет даже слез. Этого хотят — значит так надо, — вот единственная мысль, которая приходит мне... Но вы ничего не говорите...

— Я пришла не для того, чтобы беседовать с вами, но чтобы видеть и слышать вас. Я жду вашу мать. Постарайтесь не волновать меня, дайте чувствам накопиться в моей душе; когда она будет полна ими, я уйду от вас. Мне надо помолчать: я знаю себя, я способна только на один порыв, но на величайший, и не на вас следует мне израсходовать свои силы. Полежите еще минутку, я посмотрю на вас. Скажите мне только несколько слов и дайте мне почерпнуть в них то, за чем я пришла сюда. Я пойду, а бог совершит остальное...

И замолчала, склонилась на подушку и протянула руку, которую она взяла. Мать Моши, повидимому, размышляла и размышляла глубоко; она делала усилия, чтобы держать глаза закрытыми, иногда открывала их, возводила к небу и снова останавливала на мне. Она волновалась, душа ее наполнялась смятением; овладевала собой и снова впадала в тревогу. Поистине, эта женщина родилась быть пророчицей; что-то пророческое было в ее лице и характере. Она была когда-то красавицей; старость, ослабив резкость черт и избородив морщинами ее лицо, придала ему еще больше достоинства. Глаза у нее были небольшие, и казалось, что взгляд их или обращен внутрь, или, минуя близкие предметы и различая то, что за ними, устремлен вдаль — в прошлое или в будущее. По временам она сильно сжимала мне руку. Вдруг она спросила меня, который час.

— Скоро шесть.

— Прощайте, я уйду. Сейчас придут одевать вас, я не хочу быть при этом, это отвлекло бы меня от моих мыслей. У меня только одна забота — сохранить самообладание в первые минуты.

Едва она вышла, как вошли наставница послушниц и мои товарки; с меня сняли монашескую одежду и вновь надели мирское платье, — таков известный вам обычай. Я не слышала ничего из того, что говорилось вокруг; почти превратилась в автомат, ничего не замечала, только время от времени по мне пробегала словно судорога. Мне говорили, что надо делать. Часто вынуждены были повторять одно и то же, ибо я не понимала с первого раза, и тогда я повиновалась. Происходило это не потому, что я думала о чем-то другом, я была всецело поглощена одной мыслью; голова моя устала как бы от избытка размышлений. Тем временем настоятельница беседовала с моей матерью. Я так и не узнала, что произошло при этом свидании, продолжавшемся очень долго. Мне сказали только, что, когда они расстались, моя мать была в таком смятении, что не могла найти двери, в которую вошла, а настоятельница вышла, стиснув голову руками.

Между тем зазвонили в колокола. Я сошла вниз. Собрание было малочисленно. Ко мне обратились с напутственным словом. Не знаю, хорошо ли оно было или плохо, я ничего не слышала. Со мной делали, что хотели, в продолжение всего этого утра, которое останется пустым местом в моей жизни, ибо я и до сих пор не представляю себе, долго ли оно продолжалось; не знаю ни того, что я делала, ни того, что говорила. Меня, несомненно, спрашивали, я, несомненно, отвечала. Я произнесла обет, по у меня это совершенно выпало из памяти, и я стала монахиней так же бессознательно, как сделалась христианкой. Во всей церемонии своего пострига я поняла не больше, чем в обряде своего крещения, с той только разницей, что этот обряд дарует истинную благодать, а постриг — мнимую. Как вы думаете, сударь? Неужели я связана своим обетом, хотя и не сделала в Лоншане такого же заявления, как в монастыре св. Марии? Взываю к вашему суду, взываю к правосудию божию. Я была в состоянии столь глубокой подавленности, что, когда, несколько дней спустя, мне объявили, что я должна петь в хоре, я не поняла, что это значит. Я спросила, правда ли, что я приняла монашество, хотела видеть подпись под данным мною обетом. К этому доказательству пришлось присоединить свидетельство всей общины и некоторых посторонних, приглашенных на церемонию. Обращаясь несколько раз к настоятельнице, я спрашивала: «Неужели это действительно правда?»... и всякий раз ждала, что она ответит мне: «Нет, дитя мое, вас обманывают»... Ее заверения не убеждали меня: я не могла постичь, каким образом из всего происходившего в течение целого дня, столь суетливого, столь разнообразного, столь богатого необычайными и поразительными фактами, в моей памяти не осталось ничего — ни лиц тех, кто прислуживал мне, ни лица священника, произносившего проповедь, ни лица, принимавшего мой обет; я помню только, как с меня сняли монашескую одежду и надели мирскую, — после этого я находилась в состоянии невме-

няемости. Понадобились целые месяцы, чтобы вывести меня из этого состояния; продолжительности этого своего рода выздоровления приписываю я глубокое забвение всего происшедшего. Так бывает с теми, кто перенес долгую болезнь, рассуждал вполне здраво, причастился святых таин и кто, выздоровев, не помнит ничего. Я наблюдала в монастыре несколько подобных примеров и говорила себе: «Очевидно, то же самое было и со мной в день пострижения». Но остается выяснить, зависят ли эти действия от человека и так ли это, хотя и кажется, что это так.

В том же году меня постигли три значительных утраты: умер отец или, вернее, тот, кто слыл моим отцом, — он был преклонного возраста, много работал и угас; скончалась настоятельница и, наконец, моя мать.

Достойная монахиня задолго почувствовала приближение смертного часа; она обрекла себя на молчание, велела внести гроб в свою комнату, потеряла сон и проводила дни и ночи, размышляя и записывая свои мысли. Она оставила пятнадцать *Размышлений*; они кажутся мне исполненными величайшей красоты; у меня остался список. Если когда-нибудь вам будет интересно познакомиться с мыслями, внушаемыми предсмертными минутами, я пришлю вам их; они озаглавлены: *Последние мгновения сестры Мони*.

При приближении смерти она велела одеть себя и легла на постель. Ее причастили и соборовали; в руках она держала распятие. Была ночь; светильники озаряли эту мрачную сцену. Мы окружили умирающую, заливаясь слезами. Келья оглашалась криками; вдруг глаза ее заблестали, она внезапно приподнялась и заговорила, голос ее был почти так же силен, как тогда, когда она была здорова. К ней вернулся утраченный ею дар, она упрекала нас за слезы, словно мы плакали из зависти к ее вечному блаженству. «Дети мои, ваша скорбь вводит вас в заблуждение. Там, там, — говорила она, указывая на небо, — я буду служить вам: мои глаза

будут беспрестанно устремляться на этот монастырь, я буду вашей заступницей и буду услышана. Подойдите все, я обниму вас, примите мое благословение и проститесь со мной»... То были последние слова перед кончиной этой редкой женщины, о которой никогда не перестанут скорбеть.

Мать умерла в конце осени, вернувшись из поездки к одной из дочерей. Она тосковала, здоровье ее очень ослабело. Я никогда не узнала ни имени своего отца, ни истории своего рождения. Духовник матери, бывший и моим духовником, передал мне от нее небольшой пакет. Там были пятьдесят луидоров с запиской, завернутые и зашитые в кусок полотна. Записка была следующего содержания:

«Дитя мое, дар мой невелик, но моя совесть не позволяет мне располагать большей суммой. Посылаю остаток того, что я могла скопить из небольших подарков г-на Симонен. Живите свято, это самое лучшее даже для вашего счастья в сем мире. Молитесь за меня. Ваше рождение — единственный значительный грех, совершенный мною; помогите мне искупить его, и пусть господь простит мне ваше появление на свет ради добрых дел, которые вы совершите. Не смущайте покоя семьи, об этом особенно прошу вас, и, хотя выбор принятого вами звания не был так добровольен, как я желала бы, бойтесь изменить его. Жаль, что меня не заточили в монастырь на всю жизнь! Меня не смущала бы тогда мысль, что через минуту придется предстать перед грозным судьей. Не забывайте, дитя мое, что судьба вашей матери на том свете во многом зависит от вашего поведения в этом мире: всевидящий бог зачтет мне, по своей справедливости, все добро и все зло, содеянное вами. Прощайте, Сюзанна, не требуйте ничего от своих сестер, — они не в состоянии помогать вам; не надейтесь на вашего отца, — он прежде меня сошел в могилу, он узрел великий день и ожидает меня; мое присутствие будет менее страшно для него, нежели его для меня. Еще раз прощайте. Ах, несчастная мать! Ах, несчастное дитя! Прибыли

ваши сестры; я недовольна ими: они хватают, уносят все, на глазах умирающей матери ссорятся из корыстных побуждений,— это удручает меня. Когда они подходят к моей постели, я отворачиваюсь: что я увидела бы? Два создания, в которых нужда заглушает естественное чувство. Они жаждут получить поскорее то небольшое, что я оставляю, они задают доктору и сиделке беззастенчивые вопросы, показывающие, с каким нетерпением ждут они минуты, когда я умру и они захватят все, что меня окружает. У них возникло подозрение,— не знаю, откуда оно взялось,— что, может быть, деньги спрятаны в моем матраце; они не остановились ни перед чем, пустили в ход все, чтобы заставить меня подняться, и добились своего; но, к счастью, пришел мой душеприказчик, и я передаю ему этот маленький пакет с письмом, написанным им под мою диктовку. Сожгите письмо и, когда вы узнаете, что меня нет больше в живых, а это будет скоро, закажите обедню за упокой моей души и повторите во время нее свой обет, ибо я попрежнему желаю, чтобы вы остались монахиней. Мысль о том, что вы остались в миру без помощи, без поддержки, такая молодая, окончательно смутила бы мои последние минуты».

Отец умер 5 января, настоятельница в конце того же месяца, а мать — на второй день рождества.

Преемницей матери Мони была сестра Христина. Ах, сударь, какая разница между той и другой! Я сказала вам, какой женщиной была первая; у второй был мелочный характер, ограниченный, отуманенный суевериями ум; она ввела новшества, совещалась с иезуитами и сульпицианцами, относилась враждебно ко всем фавориткам своей предшественницы. Монастырь мигом наполнился склокой, ненавистью, злословием, обвинениями, клеветой и преследованиями. Пришлось разбираться в вопросах богословия, в которых мы ничего не смыслили, соглашаться с религиозными формулами, подчиняться странным обрядам. Мать Мони не одобряла вовсе средств

покаяния, изнуряющих плоть; сама она только два раза за всю свою жизнь подвергла себя самоистязанию: один раз накануне принятия мною монашества, другой — при подобных же обстоятельствах. Она говорила об этих средствах покаяния, что они не исправляют недостатков, а служат только гордыне. Она хотела, чтобы ее монахини чувствовали себя хорошо, чтобы у них было здоровое тело и ясный дух. Когда эта настоятельница вступила в должность, то начала с того, что приказала унести все власяницы и бичи и запретила посыпать пищу пеплом, спать на голых досках и запасаться орудиями самоистязания. Сестра Христина, наоборот, вернула всем монахиням власяницы и бичи и отняла у них ветхий и новый завет. Фаворитки королевы никогда не бывают фаворитками ее преемницы. Новая настоятельница относилась ко мне равнодушно, и даже хуже чем равнодушно по той причине, что ее предшественница нежно любила меня. Я не замедлила ухудшить свою участь действиями, которые вы назовете или неблагоприятием или твердостью характера, в зависимости от того, с какой точки зрения взглянете на них. Во-первых, я всецело отдавалась горю, вызванному во мне утратой нашей первой настоятельница, восхваляла ее при всех обстоятельствах, при случае сравнивала ее с той, под началом которой мы находились теперь, и эти сравнения были неблагоприятны для последней. Яркими красками рисовала я положение монастыря в прошлые годы, напоминала о спокойствии, каким мы пользовались, о снисходительности по отношению к нам и с восторгом говорила о добродетели, чувствах, характере сестры Мони. Во-вторых, я бросила в огонь свою власяницу и выбросила бич, призывая к тому же подруг, — и некоторых убедила последовать моему примеру. В-третьих, я достала ветхий и новый завет; в-четвертых, отвергала всякое сектанство и именовала себя христианкой, отказываясь принять название яansenистики или молинистики²; в-пятых, строго оставалась в рамках монастырского устава, не желая делать чего-либо, не предусмотренного им, — следова-

тельно, я не брала на себя ничего сверх должного, мои обязанности и без того казались мне слишком тяжелыми; я показывалась у органа только в дни праздников, пела только в хоре, не позволяла более злоупотреблять своей любезностью и своими талантами и беспоконить себя каждый день по всякому поводу. Я прочла и перечитала устав, выучила его наизусть. Если мне приказывали что-либо, что не было ясно выражено в уставе, или отсутствовало в нем, или казалось мне противоречащим ему, то я твердо отказывалась исполнять; я брала книгу и говорила: «Вот обязательства, принятые мною, других я не брала на себя».

Мои речи увлекли некоторых. Власть старших сестер оказалась очень ограниченной: они не могли более распоряжаться нами, как своими рабынями. Не проходило почти ни одного дня без какой-нибудь истории. В сомнительных случаях товарки советовались со мной, и я всегда была за соблюдение устава и против деспотизма. Вскоре во мне стали видеть бунтовщицу, а возможно, что я до некоторой степени и играла эту роль. Беспрепятственно вызывались старшие викарии архиепископа; я предстала перед судом, защищалась, защищала своих товарок. Меня ни разу не осудили, так старательно я подбирала доводы в свою пользу: нельзя было обвинить меня в нарушении обязанностей, я исполняла их с величайшей добросовестностью. Что касается незначительных милостей, которые настоятельница всегда вольна оказывать и которых она может лишать, то я и не думала просить их. Я никогда не появлялась в приемной, не буду ни с кем знакома, и никого не принимала. Но я сожгла свою власяницу и выбросила бич; то же самое посоветовала и другим; я не хотела слышать разговоров об янсенизме, молинизме, добре и зле. Когда меня спрашивали, подчиняюсь ли я уставу, я отвечала, что подчиняюсь церкви; признаю ли я папскую буллу, я отвечала, что признаю евангелие. Явились осмотреть мою келью — нашли ветхий и новый завет. У меня вырвались неосторожные слова о подозрительной близости

некоторых фавориток к настоятельнице, о долгих и частых беседах с глазу на глаз с молодым церковнослужителем, и я разоблачала подноготную. Я сделала все, что могла, чтобы разжечь к себе ненависть и страх и погубить себя, и добилась этого. На меня не жаловались более церковным властям, но постарались сделать мою жизнь невыносимой. Остальным монахиням запретили общаться со мной, и вскоре я оказалась одна. У меня были подруги, очень немногочисленные — заподозрили, что они стараются обойти тайком запрещение видаться со мной и что, не имея возможности беседовать днем, посещают меня ночью или в неурочные часы; нас выследили: меня заставляли то с одной, то с другой. Этот неосторожный поступок раздули, и я была наказана самым бесчеловечным образом: меня приговорили целые недели простаивать церковную службу на коленях, отдельно от остальных, посреди хор; сажали на хлеб и воду, запирали в келье; заставляли делать самую грязную работу в монастыре. Те, кого называли мои сообщницами, подвергались почти такому же обращению. Когда не могли найти за мной вины, ее выдумывали. Мне давали одновременно несовместимые приказания и наказывали за неисполнение их; передвигали часы церковной службы, часы трапез; изменяли весь порядок монастырской жизни, не доводя об этом до моего сведения; несмотря на величайшее напряжение внимания, я каждый день оказывалась виноватой, каждый день бывала наказана. У меня есть мужество, но какое мужество может устоять против одиночества, преследований и полной заброшенности? Дело дошло до того, что устроили себе игру из моих мучений, — это стало забавой пятидесяти действовавших заодно монахинь. Я не могу входить во все подробности этих злобных каверз: мне мешали спать, бодрствовать, молиться. Сегодня у меня крали что-нибудь из моей одежды, завтра — ключи или трескун; замок в моей двери оказывался сломанным; мне мешали исправно выполнять работу, портили то, что я делала хорошо; мне приписывали вымышленные

слова и действия; меня делали ответственной за все, и моя жизнь превратилась в цепь действительных или мнимых проступков и цепь наказаний.

Мое здоровье не выдержало столь долгих и тяжких испытаний; я дошла до полного изнеможения, впала в уныние и тоску. Сначала я пыталась почерпнуть у подножия алтарей силу и готовность переносить страдания и обретала там иногда то и другое. Я колебалась между покорностью и отчаянием, то всецело подчиняясь своей суровой участи, то думая об освобождении насильственными средствами. В глуши сада был глубокий колодец; сколько раз я ходила туда! Сколько раз заглядывала в него! Возле колодца была каменная скамья; сколько раз я сидела там, прислонившись головой к краю этого колодца! Сколько раз вскакивала в крайнем возбуждении, твердо решив положить конец своим мучениям! Что удерживало меня? Почему я предпочитала тогда плакать, кричать громким голосом, топтать свое монашеское покрывало ногами, вырывать волосы и раздирать лицо ногтями? Если бог мешал мне погубить себя, то почему он не останавливал также всех этих движений?

• Я скажу вам сейчас нечто такое, что может показаться вам очень странным, и тем не менее это правда: я нисколько не сомневаюсь, что мои частые хождения к этому колодцу были замечены, и жестокие враги мои лелеяли надежду, что когда-нибудь я приведу в исполнение свое затаенное намерение. Когда я шла в эту сторону, притворялись, что удаляются и смотрят в другом направлении. Несколько раз я находила калитку сада открытой в часы, когда она должна быть заперта, особенно в те дни, когда меня больше всего мучили: меня толкали на крайний шаг, зная горячность моего характера и думая, что я повредила умом. Но как только я догадалась, что это средство уйти из жизни было, так сказать, предложено моему отчаянию, что меня водили к этому колодцу за руку, и что я всегда находила его готовым принять меня, я бросила эту мысль. Мой ум искал других путей: я оставалась в коридорах

и измеряла высоту окон; вечером, раздеваясь, бессознательно пробовала крепость своих подвязок; бывало, что я отказывалась есть, спускалась в трапезную и сидела, прислонясь спиной к стене, опустив руки, закрыв глаза и не дотрагиваясь до кушаний, которые ставили предо мной; я забывалась в таком состоянии настолько, что все монахини уходили, а я оставалась. Тогда нарочно старались удалиться без шума и оставляли меня там; затем меня наказывали за то, что я пропустила молитву. Словом, меня отвадили почти от всех средств лишения жизни, так как мне казалось, что их предоставляют в мое распоряжение вместо того, чтобы противостоять моим намерениям. Очевидно, мы не хотим, чтобы нас выталкивали из этого мира, и, может быть, меня не было бы уже в живых, если бы делали вид, что удерживают меня от самоубийства. Когда лишают себя жизни, то, может быть, стремятся довести до отчаяния других, и сохраняют ее, когда думают, что другие были бы удовлетворены самоубийством,—это неуловимые движения нашей души. В самом деле, насколько я помню то, что переживала, когда была у колодца, мне кажется, что внутри меня какой-то голос кричал этим несчастным, которые удалялись, содействуя злодеянию: «Сделайте хотя бы один шаг в мою сторону, проявите хотя бы малейшее желание спасти меня, подбегите, чтобы удержать меня, и будьте уверены, что вы придете слишком поздно». Воистину, я жила только потому, что они желали моей смерти. Ненсговое желание вредить, мучить может пресытиться в миру. Оно никогда не знает пресыщения в монастырях.

Такое жалкое существование влачила я, когда, окинув взором свою прошлую жизнь, задумала расторгнуть обет. Сначала я не думала об этом серьезно. Одинокая, заброшенная, без поддержки, как могла я надеяться осуществить замысел, столь трудно исполнимый даже с посторонней помощью, которой мне недоставало? Тем не менее эта мысль успокоила меня; мой ум уравновесился; я больше владела собой; избегала наказаний и бо-

лее терпеливо переносила выпавшее на мою долю. Эту перемену заметили и были удивлены ею; злоба вдруг остановилась подобно трусливому преследующему вас врагу, к которому вы оборачиваетесь лицом в тот момент, когда он этого не ожидает. Я хочу вас спросить, сударь, почему наряду со всеми зловещими мыслями, которые бродят в голове доведенной до отчаяния монахини, ей никогда не приходит мысль о поджоге монастыря? Ни я, ни другие ни разу не подумали об этом, хотя нет ничего легче; надо только в ветреный день отнести светильник на чердак, в дровяной сарай, в коридор. Совсем не слышно о сгоревших монастырях, а между тем при подобном событии двери отворяются настежь, и спасается, кто может. Не объясняется ли это боязнью погибнуть самим и погубить тех, кого любишь, и нежеланием прибегнуть к помощи, которая будет оказана нам наравне с теми, кого мы ненавидим? Эта последняя мысль слишком тонка и поэтому неправдоподобна.

Чем больше нас захватывает какая-нибудь мысль, тем правильнее и даже осуществимее кажется она нам; мы испытываем при этом необыкновенный прилив сил. В какие-нибудь две недели я дошла до такого состояния. Ум мой не любит мешкать. Что надо было сделать? Составить записку с изложением обстоятельств дела и посоветоваться с кем-нибудь по поводу ее; то и другое было не безопасно. С тех пор, как в моей голове произошла революция, за мной следили особенно внимательно: с меня не спускали глаз, о каждом моем шаге доносили, каждое мое слово взвешивалось. Со мной сближались, стараясь выведать, что со мной; меня расспрашивали, выражали притворное соболезнование и дружбу; вспоминали мою прошлую жизнь; меня журили и извиняли; надеялись на мое лучшее поведение, сулили мне более приятное будущее, а между тем под разными предлогами то и дело входили в мою келью днем и ночью, входили внезапно, неслышно, отдергивали полог кровати и удалялись. У меня выработалась привычка спать одетой; у меня завелась другая — писать свою исповедь.

В установленный день я пошла попросить чернил и бумаги у настоятельницы,— она не отказала мне в этом. Я ждала исповеди, а покамест обдумывала предполагаемую записку,— это было краткое изложение того, что я вам написала, только в моем рассказе фигурировали вымышленные имена. Но я допустила три оплошности: во-первых, сказала настоятельнице, что мне надо о многом написать, и попросила у нее под этим предлогом больше бумаги, чем полагается; во-вторых, занялась своей запиской и забросила исповедь и, в-третьих, не помышляя ни о какой исповеди и совершенно не приготовившись к этому обряду, оставалась в исповедальне не более минуты. Все это было замечено; отсюда заключили, что просимая мною бумага была использована не так, как я говорила. Но если я, очевидно, не воспользовалась ею для исповеди, то на что же я ее употребила?

Не зная о поднявшейся тревоге, я сознавала, что записку такого важного содержания необходимо скрыть от посторонних глаз. Сначала я думала зашить ее в подушку или в матрац, затем спрятать в своей одежде, зарыть в саду, бросить в огонь. Вы не поверите, как я спешила писать и в каком затруднительном положении очутилась, когда кончила. Сначала я запечатала свою записку, затем спрятала ее у себя на груди и пошла в церковь, когда ударили в колокол. Я испытывала беспокойство: оно проглядывало в моих движениях. Я села рядом с молодой монахиней, любившей меня; я видела не раз, что она смотрит на меня с жалостью и плачет; она не говорила со мной ни слова, но, конечно, страдала. Рискуя всем, что могло произойти от этого, я решила доверить ей свою рукопись; во время чтения молитвы, когда все монахини стоят на коленях и, невидимые в местах для сидения, кладут земные поклоны, я потихоньку вытащила рукопись и протянула ей; она взяла ее и спрятала у себя на груди. Эта услуга была самой важной из всех, какие она мне оказала, а она оказала мне их немало. В продолжение многих месяцев эта монахиня старалась, не выдавая себя, устранять все

мелкие препятствия, которые изобретались, чтобы помешать мне исполнять свои обязанности и иметь право наказывать меня: стучала в дверь моей кельи, когда надо было выходить; исправляла то, что портили, шла звонить или отвечать, когда это было надо, находилась везде, где должна была быть я. Ничего этого я не знала.

Хорошо, что я приняла это решение. Когда мы сошли с хор, настоятельница сказала мне: «Сестра Сюзанна, следуйте за мной»... Я пошла за ней; она остановилась в коридоре перед другой дверью и промолвила: «Вы перейдете в эту келью; вашу займет сестра Иеремия»... Я вошла вместе с нею. Обе мы сидели молча, как вдруг появилась монахиня с одеждой и положила ее на стул. Настоятельница сказала: «Сестра Сюзанна, разденьтесь и наденьте эту одежду»... Я исполнила это в ее присутствии, между тем как она внимательно следила за моими движениями. Сестра, принеся мне одежду, осталась за дверью; она снова вошла, собрала ту, которую я сняла, и вышла; настоятельница последовала за ней. Мне не объяснили причины этих действий, и я не спросила о ней. Тем временем обыскали мою келью, распоролли подушку и матрацы, переставили все, что можно было или что я могла переставить, побывали везде, где только ступала моя нога, ходили в исповедальню, в церковь, в сад, к колодцу, к каменной скамье; я видела часть этих поисков и догадалась об остальном. Не нашли ничего, тем не менее остались твердо убежденными, что что-то было. В течение нескольких дней продолжали шпионить за мной: шли туда, куда шла я, подсматривали везде, но тщетно. Наконец, настоятельница пришла к заключению, что истину можно узнать только от меня самой. Однажды она вошла в мою келью и сказала:

— Сестра Сюзанна, у вас есть недостатки, но вы не лгунья, — скажите же мне правду: что вы сделали со всей той бумагой, которую я дала вам?

— Я сказала вам это, матушка.

— Этого не может быть, ибо вы выпросили у меня

много бумаги, а сами пробыли какую-нибудь минуту в исповедалъне.

— Это правда.

— Что же вы сделали с бумагой?

— То, что я вам сказала.

— Ну, так поклянитесь мне святым послушанием, которое вы обещали богу, что это правда, и, вопреки очевидности, я поверю вам.

— Матушка, вам не дозволено требовать клятвы по такому ничтожному поводу, а мне не дозволено давать ее. Я не могу поклясться.

— Вы обманываете меня, сестра Сюзанна, и сами не знаете, чему подвергаетесь. Что сделали вы с бумагой, которую я дала вам?

— Я сказала вам это.

— Где она?

— У меня ее больше нет.

— Что вы сделали с ней?

— То, что делают с исписанной бумагой, которая не нужна больше, после того как ее используют.

— Поклянитесь мне святым послушанием, что вся она использована на вашу исповедь и что вы не имеете ее больше.

— Повторяю вам, матушка, второе так же маловажно, как и первое, и я не могу дать клятвы.

— Клянитесь, — сказала она, — или...

— Я не поклянусь ни в коем случае.

— Ни в коем случае не поклянетесь?

— Нет, матушка.

— Значит, вы виноваты.

— В чем же я могу быть виновата?

— Во всем. Вы способны на все. Вы нарочно восхваляли мою предшественницу, чтобы унижить меня; вы с презрением относитесь к обрядам, которые она изгнала, к правилам, которые она нарушала и которые я сочла своим долгом восстановить; вы возмущали всю общину; обходили устав; вносили раскол; не исполняли ни одной из своих обязанностей; принуждали меня наказывать час

и наказывать тех, кого вы совратили, а это было мне тяжелее всего. Я могла бы самым суровым образом расправиться с вами; я щадила вас, думая, что вы сознаете свои вины, станете на путь, подобающий вашему званию, и примиритесь со мной,— вы не сделали этого. Что-то нехорошее происходит в вашей душе, вы что-то замышляете; благо монастыря требует, чтобы я знала ваши намерения, и я узнаю их,— ручаюсь вам. Сестра Сюзанна, скажите правду.

— Я сказала вам ее.

— Я уйду сейчас; бойтесь моего гнева... Вот я села; даю вам еще минуту на размышление, ваши бумаги, если они существуют...

— У меня их нет больше.

— Или клятву в том, что они содержали только вашу исповедь.

— Я не могу дать клятвы...

Она помолчала, затем вышла и вернулась с четырьмя своими фаворитками; у них был яростный и иступленный вид. Я бросилась к их ногам, умоляя о милосердии. Они кричали все разом: «Никакого милосердия, матушка, не поддавайтесь жалости; пусть она отдаст свои бумаги или же пребудет *in pace**...» Я обнимала колени то одной, то другой,—говорила им, называя их по именам: «Сестра Агнеса, сестра Юлия, что я сделала вам? Почему вы возбуждаете против меня настоятельную? Разве я так поступала? Сколько раз прощала я вас? Вы это забыли. Вы были виноваты, а за мной нет вины».

Настоятельница смотрела на меня, не двигаясь, и говорила:

— Отдай свои бумаги, несчастная, или открой, что в них.

— Матушка,—говорили они,— не требуйте у нее больше бумаг, вы слишком добры, вы ее не знаете,— это непокорная душа, ее можно привести к раскаянию

* В мире,—иносказательно, в данном случае: в карцере.

только крайними средствами; она навязывает их вам, — тем хуже для нее.

— Матушка, — сказала я, — клянусь вам, что я не сделала ничего, что могло бы оскорбить господина или людей.

— Я хочу не этой клятвы.

— Она написала записку старшему викарию архиепископа против нас, против вас. Одному богу известно, как она расписала порядки монастыря; дурному легко верят. Матушка, надо расправиться с этой тварью, если вы не хотите, чтобы она помыкала нами.

Настоятельница прибавила:

— Сестра Сюзанна, видите...

Я порывисто поднялась и сказала ей:

— Матушка, я все вижу, я чувствую, что погибаю; но об этом не стоит думать, не все ли равно, минутой раньше, минутой позже. Делайте со мной, что вам угодно, внимайте их ярости, творите несправедливость...

И я тут же протянула им руки. Спутницы настоятельницы схватили их. С меня сорвали покрывало, бесстыдно содрали одежду. На груди у меня нашли маленький портрет прежней настоятельницы, в него вцепились; я умоляла позволить мне еще раз поцеловать его, — мне отказали. Мне швырнули рубаху, сняли чулки, накинули мешок и повели по коридорам босиком, с непокрытой головой. Я кричала, звала на помощь, но звали в колокол, чтобы никто не показывался. Я зывала к небу, бросалась на пол. Меня волочили. Когда я очутилась внизу лестницы, мои ступни были окровавлены, а голени покрыты снысками, я была в таком состоянии, что могла бы тронуть каменные души. Тем не менее открыли громадным ключом дверь маленького темного подземелья, куда меня бросили на цыновку, полусгнившую от сырости. Там я нашла кусок черного хлеба, кувшин с водой и кое-какую необходимую посуду грубой работы. Подвернутый конец цыновки заменял подушку; на каменной глыбе стояли череп и деревянное распятие. Первой моей мыслью было покончить с собой:

я хваталась руками за горло, раздирала одежду зубами, испускала страшные крики, выла, как дикий зверь, колотилась головой об стены, я была вся в крови, я старалась убить себя, пока не выбилась из сил, что не заставило себя ждать. Трое суток пробыла я там; я думала, что меня заключили туда на всю жизнь. Каждое утро какая-нибудь из моих мучительниц приходила и говорила мне:

— Подчинитесь нашей настоятельнице и вы выйдете отсюда.

— Я ничего не сделала и не знаю, чего от меня хотят. Ах, сестра Клеман, подумайте о боге!..

На третий день, в девять часов вечера, дверь открылась; это были те же самые монахини, которые привели меня сюда. Воздав хвалу доброте нашей настоятельницы, они объявили мне, что она смилостивилась надо мной и что они пришли выпустить меня на свободу.

— Слишком поздно, — сказала я, — оставьте меня здесь, я хочу здесь умереть.

Тем не менее они подняли меня и поволокли в мою келью, где находилась настоятельница.

— Я обратилась к богу за советом относительно вашей участи; он тронул мое сердце, он хочет, чтобы я сжалась над вами, я повинуюсь его воле. Преклоните колена и просите у него прощения.

Я опустила на колени и сказала:

— Господи, прошу тебя, прости меня за совершенные мною грехи, как ты просил на кресте за меня.

— Какая гордыня! — воскликнули монахини, — она сравнивает себя с Иисусом Христом, а нас — с иудеями, распявшими его.

— Оглянитесь лучше на себя, — сказала я, — и тогда судите.

— Кроме того, — сказала настоятельница, — поклянитесь мне, что вы никогда не будете говорить о том, что произошло.

— Значит, вы поступили очень дурно, раз требуете от меня клятвенного обещания хранить молчание. Никто,

кроме вашей совести, не узнает ничего, клянусь вам в этом.

— Вы клянетесь в этом?

— Да, клянусь вам.

После этого с меня стащили рубище и позволили надеть мою прежнюю одежду.

Я простудилась в сыром подземелье; я была на краю гибели; все мое тело было в синяках; кроме нескольких капель воды и кусочка хлеба я ничего не съела за все эти дни. Хотелось верить, что это гонение будет последним. Я поправилась в самое короткое время. Мимолетное действие этого жестокого потрясения показало, сколько сил заложено природой в молодом существе, и когда я снова появилась, оказалось, вся община была убеждена в том, что я была больна. Я снова вошла в монастырскую келью и заняла свое место в церкви. Я не забыла ни о своей рукописи, ни о молодой сестре, которой ее доверила; я была уверена, что она добросовестно хранит ее, но что это причиняет ей беспокойство. Несколько дней спустя по выходе из тюрьмы, на хорах, в тот самый момент, в какой я отдала ей рукопись, то есть когда мы становимся на колени и наклоняемся одна к другой, исчезая среди скамей, я почувствовала, что меня потихоньку тянут за платье; я протянула руку, и мне дали записку, содержащую лишь следующие слова: «Как я беспокоюсь! Что мне делать с этими ужасными бумагами»... Прочтя это, я скатала записку в руках и проглотила. Все это происходило в начале великого поста. Приближалось время, когда из Парижа прибывает в Лондон много разной публики, привлеченной желанием послушать церковное пение. У меня был прекрасный голос; он почти не пострадал. В монастырях не упускают ни малейшей выгоды. Мне были сделаны некоторые послабления: я стала пользоваться несколько большей свободой; сестры, которых я обучала пению, могли подходить ко мне, не опасаясь последствий,— в числе их была и та, которой я доверила свою записку. В свободные от занятий часы, которые мы проводили в саду, я отвела

ее в сторону и попросила спеть; и в то время, как она пела, я сказала ей следующее:

— У вас много знакомых мирян, я же незнакома ни с кем. Я не хотела бы компрометировать вас и предпочла бы умереть здесь, чем навлечь на вас подозрение, что вы оказываете мне услуги,— вы погибли бы, друг мой, я знаю это, а меня это не спасло бы, и если бы даже ваша гибель спасла меня, то я, конечно, не желала бы своего спасения такою ценой.

— Оставим это,— сказала она,— в чем дело?

— Надо передать через верное лицо этот запрос какому-нибудь искусному адвокату, причем должно остаться неизвестным, из какого монастыря этот запрос, и получить ответ, который вы мне передадите в церкви или в другом месте.

— Кстати,— сказала она,— что сделали вы с моей запиской?

— Не беспокойтесь, я проглотила ее.

— Не беспокойтесь и вы, я позабочусь о вашем деле.

Надо заметить, сударь, что я пела, покамест она говорила, а она пела в то время, как я отвечала ей; наш разговор прерывался фиоритурами. Эта молодая особа, сударь, находится еще в монастыре; ее счастье в ваших руках; если откроют то, что она делала для меня, то нет таких мучений, которым бы она не подверглась. Я не хотела бы, чтобы из-за меня разверзлась перед ней дверь темницы, и предпочла бы сама войти туда. Сожгите же эти письма, сударь; лишь бы вы не утратили проявленного вами интереса к моей судьбе, а они не содержат ничего, из-за чего стоило бы хранить их.

Вот что я говорила вам тогда, но, увы, ее нет более, я осталась одна...

Она сдержала слово без промедления и уведомила меня нашим обычным способом. Наступила страстная неделя; к вечерней службе стекло в монастырь много народу. Я пела настолько хорошо, что вызвала шумные скандальные аплодисменты, которыми награждают ваших комедиантов в зрительных залах и которые не должны

были бы никогда раздаваться в храмах господних, особенно в течение торжественных и скорбных дней, когда чествуют память сына божия, распятого на кресте ради искупления преступлений рода человеческого. Мои молодые ученицы были хорошо подготовлены; у некоторых был хороший голос; исполнение почти всех отличалось выразительностью и вкусом, и мне показалось, что публика слушала их с удовольствием и что монастырская община была удовлетворена успехом, достигнутым благодаря моим стараниям.

Вы знаете, сударь, что в чистый четверг переносят святые дары из дарохранилища на особый престол, где они остаются до утра пятницы. В этот промежуток монахини приходят поклониться святым дарам, направляясь к алтарю одна за другой или парами. Вывешивается табличка, указывающая каждой ее час; с какой радостью прочла я там: «Сестра Сюзанна и сестра Урсула с двух до трех часов утра!» Я отправилась к алтарю в назначенный час; моя подруга была уже там. Мы поместились друг подле друга на ступенях алтаря; вместе простерлись ниц и молились богу в течение получаса. По прошествии этого времени молодая подруга протянула мне руку и пожала мою со словами:

— Нам, может быть, никогда не представится более случая беседовать так долго и так свободно; богу известно, в какой неволе мы живем, и он простит нас, если мы используем часть времени, которое обязаны отдать ему целиком. Я не читала вашей записки, но нетрудно догадаться, что она содержит. Я в самом скором времени жду ответа. Но если этот ответ уполномочит вас предпринять дальнейшие шаги для расторжения обета, то не кажется ли вам, что необходимо будет посоветоваться с юристами?

— Правильно.

— Что вы будете нуждаться в свободе?

— Правильно.

— Что вы хорошо сделаете, если воспользуетесь теперешними настроениями, чтобы обеспечить ее себе?

— Я думала об этом.

— Итак вы это сделаете?

— Там будет видно.

— Кроме того: если ваше дело начнется, то на вас обрушится ярость всей общины. Предвидели ли вы гонения, ожидающие вас?

— Они будут не больше тех, которым я подвергалась.

— Не берусь судить.

— Извините. Прежде всего не осмелятся посягать на мою свободу.

— Почему же?

— Потому что тогда я буду под покровительством закона; мне придется предстать перед судом, я окажусь, так сказать, между миром и монастырем; уста мои не будут скованы, я смогу свободно жаловаться и всех вас призову в свидетели; не осмелятся чинить несправедливости, на которые я могла бы пожаловаться, поостерегутся придать делу дурной оборот. Если будут обращаться со мной плохо, то мне только этого и надо, но этого не случится, будьте уверены, я поведу себя совершенно иначе. Будут упрашивать меня, изображать предо мной весь тот вред, который я причиню себе самой и монастырю, и вы увидите, что к угрозам перейдут только тогда, когда убедятся, что ни кротость, ни соблазны не достигают цели, — не позволят себе прибегнуть к насилию.

— Трудно поверить, что вы питаете такое отвращение к монашеству: вы так легко и так добросовестно исполняете свои обязанности.

— Однако я чувствую это отвращение, я родилась с ним, и оно меня не покинет. Я кончила бы тем, что стала бы плохой монахиней; надо предупредить наступление этого часа.

— Но если, к несчастью, вы окажетесь побежденной в борьбе?

— Если я буду побеждена, то попрошу перевести меня в другой монастырь или же умру в этом.

— Прежде чем умереть, придется много перестрадать. Ах, друг мой, ваш поступок заставляет меня содрогаться: я трепещу, думая, что обет не будет расторгнут. Что станется с вами в случае расторжения? Что будете делать вы в миру? Вы обладаете красивой наружностью, умом, талантами, но говорят, это не ведет на стезю добродетели, а я знаю, что вы не сойдете с этой стези.

— Вы отдаете мне должное, но не отдаете должного добродетели, — на нее одну я уповаю. Чем реже она среди людей, тем больше ее надо чтить.

— Ее восхваляют, но ничего не делают ради нее.

— Она ободряет и поддерживает меня в моих планах. Как бы ни корили меня, отдадут должное моей нравственности. Обо мне не скажут, по крайней мере, как о большинстве других, что я покидаю монашество, увлеченная греховной страстью: я не вижу никого, я незнакома ни с кем. Я прошу дать мне свободу, так как пожертвовала своей свободой против воли. Прочли ли вы мою записку?

— Нет, я вскрыла пакет, который вы мне дали, так как он был без адреса, и я естественно думала, что он предназначен мне; но с первых же строк увидела, что ошиблась, и не стала читать дальше. Как хорошо, что вам пришло в голову отдать его мне, минутой позже его нашли бы у вас... Но срок нашего моления кончается, повергнемся ниц; пусть те, которые придут нам на смену, найдут нас в том положении, в каком нам подобает быть. Просите бога просветить вас и наставить на путь истины, я присоединю свою молитву и свои воздыхания к вашим.

У меня стало немного легче на душе. Моя подруга молилась стоя, а я повергнувшись ниц; лоб мой касался последней ступени алтаря, а руки были распростерты на верхних ступенях. Кажется, я никогда не обращалась к богу с таким жаром, никогда не находила в молитве такого утешения, сердце мое трепетало, я мгновенно забыла окружающее. Не знаю, сколько времени

я оставалась в таком положении, сколько времени осталась бы еще, но, вероятно, я представляла очень трогательное зрелище для своей подруги и для двух пришедших на смену монахинь. Я поднялась, думая, что я одна, — я ошиблась: они стояли за мной все три и проливали слезы, не решаясь прервать меня и ожидая, когда я выйду сама из состояния восторженного порыва, в котором они меня видели. Когда я обернулась к ним, мое лицо было несомненно очень выразительно, судя по впечатлению, которое оно произвело на них. По их словам, я походила тогда на нашу прежнюю настоятельницу в те минуты, когда она утешала нас; своим видом я вызвала в них тот же трепет. Если бы я имела какую-либо склонность к лицемерию или фанатизму и хотела бы играть роль в монастыре, то нисколько не сомневалась, что это удалось бы мне. Душа моя легко воспламеняется, доходит до экстаза, умиляется; и эта добрая монахиня говорила сотни раз, обнимая меня, что никто не любит бога так, как я, что мое сердце из плоти, а у других из камня. Верно то, что я с чрезвычайной легкостью заражалась ее экстазом; когда она громко молилась, я, бывало, также начинала говорить, следуя за ней, ее мыслей и иной раз наталкиваясь, как бы по вдохновению, на то, что сказала бы она сама. Другие слушали ее молча или повторяли вслед за ней, я же прерывала ее, опережала или говорила вместе с нею. Я очень долго сохраняла полученное впечатление и, очевидно, давала ей что-то от себя, ибо можно было заметить, что если на других отражались беседы с нею, то на ней отразились беседы со мною. Но какое это имеет значение, когда нет призвания?.. Наше моление кончилось, мы уступили место пришедшим нам на смену; я очень нежно обнялась со своей молодой подругой, прежде чем расстаться.

О сцене у алтаря заговорили в монастыре; прибавьте к этому успех нашей вечерней службы в святую пятницу: я пела, играла на органе, мне аплодировали. Какие взыбалмошные головы у монахинь! Мне ничего не стоило

восстановить мир со всей общиной, — передо мной записки, настоятельница первая. Некоторые из мирян искали моего знакомства; я не отказывалась: это вполне соответствовало моим планам. Я виделась с г-ном старшим председателем, с г-жой де-Субиз, со множеством почтенных людей, монахов, священников, военных, судейских, набожных женщин, светских дам; среди них попадались вертопрахи, которых вы называете «красными каблуками»³, но я не замедлила их выпроводить. Я поддерживала только те знакомства, какие не могли вызвать нареканий, предоставляя другие тем из наших монахинь, которые не были так строги.

Я забыла сказать вам, что первым знаком благоволения ко мне было мое водворение в моей келье. Я осмелилась попросить обратно портрет нашей прежней настоятельницы, — у них нехватило смелости мне отказать, портрет этот занял место у моего сердца и останется там, пока я жива. Каждое утро я первым делом возношусь мысленно к богу, затем целую портрет; когда я хочу молиться и чувствую, что душа моя холодна, я снимаю его с шеи, ставлю перед собой, смотрю на него, и он вдохновляет меня. Очень жаль, что мы не знали лично святых, изображения которых выставляются для поклонения, они производили бы на нас совсем иное впечатление, мы не оставались бы, повергнувшись ниц или стоя перед ними, такими холодными, какими бываем обычно.

Я получила ответ на свою памятную записку. Ответ — от некоего г-на Манури⁴ — был неопределенным. Прежде чем дать заключение по этому делу, требовалось множество разъяснений; их было трудно представить, не повидавшись лично, — поэтому я открыла свое имя и пригласила г-на Манури в Лондан. Эти господа тяжёлы на подъем; тем не менее он приехал. Мы очень долго беседовали и условились относительно переписки. Через надежных людей он должен был передавать мне свои запросы, а я посылать ему ответы. Пока он вел мое

дело, я, со своей стороны, использовала время, чтобы завербовать сторонников, заинтересовать своей участью и найти покровителей. Я назвала себя, откровенно рассказала о своем поведении в первой обители, где я жила, о всем, что выстрадала дома, о мучениях, которым меня подвергали в монастыре, о демонстративном отказе в обители св. Марии, о своем пребывании в Лоншане, о принятии послушничества, о пострижении в монашество, о жестоком обращении со мною после того как я дала обет. Меня жалели, мне предлагали помощь. Не пускаясь в дальнейшие объяснения, я заручилась обещаниями выступить в мою пользу, когда это понадобится. Мои хлопоты не выплыли наружу. Я получила из Рима разрешение ходатайствовать о расторжении обета. Немедленно после этого предстояло возбудить дело, а в монастыре ничего не подозревали. Можете себе поэтому представить изумление настоятельницы, когда ей предъявили от имени сестры Марии-Сюзанны Симонен протест против обета, с просьбой разрешить снять монашескую одежду и выйти из монастыря, чтобы располагать собой по своему усмотрению.

Я предвидела, что натолкнусь на противодействие разного рода: со стороны законов, со стороны монастыря и со стороны моих встревоженных шуринов и сестер. Они владели всем семейным имуществом. Освободившись, я могла бы потребовать у них возвращения значительной доли. Я написала сестрам, умоляла их не чинить никаких препятствий моему выходу, взывала к их совести, указывая, что обет мой не был дан добровольно, предлагала им подписать акт отказа от всех притязаний на наследство отца и матери, пустила в ход все, чтобы убедить их, что ни материальные соображения, ни страсть не являются мотивами моего поступка. Я не возлагала никакой надежды на их чувства: акт отказа от наследства, который я предлагала им, оставался недействительным, будучи подписан монахиней, а они несколько не были уверены в том, что я подтверждаю его, когда буду свободна; и кроме того, удобно ли им было принимать мои

предложения? Оставить сестру без пристанища и без средств к жизни? Воспользоваться ее имуществом? Что скажут в свете? Если она попросит у них хлеба, то разве можно будет отказать ей? Если ей придет фантазия выйти замуж, то что за человек будет ее муж? А если у нее будут дети?.. Надо изо всех сил противиться этой опасной попытке... Вот что они сказали себе и что они сделали.

Как только настоятельница получила мое судебное прошение, она прибежала ко мне в келью:

— Как, сестра Сюзанна, вы хотите нас покинуть?

— Да, матушка.

— И вы собираетесь отказать от своего обета?

— Да, матушка.

— Разве вы не дали его свободно?

— Нет, матушка.

— Кто же вас принуждал?

— Все.

— Ваш отец?

— Мой отец.

— Ваша мать?

— И она также.

— Почему же вы не объявили это у подножия алтаря?

— Я была в таком состоянии, что не помню даже, что присутствовала там.

— Как можете вы так говорить?

— Я говорю правду.

— Как! Вы не слышали, как священник спрашивал вас: «Сестра Сюзанна Симонен, даете вы богу обет послушания, целомудрия и бедности?»

— Я не помню этого.

— Разве вы не ответили утвердительно?

— Я не помню этого.

— И вы воображаете, что вам поверят?

— Поверят мне или нет, но факт остается фактом.

— Дорогое дитя, если бы подобные предлоги выслушались, то к каким злоупотреблениям привело бы

это! Вы поступили необдуманно; вы поддались чувству мести; вы затаили в сердце злобу из-за наказаний, которым вынуждали меня подвергать вас; вы думали, что для расторжения обета достаточно будет сослаться на них; вы ошибаетесь: ваш обет расторжим ни перед людьми, ни перед богом. Не забывайте, что нарушение клятвы — тяжчайшее из всех преступлений; вы уже совершили его в сердце своем, а теперь собираетесь довести до конца.

— Я не нарушу никакой клятвы, я ни в чем не клялась.

— Если по отношению к вам была допущена какая-нибудь несправедливость, то разве она не была исправлена?

— Вовсе не эта несправедливость побудила меня принять решение.

— А что же тогда?

— Отсутствие призвания, отсутствие свободы при произнесении обета.

— Если вы не имели никакого призвания, если вас принуждали, то почему же вы не сказали этого в свое время?

— А разве это помогло бы мне?

— Почему вы не обнаружили той же твердости, какую проявили в монастыре св. Марии?

— Разве твердость зависит от нас? Я была тверда в первый раз; во второй — не ведала, что творила.

— Почему вы не обратились к юристу? Почему вы не протестовали? В вашем распоряжении были целые сутки, чтобы взять обратно свой обет.

— Разве я знала что-нибудь об этих формальностях? А если бы и знала, то разве я в состоянии была воспользоваться ими? Хватило ли бы у меня на это сил? Неужели, матушка, вы не заметили сами, что я была неменяема? Если я призову вас в свидетели, поклянетесь ли вы, что я была в здравом уме?

— Поклянусь!

— Тогда значит вы, матушка, а не я, нарушите клятву.

— Дитя мое, вы затеваете ненужную громкую историю. Опомнитесь, заклинаю вас, подумайте о своих собственных интересах, об интересах монастыря; дела этого рода никогда не обходятся без скандальных сплетен.

— Это не моя вина.

— Миряне злы; возникнут самые неблагоприятные подозрения относительно вашего ума, вашего сердца, вашей нравственности, подумают...

— Пусть думают, что хотят.

— Но скажите мне откровенно, если вы чем-нибудь втайне недовольны, то, что бы это ни было, можно устранить это.

— Я была и останусь всю жизнь недовольной положением монахини.

— Не воспользовался ли дух-искуситель, постоянно расставляющий нам свои сети и ищущий нашей гибели, слишком большой свободой, предоставленной вам с некоторого времени, чтобы внушить какое-нибудь греховное влечение?

— Нет, матушка, вы знаете, что я не клянусь без нужды. Призываю бога в свидетели, — мое сердце чисто, оно никогда не знало никакого постыдного чувства.

— Это непостижимо.

— И тем не менее, матушка, нет ничего проще. У каждого свой характер, у меня — свой; вы любите монастырскую жизнь, а я ее ненавижу; вы получили от бога благодать быть монахиней, а я лишена ее вовсе; вы погибли бы, живя в миру, и уверены, что здесь обретете ваше спасение; я погибла бы здесь и надеюсь спастись в миру; я плохая монахиня и останусь такой.

— Почему же? Никто не исполняет лучше вас своих обязанностей.

— Но это делается нехотя и с трудом.

— Тем больше ваша заслуга.

— Никто не может знать лучше меня, чего я заслуживаю, и я принуждена признаться, что, подчиняясь всему, я не заслуживаю ничего. Я устала быть лицемеркой: делая то, что спасает других, я ненавижу себя

и гублю свою душу. Короче говоря, матушка, по моему убеждению, истинными монахинями являются только те, которых удерживает здесь склонность к затворничеству и которые остались бы здесь, если бы вокруг них не было ни решеток, ни стен, не позволяющих им уйти. Не хватает очень многого, чтобы я принадлежала к их числу: мое тело здесь, а сердце мое отсутствует, оно вне монастыря, и, если бы пришлось выбирать между смертью и вечным заточением, я, не колеблясь, предпочла бы умереть. Таковы мои чувства.

— Как! Вы без угрызений совести оставите это покрывало, эти одежды, посвящающие вас Иисусу Христу?

— Да, матушка, так как я надела их, не размышляя и не будучи свободна...

Я отвечала ей очень сдержанно, хотя мое сердце подсказывало совсем иное. Оно говорило мне: «О, если бы я могла разорвать их и отбросить далеко прочь!..» Тем не менее мой ответ сразил настоятельницу; она побледнела, хотела говорить еще, но губы ее дрожали; она не знала, что сказать. Я большими шагами ходила по келье, а она восклицала:

— О господи! Что скажут наши сестры? О Иисусе Христе, смилостивься над нею! Сестра Сюзанна!

— Слушаю, матушка.

— Значит вы твердо решили? Вы хотите нас опозорить, сделать нас притчей во языцех, а себя погубить!

— Я хочу выйти отсюда.

— Но если вам не нравится наш монастырь...

— Монастырь, мое звание, монашество, сектантство,— я не хочу находиться в заточении ни здесь, ни в другом месте.

— Дитя мое, демон овладел вами: он возбуждает вас, он говорит вашими устами, он вдохновляет вас,— воистину это так; посмотрите, в каком вы состоянии.

Действительно, окинув себя взглядом, я увидела, что мое платье в беспорядке; косынка с нагрудником съехала назад, покрывало упало на плечи. Я была раздражена

словами этой злой настоятельницы, говорившей со мной таким елейным тоном, и сказала ей с досадой:

— Нет, матушка, нет, я не хочу больше этой одежды, я не хочу ее больше...

Я пыталась все же поправить свое покрывало; мои руки дрожали; и чем больше я старалась привести его в порядок, тем больше оно сбивалось в сторону. Потеряв терпение, я схватила его, сорвала с себя, бросила наземь и осталась перед настоятельницей с одной повязкой на лбу и с растрепанными волосами. Между тем, не зная, следует ли ей оставаться, она ходила по келье, говоря: «О Иисусе Христе! Она одержимая; воистину так,— она бесноватая»... И лицемерка осеняла себя крестом своих четок.

Вскоре я пришла в себя и почувствовала непристойность своего поведения и неблагоразумие своих речей; я постаралась привести себя в порядок, подобрала покрывало и снова надела его; затем, обращаясь к настоятельнице, сказала:

— Матушка, я не сумасшедшая и не бесноватая, я стыжусь своей вспышки и прошу вас простить меня за нее, но сами посудите, как мало подходит мне звание монахини, и насколько права я, стараясь по мере сил избавиться от него.

Она, не слушая меня, повторяла:

— Что будут говорить в миру? Что скажут наши сестры?

— Матушка,— сказала я,— хотите избежать огласки? Есть выход. Я несколько не гонюсь за вкладом; единственное, что я прошу, это дать мне свободу; я не заикаюсь о том, чтобы вы открыли мне двери; позаботьтесь только, чтобы сегодня, завтра или когда-нибудь после их плохо сторожили и постарайтесь заметить мое исчезновение как можно позже...

— Несчастливая! Что вы осмеливаетесь мне предлагать?

— Совет, который добрая и разумная настоятельница должна была бы применять ко всем тем, для кого их монастырь — тюрьма; а для меня монастырь в тысячу

крат более ужасная тюрьма, чем те тюрьмы, в которые заключают преступников,— я должна или выйти из него или погибнуть в нем. Матушка,— сказала я ей торжественным тоном и твердо глядя на нее,— выслушайте меня: если закон, к которому я обратилась, обманет мои ожидания и чувство отчаяния, слишком хорошо знакомое мне, толкнет меня... у вас есть колодец... есть окна в монастыре... стены повсюду передо мной... можно разорвать одежду... можно воспользоваться руками...

— Остановитесь, несчастная! Слушая вас, я содрогаюсь от ужаса. Как, вы могли бы...

— Я могла бы, за неимением того, что может сразу оборвать муки жизни, отказаться от пищи,— каждый волен пить и есть или ни до чего не дотрагиваться... Если бы после того, что я вам сказала, случилось, что у меня хватило бы мужества... а вы знаете, что у меня нет недостатка в нем и что иногда надо иметь больше мужества, чтобы жить, чем для того, чтобы умереть... перенеситесь мысленно на суд божий и скажите мне, кто из нас двух — настоятельница или ее монахиня покажется ему более виновной?.. Матушка, я не требую обратно и никогда ничего не потребую от монастыря; избавьте меня от злодеяния, избавьте себя от долгих угрызений, давайте договоримся...

— Что вы задумали, сестра Сюзанна? Чтобы я нарушила первую из своих обязанностей, приложила руки к преступлению, стала соучастницей святотатства!

— Настоящее святотатство, матушка, совершаю я ежедневно, оскверняя презрением священные одежды, которые ношу. Снимите их с меня, я недостойна их; велите найти в деревне лохмотья беднейшей крестьянки, и пусть монастырская ограда приоткроется предо мною.

— Куда же вы пойдете искать лучшего?

— Не знаю, куда я пойду, но плохо только там, где бог не хочет нас, а бог не хочет меня здесь.

— У вас ничего нет.

— Верно, но нищета страшит меня меньше всего.

— Бойтесь разврата, в который она вовлекает.

— Мое прошлое — залог будущего. Если бы я хотела слушать голос греха, я была бы свободна. Но если мне суждено выйти из этого монастыря, то это будет или с вашего согласия, или с разрешения закона. Выбирайте одно из двух...

Разговор этот был очень продолжителен. Вспоминая его, я краснею от тех смешных и непристойных вещей, которые я сделала и сказала, но этого уж не поправишь. Настоятельница продолжала восклицать: «Что будут говорить в миру! Что скажут наши сестры!» Но тут зазвонил колокол, призывая нас в церковь, и мы расстались. Она сказала мне, уходя:

— Сестра Сюзанна, вы пойдете в церковь; молитесь богу тронуть ваше сердце и вернуть вам смиренномудрие, спросите свою совесть и верьте тому, что она скажет вам, — она не может не упрекать вас. Освобождаю вас от пеня.

Мы вошли в церковь почти одновременно. Служба кончилась; по окончании службы, когда все сестры готовы были разойтись, настоятельница постучала по ребрику и остановила их.

— Сестры мои, — сказала она, — призываю вас пасть к подножию алтаря и молиться милосердному богу об одной монахини, которую он покинул: она потеряла влечение к монашеству, утратила благочестие и готова совершить акт, кощунственный в глазах господних и постыдный в глазах людских.

Не могу описать вам всеобщего изумления; каждая, не двигаясь, во мгновение ока окинула взглядом лица своих товарок, стараясь распознать виновную по обнаруженному ею замешательству. Все простерлись ниц и молились молча. По прошествии довольно значительного времени настоятельница запела вполголоса *Veni, Creator**, и все продолжали тихим голосом *Veni, Creator*, затем, после второй паузы, настоятельница постучала по пюпитру, и все вышли.

* Приди, создатель.

Представляете себе толки, поднявшиеся в монастырской общине: «Кто это? Кто она? Что она сделала? Что она хочет сделать?»... Недолго ограничивались подозрениями. О моем прощении заговорили в миру; я принимала бесконечное число посетителей: одни упрекали меня, другие являлись с советами; одни одобряли, другие порицали. У меня было лишь одно средство оправдать себя в глазах всех: для этого надо было посвятить их в поведение моих родителей, а вы понимаете, какую осторожность должна была я соблюдать в этом пункте. Я могла открыться без утайки лишь некоторым лицам, оставшимся искренно привязанными ко мне, и г-ну Манури, который вел мое дело. Я была напугана угрожавшими мне мучениями, и темница, куда меня уже раз таскали, представилась моему воображению во всем своем ужасе; мне была знакома ярость монахинь: я сообщила свои опасения г-ну Манури, и он мне сказал: «Вам нельзя избежать всевозможных неприятностей, они у вас будут, вы должны их ожидать, надо вооружиться терпением и поддерживать себя надеждой, что они кончатся. Что касается темницы, то обещаю вам, что вы никогда туда больше не попадете,— я беру это на себя»... Действительно, несколько дней спустя, он привез приказ настоятельнице вызывать меня на свидания всякий раз, как от нее потребуют этого.

На следующий день, после церковной службы, общине снова было предложено молиться за меня. Молились молча и тихо повторяли тот же гимн, что и накануне. Та же церемония на третий день, с той разницей, что мне велели стоять посреди хор и читали молитвы за умирающих, литании святым, с припевом «Ora pro ea»*. На четвертый день была разыграна глупая комедия, обличавшая склонность настоятельницы к причудам. В конце службы меня положили в гроб посреди хор, по бокам поставили подсвечники с кропильницей; меня покрыли саваном и отслужили панихиду, после которой каждая

* Молись за нее.

монахиня, выходя, кропила меня святой водой со словами «Requiescat in pace»*. Надо знать монастырский язык, чтобы понять угрозу, заключающуюся в последних словах. Две монахини сняли саван, потушили свечи и оставили меня там, насквозь промокшую от воды, которой они меня с таким злорадством поливали. Одежда высохла на мне,— мне не во что было переодеться. За этим унижением последовало другое. Собралась община; на меня решено было смотреть, как на отверженную, мой поступок рассматривался, как вероотступничество; всем монахиням запрещено было, под страхом наказания, говорить со мной, помогать мне, приближаться ко мне и даже дотрагиваться до вещей, которыми я пользовалась. Эти приказания строго исполнялись. Наши коридоры узки; в некоторых местах двое едва могут разойтись: если навстречу мне шла монахиня, то она или поворачивала обратно или прижималась к стене, придерживая покрывало и одежду, чтобы я как-нибудь не задела ее своей. Если надо было что-нибудь взять у меня, я клала этот предмет на пол, и его брали тряпкой; если надо было что-нибудь дать мне, то это швыряли. Когда, к несчастью, прикасались ко мне, то считали себя оскверненными и шли к настоятельнице исповедоваться и очиститься от греха. Говорят, что лесть подла и низка,— она, кроме того, очень жестока и очень хитра на выдумки, когда имеет в виду угодить, изобретая мучения. Сколько раз вспоминала я слова усопшей настоятельницы Мони: «Среди всех этих созданий, которых вы видите вокруг меня такими послушными, невинными, кроткими, нет почти ни одной, дитя мое, почти ни одной, из которой я не могла бы сделать дикого зверя,— странное превращение! И предрасположение к нему тем сильнее, чем моложе входят в келью и чем меньше знают общественную жизнь. Эти слова удивляют вас; да хранит вас господь от того, чтобы вы испытали на себе заключающуюся в них истину! Сестра Сюзанна, хорошей!

* Да почует с миром.

монахиней является лишь та, которая хочет искупить в монастыре какой-нибудь большой грех».

Я была отрешена от всех должностей. В церкви с обеих сторон от меня оставляли по одному пустому сидению. В трапезной я занимала место за отдельным столом, мне не подавали кушаний, я принуждена была сама ходить на кухню просить свою порцию; в первый раз сестра-стряпуха крикнула мне:

— Не входите, идите прочь...

Я повиновалась.

— Что вам надо?

— Есть.

— Есть! Вы не достойны жить...

Иногда я уходила обратно и целые дни оставалась, не имея ни крошки во рту; иногда я настаивала, и мне ставили на порог кушанья, которые постыдились бы дать скотине; я подбирала их, плача, и уходила. Если я подходила последней к двери на хоры, она оказывалась запертой; я преклоняла там колена и ждала конца службы. Идя в сад, я наталкивалась на запертую калитку и возвращалась в свою келью. Между тем силы мои слабели от недостатка пищи, от плохого качества той, которую я принимала, а еще больше от душевных мук, причиняемых мне этими бесконечными проявлениями бесчеловечности, и я почувствовала, что, если буду попрежнему страдать, не жалуясь, то ни за что не дотяну до конца своего процесса. Я решила поэтому переговорить с настоятельницей; едва живая от страха, я, тем не менее, потихоньку постучалась в ее дверь. Она отворила; увидя меня, она отступила на несколько шагов, крича мне:

— Вероотступница, отойдите!

Я отошла.

— Еще.

Я отошла еще.

— Что вам нужно?

— Ни бог, ни люди не приговаривали меня к смерти, поэтому я прошу вас, матушка, приказать, чтоб мне дали жить.

— Жить! — сказала она, повторяя слова сестры-стряпухи, — разве вы достойны этого?

— Это известно одному богу; но предупреждаю вас, что если меня не будут кормить, то я вынуждена буду жаловаться тем, кто принял меня под свое покровительство. Я нахожусь здесь только временно, пока решается моя судьба, мое пребывание в монастыре.

— Идите, — сказала она, — не оскверняйте меня своими взглядами; я приму меры...

Я ушла. Настоятельница захлопнула за мной дверь. Она, повидимому, отдала приказание, но обо мне заботились почти так же мало и видели заслугу в том, чтобы не повиноваться ей: мне швыряли самые грубые блюда, вдобавок испорченные золой и всякими нечистотами.

Такую жизнь вела я, покамест продолжался мой процесс. Посещение приемной не было запрещено мне. Не могли лишить меня права беседовать с судьями и с моим адвокатом; и все же он неоднократно был принужден прибегать к угрозам, чтобы добиться свидания со мной. Тогда меня сопровождала сестра; она жаловалась, если я говорила тихо; она выражала нетерпение, если я оставалась слишком долго; прерывала меня, опровергала, противоречила, повторяла мои слова настоятельнице, искажая их, придавая им злобный смысл, и даже выдумывала такие, каких я вовсе не произносила; наговаривала бог весть что. Дошли до того, что обкрадывали меня, обирали, уносили мои стулья, одеяла и матрацы; мне не давали больше чистого белья; одежда моя изорвалась; я осталась почти без чулок и без обуви. Я с трудом доставала воду: несколько раз я принуждена была сама ходить за ней к колодцу, к тому колодцу, о котором я говорила вам раньше. Мою посуду перебили; тогда, не имея возможности принести себе воды, я должна была пить у колодца. Проходя под окнами, я вынуждена была бежать — иначе я подвергалась опасности быть облитой нечистотами из келлий. Некоторые сестры плевали мне в лицо. Я стала ужасающе грязна. Боясь, как бы я не

пожаловалась нашим духовникам, мне запретили исповедоваться.

Однажды, в большой праздник, кажется, это был день Вознесения, меня заперли на замок; я не могла пойти к обедне; и, может быть, пропустила бы все церковные службы, если бы меня не посетил г-н Манури, которому сначала сказали, что не знают, что со мной, что меня больше не видно, что я не исполняю своих христианских обязанностей. Однако, после отчаянных усилий, я сломала замок и отправилась к двери на хоры,— она оказалась запертой, как это бывало и раньше, когда я не приходила одной из первых. Я легла на землю, прислонясь головой и спиной к стене, скрестив руки на груди и загородив телом проход; когда служба кончилась и у выхода показались монахини, первая внезапно остановилась; вслед за ней подошли другие; настоятельница догадалась в чем дело и сказала:

— Шагайте по ней, ведь это труп.

Некоторые повиновались и топтали меня ногами, другие были менее бесчеловечны, но ни одна не осмелилась протянуть мне руку и помочь встать. Пока я отсутствовала, из моей кельи унесли скамеечку для молитвы, образ основательницы монастыря и прочие иконы, распятие; мне оставили только то, которое я носила на четках, но и то не надолго. Итак я жила между четырьмя голыми стенами, в комнате без двери, без стула, лежа на соломе или стоя, без самой необходимой посуды, вынужденная выходить ночью для удовлетворения естественных потребностей, подвергаясь утром нареканиям за то, что я нарушаю покой монастыря, шляюсь и схожу с ума. Моя келья больше не запиралась, и в нее входили ночью с оглушительным шумом, кричали, тащили мою постель, били окна, заставляя меня переживать всевозможные ужасы. Шум доносился до верхнего этажа, оглашал нижний. Не участвовавшие в заговоре говорили, что в моей комнате происходит что-то странное, что они слышат зловещие голоса, крики, лязг цепей и что я разговариваю с привидениями и с нечистой силой, что я, должно быть,

продала душу чорту и что из моего коридора надо бежать без оглядки.

В монастырских общинах есть слабоумные, их даже очень много: они верили тому, что им рассказывали, и не осмеливались проходить мимо моей двери. Я представлялась их смятенному воображению чудовищем, они осеяли себя крестным знаменем, встречаясь со мной, и убежали крича: «Отойди от меня, сатана! Господи, приди ко мне на помощь!..» Как-то раз одна из самых молодых была в конце коридора; я шла по направлению к ней, и меня никак нельзя было избежать; неописуемый ужас охватил ее. Сперва она повернулась лицом к стене, бормоча дрожащим голосом: «Господи боже! Господи боже! Иисус! Мария!..» Между тем я подходила. Когда она почувствовала, что я около нее, она закрыла лицо обеими руками, чтобы не видеть меня, кинулась в мою сторону, бросилась в мои объятия, крича, как испуганная: «Ко мне! Ко мне! Милосердный боже! Я погибла! Сестра Сюзанна, не причиняйте мне зла; сестра Сюзанна, сжальтесь надо мной»... С этими словами она грохнулась на пол полумертвая.

Сбежались на ее крики, унесли ее, и не могу вам сказать, как извратили это происшествие, — из него сделали самую преступную историю. Сказали, что демон порока овладел мною; заподозрили меня в намерениях, в действиях, какие я не решаюсь назвать; бросившийся в глаза беспорядок в одежде молодой монахини приписали моим чудовищным желанием. Я не мужчина и, по правде сказать, не знаю, что можно вообразить относительно двух женщин, находящихся вместе, а тем более относительно женщины, когда она одна; однако, с кровати моей сняли полог и в мою комнату входили во всякое время. У этих женщин, должно быть, очень развращенное сердце, несмотря на всю их внешнюю сдержанность, скромность их взглядов, целомудренное выражение лиц; по крайней мере, они знают, что в одиночестве можно предаваться порокам, а я этого не знаю; я никогда даже не понимала толком, в чем они меня

обвиняют; они выражались так туманно, что я никогда не знала, что им отвечать.

Я не кончу, если захочу описывать эти гонения во всех подробностях. Ах, сударь, если у вас есть дети, то пусть моя судьба покажет вам, что вы им готовите, позволяя вступить в монастырь без сильного и ярко выраженного призвания. Сколько несправедливости в мире! Ребенку позволяют распоряжаться своей свободой в возрасте, когда ему не разрешают распорядиться эюю. Лучше убейте свою дочь, но не запирайте ее в монастырь вопреки ее воле, да, убейте ее. Сколько раз я жалела, что мать не задушила меня при рождении! Она совершила бы меньшую жестокость. Поверите ли, у меня отняли молитвенник и запретили мне молиться богу! Вы, конечно, понимаете, что я не повиновалась. Увы! Это было мое единственное утешение; я поднимала руки к небу, испускала крики и дерзала надеяться, что они будут услышаны единственным существом, видевшим все мои беды. У двери подслушивали; и однажды, когда я, желая облегчить сердце, обращалась к нему и призывала его на помощь, я услышала голос:

— Вы напрасно призываете бога, для вас нет больше бога; умрите в отчаянии и будьте прокляты...

Другие прибавили:

— Да свершится это над вероотступницей! Да свершится это над нею!

Но вот характерный штрих, который покажется вам еще гораздо более странным, чем все остальное. Не знаю, злоба это или самообман; они начали толковать между собой, не надо ли изгнать из меня бесов, хотя я не делала ничего, что указывало бы на расстройство умственных способностей, а тем более на душу, одержимую дьяволом. Большинство голосов пришли к заключению, что я отреклась от миропомазания и от своего крещения, что демон вселился в меня и удаляет меня от богослужения. Одна прибавила, что при некоторых молитвах я скрежещу зубами и содрогаюсь в церкви, что при поднятии святых даров я в досаде ломаю руки. Другая,

что я топтала распятие ногами и не ношу больше четок (у меня их украли), что я изрыгаю неповторимые богохульства. Все в один голос твердили, что во мне происходит что-то неестественное, что надо довести об этом до сведения старшего викария, и это сделали.

Старшим викарием был г-н Эбер, пожилой человек с большим житейским опытом, резкий, но справедливый и просвещенный. Ему подробно описали монастырские неурядицы; верно то, что неурядицы были велики, но если я и была им причиной, то вполне безвинной. Вы несомненно догадываетесь, что не забыли упомянуть в своем докладе о моих ночных хождениях, о моем отсутствии на хорах, о шуме, происходящем у меня, о том, что одна видела, а другая слышала о моем отвращении к святыням, о моих богохульствах, о непристойных действиях, в которых меня обвиняли; историю с молодой монахиней чудовищно извратили. Обвинения были так сильны и многочисленны, что, при всем своем здравом смысле, г-н Эбер не мог не считаться с ними и не верить, что в них много правды. Дело показалось ему настолько важным, что он решил произвести расследование сам; он известил о предстоящем посещении монастыря и, действительно, прибыл в сопровождении двух молодых церковнослужителей, состоявших при его особе и облегчавших его труды.

За несколько дней до этого, ночью, я услышала, что кто-то тихо вошел ко мне в комнату. Я ничего не сказала, ожидая, что со мной заговорят, и меня позвали тихим, дрожащим голосом:

— Сестра Сюзанна, вы спите?

— Нет, я не сплю. Кто это?

— Это я.

— Кто вы?

— Ваш друг; я умираю от страха и подвергаюсь опасности погибнуть, но хочу дать вам совет, хотя, может быть, это ни к чему не поведет. Слушайте, завтра или на-днях нас посетит старший викарий; вас будут обвинять; приготовьтесь к защите. Прощайте, мужайтесь, и да будет господь с вами.

Сказав это, она удалилась легче тени.

Вы видите, что всюду, даже в монастырях, есть страдательные души, которые ничто не может очерствить.

Между тем процесс мой продолжался, вызывая большое возбуждение. Множество лиц обоего пола, всякого звания и положения, с которыми я не была знакома, заинтересовались моей судьбой и хлопотали за меня. Вы были в числе их, и, может быть, история моего процесса известна вам лучше, чем мне, потому что под конец я не могла больше беседовать с г-ном Манури. Ему сказали, что я больна. Он заподозрил, что его обманывают и, боясь, что меня бросили в темницу, обратился к архиепископу, где его не удостоили выслушать; там были предупреждены, что я сумасшедшая, а может быть, и хуже. Он обратился к судьям, настаивая на исполнении приказа, предписывающего настоятельнице по первому требованию предъявлять меня живой или мертвой. Светские судьи взялись за церковных судей. Последние поняли, какие последствия мог иметь этот инцидент, если бы они не пошли навстречу, и это, видимо, ускорило посещение старшего викария. Этим господам надоели вечные монастырские дразги и, обыкновенно, они не торопятся вмешиваться в них, зная по опыту, что их всегда обходят и подрывают их авторитет.

Я воспользовалась советом подруги, чтобы призвать на помощь бога, ободрить свою душу и подготовиться к защите. Я просила небо только об одной милости: быть допрошенной и выслушанной беспристрастно. Я добилась этого, вы сейчас узнаете, какой ценой. Если бы я была заинтересована в том, чтобы предстать перед своим судьей невиновной и в здравом уме, то настоятельнице не менее важно было, чтобы я показалась злой, одержимой демоном, виновной и безумной. Поэтому в то время, как я удваивала усердие и молитвы, удвоили козни: меня кормили так, чтобы я только не умерла от голода, донимали жестокими испытаниями, старались запугать еще

больше, совершенно лишили ночного покоя, было пущено в ход все, что может разрушить здоровье и вызвать расстройство умственных способностей. Вы не можете себе представить, какая это была утонченная жестокость. Судите об остальном по следующему эпизоду.

Как-то раз я вышла из кельи, направляясь к церкви или в другое место, и увидела на полу, поперек коридора, каминные щипцы; я нагнулась, чтобы поднять их и положить так, чтобы потерявшая щипцы легко могла их найти. Плохое освещение помешало мне заметить, что они раскалены почти докрасна; я схватила их, но тотчас же уронила; падая, они содрали всю кожу с моей ладони. Ночью в тех местах, где я должна была проходить, нагромождали предметы, чтобы я споткнулась, или же подвешивали, чтобы я ударилась о них головой. Я была сотни раз ушиблена, не знаю, как я осталась жива. Мне нечем было посветить себе, и я вынуждена была идти, вытянув перед собою руки, дрожа от страха. Под ноги мне сыпали битое стекло. Я твердо решила рассказать все это и почти сдержала слово. Дверь уборной оказывалась запертой, и я принуждена была спускаться с нескольких этажей и бегать в глубь сада, когда калитка была открыта; когда же она была заперта... Ах, сударь! Какие злые создания женщины-затворницы, когда они твердо уверены, что могут споспешествовать злостным замыслам своей настоятельницы, и верят, что служат богу, доводя вас до отчаяния! Но настала уже пора прибыть старшему викарию, пора кончиться моему процессу.

Это самые страшные минуты моей жизни. Вы подумайте только, ведь я совершенно не знала, какими красками расписали меня в глазах этого священнослужителя. Он прибыл, ожидая увидеть девушку, одержимую дьяволом или притворяющуюся таковой. Задумали как можно сильнее запугать меня, предполагая, что иначе я не произведу такого впечатления, и вот что устроили, чтобы вселить в меня ужас.

В день посещения старшего викария, рано утром,

настоятельница вошла ко мне в келью. Ее сопровождали три сестры: одна несла кропильницу, другая распятие, третья — веревки. Настоятельница сказала мне громким и угрожающим голосом:

— Встаньте... преклоните колена и вверьте свою душу богу.

— Матушка,— сказала я ей,— не могу ли я спросить вас, прежде чем исполнить ваше приказание, что будет со мной, что вы решили относительно меня, и о чем я должна просить бога?

Холодный пот выступил у меня на всем теле; я дрожала и чувствовала, что колени мои подгибаются; я с ужасом смотрела на трех роковых спутниц настоятельницы. Они стояли, выстроившись в ряд; лица их были мрачны, губы сжаты, глаза закрыты. Задавая вопрос, я от страха останавливалась после каждого слова. Все хранили молчание; думая, что меня не расслышали, я снова начала последние слова этого вопроса, но была не в силах повторить его целиком и сказала слабым, замирающим голосом:

— О какой милости должна я просить бога?

Мне ответили:

— Просите его простить грехи всей вашей жизни; просите его так, как если бы вам надлежало предстать перед ним.

При этих словах я подумала, что они держали совет и решили отделаться от меня. Я неоднократно слышала рассказы, что это бывает иногда в некоторых мужских монастырях, что там судят, осуждают и казнят. Я думала, что этот бесчеловечный суд никогда не применялся ни в каком женском монастыре, но происходило столько другого, о чем я не догадывалась раньше! Я хотела крикнуть при мысли о близкой смерти, но мой рот остался открытым и не издавал никакого звука; я умоляюще протянула к настоятельнице руки, и мое тело, обессилев, повалилось назад; я упала, но не ушиблась. В минуты такого смертельного страха, когда силы покидают нас, руки и ноги незаметно отказываются служить и бес-

помощно повисают, — природа, не будучи в состоянии поддерживать себя, как будто хочет незаметно уничтожиться. Я потеряла сознание, я была без чувств и слышала только гул смутных и далеких голосов вокруг себя. Говорили ли они, или у меня звенело в ушах, я не различала ничего, кроме этого несмолкаемого гула. Не знаю, сколько времени оставалась я в таком состоянии, но была выведена из него внезапным ощущением холода; я вздрогнула, и у меня вырвался глубокий вздох. Я была насквозь мокрая; вода текла с моей одежды на пол, — на меня опрокинули большую кропильницу. Я лежала на боку, в луже этой воды, прислонясь головой к стене, с полуоткрытым ртом и полумертвыми закрытыми глазами; я старалась открыть их и оглядеться, но мне показалось, что я окутана густым воздухом, сквозь который я видела только развевающиеся одежды; я старалась за них ухватиться, но не могла. Я пошевелила той рукой, на которую не опиралась, хотела ее поднять, но она оказалась слишком тяжелой. Моя крайняя слабость мало-помалу проходила. Я приподнялась, прислонилась спиной к стене. Руки мои оставались в воде, а голова склонилась на грудь; раздался нечленораздельный, прерывающийся, мучительный стон. Эти женщины смотрели на меня; их вид выражал неотвратимость и непреклонность. У меня не хватило духу молить их о пощаде. Настоятельница сказала:

— Поставьте ее на ноги.

Меня взяли под руки и подняли. Она прибавила:

— Она не хочет верить себя богу, тем хуже для нее. Вы знаете, что надо делать, кончайте...

Я подумала, что веревки принесли для того, чтобы удавить меня; я посмотрела на них. Глаза мои наполнились слезами. Я попросила дать мне поцеловать распятие, мне отказали в этом. Я попросила разрешения поцеловать веревки, мне поднесли их. Я наклонилась, взяла нарамник настоятельницы, поцеловала его и сказала:

— Боже, сжался надо мною! Боже, сжался надо мною! Дорогие сестры, постарайтесь не делать мне больно.

И я подставила шею.

Не могу вам сказать, что было со мной и что со мной делали. Те, кого ведут на казнь,— а я думала, что меня казнят,— умирают, конечно, до казни. Я очутилась на соломе, служившей мне постелью, руки мои были связаны за спиной, я сидела с большим железным распятием на коленях...

...Господин маркиз, я вижу отсюда, сколько тяжелого я заставляю вас переживать; но вы хотите знать, заслуживаю ли я немного сострадания, которого жду от вас...

Тогда я почувствовала превосходство христианской религии над всеми религиями мира. Сколько глубокой мудрости в том, что слепая философия называет безумием креста! В том состоянии, в каком я была, разве помогло бы мне изображение счастливого и увенчанного славой законодателя? Я видела праведника, с пронзенным боком, с челом в терновом венце, с руками и ногами, пронзенными гвоздями, испускающего дух в страданиях, и говорила себе: «Вот мой господь, а я осмеливаюсь жаловаться»... Я прониклась этой мыслью и почувствовала, что утешение воскресает в моем сердце, я познала тщету жизни и с великой радостью избавилась бы от нее прежде, чем успела умножить свои грехи. Однако, я сосчитала свои годы, увидела, что мне едва минуло двадцать, и вздохнула. Я была слишком слаба, слишком подавлена, чтобы дух мой мог возвыситься над ужасом смерти. Будучи вполне здоровой, мне кажется, я могла бы с большим мужеством пойти на смерть.

Тем временем настоятельница и ее спутницы вернулись. Они нашли во мне больше присутствия духа, нежели ожидали и хотели видеть. Они подняли меня на ноги, спустили покрывало мне на лицо, две взяли меня под руки, третья подталкивала сзади, и настоятельница приказала мне идти. Я пошла, не видя, куда иду, но думая, что иду на казнь, и говорила: «Боже, сжапись надо мной! Боже, поддержи меня! Боже, не покидай меня! Боже, прости меня, если я оскорбила тебя!»

Я пришла в церковь. Старший викарий служил обедню. Община была в полном сборе. Я забыла сказать вам, что, когда я была в дверях, три сопровождавшие монахини стали меня тискать, толкать изо всех сил, притворяясь, что я доставляю им много хлопот: одни тащили меня за руки, в то время как другие тянули назад; можно было подумать, что я сопротивляюсь и ни за что не хочу войти в церковь, однако не было ничего подобного. Меня провели к ступеням алтаря; я едва держалась на ногах; заставили стать на колени, употребляя силу, как будто я отказывалась преклонить их; меня держали, как будто я намеревалась убежать. Запели Veni, Creator, выставили святые дары, викарий благословил собравшихся. Во время благословения, когда молящиеся кладут поклоны, монахини, державшие меня за руки, нагнули меня, как будто я сопротивлялась; а другие уперлись мне в плечи руками. Я чувствовала эти различные движения, но нельзя было догадаться, для чего они делаются,—наконец, все разъяснилось.

После благословения старший викарий снял ризу и, облаченный лишь в стихарь и епитрахиль, направился к ступеням алтаря, где я стояла на коленях. Он шел между двумя церковнослужителями, повернувшись спиной к алтарю, на котором были выставлены святые дары, а лицом ко мне. Он подошел и сказал:

— Сестра Сюзанна, встаньте.

Державшие меня сестры резким движением подняли меня, другие окружили и держали, обняв рукой за талию, словно боялись, как бы я не вырвалась. Старший викарий прибавил:

— Развяжите ее.

Ему не повиновались; притворялись, что считают неудобным или даже опасным оставлять меня на свободе, но я сказала вам, что этот человек был резкого нрава: он повторил твердым и суровым голосом:

— Развяжите ее.

Его приказание исполнили.

Едва мои руки освободились, как я испустила жалоб-

ный, провзительный стон, заставивший его побледнеть, а ханжи-монахини, находившиеся подле меня, шарахнулись в сторону, словно объятые ужасом.

Старший викарий овладел собой. Сестры вернулись, притворяясь, что дрожат. Я оставалась неподвижной, и он сказал мне:

— Что с вами?

Вместо ответа я протянула ему обе руки. Веревка, которой меня скрутили, врезалась почти целиком в тело, и руки были совсем синие от застоя крови. Он понял, что мой стон происходил от внезапной боли, вызванной восстановлением кровообращения, и сказал:

— Снимите с нее покрывало.

Покрывало, незаметно для меня, пришили в нескольких местах и опять очень смутились и делали отчаянные усилия. Это понадобилось только потому, что все это было устроено нарочно. Хотели, чтобы я показалась этому священнику преследуемой, одержимой дьяволом или безумной. Между тем нитки вытащили в некоторых местах, в других — покрывало или одежда разорвались, и я предстала перед глазами всех.

У меня интересное лицо, — глубокая скорбь изменила его, но черты остались те же; звук моего голоса трогает душу, по выражению его чувствуется, что я говорю правду. Все эти особенности, взятые вместе, произвели сильное впечатление на молодых спутников старшего викария, наполнив их сердца жалостью. Что касается его, то он не знал этих чувств; справедливый, но мало чувствительный, он был из числа тех, которые рождаются для того, чтобы осуществлять добродетель, но, к несчастью, не испытывают ее сладости. Они делают добро из духа порядка, рассудочно. Он взял рукав своей епитрахили и, возложив его мне на голову, сказал:

— Сестра Сюзанна, веруете ли вы в бога отца, сына и святого духа?

Я ответила:

— Верую.

— Веруете ли вы в нашу мать святую церковь?

— Верую.

— Отрекаетесь ли вы от сатаны и деяний его?

Вместо ответа я внезапно метнулась вперед, испустив громкий крик, и конец его епитрахили отделился от моей головы. Он смутился, его спутники побледнели, одни из сестер убежали, а другие вскочили со своих скамей в крайнем смятении. Он знаком велел им успокоиться, однако смотрел на меня, ожидая чего-то необычайного. Я успокоила его, сказав:

— Не беспокойтесь, батюшка, это одна из монахинь сильно уколола меня чем-то острым.— И, поднимая глаза и руки к небу, я прибавила, заливаясь слезами:

— Меня ранили в ту минуту, когда вы спрашивали, отрекаюсь ли я от сатаны и великолепия его, и мне ясно, почему...

Все протестовали устами настоятельницы, заявившей, что до меня не дотрагивались.

Старший викарий снова возложил край своей епитрахили мне на голову; монахини собирались подойти ближе, но он знаком велел им удалиться и спросил меня снова, отрекаюсь ли я от сатаны и деяний его; и я твердо ответила ему:

— Отрекаюсь, отрекаюсь.

Он велел принести распятие и дал мне его поцеловать, и я поцеловала ступни, руки и рану на боку.

Он приказал мне громко славить господа; я поставила распятие на землю и сказала, стоя на коленях:

— Господи, спаситель мой, ты умер на кресте за мои грехи и за грехи всего рода человеческого, я поклоняюсь тебе, спаси меня заслугой мук, которые ты приял, пролей на меня каплю крови, которой ты истекал, дабы я очистилась ею. Прости меня, боже, как я прощаю всех врагов своих...

Он сказал мне затем:

— Исповедуйте веру...— и я исполнила это.

— Исповедуйте любовь...— и я исполнила это.

— Исповедуйте надежду...— и я исполнила это.

— Исповедуйте милосердие...— и я исполнила это.

И совершенно не помню, в каких выражениях я это делала, но, повидимому, они были полны чувства, ибо я исторгла рыдания у некоторых монахинь, а два молодых церковнослужителя пролили слезы, и старший викарий с удивлением спросил меня, откуда я извлекла только что прочитанные мною молитвы.

Я сказала ему:

— Из глубины своего сердца,— это мои мысли и мои чувства, призываю в свидетели бога, который внемлет нам всюду и присутствует на этом алтаре. Я христианка, я ни в чем неповинна; если я совершила какие-либо грехи, то один бог знает их, и только он имеет право потребовать меня к ответу и наказать за них...

При этих словах старший викарий бросил грозный взгляд на настоятельницу.

Закончилась остальная часть этой церемонии, где хотели надругаться над величием Божиим, оскорбить святых и заставить служителя церкви принять участие в недостойной комедии. Монахини удалились, остались только настоятельница, я и молодые церковнослужители. Старший викарий сел, достал докладную записку с обвинением против меня и прочел ее громким голосом, спрашивая меня по всем пунктам, заключающимся в ней.

— Почему,— сказал он,— вы никогда не ходите на исповедь?

— Потому что мне в этом препятствуют.

— Почему вы не причащаетесь?

— Потому что мне в этом препятствуют.

— Почему вы не присутствуете ни на литургии, ни на других богослужениях?

— Потому что мне в этом препятствуют.

Настоятельница хотела заговорить; он сказал ей тем же голосом:

— Молчите, сударыня... Почему вы выходите ночью из своей кельи?

— Потому что меня лишили воды, унесли кувшин с водой и посуду, необходимую для удовлетворения естественных потребностей.

— Почему ночью слышится шум в вашем коридоре и в вашей келье?

— Потому что стараются лишить меня покоя.

Настоятельница опять хотела заговорить; он сказал ей во второй раз:

— Я уже велел вам, сударыня, молчать, — вы ответите, когда я спрошу вас... Какую это монахию вырвали из ваших рук и нашли лежащей навзничь на полу, в коридоре?

— Это следствие ужаса, который внушили ей ко мне.

— Она ваша подруга?

— Нет, батюшка.

— Вы никогда не входили в ее келью?

— Никогда.

— Вы никогда не делали ничего непристойного ни с нею, ни с другими?

— Никогда.

— Почему вас связали?

— Не знаю.

— Почему ваша келья не запирается?

— Потому что я сломала замок.

— Зачем вы его сломали?

— Чтобы открыть дверь и присутствовать на богослужении в день Вознесения.

— Значит, в этот день вы показались в церкви?

— Да, батюшка...

Настоятельница сказала:

— Батюшка, это неправда, вся община...

Я перебила ее:

— Удостоверит, что дверь на хоры была заперта, что монахини нашли меня распростертой у этой двери и что вы приказали им шагать по мне, что некоторые и сделали; но я прощаю их и вас, матушка, за то, что вы приказали им это; я пришла сюда не для того, чтобы обвинять кого-либо, а для того, чтобы защищаться.

— Почему у вас нет ни четок, ни распятия?

— Потому что у меня отняли их.

— Где ваш молитвенник?

— У меня отняли его.

— Как же вы молитесь?

— Я молюсь сердцем и умом, хотя мне запрещено молиться.

— Кто же вам запретил?

— Матушка...

Настоятельница собиралась опять заговорить.

— Сударыня, — сказал он ей, — правда или ложь, что вы запретили ей молиться? Скажите: да или нет.

— Я думала, и я имела основание думать...

— Речь сейчас идет не об этом; запретили вы ей молиться, да или нет?

— Я запретила ей, но...

Она хотела продолжать.

— Но, — возразил старший викарий, — но... Сестра Сюзанна, почему у вас босые ноги?

— Потому что мне не дают ни чулок, ни обуви.

— Почему ваше белье и ваши одежды так ветхи и грязны?

— Потому что уже более трех месяцев мне не дают белья, и я принуждена спать одетой.

— Почему же вы спите в одежде?

— Потому что у меня нет ни полога, ни матрацев, ни одеял, ни простынь, ни ночного белья.

— Почему же у вас нет их?

— Потому что у меня их отняли.

— Кормят ли вас?

— Я прошу об этом.

— Значит, вас не кормят?

Я молчала; он прибавил:

— Невероятно, что с вами обращаются так сурово, если за вами нет какой-либо вины, которая заслуживает наказания.

— Вина моя в том, что у меня нет никакого призвания к монашеству и я хочу расторгнуть обет, данный мною против воли.

— Дело закона решить это; и каков бы ни был

приговор, покамест вы должны исполнять обязанности монашеской жизни.

— Никто, батюшка, не исполняет их более неукоснительно, нежели я.

— Вы должны находиться в таких же условиях, как ваши товарищи.

— Это все, чего я прошу.

— Жалуетесь ли вы на кого-нибудь?

— Нет, батюшка, я вам уже сказала: я пришла вовсе не для того, чтобы обвинять, а для того, чтобы защитить себя.

— Идите.

— Куда я должна идти, батюшка?

— В вашу келью.

Я сделала несколько шагов, затем вернулась и пала к ногам настоятельницы и старшего викария.

— Ну, что такое? — сказал он.

Я показала ему голову, разбитую в нескольких местах, свои окровавленные ступни, свои посинелые, изможденные руки, свою грязную и изорванную одежду и сказала:

— Видите?

Я слышу ваш голос, господин маркиз, и голоса большинства тех, которые прочтут эти записки. «Такие многочисленные, разнообразные, непрерывные ужасы! Длинный ряд таких изощренных жестокостей в душах монахинь! Это невероятно», — скажут они, скажете вы. Согласна с этим, но это правда, и пусть небо, которое я призываю в свидетели, осудит меня со всей строгостью и приговорит меня к геенне огненной, если я позволила клевете омрачить даже самой легкой тенью хоть одну из моих строк! Хотя я долго испытывала на себе, каким сильным стимулом для врожденной испорченности является враждебность настоятельницы, в особенности, когда эта испорченность может вменять себе в заслугу свои злодеяния, рукоплескать себе за них и хвастаться ими, но горькое чувство, оставшееся в моей душе, ни-

сколько не помешает мне быть справедливой. Чем больше я размышляю об этом, тем больше убеждаюсь в том, что случившееся со мной никогда еще не происходило с другими и, может быть, никогда не произойдет. Один раз (и дай бог, чтобы это было в первый и в последний раз!) угодно было провидению, пути которого неведомы нам, сосредоточить на одной несчастной всю массу жестоких испытаний, распределенных, в силу его непостижимых предначертаний, среди бесконечного множества обиженных судьбой, которые были ее предшественницами в монастыре или должны будут войти туда после нее. Я страдала, много страдала, но участь моих гонительниц кажется мне и всегда будет казаться более достойной жалости, нежели моя. Я предпочитала и предпочитаю умереть, но не меняться с ними ролями. Мои муки кончатся, — я надеюсь на вашу доброту, а они до последнего часа не избавятся от воспоминаний о содеянном, от стыда и угрызений совести. Они уже обвиняют себя, не сомневайтесь в этом; они будут обвинять себя всю свою жизнь, и ужас сойдет с ними в могилу. Тем не менее, господин маркиз, мое настоящее положение плачевно, жизнь мне в тягость. Я — женщина, я слаба духом, как все женщины; бог может покинуть меня, я не чувствую в себе ни силы, ни мужества переносить еще долгое время то, что переносила до сих пор. Господин маркиз, бойтесь, как бы не наступил роковой час, когда глаза ваши будут истекать слезами, оплакивая мою судьбу, когда вы будете терзаться угрызениями совести, но это не выведет меня из бездны, куда я упаду, она навсегда закроется над впавшей в отчаяние.

— Можете идти, — сказал мне старший викарий.

Один из церковнослужителей подал мне руку, помогая встать, и старший викарий прибавил:

— Я допросил вас, я допрошу вашу настоятельницу и ни за что не выйду отсюда, пока порядок не будет восстановлен.

Я удалилась. Весь монастырь был в тревоге; все монахини высыпали на порог своих келий; они переговаривались с одной стороны коридора в другую. Как только я появилась, они ушли к себе, и долго раздавалось громкое хлопанье закрывавшихся одна за другою дверей. Я вошла в свою келью, опустилась у стены на колени и просила бога, памятуя сдержанность, с какою я говорила со старшим викарием, открыть тому глаза на мою невиновность, открыть ему истину.

В то время, когда я молилась, старший викарий, оба его спутника и настоятельница появились в моей келье. Я сказала вам, что у меня не было ни коврика, ни стула, ни скамеечки для молитвы, ни полога, ни матрацев, ни одеял, ни простынь и никакой посуды; дверь не запиралась, в окнах не было почти ни одного целого стекла. Я встала; старший викарий остановился как вкопанный и сказал настоятельнице, гневно глядя на нее:

— Ну, что вы скажете, сударыня?

Она ответила:

— Я не знала.

— Вы не знали? Вы лжете! Не проходило дня без того, чтобы вы не входили сюда, и разве не отсюда пришли вы сегодня?... Сестра Сюзанна, скажите, входила сюда сегодня настоятельница?

Я ничего не ответила; он не настаивал, но молодые церковнослужители стояли, опустив руки, понурив головы и устремив глаза в землю, своим видом достаточно обнаруживая свое огорчение и изумление. Все вышли, и я слышала, как старший викарий говорил настоятельнице в коридоре:

— Вы недостойны исполнять свои обязанности, вы заслуживаете того, чтобы вас сместили. Я подам жалобу монсеньеру. Пусть все это безобразие будет устранено до того, как я выйду отсюда.

И, продолжая идти, он прибавил, покачивая головой:

— Это отвратительно и ужасно. Христианки! Монахини! Человеческие существа! Это отвратительно и ужасно.

После этого я не слышала больше никаких разговоров, но мне принесли белье, другую одежду, занавески, простыни, одеяла, посуду, мой молитвенник, мое священное писание, четки, распятие, вставили стекла, словом, уравнили со всеми монахинями; снова разрешили посещать приемную, но только по делам.

Они шли плохо. Г-н Манури подал первую докладную записку, — она произвела мало впечатления. — Там было много мудрствований, недостаточно чувства, аргументы почти отсутствовали. Не надо возлагать всю ответственность на этого искусного адвоката. Я запретила ему категорически задевать репутацию моих родителей. Я хотела, чтобы он осторожно касался монашества и, в особенности, монастыря, где я находилась. Я не хотела, чтобы он изображал в слишком мрачных красках моих шуринов и сестер. В мою пользу говорил только первый протест, торжественный, правда, но сделанный в другом монастыре и после ни разу не возобновленный. Когда ограничивают свою защиту такими узкими рамками и имеют дело с противниками, которые не останавливаются ни перед чем, попирают правду и неправду без разбора, утверждают и отрицают с одинаковым бесстыдством, обвиняют, заподозривают, злословят и клеветуют, не краснея, то трудно одержать победу, в особенности в судах. Рутинная и скука мешают рассматривать скольконибудь тщательно даже важнейшие дела, и на такие тяжбы, как моя, всегда смотрят косо из политических соображений, боясь, что, если одной монахине удастся расторгнуть свой обет, то это побудит к тому же бесчисленное множество других. Втайне чувствуют, что, если позволить дверям этих тюрем приоткрыться перед одной несчастной, то целая толпа их устремится туда и попытается пробиться в них силой. Стараются вызвать в нас упадок духа и покорность нашей судьбе, убивая всякую надежду на изменение ее.

Мне кажется, однако, что в благоустроенном государстве следовало бы, наоборот, затруднять вступление в монастырь и облегчить выход оттуда. И почему не

приравнять этот случай к многим другим, где малейшее несоблюдение формальностей делает недействительной процедуру, даже правильную в остальном? Разве монастыри являются такой существенной принадлежностью государственного устройства? Разве Иисус Христос учредил институт монахов и монахинь? Разве не может церковь совершенно обойтись без него? Зачем жениху небесному столько неразумных дев? И зачем пужно роду человеческому столько жертв? Неужели никогда не поймут, что необходимо сомкнуть зпяющий зев этих пропастей, где гибнут будущие поколения? Разве все избытые молитвы, произносимые там, стоят хоть одного обола, подаваемого из сострадания бедняку? Разве бог, создавший общественного человека, одобряет затворничество? Разве бог, создавший человека таким неустойчивым, таким шатким, может санкционировать его опрометчивые обеты? Разве могут эти обеты, противоречащие естественным влечениям природы, полностью соблюдаться когда-либо кем-нибудь, кроме некоторых созданий с большим организмом, в которых увяли семена страстей и которых с полным правом можно было бы причислить к уродам, если бы наши знания позволяли нам так же легко и хорошо распознавать внутреннее строение человека, как и его внешнюю структуру? Разве могут все эти мрачные обряды, соблюдаемые при принятии послушничества и постриге, когда посвящают мужчину или женщину монашеской жизни, обрекая их на несчастье, — разве могут они устранить отправления, общие человеку со всеми животными? И не пробуждаются ли, наоборот, природные инстинкты, благодаря молчанию, принуждению и праздности, с силой, неизвестной мирянам, которых отвлекает множество развлечений? Где можно видеть головы, осаждаемые нечистыми видениями, которые преследуют и волнуют их? Где можно видеть эту глубокое уныние, эту бледность, эту худобу, все эти признаки чахнувшей и доведенной до изнурения природы? Где ночи смущаются стонами, а дни орошаются слезами, проливаемыми без причины, которым предшествует необъясни-

мая грусть? Где природа, возмущенная принуждением, для которого она вовсе не создана, ломает противопоставляемые ей препятствия, впадает в неистовство и вместо того, чтобы беречь силы, бросает их в омут разврата, от которого нет спасения? В каком месте тоска и досада уничтожают все общественные инстинкты? Где нет ни отца, ни брата, ни сестры, ни родственника, ни друга? Где человек, считая свое существование мимолетным и преходящим, относится к самым нежным связям мира, как путник к встречным предметам, не привязываясь к ним? Где гнездятся ненависть, отвращение и истерия? Где царствуют рабство и деспотизм? Где никогда не угасает злоба? Где кишат взлелеянные в молчании страсти? Где господствуют жестокость и праздное любопытство? «Не знают истории этих убежищ, — говорил впоследствии г-н Манури в своей речи на суде, — этой истории не знают». И он прибавил в другом месте: «Давать обет бедности — значит обязываться клятвой быть лентяем и вором; давать обет целомудрия — значит обещать богу постоянно нарушать самый мудрый и самый важный из его законов; давать обет послушания — значит отказываться от неотъемлемого права человека — от свободы. Кто соблюдает эти обеты, тот преступник; кто их не соблюдает, тот клятвопреступник. Монастырская жизнь — удел фанатиков или лицемеров».

Одна девушка попросила у своих родителей разрешения вступить в наш монастырь. Отец сказал ей, что он согласен на это, но дает ей три года на размышление. Молодая девушка была полна религиозного рвения, и приказ показался ей суровым, однако пришлось подчиниться отцу. Она осталась верна своему призванию, снова явилась к отцу и сказала ему, что три года истекли. «Очень хорошо, дитя мое, — ответил он, — я дал вам три года, чтобы испытать вас, надеюсь, что вы согласитесь дать мне столько же, чтобы принять решение... Это показалось ей еще гораздо более суровым; были пролиты обильные слезы, но отец был человек твердый и настоял на своем. По прошествии этих шести лет

она вступила в монастырь, стала монахиней. Она была хорошей монахиней, простой, благочестивой, точной в исполнении своих обязанностей; но случилось так, что духовники злоупотребили ее откровенностью и донесли церковному суду о том, что происходило в монастыре. Наше монастырское начальство заподозрило ее. Ее заперли на замок, лишили возможности соблюдать религиозные обряды. Она сошла с ума, — и какая голова могла устоять против преследований пятидесяти лиц, занятых с утра до вечера изобретением мучений? До этого ее матери расставили ловушку, хорошо показывающую жадность монастырей. Матери этой затворницы внушили желание войти в монастырь и посетить келью дочери. Она обратилась к старшим викариям, разрешившим ей это. Войдя в монастырь, она побежала к келье своей дочки, — но каково было ее изумление, когда взорам ее представились только четыре совершенно голых стены! Оттуда все унесли. Рассчитывали па то, что эта нежная и чувствительная мать не оставит свою дочь в таком положении. Действительно, она снова обставила келью, снабдила дочь новой одеждой и бельем, но заявила монахиням, что это любопытство обошлось ей слишком дорого, и она отказывается от повторения. Три-четыре таких визита в год разорят братьев и сестер ее дочери... Из тщеславия и в погоне за роскошью приносят в жертву отдельных членов семьи, запирая их в монастырь, чтобы обеспечить остальным более завидную судьбу; монастыри — узилище, в которое ввергают отверженных. Сколько матерей, подобно моей, искупают одно тайное преступление другим.

Г-н Манури подал вторую докладную записку, имевшую несколько больший успех. Горячо взялись за хлопоты. Я еще раз предложила своим сестрам оставить в их полном и ненарушимом владении наследство родителей. Был момент, когда мой процесс принял весьма благоприятный оборот, и я надеялась на свободу. Я жестоко обманулась в этом. Мое дело разбиралось в суде и было проиграно. Это стало известно всему монастырю,

а я еще не знала этого. Поднялись движение, суматоха, ликование, шушуканье, бесконечные хождения монахинь к настоятельнице и друг к другу. Я вся дрожала, я не могла ни оставаться в своей келье, ни выйти из нее. Ни одной подружки, в объятия которой я могла бы броситься! Какое ужасное утро пережила я в день суда! Я хотела молиться и не могла; я преклонила колена, сосредоточилась, начала молитву, но вскоре, вопреки своей воле, перенеслась мысленно к своим судьям: я видела их, слышала адвокатов, обращалась к ним, прерывала своего, находила, что мое дело плохо защищается. Я не была знакома ни с кем из судей, тем не менее предо мной представляли разные лица. Одни имели благосклонный, другие — зловещий, третьи — равнодушный вид. Я была в крайнем возбуждении, мысли мои путались. Глубокое молчание сменило шум. Монахини не говорили более между собой. Мне показалось, что голоса их на хорах раздаются громче обыкновенного, по крайней мере, тех, которые пели; другие не пели вовсе; по выходе из церкви, они молча разошлись по кельям. Я убедилась, что ожидание беспокоит их так же, как и меня; но после полудня шум и движение внезапно возобновились со всех сторон. Я слышала, как отворяются и затворяются двери, монахини ходили туда и сюда, до меня доносился невнятный гул тихих голосов. Я приложила ухо к замочной скважине, но мне показалось, что проходившие мимо умолкали и шли на цыпочках. Я предчувствовала, что проиграла дело, я ни минуты больше не сомневалась в этом. Я заметалась по своей келье, не произнося ни слова, я задыхалась, не будучи в силах даже стонать, хваталась за голову, прислонялась лбом то к одной стене, то к другой; я хотела прилечь на постель, но сердцебиение помешало мне сделать это; уверяю вас, что я слышала, как колотится мое сердце, — от биения его приподнималась одежда. В таком состоянии была я, когда ко мне пришли сказать, что меня вызывают. Я сошла, еле передвигая ноги от страха. Монахиня, пришедшая за мной, была очень весела, и я подумала, что

новость, принесенная мне, могла быть только весьма грустной; однако, я пошла. Дойдя до двери приемной, я вдруг остановилась и бросилась в угол, я не могла держаться на ногах, тем не менее я вошла. В приемной никого не было, я стала ждать. Вызвавшему меня помешали войти в приемную до моего прихода, подозревая, что это посланный моего адвоката. Хотели знать, что произойдет между нами; собрались, чтобы подслушать. Когда он появился, я сидела, опустив голову на руку и опершись на перекладину решетки.

— От г-на Манури,— сказал он мне.

— Чтобы известить меня, что я проиграла дело?— ответила я.

— Я ничего не знаю, сударыня; но он отдал мне это письмо; у него был очень расстроенный вид, когда он вручал его, и я, по его приказанию, мчался сюда карьером.

— Дайте...

Он протянул мне письмо, и я взяла его, не двигаясь с места и не глядя на посланного; я положила письмо на колени и осталась в той же позе. Между тем этот человек спросил меня:

— Не будет никакого ответа?

— Нет,— сказала я,— можете идти.

Он ушел, а я не пошевелинулась, не будучи в силах ни двинуться, ни решиться выйти. В монастыре не разрешается ни писать, ни получать писем без разрешения настоятельницы. Ей передают и те, которые получают, и те, которые пишут; пришлось отнести ей и мое. Я отправилась к ней с этой целью; мне казалось, что я никогда не дойду: я шла медленно, была удручена, как преступник, который выходит из своей камеры, чтобы выслушать приговор. Однако, наконец, я добрела до двери настоятельницы. Монахини издали внимательно следили за мной. Они хотели вполне насладиться зрелищем моего горя и моего унижения. Я постучала, мне отворили. У настоятельницы было несколько других монахинь. Я видела только подол их одежд, так как не осмелилась под-

нять глаза; я подала настоятельнице свое письмо дрожащей рукой; она взяла его, прочла и отдала мне обратно. Я вернулась в свою келью, бросилась на кровать, положив рядом письмо, и продолжала неподвижно лежать до вечера, не читая его и не вставая к обеду. В три с половиной колокол возвестил, что надо идти в церковь. Туда прибыло уже несколько монахинь; настоятельница стояла у входа на хоры; она остановила меня, приказала мне стать на колени снаружи; остальные монахини вошли, и дверь затворилась. После службы все вышли; я дала им пройти и поднялась, чтобы следовать за ними последней. С этого момента я обрекла себя на все, что от меня требовали. Мне только что запретили войти в церковь, я сама запретила себе входить в трапезную и в рекреационный зал. Всесторонне обсудив свое положение, я пришла к заключению, что единственное спасение для меня — мое послушание и их нужда в моих талантах. Я была бы довольна, если бы меня забыли совсем, как это продолжалось несколько дней. Ко мне являлись некоторые посетители, но мне было разрешено принимать одного г-на Манури. Войдя в приемную, я нашла его в той же самой позе, в какой приняла его посланного: он сидел, положив голову на руки и облокотившись на решетку. Я узнала его, но ничего ему не сказала. Он не решался ни смотреть на меня, ни заговорить со мной.

— Сударыня, — сказал он, не меняя положения, — я вам писал; прочли вы мое письмо?

— Я получила его, но не читала.

— Значит, вы не знаете...

— Нет, сударь, мне все известно, я догадалась о своей участи и покорилась ей.

— Как обращаются с вами?

— Обо мне пока не думают, но я знаю по прошлому, что готовит мне будущее. У меня одно только утешение: лишенная поддерживавшей меня надежды, я не смогу переносить тех же страданий и умру. Моя вина не из тех, которые прощаются в монастыре. Я не прошу бога смягчить сердца тех, в распоряжение которых ему угодно

было отдать меня, я прошу только даровать мне силу страдать, спасти меня от отчаяния и поскорее призвать к себе.

— Сударыня, — сказал он мне со слезами, — если бы вы были моей собственной сестрой, я не сделал бы больше.

У этого человека чувствительное сердце.

— Сударыня, — прибавил он, — если я могу быть полезен вам чем-нибудь, располагайте мною. Я побываю у председателя, он считается со мной; побываю у старших викариев и архиепископа.

— Излишне обращаться к кому бы то ни было, сударь, все кончено.

— Но нельзя ли перевести вас в другой монастырь?..

— Слишком много препятствий к этому.

— Какие же это препятствия?

— Трудно добиться разрешения, надо сделать новый вклад или получить обратно старый из этого монастыря, — и затем, что найду я в другом монастыре? Сердце мое непреклонно, настоятельницы безжалостны, монахини будут не лучше здешних, те же обязанности, те же мучения. Лучше уж я здесь окончу свои дни, — тут они будут короче.

— Но, сударыня, вы заинтересовали многих почтенных людей, большинство из них богаты. Вас не будут удерживать здесь, если вы выйдете, оставив свой вклад?

— Вероятно, нет.

— Монахиня, которая выходит из монастыря или умирает, увеличивает благосостояние тех, которые остаются.

— Но эти почтенные, богатые люди не думают больше обо мне и очень холодно отнесутся к вашему предложению внести за меня вклад. Почему вам кажется, что легче добиться от мирян, чтобы они освободили из монастыря монахиню, не имеющую призвания, чем от ревнителей благочестия помощи той, которая идет в монастырь по призванию? А легко ли делаются вклады за последних? Ах, сударь, все отвернулись от меня после того, как суд отказал мне: я не вижу больше никого.

— Сударыня, поручите мне это дело, прошу вас, — я буду счастливее.

— Я ничего не прошу, ни на что не надеюсь, ничему не противлюсь. Единственная надежда, окрылявшая меня, разбита. Если б я могла хотя бы утешаться тем, что бог изменит меня, и призванием к монашеству сменил в моей душе потерянную надежду выйти из монастыря... Но это невозможно: это одеяние пристало к моей коже, к моим костям и еще больше тяготит меня. Ах, какая судьба! Вечно быть монахиней, чувствуя, что никогда не будешь настоящей монахиней! Провести всю свою жизнь, колотясь головой о решетку тюрьмы.

В этом месте я вскрикнула; я хотела подавить крик, но не могла. Г-н Манури, пораженный моим волнением, сказал:

— Разрешите задать вам один вопрос.

— Пожалуйста, сударь.

— Не имеет ли ваше отчаяние какой-либо тайной причины?

— Нет, сударь. Я ненавижу отшельническую жизнь, я чувствую, что ненавижу ее, чувствую, что всегда буду ее ненавидеть. Я не могу подчиниться всему тому вздору, который наполняет день монастырской затворницы. Он соткан из глупостей, которые я презираю. Я приспособилась бы к этой жизни, если бы могла; сотни раз я старалась переломить себя, взять на себя этот крест и была не в силах. Я завидовала счастливому слабоумию моих товарок, просила бога наделить меня им; он не внял моей мольбе, не даровал мне его. Я все делаю плохо, говорю невпопад, недостаток призвания сквозит во всех моих поступках, бросается в глаза, я ежеминутно оскорбляю монастырский уклад. Мою неспособность называют гордыней, стараются унижить меня, мои вины и наказания за них умножаются до бесконечности, и мои дни проходят в том, что я измеряю глазами высоту стен.

— Сударыня, я не могу опрокинуть их, но могу сделать нечто другое.

— Не пытайтесь, сударь, не делайте ничего.

— Надо переменить монастырь, я займусь этим. Я еще приеду повидаться с вами; надеюсь, что вас нигде не упрячут. Я буду постоянно извещать вас. Будьте уверены, что если вы согласитесь на это, мне удастся извлечь вас отсюда. Если же с вами будут обращаться слишком сурово, непременно дайте мне знать.

Было уже поздно, когда Манури ушел. Я вернулась в свою келью. Вскоре зазвонили к вечерне; я пришла одной из первых, дала пройти монахиням, а сама осталась в дверях, без напоминания об этом. Действительно, настоятельница затворила передо мною дверь. Вечером, за ужином, она знаком велела мне сесть на полу среди трапезной; я повиновалась, и мне дали хлеба и воды; я поела немного, оросив пищу слезами. На следующий день держали совет; созвали всю монастырскую общину для суда надо мной и вынесли приговор: я лишалась часов отдыха, должна была в течение месяца слушать службу перед дверью на хоры, есть на земле посреди трапезной, три дня каяться публично, возобновить обряд принятия послушничества и повторить монашеский обет, носить власяницу, поститься через день и каждую пятницу подвергать себя бичеванию после вечерни. Во время произнесения этого приговора, я стояла на коленях; покрывало было опущено мне на лицо.

На следующий день настоятельница пришла в мою келью с монахиней, которая несла в руке власяницу и платье из грубой ткани, в которое меня одевали перед тем, как вести в темницу. Я поняла, что это означает. Меня раздели, или вернее сорвали с меня покрывало, стащили одежду, и я надела это платье. Голова моя была непокрыта, ноги босы, длинные волосы падали на плечи, и все мое одеяние ограничивалось власяницей, очень грубой рубахой и длинным платьем, охватывавшим мне шею и доходившим до пят. В таком одеянии я оставалась целый день и появлялась на всех службах.

Вечером, вернувшись в свою келью, я услышала, что приближаются с пением литаний. Двигались все монахини, выстроившись в два ряда. Вошли, я предстала

перед ними; мне накрутили веревку на шею, дали в одну руку зажженный факел, а в другую бич. Монахиня взяла веревку за конец и втащила меня в середину между рядами. Процессия направилась к маленькой внутренней молельне, посвященной святой деве. Подходя, негромко пели, назад пошли в молчании. Когда я подошла к этой маленькой молельне, освещенной двумя лампадами, мне приказали просить прощения у бога и у общины за учиненный мною скандал. Сопровождавшая меня монахиня говорила мне шопотом то, что я должна была повторять, — и я повторяла слово в слово. После этого, с меня сняли веревку, обнажили до пояса, взяли мои волосы, рассыпавшиеся по плечам, откинули их на одну сторону, вложили в правую руку бич, который я несла в левой, и начали Miserere. Я поняла, чего ожидали от меня, и исполнила это. По окончании Miserere настоятельница сделала мне краткое внушение; погасили лампы, монахини разошлись, и я снова оделась.

Вернувшись в свою келью, я почувствовала острую боль в ногах и взглянула на них; они были все в крови, изрезанные кусочками стекла, которые умышленно разбросали на моем пути.

Я публично каялась с соблюдением того же ритуала два следующих дня; только в последний к Miserere прибавили псалом.

На четвертый день мне вернули монашескую одежду, почти с теми же церемониями, с какими торжественно облачают в нее публично.

На пятый день я повторила свои обеты. В течение месяца я выполняла остальную наложенную на меня эпитимию, после чего почти вошла снова в общую колею монастырской жизни: вновь заняла свое место на хорах и в трапезной и в свою очередь отбывала различные обязанности в монастыре. Но каково было мое изумление, когда я обратила внимание на молодую подругу, интересовавшуюся моей судьбой! Мне показалось, что она изменилась почти так же, как я; она страшно нехудала,

смертельная бледность появилась на ее лице, губы побелели, и глаза почти потухли.

— Сестра Урсула, — сказала я ей шопотом, — что с вами?

— Что со мной? — ответила она, — я люблю вас, а вы задаете мне этот вопрос! Пора уже кончиться вашим истязаниям, иначе я умру.

В два последних дня моего публичного покаяния ноги у меня не были изранены только потому, что она позаботилась украдкой подмести коридоры и отбросить в сторону куски стекла. В дни, когда я была осуждена поститься, получая только хлеб и воду, она лишала себя части своей порции, которую завертывала в кусок полотна и бросала мне в келью. Когда кинули жребий, какой монахине вести меня на веревке, жребий пал на нее. У нее хватило твердости пойти к настоятельнице и заявить ей, что она решила скорей умереть, чем выполнить такую постыдную и жестокую обязанность. К счастью, эта молодая девушка была из состоятельной семьи; она получала большую пенсию, расходуя ее по усмотрению настоятельницы, и нашла за несколько фунтов сахара и кофе монахиню, заменившую ее. Я не дерзаю думать, что рука божия наказала эту недостойную. Она сошла с ума и сидит взаперти, но настоятельница здравствует, управляет, мучит и чувствует себя прекрасно.

Мое здоровье не могло устоять против таких долгих и суровых испытаний, и я тяжело заболела. При этих обстоятельствах сестра Урсула вполне доказала мне свою дружбу, — я обязана ей жизнью. Жизнь, сохраненная ею, не была для меня большим благом, — она сама говорила мне это иногда. Тем не менее она оказывала мне всевозможные услуги в те дни, когда дежурила в лазарете. В другие дни я не была заброшена, благодаря ее заботам и тем подачкам, которые она раздавала ухаживавшим за мной, смотря по тому, насколько был удовлетворителен уход. Она просила разрешения дежурить около меня ночью, но настоятельница отказала ей под тем предлогом,

что она слишком хрупкого сложения и не выдержит такого утомления; для нее это было большим горем. Все ее заботы нисколько не помешали развиваться моей болезни. Я находилась на волосок от смерти, меня причастили. За несколько минут до этого я попросила созвать всю общину, и просьба моя была удовлетворена. Монахини окружили мою кровать, настоятельница была среди них. Моя юная подруга занимала место у изголовья и держала мою руку, орошая ее слезами. Предполагая, что я хочу сказать что-нибудь, меня приподняли и подложили две подушки, чтобы я могла сидеть. Тогда, обратившись к настоятельнице, я попросила ее дать мне благословение и отпущение совершенных мною грехов, я попросила прощения у всех своих товарок за учиненный мною скандал. Я попросила принести и положить подле меня множество безделушек, или украшавших мою келью, или служивших для повседневных надобностей, и попросила настоятельницу разрешить мне распорядиться ими; она разрешила, и я раздала их тем монахиням, которые были ее спутницами, когда меня ввергали в темницу. Я подозвала монахиню, которая вела меня на веревке в день моего публичного покаяния, и сказала ей, обнимая ее и отдавая свои четки и распятие: «Дорогая сестра, поминайте меня в своих молитвах и будьте уверены, что я не забуду вас перед богом»... И почему бог не взял меня в эту минуту? Я готова была спокойно предстать перед ним. Это такое великое счастье, и разве кто-нибудь может надеяться пережить его дважды? Известно, что будет со мной в последнюю минуту, и однако она неизбежна. Пусть бог возобновит мои муки и дарует мне то же спокойствие, какое было у меня тогда! Я видела разверстые небеса, и они, несомненно, были разверсты, ибо совесть не обманывает в предсмертный час, а она обещала мне вечное блаженство.

Приняв причастие, я впала в какую-то летаргию. В продолжение всей этой ночи не надеялись, что я останусь жива. Время от времени подходили пощупать мне пульс. Я чувствовала, как водили руками по моему лицу,

и слышала различные голоса, говорившие как будто вдалеке: «Она отходит... Ее нос похолодел... Она не дотянет до завтра... Четки и распятие достанутся вам»... И другой гневный голос, говоривший: «Отойдите, отойдите, дайте ей умереть спокойно; разве вы не достаточно мучили ее?..» Я пережила счастливейшую минуту, когда, открыв глаза, по окончании этого кризиса, увидела себя в объятиях своей подруги. Она не покидала меня ни на миг и провела ночь, ухаживая за мной, повторяя молитвы за умирающих, давая мне целовать распятие и отнимая его от моих губ, чтобы поднести к своим. Увидя мои широко открытые глаза и услыша мой глубокий вздох, она подумала, что я испускаю дух, и принялась кричать, называя меня своим другом. Она говорила: «Боже мой, сжался над ней и надо мной! Боже мой, прими ее душу! Дорогой друг, когда вы предстанете перед богом, вспомните сестру Урсулу»... Я смотрела на нее, грустно улыбаясь, роняя слезы и пожимая ей руку.

В этот момент прибыл г-н Бувар — монастырский врач. Говорят, что это искусный доктор, но он деспотичен, надменен и резок. Он грубо отстранил мою подругу, пощупал мне пульс и кожу. Его сопровождала настоятельница со своими фаворитками. Он задал несколько односложных вопросов относительно того, что было со мной, и сказал: «Она поправится». Он повторил, видя, что настоятельнице это не понравилось: «Да, сударыня, она поправится; кожа в хорошем состоянии, температура понизилась, и глаза оживают».

При каждом его слове радость расцветала на лице моей подруги, а лица настоятельницы и ее спутниц выражали плохо скрываемую досаду.

— Сударь,— сказала я ему,— я не имею ни малейшего желания жить.

— Тем хуже,— ответил он.

Затем отдал распоряжения и вышел. Говорят, что во время своей летаргии я произнесла несколько раз: «Дорогая матушка, сейчас я буду с вами! Я расскажу вам все». Очевидно я обращалась к своей прежней

настоятельница, не сомневаюсь в этом. Я не отдала ее портрета никому, желая унести его с собой в могилу.

Предсказание г-на Бувара подтвердилось. Жар уменьшился, обильный пот окончательно прекратил лихорадку. Не было больше никаких сомнений, что я поправлюсь. Действительно, я поправилась, но выздоровление мое очень затянулось. Мне суждено было подвергаться в этом монастыре всевозможным мучениям. В болезни моей было что-то вредоносное. Сестра Урсула не отходила от меня почти ни на шаг. Когда я начала набираться сил, она стала терять свои: ее пищеварение расстроилось, после полудня у нее повторялись обмороки, продолжавшиеся иногда с четверть часа. В этом состоянии она была как мертвая: ее взор угасал, холодный пот покрывал лоб и собирался в капли, которые текли по щекам, руки висели, как плети. Она чувствовала себя немного легче, когда ее расшнуровывали и расстегивали одежду. Придя в себя, она первым делом искала меня подле и всегда находила; иногда даже, когда не лишалась совсем чувств и сознания, она, не открывая глаз, водила рукой вокруг меня. Смысл этого движения был настолько ясен, что некоторые монахини, бравшие эту ощупывавшую руку, говорили мне, когда рука снова падала, так как искала не их: «Сестра Сюзанна, она ищет вас, подойдите же к ней поближе»... Я бросалась к ее ногам, клала ее руку к себе на лоб, и рука ее оставалась там до конца обморока. Когда он кончался, Урсула говорила мне: «Сестра Сюзанна, я уйду отсюда, а вы останетесь. Я первая увижу ее опять, я буду говорить ей о вас, и она будет плакать, слушая меня. Если есть горькие слезы, то есть также очень сладкие, и если могут любить на небесах, то почему же не могут там плакать?» Потом она склоняла свою голову ко мне на плечо и прибавляла, заливаясь слезами:

— Прощайте, сестра Сюзанна, прощайте, друг мой. Кто будет делить с вами горе, когда меня не будет в живых? Кто?... Ах, дорогой друг, как мне жаль вас! Я ухо-

жу, я чувствую, что ухожу. Если бы вы были счастливы, как не хотелось бы мне тогда умирать!

Ее состояние пугало меня. Я говорила о ней с настоятельницей. Я хотела, чтобы ее поместили в больницу, освободили от церковных служб и других утомительных монастырских обязанностей, позвали врача. Но мне неизменно отвечали, что это пустяки, что эти обмороки пройдут сами собой и что дорогая сестра Урсула ничего так не хочет, как исполнять свои обязанности наравне с остальными. Однажды она не появилась больше после заутрени, на которой присутствовала. Я подумала, что ей очень плохо. По окончании ранней обедни я полетела к ней. Урсула лежала на кровати совершенно одетая; она сказала мне:

— Вот и вы, дорогой друг! Я так и думала, что вы сейчас придете, и ждала вас. Выслушайте меня. С каким нетерпением ожидала я вашего прихода! У меня был очень долгий и сильный обморок; я думала, что не очнусь и не увижу вас больше. Вот ключ от моей божницы, откройте шкафчик, поднимите дощечку, которая разделяет надвое нижний ящик. Вы найдете за этой дощечкой пакет с бумагами. Я никак не могла решиться расстаться с ними, как ни опасно мне было хранить их и как ни мучительно было перечитывать. Увы, буквы почти стерлись от моих слез; когда меня не будет более, вы сожжете эти бумаги...

Она была так слаба, и ей было так тяжело, что она не могла произнести двух слов подряд. Она останавливалась почти на каждом слове и, кроме того, говорила так тихо, что я едва слышала ее, хотя мое ухо было у самого ее рта. Я взяла ключ, показала ей пальцем на божницу, она утвердительно кивнула головой. Затем, почувствуя, что я сейчас потеряю ее, и убежденная в том, что ее болезнь — следствие моей болезни или пережитых ею огорчений или забот, которыми она меня окружала, я безутешно зарыдала. Я поцеловала ей лоб, глаза, лицо, руки и попросила у нее прощения, но ее мысли были где-то далеко, она не слышала меня. Одна из ее рук

покоилась на моем лице и ласкала меня. Вероятно она больше не видела меня, может быть, даже думала, что я вышла, потому что позвала меня:

— Сестра Сюзанна!

Я ответила:

— Я здесь.

— Который час?

— Половина двенадцатого.

— Половина двенадцатого!.. Идите обедать, идите, вы сейчас же вернетесь...

Зазвонили к обеду, пришлось оставить ее. Когда я была в дверях, она снова позвала меня; я вернулась. Она сделала усилие, чтобы подставить мне щеки, — я поцеловала их. Она взяла мою руку, сжала ее и не выпустила из своей. Казалось, что она не хочет, что она не может расстаться со мною.

— Однако, так надо, — сказала она, выпуская руку, — богу так угодно; прощайте, сестра Сюзанна. Дайте мне мое распятие...

Я вложила ей распятие в руки и ушла.

Собирались уже вставать из-за стола. Я обратилась к настоятельнице, сказала ей в присутствии всех монахинь об опасном положении сестры Урсулы, торопила ее убедиться в этом самой.

— Ну что же, надо ее навестить, — сказала она.

Она поднялась по лестнице в сопровождении нескольких монахинь. Я пошла за ними; они вошли в келью; бедная сестра скончалась: она лежала, вытянувшись на своей кровати, совсем одетая, склонившись головой на подушку, с полуоткрытым ртом. Глаза ее были закрыты, а в руках было распятие. Настоятельница холодно взглянула на нее и сказала: «Она умерла. Кто мог бы думать, что ее конец так близок? Это была превосходная девушка. Скажите, чтобы звонили в колокол и наденьте на нее саван».

Я осталась одна у ее изголовья. Не могу вам описать своего горя, однако я завидовала ее судьбе. Я придвинулась к ней ближе, оплакивала ее, поцеловала не-

сколько раз и прикрыла простыней лицо, черты которого начали изменяться, затем подумала об исполнении ее поручения. Чтобы мне не помешали в этом, я дождалась, когда все были в церкви, открыла божницу, вынула дощечку и нашла сверток бумаг довольно значительных размеров, который сожгла вечером. Эта молодая девушка всегда была грустна; я не помню, чтобы она улыбалась, за исключением одного раза во время болезни.

И вот я одна в этом монастыре, на всем свете, ибо я не знала ни одного существа, которое интересовалось бы мною. Я ничего больше не слышала об адвокате Манурри и предполагала, что он или отступил перед трудностями или, увлеченный делами и удовольствиями, забыл про свое предложение оказать мне услугу, и не очень досадовала на него за это. Мой характер склонен к снисходительности: я могу простить людям все, за исключением несправедливости, неблагодарности и бесчеловечности. Итак я старалась по мере возможности оправдать адвоката Манурри и всех этих мирян, проявивших ко мне такой живой интерес во время процесса и для которых я больше не существовала,— и вас самих, господин маркиз. В это время наши церковные власти посетили монастырь.

По прибытии они обходят кельи, расспрашивают монахинь, требуют отчета в духовном руководстве и хозяйственном управлении и, в зависимости от своего отношения к обязанностям, исправляют или увеличивают беспорядок. И вот я снова увидела почтенного и сурового г-на Эбера с двумя его молодыми сострадательными спутниками. Они, очевидно, вспомнили плачевное состояние, в котором я тогда явилась перед ними. Глаза их увлажнились, и я заметила на их лицах растроганность и радость. Г-н Эбер сел и велел мне сесть против себя. Его спутники продолжали стоять за его стулом. Они не сводили с меня глаз. Г-н Эбер сказал мне:

— Ну, сестра Сюзанна, как теперь обращаются с вами?

Я ответила ему:

— Обо мне забыли, батюшка.

— Тем лучше.

— И я также только этого и желаю, но я хочу просить у вас большой милости: позвать сюда мать-настоятельницу.

— Зачем это?

— Дело в том, что если к вам поступит какая-нибудь жалоба на нее, она непременно обвинит в этом меня.

— Понимаю, но все же скажите мне то, что вы знаете.

— Умоляю вас, батюшка, прикажите позвать ее, пусть она сама слышит ваши вопросы и мои ответы.

— Все-таки говорите.

— Вы погубите меня, батюшка.

— Нет, не бойтесь ничего. С этого дня вы не находитесь больше под ее властью. На этой неделе вас переведут в монастырь св. Евтропии, близ Арнажона. У вас есть хороший друг.

— Хороший друг, батюшка? Я такого не знаю вовсе.

— Это ваш адвокат.

— Господин Манури?

— Он самый.

— Я не думала, что он вспомнит обо мне.

— Он виделся с вашими сестрами, виделся с монсеньером архиепископом, с председателем, с лицами, известными своим благочестием. Он внес за вас вклад в только что названный мною монастырь, и через самое короткое время вас не будет здесь. Поэтому, если вы знаете что-нибудь о каких-либо неурядках, вы можете сообщить мне об этом, не боясь за себя, и я вам приказываю это святым послушанием.

— Я ничего не знаю.

— Как, неужели по отношению к вам не были приняты крайние меры после того, как вы проиграли процесс?

— Думали и не могли не думать, что я совершила грех, отрекаясь от своего обета, и заставили меня просить прощения у бога.

— Но я хотел бы знать обстоятельства, сопутствовавшие этой просьбе о прощении...

Произнося эти слова, он тряс головой, хмурил брови, и я поняла, что от меня зависело вернуть настоятельнице часть ударов бичом, которые она велела мне дать, но это не входило в мои намерения. Старший викарий убедился, что ничего не узнает от меня, и вышел, посоветовав держать втайне то, что сообщил мне по секрету о моем переводе в монастырь св. Евтропии близ Арпажона. В то время как добряк Эбер шагал один по коридору, его спутники обернулись и приветствовали меня очень ласково и сердечно. Я не знаю, кто они, но да сохранит им господь этот отзывчивый и милосердный характер, который встречается так редко среди лиц их звания и так подходит поверенным человеческих слабостей и ходатаям перед милосердным богом. Я думала, что г-н Эбер занят тем, что утешает, допрашивает или делает внушение какой-нибудь другой монахине, как вдруг он снова вошел в мою желью и сказал мне:

— Как вы познакомились с г-ном Манури?

— Он вел мое дело.

— Кто рекомендовал вам его?

— Супруга председателя.

— Вам часто приходилось беседовать с ним в течение вашего процесса?

— Нет, батюшка, я его мало видела.

— Как же вы сообщили ему необходимые сведения?

— Я написала своей рукой несколько объяснительных записок.

— У вас есть копии этих объяснительных записок?

— Нет, батюшка.

— Кто же передал ему эти записки?

— Супруга председателя.

— А как вы познакомились с ней?

— Меня познакомила с нею сестра Урсула, моя подруга и ее родственница.

— Вы видели г-на Манури после того как ваш процесс был проигран?

— Один раз.

— Это очень немного. Он ничего не писал вам?

— Нет, батюшка.

— И вы ему ничего не писали?

— Нет, батюшка.

— Он несомненно сообщит вам о том, что сделал для вас. Приказываю вам вовсе не видеться с ним в приемной, а если он напишет вам, прямо или через кого-нибудь, отослать мне его письмо, не вскрывая, понимаете, не вскрывая.

— Да, батюшка, я исполню ваше приказание...

Мне ли не доверял г-н Эбер, или моему заступнику, для меня это было одинаково оскорбительно.

Г-н Манури приехал в Лоншан в тот же вечер. Я сдержала слово, данное старшему викарию, и отказалась говорить с г-ном Манури. На следующий день он прислал мне письмо с посланным. Я получила его письмо и отослала, не вскрывая, г-ну Эберу. Это было, насколько я помню, во вторник. Я продолжала ждать с нетерпением результатов обещания старшего викария и хлопот г-на Манури. Прошли среда, четверг, пятница, а я не получала никаких вестей. Какими долгими показались мне эти дни! Я страшно боялась, что неожиданно появилось какое-нибудь препятствие, расстроившее все. Я не выходила на свободу, я меняла только тюрьму, но и это кое-что значит. Первое счастливое событие рождает в нас надежду на второе, и отсюда, может быть, происходит пословица: «Удача родит удачу». Я знала своих товарок, которых оставляла здесь, и не могла не предполагать, что выиграю кое-что, живя с другими узницами. Каковы бы они ни были, они не могли быть ни злее, ни злонамереннее здешних. В субботу, в девять часов утра, в монастыре поднялась суета. Надо очень немного, чтобы взбудоражить монахинь. Ходили туда и сюда, перешептывались; двери дортуаров открывались и затворялись: это, как вы уже знаете, признак монастырских революций. Я была одна в своей келье; сердце у меня сильно билось. Я прислушивалась у двери, смотрела в окно, металась без всякой цели. Я говорила себе, трепеща от радости: «Это пришли за мной; сейчас я вырвусь отсюда»... И я не ошиблась.

Передо мной предстали две незнакомки. То были монахиня и привратница из Арпажона. Они в двух словах известили меня о цели своего посещения. Не помня себя от волнения, я схватила свои пожитки и побросала, как юпало, в передник привратницы, — та свернула их. Я и не подумала проститься с настоятельницей; сестры Урсулы не было в живых, — в монастыре у меня не оставалось никого. Я спустилась вниз; предо мной отворили двери, осмотрев предварительно то, что я уносила. Я села в карету и уехала.

У настоятельницы Арпажонского монастыря собрался старший викарий со своими молодыми спутницами, супруга председателя и г-н Манури. Они были предупреждены о моем отъезде из Лоншана. Дорогой монахиня рассказывала мне о монастыре, расхваливая его, и привратница прибавляла к каждой фразе словно припев: «Это сущая правда»... Монахиня была в восторге от того, что, посылая за мной, избрали ее, и выражала желание быть моим другом. На этом основании она сообщила мне кое-что по секрету и дала кое-какие советы относительно моего поведения. Она, видимо, применяла эти советы сама, но меня от них покорило. Не знаю, видели ли вы Арпажонский монастырь. Это квадратное здание; с одной стороны его — большая дорога, с другой — поля и сады. У каждого окна фасада виднелись одна, две или три монахини. Одно это обстоятельство осветило мне порядки, господствовавшие в монастыре, лучше всех рассказней монахини и ее спутницы. Наш экипаж очевидно узнали, потому что в мгновение ока все эти головы в покрывалах исчезли, и я очутилась у дверей своей новой тюрьмы. Настоятельница вышла ко мне навстречу с распростертыми объятиями, поцеловала меня, взяла за руку и повела в монастырский зал, куда успели уже придти некоторые монахини и сбежались остальные.

Эту настоятельницу зовут г-жа***. Прежде чем продолжать рассказ, мне хочется нарисовать вам ее портрет. Это маленькая женщина, круглая, как шар, но проворная и живая. Голова ее ни минуты не остается в покое. В ее

одежде вечно что-нибудь съезжает набок, ее лицо скорее хорошо, чем дурно. Глаза, из которых один, правый, выше и больше другого, полны огня и бегают по сторонам. Когда она ходит, то размахивает руками взад и вперед. Когда собирается говорить, то открывает рот, прежде чем мысли ее пришли в порядок, и поэтому немного заикается. Когда садится, то ерзает на кресле, как будто ей что-то мешает; забывает все приличия, поднимает нагрудник и чешется, кладет ногу на ногу; спрашивает вас и не слушает, когда вы ей отвечаете. Говоря с вами, терлет нить мыслей, внезапно останавливается, не зная, что сказать, сердится и называет вас скотиной, идиоткой, дурой, если вы не наводите ее на мысль. Она то фамильярна до того, что говорит вам «ты», то властна и высокомерна до презрения, но не надолго напускает на себя важность. Снисходительность чередуется у нее с суровостью; ее искаженное лицо отражает всю сумбурность ее ума и всю неровность характера.

Порядок сменялся в монастыре беспорядком. Бывали дни, когда все смешивалось: пансионерки были вместе с послушницами, послушницы — с монахинями. Бегали в комнаты друг к другу, пили вместе чай, кофе, шоколад, ликеры. Служба совершалась с самой неприличной поспешностью. Вдруг, в разгар этой сумятицы, лицо настоятельницы меняется, звонит колокол, расходятся по кельям, запираются, глубочайшее молчание следует за шумом, криками, бегом. Можно подумать, что все внезапно вымерло. И тогда достаточно малейшего упущения, и настоятельница зовет монахиню в свою келью, распекает ее, приказывает раздеться и нанести себе двадцать ударов бичом. Монахиня повинует, раздевается, берет свой бич и начинает истязать себя, но едва она наносит несколько ударов, как настоятельница, сделавшись сострадательной, вырывает у нее орудие покаяния, принимается плакать, говорит, что чувствует себя очень несчастной от того, что наказала ее, целует ей лоб, глаза, рот, плечи, ласкает и расхваливает: «Какая у нее белая и нежная кожа! Какая округлость форм! Какая прекрасная шея! Какие волосы!..

Сестра Августина, да ты с ума сошла, чего ты стыдишься, сбрось это белье: я женщина и твоя настоятельница. О! Какая прекрасная грудь! Как она тверда! — и неужели я потерпела бы, чтобы острия бича разодрали это тело? Нет, нет, этого не будет никогда»... Она опять целует монахиню, поднимает, одевает сама, говорит с ней очень нежно, освобождает от церковной службы и отсылает в келью. Плохо иметь дело с женщинами такого рода: никогда не знаешь, как им угодить, что надо делать и чего избегать; безалаберность во всем; то изобилие, то голод; монастырь попадает в затруднительное финансовое положение; предостережения встречают пренебрежительное или враждебное отношение. Настоятельницы с таким характером или чрезмерно приближают к себе, или чересчур отдаляют, — не соблюдается ни должного расстояния, ни меры: от опалы переходят к милостям, от милостей к опале, неизвестно почему. Если угодно, я иллюстрирую вам примером ее управление. Два раза в год она бегала по кельям и приказывала выбросить в окно все бутылки с ликерами, которые находила там, а четыре дня спустя сама посылала другие бутылки большинству монахинь. И вот ей-то я дала торжественный обет послушания, потому что наши обеты переходят с нами из одного монастыря в другой.

Я вошла с нею; она вела меня, обняв за талию. Подали угощение из фруктов, марципана и варенья разных сортов. Почтенный старший викарий начал хвалить меня, она прервала его словами: «Были несправедливы, были несправедливы, я знаю»... Почтенный старший викарий хотел продолжать, но настоятельница прервала его: «Неужели они постарались избавиться от нее? Это сама скромность и кротость; говорят, она чрезвычайно талантлива»... Почтенный старший викарий хотел продолжать, настоятельница опять прервала его, шепнув мне на ухо: «Я вас безумно люблю, и когда эти педанты выйдут, я велю придти нашим сестрам, и вы споете нам что-нибудь, не так ли?..» Я едва удержалась от смеха. Почтенный г-н Эбер был немного смущен; его молодые спутники улы-

бались, видя его и мое замешательство. Однако г-н Эбер остался верен своему характеру и вернулся к своим обычным манерам: он резко велел настоятельнице сесть и молчать. Она села, но ей было не по себе; она вертелась на месте, чесала голову, поправляла одежду там, где она была в порядке, зевала, а тем временем старший викарий в назидательном тоне говорил об оставленном мною монастыре, о неприятностях, каким я подвергалась, о монастыре, куда я вступала, о лицах, которые помогли мне и которым я всем обязана. В эту минуту я взглянула на г-на Манури, он опустил глаза. И тогда разговор принял более общий характер. Тягостное молчание, предписанное настоятельнице, кончилось. Я подошла к г-ну Манури и поблагодарила за оказанные мне услуги. Я дрожала, говорила невнятно, не знала, как выразить свою благодарность. Мое смущение, мое замешательство, моя растроганность, ибо я действительно была растрогана, слезы и радость вперемешку, все мои движения сказали ему гораздо больше, чем я могла бы сказать. Его ответ был так же несвязен, как и моя речь. Он был смущен не менее меня. Не знаю, что он мне говорил, но я разобрала, что для него лучшая награда, если ему удалось смягчить суровость моей судьбы; что он будет вспоминать то, что сделал, с еще большим удовольствием, чем я; что ему крайне досадно, что дела, привязывающие его к парижскому суду, не позволят ему часто посещать Арпажонский монастырь, но что он надеется получить от г-на старшего викария и г-жи настоятельницы разрешение осведомляться о моем здоровье и моем положении.

Старший викарий не слышал этого, но настоятельница ответила: «Пожалуйста, сударь. Она будет делать все, что захочет. Мы постараемся загладить здесь огорчения, причиненные ей там»... И затем шепнула мне: «Дитя мое, значит ты очень страдала? Но как посмели эти лоншанские твари дурно обращаться с тобой? Твоя настоятельница — моя старая знакомая; мы в одно время были пансионерками в Пор-Рояле, — ее терпеть не могли остальные. Мы успеем наговориться; ты расскажешь мне все это...» Про-

пзюся эти слова, она взяла мою руку и похлопала по ней. Молодые церковнослужители также сказали мне несколько любезных слов. Было поздно, г-н Манури простился с нами, старший викарий и его спутники отправились к г-ну***, сеньеру Арпажона, куда они были приглашены, и с настоятельницей осталась я одна, но не надолго. Все монахини, послушницы, пансионерки прибежали вперемешку. Вмиг меня окружила сотня лиц. Я не знала, кого слушать, кому отвечать: каких только не было здесь лиц, о чем здесь только не болтали! Однако я подметила, что не были недовольны ни моими ответами, ни моей особой.

Эти надоедливые разговоры продолжались некоторое время, и когда первое любопытство было удовлетворено, толпа уменьшилась. Настоятельница выпроводила остальных и пошла сама водворить меня в моей келье. Она проявила необычайное радушие; показывая на божницу, она сказала: «Там мой дружок будет молиться богу; я хочу, чтобы на эту скамеечку положили подушку, а то она натрет себе коленочки. В кропильнице нет ни капли святой воды,— сестра Доротея вечно забудет что-нибудь. Сядьте в кресло, посмотрите, удобно ли вам в нем»...

Говоря так, она усадила меня, прислонила мою голову к спинке кресла и поцеловала в лоб. Подошла к окну, чтобы удостовериться, легко ли поднимаются и опускаются рамы, к моей кровати, где отдернула и задернула полог, чтобы посмотреть, хорошо ли он закрывается. Оглядела одеяло: «Одеяло хорошо». Взяла подушку и, взбивая ее, сказала: «Дорогой головке будет на ней очень хорошо; эти простыни недостаточно тонки, но в монастыре у всех такие; эти матрацы хороши»... После этого она подошла ко мне, обняла и ушла. Во время этой сцены я думала про себя: «Что за безумное создание!» И ждала в будущем и хорошего, и плохого.

Я устроилась в своей келье, присутствовала на всеобщей, за ужином, откуда перешла в рекреационный зал. Некоторые монахини старались держаться поближе ко мне, остальные отдалялись. Одни рассчитывали на мою

протекцию у настоятельницы, другие были уже встревожены оказанным мне предпочтением. Первые минуты прошли во взаимных похвалах, в расспросах относительно оставленного мною монастыря; пытались определить мой характер, мои наклонности, вкусы, ум; вас прощупывают, вам расставляют ряд ловушек и делают отсюда весьма правильные выводы. Например, бросают камешек в чей-нибудь огород и глядят на вас; начинают рассказывать какую-нибудь историю и ждут, попросите ли вы продолжать ее, или же оставите незаконченной; вы говорите что-нибудь самое заурядное, и вашими словами восторгаются, хотя прекрасно знают, что в них нет ничего особенного; вас нарочно хвалят или порицают; стараются проникнуть в самые сокровенные ваши мысли; спрашивают, что вы читаете; вам предлагают священные и светские книги; замечают, что вы выберете; побуждают к легким нарушениям монастырского устава; вам поверяют тайны, в разговоре с вами бросают словечки о странностях настоятельницы, — все удерживается в памяти и пересказывается; вас оставляют, принимаются за вас снова; зондируют ваши мнения относительно нравственности, благочестия, мира, религии, монастырской жизни, — всего. В результате этих повторных испытаний появляется характеризующий вас эпитет, и к вашему имени прибавляется прозвище, — так меня прозвали Сюзанна-скрытная.

Настоятельница посетила меня в первый же вечер. Она пришла в ту минуту, когда я хотела раздеваться. Она сама сняла с меня покрывало и нагрудник, сама причесала на ночь, сама раздела. Она наговорила мне кучу нежных слов и заласкала меня. Все это немного смущало меня, не знаю почему, так как ни я, ни она не видели в этом ничего особенного; даже в настоящее время, размышляя об этом, я не понимаю, что могло быть тут предосудительного? Однако, когда я сказала об этом своему духовнику, тот весьма серьезно отнесся к этому фамильярному обращению, которое казалось мне и кажется до сих пор невинным, и строго запретил допускать что-нибудь

людобное в дальнейшем. Она поцеловала мне шею, плечи, руки, похвалила мои формы и талию и уложила в постель; подоткнула одеяло с обеих сторон, поцеловала глаза, задернула полог и ушла. Я забыла сказать вам: предполагая, что я утомлена, она разрешила мне оставаться в постели, сколько угодно.

Я воспользовалась ее разрешением. Вероятно это была единственная спокойная ночь, проведенная мною в монастыре за все время моего пребывания в нем. На следующий день, в девять часов, я услышала легкий стук в дверь; я еще лежала; я ответила, вошли; это была монахиня, она сказала мне довольно ворчливым тоном, что уже поздно, и что мать настоятельница зовет меня. Я встала, поспешно оделась и пошла к ней.

— Добрый день, дитя мое, — сказала она, — хорошо ли вы спали? Вот кофе, он ожидает вас уже целый час; кажется, он хорош, пейте его поскорее, а после мы побеседуем...

Говоря это, она один платок разостлала на столе, другой развернула, чтобы завесить меня, наливала кофе, клала сахар. Другие монахини также угощались друг у друга. Пока я завтракала, настоятельница занимала меня разговорами о моих товарках, описывая мне каждую в зависимости от того, была ли расположена к ней или чувствовала антипатию, не знала, как показать мне свою дружбу, задавала тысячу вопросов об оставленном мною монастыре, о моих родителях, о неприятностях, которые я имела раньше; хвалила, порицала, болтая что взбрдет в голову и никогда не дослушивая моего ответа до конца. Я не говорила ей ни слова наперекор. Она была довольна моим умом, моей рассудительностью и скромностью. Между тем пришла монахиня, потом другая, потом третья, четвертая, пятая; заговорили о птицах матери настоятельницы; одна говорила о странных привычках какой-то сестры, другая о разных смешных слабостях отсутствующих; все развеселились. В углу кельи стояли клавикорды, я стала рассеянно перебирать клавиши, потому что меня весьма мало забавляли эти шутки. Я только что прибыла

в монастырь и совершенно не знала тех, над кем подтрунивали, да если бы я и знала их ближе, то это меня забавляло бы так же мало. Надо много остроумия, чтобы шутки были удачны, и кроме того, у кого же нет чего-нибудь смешного? Пока смеялись, я брала аккорды; малопомалу я привлекла внимание. Настоятельница подошла ко мне и, похлопывая по плечу, сказала:

— Ну, Сюзанна, позабавь нас; сначала сыграй, а после спой.

Я сделала то, что она велела, исполнила несколько пьес, которые знала наизусть, потом импровизировала, а после спела несколько стихов из псалмов, переложенных на музыку Мондовицем.

— Это очень хорошо,— сказала мне настоятельница,— но у нас и в церкви святости хоть ютбавляй. Мы одни, это мои друзья, они будут также и твоими. Спой нам что-нибудь повеселее.

Некоторые из монахинь сказали:

— Но, может быть, она ничего другого не знает. Она устала с дороги, надо пожалеть ее,— для первого раза и этого хватит.

— Нет, нет,— сказала настоятельница,— она чудесно аккомпанирует себе. Ни у кого в мире нет такого прекрасного голоса (и действительно у меня неплохой голос, однако в нем больше мягкости и гибкости, чем силы и широты диапазона; кроме того у меня хороший слух); я не отпущу ее, пока она не споет нам что-нибудь другое.

Я была немного обижена словами монахинь и ответила настоятельнице, что это не доставит никакого удовольствия сестрам.

— Но зато это доставит удовольствие мне.

Я ожидала этого ответа и спела довольно изящную песенку. Все захлопали в ладоши, расхваливали меня, обнимали, ласкали, просили спеть еще — комедия, разыгранная, чтобы угодить настоятельнице. Почти все они охотно лишили бы меня голоса и переломали бы пальцы, если бы могли. Некоторые, может быть, за всю свою жизнь не слышавшие музыки, делали нелепые замечания о моем пе-

нии, подпускали шпильки, на которые настоятельница не обратила никакого внимания.

— Замолчите, — сказала она, — сестра Сюзанна играет и поет как ангел, и я хочу, чтобы она приходила сюда ежедневно. Я когда-то брэнчала немного на клавесине и хочу, чтобы она меня снова научила.

— Ах, матушка, — сказала я, — кто умел играть прежде, тот никогда не разучится совсем...

— Дай-ка я попробую, пусти меня на свое место...

Она взяла несколько аккордов и сыграла пьесы, столь же безумные, причудливые, бессвязные, как и ее мысли, но я заметила, что рука ее, несмотря на все недостатки исполнения, гораздо легче моей. Я сказала ей это, ибо я люблю хвалить и редко упускаю случай делать это, когда похвала соответствует истине, — это так приятно! Монахини исчезли одна за другой, и я осталась с настоятельницей почти одна. Разговор шел о музыке. Она сидела, я стояла. Она взяла мои руки и сказала, пожимая их: «Мало того, что она хорошо играет: ни у кого в мире нет таких красивых пальцев, посмотрите-ка, сестра Тереза»... Сестра Тереза опустила глаза, покраснела и пробормотала что-то; красивые у меня пальцы или нет, правильно замечание настоятельницы или ошибочно, все же странно, что это произвело такое впечатление на эту сестру. Настоятельница обняла меня за талию и нашла, что у меня замечательно красивая талия. Она привлекла меня к себе, посадила на колени, приподняла мне голову руками, упрямивая смотреть на нее, хвалила мои глаза, рот, щеки, цвет лица. Я ничего не отвечала, потупила глаза и позволяла ласкать себя как угодно, точно дурочка. Сестра Тереза была рассеянна, беспокойна, ходила по келье туда и сюда, дотрагивалась до всего безо всякой нужды, не знала, куда деваться, глядела в окно, притворялась, будто слышит стук в дверь, и настоятельница сказала ей:

— Тереза, ты можешь уйти, если тебе скучно.

— Мне не скучно, матушка.

— Но мне надо о многом расспросить эту девочку.

— Верю.

— Я хочу знать всю ее историю. Как я заглажу причиненные ей огорчения, если не буду знать их? Я хочу, чтобы она рассказала мне все без утайки. Я не сомневаюсь, что у меня будет разрываться сердце, что я заплачу, но это неважно. Сюзанна, когда же я узнаю все?

— Когда прикажете, матушка.

— Я прошу тебя рассказать сейчас же, если у нас есть еще время. Который час?..

Сестра Тереза ответила:

— Пять часов, матушка, сейчас ударят к вечерне.

— Ну, что же, пусть начинают!

— Но, матушка, вы обещали мне уделить минутку перед вечерней — утешить меня. Меня мучают разные мысли; я очень хотела бы открыть свое сердце матушке настоятельнице. Если я пойду в церковь без этого, я не смогу молиться, я буду рассеянна.

— Нет, нет, — сказала настоятельница, — у тебя какие-то безумные мысли. Держу пари, я знаю, в чем дело; мы поговорим об этом завтра.

— Ах, дорогая матушка, — сказала сестра Тереза, бросаясь к ногам настоятельницы и заливаясь слезами, — поговорите со мной сейчас.

— Матушка, — сказала я настоятельнице, поднимаясь с ее колен, где я продолжала сидеть, — исполните просьбу сестры, прекратите ее страдания. Я уйду, я всегда успею удовлетворить ваше желание знать обо мне все, а сестра Тереза не будет мучиться, если вы выслушаете ее...

Я сделала шаг к двери. Настоятельница удержала меня рукой. Сестра Тереза, стоя на коленях, завладела другой рукой, целовала ее и плакала. Настоятельница сказала:

— Право, Тереза, все твои тревоги страшно надоели мне. Я уже говорила тебе: это мне не нравится, это меня стесняет; я не хочу никаких стеснений.

— Я знаю это, но не могу ничего с собой поделать, и хотела бы, да не могу...

Тем временем я ушла, оставив настоятельницу с молодой сестрой. В церкви невольно взглянула на Терезу.

Она все еще тосковала, была все еще угнетена. Наши глаза встретились, и мне показалось, что она с трудом выдерживает мой взгляд. А настоятельница задремала на своей скамье.

Службу поспешили кончить как можно скорее. Мне показалось, что церковные хоры посещались не особенно охотно.

Из церкви сестры выпорхнули щебеча, как стая птиц, вырвавшихся на волю, и разбежались по кельям друг к другу, смеясь и болтая. Настоятельница заперлась в своей келье, а сестра Тереза остановилась у двери своей, зорко следя за мной, как будто ей очень хотелось знать, что я буду делать. Я вошла к себе, и дверь кельи сестры Терезы затворилась лишь некоторое время спустя, и притом едва слышно. Мне пришла мысль, что эта молодая девушка ревнует ко мне и боится, как бы я не похитила места, которое она занимала в сердце настоятельницы, как бы не лишила ее милостей последней. Я наблюдала за ней несколько дней подряд, и когда меня достаточно убедили в правильности моих подозрений ее вспышки, ее ребяческая тревога, упорство, с каким она выслеживала меня, подсматривала за мной, старалась не оставлять вдвоем с настоятельницей, мешала нашим беседам, умаляла мои достоинства, выдвигала мои недостатки, а еще больше ее бледность, тоска, слезы, расстройство ее здоровья и даже умственных способностей,— я пошла к ней и сказала:

— Дорогой друг, что с вами?

Она не ответила мне. Мое посещение застигло ее врасплох и привело в замешательство,— она не знала, что сказать, что сделать.

— Вы недостаточно справедливы ко мне. Скажите мне правду, вы боитесь, как бы я не злоупотребила расположением ко мне матушки-настоятельницы и не вытеснила вас из ее сердца? Успокойтесь, это не в моем характере. Если бы я когда-либо имела счастье получить какую-нибудь власть над нею...

— Вы получите все, что угодно: она любит вас;

теперь она делает для вас точь-в-точь то, что делала сначала для меня.

— Ну и будьте уверены, что я воспользуюсь доверием, которое она окажет мне, только для того, чтобы сделать вас еще дороже ей.

— Разве это зависит от вас?

— Почему же это не зависит от меня?

Вместо ответа она бросилась ко мне на шею и сказала, вздыхая:

— Вы в этом не виноваты, я знаю; я каждую минуту повторяю себе это,—но... обещайте мне...

— Что должна я обещать вам?

— Что...

— Говорите, я сделаю все, что от меня будет зависеть.

Она замаялась, закрыла глаза руками и сказала мне шопотом, так тихо, что я едва расслышала:

— Что вы будете видеть ее как можно реже...

Эта просьба показалась мне такой странной, что я невольно ответила:

— А разве вам не все равно, часто или редко я вижу нашу настоятельницу? Меня несколько не огорчает, что вы беспрестанно видите с нею. Вас должно так же мало огорчать, что я делаю то же самое. Разве недостаточно для вас моего заявления, что, говоря с ней, я не причиню никакого вреда ни вам и никому другому?

Она ответила мне только следующими словами: «Я погибла!» Она произнесла это с тоской в голосе, отходя от меня и бросаясь на свою кровать.

— Погибли! Почему же? Вы, должно быть, считаете меня самым злым существом в мире?

Но в эту минуту вошла настоятельница. Она заходила в мою келью. Не найдя меня там, она в тщетных поисках обегала почти весь монастырь,—ей не приходило в голову, что я у сестры Терезы. Она прибежала, как только узнала об этом от тех, кого послала разыскать меня. В ее взгляде и на ее лице было заметно некоторое смущение, но вся ее особа так редко не была в противоречии сама

с собой! Сестра Тереза молчала, сидя на постели, я стояла возле. Я сказала настоятельнице:

— Матушка, прошу вас простить меня за то, что я пришла сюда без вашего разрешения.

— Это верно,— ответила она,— лучше было бы попросить разрешение.

— Но мне стало жаль эту дорогую сестру, я увидела, что она страдает.

— Отчего?

— Сказать ли вам это? И почему бы мне этого не сказать вам? Эта чуткость делает столько чести ее душе и показывает так ярко ее привязанность к вам! Проявления вашей доброты ко мне встревожили ее любовь. Она бонтсся, как бы я не вытеснила ее из вашего сердца,— это чувство ревности, столь достойное уважения, впрочем, столь естественное и столь лестное для вас, дорогая матушка, стало, как мне кажется, источником страданий для сестры, и я утешала ее.

Выслушав меня, настоятельница приняла суровый и внушительный вид и сказала Терезе:

— Сестра Тереза, я вас любила и до сих пор еще люблю. Вы не подавали мне повода сетовать на вас и не будете иметь повода сетовать на меня, но я не потерплю этих исключительных претензий. Отделайтесь от них, если бонтсесь погасить остаток моей привязанности к вам и если не забыли судьбу сестры Агаты...

Затем сказала, обращаясь ко мне: «Это та высокая брюнетка, которую вы видите на хорах против меня». (У меня было так мало знакомых, я так недавно поступила в монастырь,— я была новенькой и не знала еще по именам всех своих товарок.)

— Я любила ее,— продолжала настоятельница,— когда сестра Тереза поступила сюда, и я начала баловать Терезу. Агата проявляла такое же беспокойство, она так же безумствовала. Я сделала ей предупреждение,— она нисколько не исправилась, и я принуждена была применить к ней суровые меры. Они продолжались очень долго и совсем не свойственны моему характеру, потому

что все скажут вам, что я добра и никогда не наказываю иначе как скрепя сердце...

Потом она прибавила, обращаясь к Терезе:

— Дитя мое, я не потерплю никаких стеснений, я уже сказала вам это. Вы меня знаете, не заставляйте же меня изменять своему нраву.

Затем сказала, опираясь рукой на мое плечо:

— Пойдемте, Сюзанна, проводите меня.

Мы вышли. Сестра Тереза хотела следовать за нами, но настоятельница, пренебрежительно взглянув через мое плечо, сказала ей деспотическим тоном:

— Ступайте обратно в вашу келью и не выходите из нее, пока я вам не позволю...

Та повиновалась, хлопнула дверью, причем у нее вырвалось несколько слов, от которых настоятельница затряслась, не знаю почему, ибо они не имели никакого смысла; я заметила ее гнев и сказала ей:

— Дорогая матушка, если вы сколько-нибудь расположены ко мне, простите сестру Терезу. Она потеряла голову, она не знает, что говорит, не знает, что делает.

— Простить ее? Охотно, но что вы мне за это дадите?

— Ах, дорогая матушка, разве я имею счастье обладать чем-нибудь, что могло бы нравиться вам и успокоить вас?

Она потупила глаза, покраснела и вздохнула. Положительно, она была точно влюблена. Она сказала мне затем, наваливаясь на меня, как будто ей было дурно: «Дайте сюда ваш лоб, я поцелую его»... Я нагнулась, и она поцеловала меня в лоб. С той поры, как только случалось, что какая-нибудь монахиня провинится, я заступалась за нее, в полной уверенности, что добьюсь помилования, разрешая настоятельнице какую-нибудь невинную ласку. Это всегда был поцелуй — в лоб, в шею, в глаза, в щеки, в рот, в руки, в грудь, в плечи, но чаще всего в рот, — она находила, что у меня чистое дыхание, белые зубы и свежие алые губы.

Если бы я заслуживала хоть сотую долю похвал, которые она мне расточала, то в самом деле была бы

писаной красавицей. По ее словам, у меня белый, гладкий, очаровательной формы лоб; блестящие глаза, нежные щеки с ярким румянцем; единственные в своем роде, словно точеные, округлые руки с маленькими пухлыми кистями; грудь, твердая, как камень, и дивной формы; шея, какой не было ни у кого из сестер — изысканной и редкой красоты. Всего, что она мне говорила, не перескажешь. Кое-что в ее похвалах было, конечно, верно, но все было преувеличено. Иногда, оглядывая меня с головы до ног и любуясь мною с таким видом, какого я никогда не замечала ни у одной женщины, она говорила: «Право, величайшее счастье, что бог призвал ее в монастырь; с такой наружностью, живя в миру, она погубила бы поголовно всех мужчин, которые увидели бы ее, и сама погибла бы с ними. Бог делает все к лучшему».

Между тем мы подошли к ее келье. Я хотела было уйти, но она взяла меня за руку и сказала:

— Слишком поздно начинать рассказ о том, что было с вами в монастыре св. Марии и в лоншанском, но все же войдите, вы дадите мне коротенький урок на клавишине.

Я вошла вслед за нею. Она вмиг открыла клавишник, приготовила ноты, пододвинула стул, ибо отличалась живостью. Я села. Думая, что мне, может быть, холодно, она сняла со стула подушку и положила ее предо мной, потом нагнулась, взяла мои ноги и поставила их на подушку; она стала позади кресла и оперлась на спинку. Сперва я взяла несколько аккордов, а затем сыграла пьесы Купрена, Рамо, Скарлатти. Тем временем она приподняла воротник моей сорочки и опустила руку на мое голое плечо; концы ее пальцев касались моей груди. Она вздыхала, казалась подавленной, тяжело дышала. Рука, которую она держала на моем плече, сначала сильно сжимала его, потом выпустила, как будто обессилев и сделавшись безжизненной; ее голова склонилась на мою голову. Право, эта безумная женщина была невероятно чувствительна и чрезвычайно сильно увлекалась музыкой. Мне никогда не приходилось встречать человека, на кото-

рого музыка производила бы такое необычайное действие. Мы забавлялись таким образом столь же простодушно, как и приятно, как вдруг дверь распахнулась настежь. Я испугалась, настоятельница тоже. Это была сумасбродная сестра Тереза; одежда ее была в беспорядке, глаза мутные; она оглядела нас обеих с каким-то странным вниманием; губы ее дрожали, она не могла говорить. Однако она опомнилась и кинулась к ногам настоятельницы. Присоединив свою просьбу к ее просьбе, я опять добилась прощения для нее, но настоятельница заявила ей весьма твердо, что прощает ее в последний раз, по крайней мере, за проступки этого рода, и мы вышли вдвоем с Терезой.

По дороге в наши кельи я сказала ей:

— Дорогая сестра, берегитесь, вы приводите в дурное настроение матушку. Я не покину вас, но вы подрываєте мое влияние на нее. Я буду в отчаянии, если не смогу больше сделать ничего ни для вас и ни для кого другого. Но что вы думаете?

Никакого ответа.

— Почему вы боитесь меня?

Никакого ответа.

— Разве наша матушка не может одинаково любить нас обеих?

— Нет, нет, — ответила она с большой горячностью, — это невозможно. Вскоре я стану противна ей и умру от горя. Ах, зачем вы прибыли сюда? Вы недолго будете здесь счастливы, я уверена в этом, а я останусь несчастливой навсегда.

— Я знаю, что большое несчастье лишиться благоволения настоятельницы, но я знаю еще большее, это — снискать его: вам не в чем упрекать себя.

— Ах! Дай-то бог!

— Если вы обвиняете себя за какой-нибудь проступок, то надо загладить свою вину, и самое верное средство — терпеливо переносить наказание.

— Я не могу, не могу, и потом ей ли меня наказывать?

— А кому же как не ей, сестра Тереза! Разве так говорят о настоятельнице? Это нехорошо; вы забываетесь. Я уверена, что этот ваш проступок тяжелее всех тех, в которых вы можете себя упрекнуть.

— Ах, дай-то бог! — снова сказала она, — дай-то бог! И мы расстались. Она пошла в свою келью горевать, а я в свою размышлять о женских причудах.

Вот результат затворничества. Человек создан для общества. Отделите его, изолируйте, и его идеи станут хаотичными, его характер извратится, множество уродливых страстей возникнут в его сердце. Сумасбродные мысли пустят ростки в его уме, как тернии на дикой земле. Поместите человека в дремучий лес, он превратится в дикого зверя. В монастыре, где представление о неотвратимом соединяется с представлением о рабстве, условия еще хуже. Из лесу можно выйти, в монастыре остаются навсегда; в лесу — свободны, в монастыре — рабы. Может быть, надо еще больше силы духа, чтобы противостоять одиночеству, чем для того, чтобы выдержать гнет нищеты. Нищета унижает, уединение калечит душу. Что лучше — быть отверженным или быть безумным? Я не берусь решать это; по-моему, надо избегать того и другого.

Я видела, что нежность, которую настоятельница возымела ко мне, растет с каждым днем. Я беспрестанно заходила в ее келью, или она бывала в моей. При малейшем нездоровье она приказывала мне идти в лазарет, освобождала от посещения церковной службы, отсылала рано ложиться спать, запрещала являться на утреннюю молитву. На хорах, в трапезной, в рекреационном зале, везде она находила средство выказывать мне свою дружбу. Если, во время пребывания на хорах, встречался какой-нибудь стих, в котором звучало чувство привязанности и нежности, то она пела его, обращаясь в мою сторону, или смотрела на меня, если его пела другая монахиня. В трапезной она всегда посылала мне что-нибудь из тех изысканных блюд, которые подавались ей. В рекреационном зале обнимала меня за талию, осыпала ласковыми словами и любезностями. Она делилась со мной всяким подноше-

нием, которое делали ей, что бы это ни было: шоколад, сахар, кофе, ликер, табак, белье, носовые платки. Чтобы украсить мою келью, она опустошила свою, перенеся украшавшие ее гравюры, утварь, мебель, множество приятных или удобных вещей. Стоило мне отлучиться на минуту, и, вернувшись, я почти всегда находила какой-нибудь новый подарок. Я шла благодарить ее, и она испытывала невыразимую радость; обнимала меня, ласкала, сажала к себе на колени, посвящала в самые секретные дела монастыря и выражала надежду на жизнь в тысячу крат более счастливую, нежели та, которую она вела раньше в миру, только бы я любила ее. После этого она останавливалась, смотрела на меня нежными глазами и говорила:

— Сестра Сюзанна, любите ли вы меня?

— Как же я могу вас не любить. У меня была бы тогда очень неблагодарная душа.

— Это правда.

— Вы проявляете ко мне такие добрые чувства.

— Скажите лучше, такую склонность...

Произнося эти слова, она опускала глаза; рука, которой она обнимала меня, сжимала сильнее; рука, которой она опиралась на мое колено, давила на него; она привлекала меня к себе; мое лицо оказывалось у ее лица, она вздыхала, откинувшись на спинку стула, дрожала, как будто хотела сказать мне что-то по секрету и не смела; из глаз ее текли слезы, и потом она говорила:

— Ах, сестра Сюзанна, вы меня не любите!

— Я не люблю вас, дорогая матушка?

— Нет.

— Так скажите же, чем я должна доказать вам свою любовь?

— Вы сами должны догадаться.

— Я стараюсь, но не догадываюсь.

Тем временем настоятельница приподняла воротник и положила мою руку к себе на грудь; она безмолствовала, я также молчала; она, повидимому, испытывала величайшее наслаждение. Она упрасивала меня целовать

ее лоб, щеки, глаза и рот, и я повиновалась. Не думаю, что это было дурно, между тем ее наслаждение возрастало; и так как мне очень хотелось увеличить ее счастье таким невинным способом, то я опять целовала ей лоб, щеки, глаза и рот. Рука, которую она положила на мое колено, прогуливалась по всей моей одежде, от ступней до пояса, сжимая меня то в юдном месте, то в другом. Запинаясь, настоятельница умоляла меня изменившимся тихим голосом усилить мои ласки, и я усиливала их. Наконец, наступило мгновение, не знаю было ли это наслаждение или боль, когда она сделалась бледна как смерть; глаза ее закрылись, все ее тело судорожно вытянулось, губы, крепко сжатые сначала, стали влажными, как будто подернувшись легкой пеной; затем ее рот полуоткрылся, и мне показалось, что она умирает, испуская глубокий вздох. Я вскочила, думая, что ей нехорошо, хотела выйти звать на помощь. Она едва приоткрыла глаза и сказала замирающим голосом: «Какая невинность! Не беспокойтесь! Куда вы? Остановитесь»... Я тупо смотрела на нее, не зная, оставаться ли мне или уходить. Она снова открыла глаза, не будучи в состоянии произнести ни слова, знаком велела мне подойти поближе и вновь сесть к ней на колени. Не знаю, что происходило со мной. Я боялась, дрожала, сердце мое трепетало, я дышала с трудом, чувствовала себя смущенной, подавленной, возбужденной, мне было страшно и казалось, что силы покинули меня, что я сейчас лишусь чувств; однако, нельзя сказать, что испытываемое мною ощущение было болезненно. Я подошла к ней; она еще раз сделала мне знак рукой, предлагая сесть на колени; я села. Она казалась мертвой, и я как будто собиралась умереть. Мы обе оставались долго в этом странном состоянии. Если бы внезапно вошла какая-нибудь монахиня, то, право, она перепугалась бы; она вообразила бы, что или нам дурно, или мы заснули. Между тем мне показалось, что добрая настоятельница, ибо нельзя быть такой чувствительной, не будучи доброй, пришла в себя. Она попрежнему полулежала на стуле; глаза ее все еще были закрыты, но на лице заиграл румя-

нец; она взяла мою руку и стала ее целовать; я сказала:

— Ах, дорогая матушка, как вы меня напугали...

Она слабо улыбнулась, не открывая глаз.

— Разве вам не было плохо, матушка?

— Нет.

— А я думала, что вам плохо.

— Какая невинность! Ах, дорогая простушка! Как она мне нравится!

С этими словами она поднялась, снова уселась на стуле, обхватила меня поперек тела руками и стала осыпать щеки поцелуями; затем сказала:

— Сколько вам лет?

— Нет еще двадцати.

— Это непостижимо.

— Это правда, дорогая матушка.

— Я хочу знать всю вашу жизнь; вы расскажете мне ее?

— Да, матушка.

— Всю?

— Всю.

— Но могут войти; пойдете, сядем у клавесина: вы дадите мне урок.

Мы подошли к клавесину. Не знаю, что со мной было: руки мои дрожали, ноты сливались в глазах; я не могла играть. Я сказала ей это, она рассмеялась, села на мое место, но у нее выходило еще хуже: она едва могла держать руки на клавишах.

— Дитя мое,— сказала она,— я вижу, что вы не в состоянии давать мне урок, а я не в состоянии учиться; я немного утомлена, мне надо отдохнуть, до свидания. Завтра я хочу без промедления знать все, что происходило в этой дорогой душе, до свидания...

Когда я выходила, она обычно провожала меня до двери своей кельи и следила за мной глазами, пока я шла по коридору до моей; посылала мне воздушные поцелуи и возвращалась к себе только после того, как я входила в свою келью. В этот раз она едва приподнялась и могла

лишь с трудом дотащиться до кресла, стоявшего рядом с кроватью; она села, опустила голову на подушку, послала мне поцелуй; глаза ее закрылись, и я ушла.

Моя келья была почти напротив кельи сестры Терезы; дверь в нее была отворена; сестра Тереза поджидала меня; она меня остановила и сказала:

— Ах, сестра Сюзанна, вы идете от нашей матушки?

— Да,— ответила я.

— Вы долго там были?

— Столько времени, сколько она хотела.

— Вы обещали мне другое.

— Я ничего вам не обещала.

— Осмелитесь ли вы сказать мне, что вы там делали?

Хотя совесть не упрекала меня ни в чем, однако, признаюсь вам, господин маркиз, ее вопрос смутил меня; она заметила это, стала настаивать, и я ответила:

— Дорогая сестра, пожалуй, вы мне не поверите, но, может быть, поверите нашей матушке,— я попрошу ее удовлетворить ваше любопытство.

— Дорогая сестра Сюзанна,— заторопилась она,— будьте осторожны. Вы не захотите сделать меня несчастной. Настоятельница не простит мне этого никогда. Вы ее не знаете: она способна перейти от величайшей чувствительности к свирепости,— не знаю, что будет со мной. Обещайте мне ничего ей не говорить.

— Вы хотите этого?

— Я прошу вас об этом на коленях. Я в отчаянии, я вижу, какое решение мне придется принять, я решусь на все. Обещайте мне ничего ей не говорить...

Я подняла ее и дала ей слово молчать; она поверила моему слову и не ошиблась; и мы заперлись в своих кельях.

Вернувшись к себе, я задумалась; хотела молиться и не могла; старалась чем-нибудь заняться, начала работу, бросила ее, взялась за другую, опять бросила, принялась за третью. Руки мои останавливались сами собой, я была в каком-то оцепенении,— никогда не испытывала я ничего подобного. Глаза мои сами закрылись, я вздре-

мнула, хотя никогда не сплю днем. Пробудившись, я спросила себя, что произошло между настоятельницей и мною, старалась разобраться в своих ощущениях, — перебирая их, я как будто стала догадываться... но это были такие смутные, такие безумные, такие нелепые до смешного мысли, что я отбросила их прочь. В результате своих размышлений я пришла к выводу, что настоятельница; может быть, подвержена болезни; потом мне пришла другая мысль, что, может быть, эта болезнь заразна; что сестра Тереза заражена ею и что я тоже заболею.

На следующий день, после заутрени, настоятельница сказала мне:

— Сестра Сюзанна, я надеюсь узнать сегодня всё, что с вами произошло, приходите ко мне...

Я пошла к ней. Она усадила меня в кресло рядом со своей кроватью, а сама поместилась на стуле, который был ниже кресла; я немного возвышалась над ней, так как я и ростом выше ее, да и сиденье мое было выше. Она придвинулась ко мне так близко, что мои колени переплетались с ее коленями, и облокотилась на кровать. После минутного молчания я сказала:

— Несмотря на свою молодость, я много перестрадала; скоро будет двадцать лет с тех пор, как я появилась на свет, и все эти двадцать лет я страдаю. Не знаю, рассказывать ли вам все, хватит ли у вас терпения выслушать меня. Мучения у моих родителей, муки в монастыре св. Марии, муки в лоншанском монастыре, везде одни муки. С чего же мне начать, матушка?

— С самого начала.

— Но, дорогая матушка, это будет очень длинно и очень тоскливо, а я не хотела бы так долго наводить на вас тоску.

— Не бойся ничего, — я люблю поплакать. Пролить слезы — что может быть приятнее для нежной души? И ты, вероятно, любишь плакать, — ты утрешь мои слезы, я утру твои, и, может быть, мы будем счастливы во время рассказа о твоих страданиях. Кто знает, к чему может привести нас умиление?..

Произнося эти последние слова, она посмотрела на меня снизу вверх уже влажными глазами, взяла мои руки, подвинулась ко мне еще ближе, так что мы прикасались друг к другу.

— Рассказывай, дитя мое, — сказала она, — я жду, я чувствую сильнейшее желание растрогаться; я думаю, что в моей жизни не было ни одного дня, когда душа моя была бы столь полна сострадания и любви...

Итак, я начала свой рассказ почти с того же места, как и свое письмо к вам. Я не нахожу слов, чтобы описать вам действие, которое он произвел на нее; испускаемые ею вздохи, пролитые слезы, проявления негодования против моих жестоких родителей, против ужасных сестер монастыря св. Марии, против сестер лоншанского монастыря. Я была бы очень огорчена, если бы с ними случилась хотя бы сотая доля тех бед, которые она желала им; я не хотела бы, чтобы даже волос упал с головы моего злейшего врага. Время от времени она прерывала меня, вставала, прогуливалась, затем снова усаживалась на свое место. Иногда она поднимала руки и глаза к небу и затем прятала голову в моих коленях. Когда я рассказывала сцену, где меня вели в темницу, сцену изгнания бесов, сцену публичного покаяния, она почти кричала. Когда я дошла до конца и замолчала, она некоторое время оставалась полулежа на своей кровати, уткнувшись лицом в одеяло и простирая руки над головой; я сказала ей:

— Дорогая матушка, прошу вас простить меня за причиненные вам огорчения; я предупреждала вас, но вы сами хотели...

И она ответила мне следующими словами:

— Какие злые твари! Какие омерзительные и ужасные твари! Только в монастырях может до такой степени угасать человечность. Когда ненависть присоединяется к обычному дурному настроению, то, бог весть, до чего можно прийти. К счастью, я кротка; я люблю всех своих монахинь; они занимают — одни больше, другие меньше, место в моем сердце, и все они любят друг друга. Но как

могло такое слабое здоровье устоять против стольких мучений? Как уцелели все эти маленькие члены? Как не разрушился весь этот хрупкий механизм? Как не погас от слез блеск этих глаз? Жестокосердные! Скручивать веревками эти руки!.. — И она брала мои руки и целовала их. «Затопить слезами эти глаза!» И она целовала их. «Вырывать жалобы и стоны из этого рта!..» И она целовала его. «Беспрестанно омрачать это очаровательное и безмятежное лицо тучами печали!..» И она целовала его. «Иссушить розы этих щек!..» И она ласкала их рукой и целовала. «Обезобразивать эту голову! Вырывать эти волосы! Отягчать этот лоб заботами!» И она целовала мне голову, лоб, волосы... «Осмелиться накинуть веревку на эту шею и раздирать эти плечи остриями!..» И она отодвигала покрывало с моей шеи и головы; приоткрывала верх моего платья; мои волосы рассыпались по открытым плечам; моя грудь была наполовину обнажена, и она осыпала своими поцелуями мою шею, открытые плечи и полуобнаженную грудь.

Я заметила тогда, по охватившей ее дрожи, по сбивчивости ее речи, по блужданию глаз и рук, по тому, как ее колени стиснули мои, по пылкости, с какой она меня сжимала, и по неистовству ее объятий, что приступ ее болезни готов повториться. Не знаю, что происходило со мной, но меня охватил ужас, я трепетала и чувствовала внезапный упадок сил, все это подтвердило мне подозрение, возникшее у меня, что болезнь ее заразительна.

Я сказала ей:

— Дорогая матушка, посмотрите, в какой беспорядок вы меня привели. Если войдут...

— Останься, останься, — сказала она сдавленным голосом, — не войдут...

Однако я сделала усилие, чтобы подняться и вырваться от нее, и сказала:

— Дорогая матушка, остерегайтесь, как бы ваша болезнь не поразила вас снова. Разрешите мне уйти...

Я хотела удалиться, я хотела этого, в этом нет никакого сомнения, но не могла. Я чувствовала, что обещаю

силела, колени подгибались подо мной. Настоятельница сидела, я стояла, она тянула меня к себе, я боялась упасть на нее и ушибить ее; я села на край ее кровати и сказала:

— Дорогая матушка, не знаю, что со мной, мне не хорошо.

— И мне также,— сказала она,— но отдохни минутку, это пройдет, это ничего...

Действительно, моя настоятельница успокоилась, и я также. Обе мы были в полном изнеможении; я опустила голову на ее подушку; она положила свою на мое колено, прижавшись лбом к моей руке. Несколько минут мы оставались в таком положении. Не знаю, о чем она думала, что касается меня, то я не думала ни о чем, я не могла думать,— всю меня охватила слабость. Мы хранили молчание; настоятельница первая нарушила его; она сказала:

— Сюзанна, мне показалось, судя по тому, что вы рассказывали о вашей первой настоятельнице, что вы очень любили ее.

— Очень.

— Она любила вас не больше, чем я. Но вы любили ее больше... Что же вы не отвечаете?

— Я была несчастна, она смягчала мои горести.

— Но откуда у вас такое отвращение к монашеской жизни? Сюзанна, вы мне не все сказали.

— Простите, матушка.

— При вашем обаянии, дитя мое,— а вы сами не знаете, насколько оно велико, не может быть, чтобы никто не говорил вам этого.

— Мне это говорили.

— И тот, кто вам говорил это, не был вам антипатичен?

— Нет.

— И вы увлекались им?

— Ничуть.

— Как, ваше сердце никогда ничего не чувствовало?

— Ничего,

— Так значит не страсть, тайная или осуждаемая вашими родителями, вызвала в вас это отвращение к монастырю? Доверьте мне свою тайну,— я снисходительна.

— У меня нет никакой тайны, матушка, которую я могла бы доверить вам.

— Но еще раз спрашиваю вас, отчего происходит ваше отвращение к монашеской жизни?

— Сама эта жизнь вызывает во мне отвращение. Я ненавижу весь монастырский уклад, затворничество, принуждение. Мне кажется, у меня иное призвание.

— Но почему вам это кажется?

— Меня гнетет тоска; я скучаю.

— Даже здесь?

— Да, матушка, даже здесь, несмотря на всю вашу доброту ко мне.

— Но не испытываете ли вы тайных волнений, желаний?

— Никаких.

— Верю этому; у вас, кажется, спокойный характер.

— Довольно спокойный.

— Даже холодный.

— Не знаю.

— Вы не знаете мирской жизни.

— Я плохо знаю ее.

— Чем же тогда она может привлекать вас?

— Я не могу этого объяснить, как следует, но все же, должно быть, в ней есть нечто привлекательное.

— Не жалеете ли вы о свободе?

— Да, и, может быть, о многом другом.

— Что же это другое? Друг мой, говорите со мной откровенно: вы хотели бы выйти замуж?

— Я предпочла бы замужество тому положению, в каком нахожусь,— это верно.

— Откуда это предпочтение?

— Не знаю.

— Вы не знаете этого? Но, скажите мне, какое впечатление производит на вас присутствие мужчины?

— Никакого; если он умен и хорошо говорит, я слу-

шаю его с удовольствием; если у него красивое лицо, я замечаю это.

— И ваше сердце спокойно?

— До настоящего времени оно не знало волнений.

— Как! Когда мужчины смотрели загоревшимися глазами в ваши глаза, неужели вы не чувствовали...

— Иногда некоторое замешательство, — они заставляли меня опускать глаза.

— И никакого волнения?

— Никакого.

— И ваши чувства ничего вам не говорили?

— Я не знаю, что такое язык чувств.

— Однако они имеют его.

— Может быть.

— И вы не знаете его?

— Не имею о нем понятия.

— Как! Вы... Этот язык очень приятен; хотели бы вы узнать его?

— Нет, дорогая матушка, к чему это послужило бы?

— Это рассеяло бы вашу скуку.

— Может быть, увеличило бы ее. И кроме того, какое значение имеет этот язык чувств, когда не с кем говорить.

— Когда говорят, то всегда обращаются к кому-нибудь, это без сомнения лучше, чем беседовать с самим собой наедине, хотя и это не лишено удовольствия.

— Я ничего не понимаю в этом.

— Если хочешь, дорогое дитя, я разъясню тебе это.

— Нет, матушка, нет, я не знаю ничего и предпочитаю ничего не знать, чем приобретать знания, которые сделали бы меня еще более достойной жалости, нежели теперь. Мне чужды какие бы то ни было желания, и я вовсе не стремлюсь к таким, каких не могла бы удовлетворить.

— Почему же не могли бы?

— А как же я могла бы удовлетворить эти желания?

— Как я.

— Как вы! Но в этом монастыре нет никого,

— Я здесь, дорогой друг; вы здесь.

— Ну, и что же? Что я вам? И что вы мне?

— О, какая невинность!

— О, это верно, матушка, я совершенно невинна и предпочла бы умереть, нежели перестать быть ею.

Не знаю, почему эти последние слова могли расстроить настоятельницу, но лицо ее вдруг изменилось; она сделалась серьезной, пришла в замешательство; рука, которую она держала на моем колене, сначала перестала его сжимать, потом она отняла ее; глаза ее были опущены.

Я сказала ей:

— Что случилось, матушка? Неужели у меня сорвалось какое-нибудь слово, которое могло оскорбить вас? Простите меня. Я злоупотребляю предоставленной мне вами свободой; не взвешиваю ничего из того, что говорю вам, и кроме того, если бы даже я взвешивала свои слова, то сказала бы то же самое, а может быть, что-нибудь еще более неуместное. Предметы, о которых мы беседуем, так чужды мне! Простите меня...

Говоря эти последние слова, я обвила руками ее шею и положила голову к ней на плечо. Она порывисто обняла меня и очень нежно прижала к себе. Мы оставались так несколько мгновений; затем к ней вернулись ее нежность и хорошее настроение, и она сказала мне:

— Сюзанна, вы хорошо спите?

— Очень хорошо, в особенности в последнее время.

— Вы сейчас же засыпаете?

— Обыкновенно да.

— А когда вы не можете сразу заснуть, о чем вы думаете?

— О своей прошлой жизни, о будущей, или молюсь богу, или плачу, — о чем же мне еще думать?

— А утром, когда вы рано просыпаетесь?

— Я встаю.

— Сейчас же?

— Сейчас же.

— Значит вы не любите помечтать?

— Нет,

— Понежиться на подушке?

— Нет.

— Насладиться приятной теплотой постели?

— Нет.

— Никогда?..

Она остановилась на этом слове, и не без основания. Нехорошо было спрашивать о том, о чем она собиралась меня спросить, и, может быть, еще хуже говорить об этом, но я решила ничего не скрывать.

— У вас никогда не являлось искушения взглянуть на себя, полюбоваться своей красотой?

— Нет, матушка. Я не знаю, так ли я красива, как вы говорите; и кроме того, если бы это было даже и так, то красота существует для других, а не для себя.

— Вам никогда не приходила мысль провести руками по этой прекрасной груди, по этим бедрам, по этому животу, по всему этому твердому, нежному и белому телу?

— О, конечно, никогда,— ведь это грех, и если бы это случилось со мной, то не знаю, как я создалась бы в этом на исповеди...

Не помню, что мы говорили еще, как вдруг пришли доложить настоятельнице, что ее просят в приемную. Мне показалось, что этот визит раздосадовал ее. и что она предпочла бы разговор со мной, хотя мы говорили о таких вещах, что не стоило об этом жалеть; тем не менее мы расстались.

Община никогда не была так счастлива, как со времени моего вступления в монастырь. Настоятельница как будто утратила неровность своего характера. Говорили, что я сделала ее уравновешенной. Она устроила даже в честь меня несколько дней, свободных от обычных занятий — так называемых праздников; в эти дни трапеза несколько лучше обыкновенного, церковные службы короче, и все время между ними предоставлено отдыху. Но это счастливое время должно было кончиться для других и для меня.

За только что описанной мною сценой последовало

множество других в том же роде, — я пропускаю их. Вот продолжение первой.

Беспокойство начало овладевать настоятельницей; она потеряла веселость, покой, осунулась. В следующую ночь, когда все спали и в монастыре царствовала тишина, она встала и, побродив некоторое время по коридорам, подошла к моей келье. У меня чуткий сон, и мне показалось, что это настоятельница. Она остановилась и, повидимому, прижимаясь лбом к моей двери, стукнула настолько сильно, что разбудила бы меня, если бы я спала. Я молчала; мне показалось, что я слышу стоны и вздохи; сначала я вздрогнула, затем решила прочесть Ave; вместо ответа, слышались легкие, удаляющиеся шаги. Через некоторое время юпять подошли, стоны и вздохи возобновились; я еще раз прочла Ave, и от двери вторично удалились. Я приободрилась и заснула. В то время как я спала, кто-то вошел, сел возле моей кровати, отдернул наполовину полог, освещая мне лицо тоненькой свечкой; державшая ее смотрела, как я сплю; по крайней мере, так истолковала я ее позу, когда открыла глаза, — это была настоятельница.

Я вскочила; она заметила мой испуг и промолвила:

— Сюзанна, успокойтесь, это я...

Я снова положила голову на подушку и сказала ей:

— Матушка, что делаете вы здесь в такое время? Что могло привести вас сюда? Почему вы не спите?

— Я не могу заснуть, — ответила она, — я давно не сплю. Меня мучат кошмары. Едва я закрою глаза, как мне живо представляются страдания, которым вы подвергались, я вижу вас в руках этих бесчеловечных созданий, вижу ваши волосы, рассыпавшиеся по лицу, вижу ваши окровавленные ноги, факел в руке, веревку на шее. Мне кажется, что они замышляют убить вас; я вздрагиваю, я дрожу, холодный пот выступает на всем моем теле, я хочу придти вам на помощь, выпускаю крики, просыпаюсь и тщетно жду возвращения сна. Вот что произошло со мной этой ночью, меня охватил страх; мне представилось, что я получила свыше весть о какой-то беде,

случившейся с моим другом. Я встала, подошла к вашей двери, прислушалась. Мне показалось, что вы не спите. Вы заговорили, я ушла. Я вернулась, вы опять заговорили, и я опять удалилась. Я вернулась в третий раз и, когда подумала, что вы заснули, вошла. Я уже довольно долго сижу возле и боюсь вас разбудить. Сначала я не решалась отодвинуть ваш полог, хотела уйти, боясь потревожить ваш покой, но не могла противостоять желанию увидеть, хорошо ли чувствует себя моя дорогая Сюзанна. Я смотрела на вас: как вы прекрасны, даже во время сна!

— Как вы добры, дорогая матушка!

— Я простудилась, но знаю теперь, что мне нечего бояться за свое дитя, я думаю, что усну. Дайте мне вашу руку.

Я дала ей руку.

— Как спокоен пульс! Как он ровен! Ничто не волнует ее.

— У меня довольно спокойный сон.

— Какая вы счастливица!

— Матушка, вы еще больше простудитесь.

— Вы правы, до свидания, прекрасный друг, до свидания, я ухожу.

Однако она и не думала уходить и продолжала смотреть на меня; две слезы покатались из ее глаз.

— Дорогая матушка,— сказала я,— что с вами? Вы плачете; как мне досадно, что я рассказала вам о своих горестях!..

Она мигом заперла дверь, погасила свечу и кинулась ко мне. Держа меня в своих объятиях, она легла на одеяло рядом со мной, ее лицо прильнуло к моему, ее слезы мочили мои щеки. Она вздохнула и говорила мне жалобным прерывающимся голосом:

— Дорогой друг, сжальтесь надо мной!

— Что с вами, матушка? Вам нехорошо? Что же я должна сделать?

— Я дрожу, у меня озноб; смертельный холод разливается по моему телу.

— Хотите, я встану и уступлю вам свою кровать?

— Нет, вам незачем вставать; приподнимите только темного одеяло, чтобы я могла быть поближе к вам; дайте мне согреться, и я выздоровлю.

— Но это запрещено, матушка. Что скажут, если узнают это? За гораздо меньшую вину налагают эпитимью на монахинь. Я была свидетельницей этого. В монастыре св. Марии как-то раз одна монахиня пошла ночью в келью другой, своей хорошей подруги, и если бы вы только знали, что подумали о ней. Духовник спрашивал меня иногда, не предлагал ли мне кто-либо ночевать со мной, и строго внушал мне не допускать этого. Я ему рассказала даже о том, как вы ласкаете меня; я нахожу эти ласки очень невинными, но он думает об этом совсем иначе. Не знаю, как я забыла его советы,—я намеревалась поговорить с вами об этом.

— Дорогой друг,—сказала она.— Все спит вокруг нас, никто ничего не узнает. Я награждаю и я караю. Что бы ни говорил духовник, я не вижу ничего дурного в том, что одна подруга пустит к себе другую, которая проснулась, охваченная беспокойством, и пришла ночью, несмотря на холод, посмотреть, не грозит ли какая-либо опасность ее возлюбленной. Сюзанна, неужели у своих родителей вы никогда не спали в одной постели с вашей сестрой?

— Нет, никогда.

— Если бы представился случай, то неужели вы не легли бы с ней со спокойной совестью? Если бы ваша сестра, встревоженная и окоченевшая от холода, пришла попросить вас дать ей местечко рядом с вами, неужели вы отказали бы ей.

— Думаю, что нет.

— А разве я не ваша матушка?

— Да, это так, но это запрещено.

— Дорогой друг, я запрещаю это другим, а вам я это разрешаю и прошу вас об этом. Дайте мне погреться минутку, и я уйду. Дайте мне вашу руку...

Я дала ей руку.

— Вот,—сказала она,—пощупайте, видите, я дрожу, у меня озноб, я как ледышка...

И это была правда.

— О дорогая матушка, вы заболаете. Но погодите, я отодвинусь к краю, и вы ляжете на теплое место.

Я примостилась сбоку, убрала одеяло, и она легла на мое место. О, как ей было плохо! Вся она тряслась, как в лихорадке. Она хотела говорить со мной, хотела подвинуться ближе и не могла произнести членораздельно ни одного слова, не могла пошевелиться. Она сказала мне шопотом:

— Сюзанна, друг мой, подвиньтесь поближе...

Она протянула руки; я повернулась к ней спиной; она осторожно взяла меня и привлекла к себе; правую руку просунула под мое туловище, а левую положила сверху и сказала:

— Я замерзла; мне так холодно, что я боюсь дотронуться до вас: вы заболаете.

— Дорогая матушка, не бойтесь ничего.

Она тотчас же положила одну руку на мою грудь, а другой обвила мне талию; ее ступни были под моими ступнями, и я сжимала их, чтобы согреть; и матушка сказала:

— Ах, дорогой друг, видите, как скоро согрелись мои ноги, оттого что ничто не отделяет их от ваших.

— Но, — сказала я, — что же мешает вам согреть все тело таким же образом?

— Ничего, если вы хотите.

Я повернулась к ней, она подняла свою рубашку, а я собиралась поднять свою, как вдруг в дверь неистово застучали. Я в ужасе соскочила с кровати в одну сторону, а хозяйка в другую. Мы стали прислушиваться и слышали, что кто-то на цыпочках подходит к соседней келье.

— Ах! — сказала я, — это сестра Тереза; она видела, как вы прошли по коридору и вошли ко мне; она подслушала нас, она услышала наш разговор; что она скажет?..

Я была ни жива, ни мертва.

— Да, это она, — сказала хозяйка раздражен-

иым тоном, — это она, я не сомневаюсь в этом, но я надеюсь, что она долго будет помнить свою дерзкую выходку.

— Ах, матушка, не делайте ей ничего дурного!

— Сюзанна, прощайте, покойной ночи. Ложитесь, усните, освобождаю вас от утренней молитвы. Я пойду к этой сумасбродке. Дайте мне вашу руку...

Я протянула ей руку с одного края кровати к другому; она подняла рукав и, вздыхая, всю ее покрыла поцелуями — от конца пальцев до плеча; затем она вышла, заявляя, что дерзкая, осмелившаяся ее потревожить, попомнит это. Я тотчас же быстро передвинулась к другому концу моего ложа ближе к двери и стала слушать. Она вошла к сестре Терезе. Я думала было встать и пойти заступиться за сестру, если сцена сделается бурной, но я была так смущена, мне было так не по себе, что я предпочла остаться в постели, однако не заснула. Я думала о том, что весь монастырь заговорит обо мне; что эта история, не заключавшая в себе ничего особенного, будет рассказана с самыми неблагоприятными комментариями; что будет еще хуже, чем в Лоншане, где меня обвинили неизвестно за что; что наш проступок дойдет до сведения церковных властей, настоятельница будет смещена, и обе мы будем строго наказаны. Тем временем я прислушивалась, ожидая с нетерпением, когда матушка выйдет от сестры Терезы, но, повидимому, это дело было трудно уладить, ибо она провела там почти всю ночь. Как мне было жаль ее! — она была в одной рубашке, совсем голая; разгневанная, застывшая от холода.

Утром мне очень хотелось воспользоваться ее разрешением и остаться в постели. Однако мне пришла мысль, что этого не следует делать. Я поспешно оделась и первой пришла на хоры, куда настоятельница и сестра Тереза не явились вовсе; это доставило мне большое удовольствие: во-первых, в присутствии этой сестры я испытывала бы крайнее смущение; во-вторых, разрешение пропустить службу показывало, что настоятельница простила ее, и мне не о чем было больше беспокоиться. Я угадала.

Едва служба кончилась, как настоятельница велела

позвать меня. Я пошла к ней. Она была еще в постели, у нее был крайне утомленный вид; она сказала мне:

— Я больна; я совсем не спала; сестра Тереза сумасшедшая; если это случится с ней еще раз, я залпу ее.

— Ах, матушка,— сказала я,— не запирайте ее никогда.

— Это будет зависеть от ее поведения. Она обещала мне вести себя лучше; я полагаюсь на ее обещание. А вы, дорогая Сюзанна, как вы себя чувствуете?

— Хорошо, матушка.

— Вздремнули ли вы?

— Немножко.

— Мне сказали, что вы были на хорах, почему вы не остались в постели?

— Я чувствовала бы себя там плохо, и потом я подумала, что лучше будет...

— Нет, в этом нет ровно ничего неудобного. Но мне хочется вздремнуть. Советую вам сделать то же в своей келье, если только вы не предпочитаете занять место рядом со мной.

— Матушка, я вам бесконечно признательна; я привыкла спать одна и не могла бы заснуть с другой.

— Идите же. Я не пойду обедать в трапезную,— мне подадут сюда. Может быть, я останусь в постели весь день. Приходите ко мне, я позвала еще кое-кого.

— А сестра Тереза будет у вас?— спросила я.

— Нет,— ответила она.

— Я не огорчена этим.

— Почему же?

— Не знаю, мне кажется, я боюсь встречаться с нею.

— Успокойтесь, дитя мое; уверяю, что она сама боится вас, а вам нечего ее бояться.

От настоятельницы я пошла к себе отдохнуть, а после полудня отправилась к ней и застала у нее довольно многочисленное собрание самых молодых и красивых монахинь монастыря; другие заходили навестить ее и ушли. Вы знаете толк в живописи, господин маркиз; уверяю

вас, это была довольно приятная для глаз картина. Вообразите мастерскую, в которой работают девять-двадцать девушек; самой юной из них каких-нибудь пятнадцать лет, а старшей не более двадцати трех. Настоятельница, лет сорока, белая, свежая, дородная, полусидела на кровати. У нее двойной подбородок, несколько не портящий ее, круглые, словно точеные руки, тонкие пальцы, усыпанные перстнями; черные большие, живые и нежные глаза, почти всегда полускрытые, как будто обладательнице этих глаз утомительно открывать их; губы, алые, как роза, зубы, белые, как молоко, прелестные щеки, очень приятная голова, глубоко ушедшая в мягкую подушку; руки в истоме вытянулись по бокам, поддерживаемые подложенными под локти подушечками. Я села на край постели и ничего не делала. Одна из монахинь сидела в кресле, с маленькими пальцами на коленях, другие у окон вязали кружева, или, сидя на полу, на подушках, снятых со стульев, шили, вышивали, раздергивали по ниткам ткань, или пряли на маленьких пряхках. Одни были блондинки, другие брюнетки, — ни одна не походила на другую, хотя все были красивы. Их характеры были так же разнообразны, как и физиономии; одни невозмутимо спокойны, другие веселы, третьи серьезны, меланхоличны или грустны. Как я вам сказала, все, за исключением меня, работали. Нетрудно было угадать, кто с кем враждует, кто дружен, кто к кому относится равнодушно: подруги поместились или рядом, или друг против друга, — они болтали, не прекращая работы, давали друг другу советы, украдкой переглядывались, передавали булавку, иглу, ножницы, пользуясь этим, чтобы позвать друг другу пальцы. Настоятельница переводила глаза с одной на другую; одну журила за прилежание, другую за леность, третью за равнодушное отношение к делу, четвертую за грусть. Приказывала подавать ей работу, порицала или хвалила, поправляла головной убор: «Покрывало чересчур надвинуто... полотно слишком закрывает лицо, ваши щеки недостаточно видны... Вот эти складки плохо лежат»...

Она никого не обошла, пожурила или приласкала каждую. В то время как все были заняты таким образом, я услышала тихий стук и пошла к двери. Настоятельница сказала:

— Сестра Сюзанна, возвращайтесь обратно. Непременно возвращайтесь, мне надо сообщить вам кое-что важное.

— Я сейчас вернусь...

Это была бедная сестра Тереза. В первую минуту она не могла произнести ни слова, я также молчала; затем я сказала ей:

— Дорогая сестра, я вам нужна?

— Да.

— Что вам угодно?

— Сейчас скажу. Я впала в немилость у нашей матушки, я полагала, что она простила меня, и имела некоторое основание это думать; однако вы все собрались у нее, а меня там нет, мне приказано оставаться в своей келье.

— А вы хотели бы войти?

— Да.

— И желали бы, чтобы я испросила разрешение?

— Да.

— Подождите, дорогой друг, я пойду к ней.

— Правда, вы будете просить ее за меня?

— Конечно, почему же мне не обещать вам этого и не исполнить своего обещания?

— Ах, — сказала она, нежно глядя на меня, — я прощаю ей, прощаю увлечение вами, — вы обладаете всеми чарами: прекраснейшей душой и прекраснейшим телом.

Я с величайшей радостью готова была оказать ей эту маленькую услугу. Я вернулась в келью. В мое отсутствие другая сестра заняла мое место на краю постели настоятельницы, наклонилась к ней, оперлась локтем между ее ног и показывала ей свою работу; настоятельница, полузакрыв глаза, отвечала «да» или «нет», почти не глядя на нее; я стояла возле, но она меня не заметила. Однако она вскоре очнулась от своей

рассеянности. Занимавшая мое место уступила мне его; я снова села и, слегка наклонившись к настоятельнице, которая приподнялась на подушках, молча смотрела на нее таким взглядом, который говорил, что я хочу просить ее о какой-то милости.

— Ну,— сказала она,— в чем дело? Говорите, чего вы хотите? Разве могу я отказать вам в чем-нибудь?

— Сестра Тереза...

— Понимаю. Я очень недовольна ею, но сестра Сюзанна заступается за нее, и я ее прощаю; идите, скажите ей, что она может войти.

Я побежала. Бедная сестренка ждала у двери; я сказала ей, чтобы она шла. Тереза двинулась, дрожа и опустив глаза. При первом же шаге она уронила прикрепленный к убору длинный кусок кисеи, который держала в руках, я подобрала его, взяла ее под руку и подвела к настоятельнице. Она бросилась на колени, схватила руку матушки, поцеловала ее, вздыхая и проливая слезы, затем завладела моей рукой, вложила ее в руку настоятельницы и поцеловала ту и другую. Настоятельница знаком велела ей встать и занять любое место,— она повиновалась. Подали угощение. Настоятельница встала с постели. Она не села с нами, а прохаживалась вокруг стола и то клала руку на голову какой-нибудь сестры, слегка откидывая ее назад и целуя в лоб, то поднимала покрывало на шее другой, клала на нее руку и оставалась так, опираясь на спинку кресла; перейдя к третьей, гладила ее или подносила свою руку к ее губам; пробовала угощение и потчевала то одну, то другую. Пройдясь таким образом, она остановилась против меня, глядя очень нежными и любящими глазами. Тем временем остальные, в особенности сестра Тереза, опустили глаза, как будто боялись помешать ей или отвлечь ее внимание. По окончании угощения, я села за клавесин; я аккомпанировала двум сестрам. Хотя они и не учились, но пели со вкусом, правильно, и у них был голос. Я также пела, аккомпанируя себе. Настоятельница сидела у подножья клавесина и, казалось, испытывала величайшее

наслаждение, внимая мне, созерцая меня, — остальные слушали стоя и ничего не делали или же снова принялись за работу. Это был восхитительный вечер. Наконец, все разошлись.

Я пошла с другими, но настоятельница остановила меня.

— Который час? — спросила она.

— Около шести.

— Сейчас придут некоторые монахини из нашего капитула. Я обсудила то, что вы рассказывали мне о вашем выходе из лоншанского монастыря, и сообщила им свои соображения. Они одобрили их, и мы хотим предложить вам кое-что. Успех нам обеспечен, а если мы достигнем своей цели, то и монастырь будет не в убытке, и вам будет приятно...

В шесть часов вошли члены монастырского капитула: он состоит всегда из самых дряхлых и старых монахинь. Я встала, они сели; и настоятельница сказала:

— Сестра Сюзанна, вы ведь говорили мне, что г-н Манури облагодетельствовал вас, внеся сюда за вас вклад?

— Да, матушка.

— Они вам ничего не вернули?

— Нет, матушка.

— И не дают никакой пенсии?

— Нет, матушка.

— Это несправедливо; я сообщила это членам нашего капитула, и они думают, как и я, что вы вправе требовать от лоншанских сестер возвращения этого вклада, передачи его в наш монастырь или назначения вам пенсии. Вклад, которым вы обязаны участию г-на Манури, не имеет ничего общего с тем, который сестры лоншанского монастыря должны вам: он внес за вас вклад вовсе не в уплату их долга.

— Я думаю то же, но чтобы удостовериться, всего проще написать.

— Несомненно, но в случае получения от него положительного ответа, мы намерены сделать вам следующую-

щее предложение. Мы начнем от вашего имени процесс против лоншанского монастыря. Наш монастырь покроет расходы по ведению дела; они не будут велики, так как, всего вероятнее, г-н Манури не откажется взять на себя это дело. Если мы выиграем, то монастырь разделит с вами пополам капитал или пенсию. Что думаете вы об этом, дорогая сестра? Вы не отвечаете, вы задумались?

— Я думаю, эти лоншанские сестры сделали мне много зла, и я была бы в отчаянии, если бы они воображали, что я мщу им.

— Дело идет не о мести, а о требовании обратно того, что вам должны.

— Значит, придется еще раз привлечь к себе общее внимание.

— Об этом нечего беспокоиться. О вас почти не будет и речи. И потом наша община бедна, а лоншанская богата. Вы будете нашей благотворительницей, по крайней мере, пока мы живы. Не из-за этого, конечно, мы хотим сохранить вас, мы все вас любим...

И все члены капитула сказали хором:

— Да разве есть кто-нибудь, кто не любил бы ее? Она — само совершенство.

— Я с минуты на минуту могу перестать быть настоятельницей, другая, может быть, не будет питать к вам таких чувств, как я. Ах, конечно, она не будет питать их. У вас могут быть недомогания, мелкие нужды. Очень приятно иметь в своем распоряжении небольшие деньги, чтобы облегчать свою жизнь или делать что-нибудь для других.

— Дорогие матери, — сказала я им. — Я не могу пренебрегать этими соображениями, они продиктованы вашей добротой ко мне. Однако, есть и другие более веские в моих глазах, но ради вас я готова поступиться всем, подавить какое угодно отвращение. Единственная милость, которой я прошу у вас, матушка, — ничего не начинать, не посоветовавшись в моем присутствии с г-ном Манури.

— Это как раз то, что надо. Вы сами хотите написать ему?

— Как вам угодно, матушка.

— Напишите ему, и, чтобы не возвращаться к этому дважды, ибо я терпеть не могу дел такого рода, яни вызывают во мне отчаянную скуку, — напишите ему сейчас же.

Мне дали перо, чернил и бумаги, и я немедленно обратилась к г-ну Манури с просьбой¹ соблаговолить приехать в Арпажон, как только ему позволят дела. Я написала, что опять нуждаюсь в его помощи и советах по довольно важному делу и т. д. Монастырский капитул прочел это письмо, одобрил, и оно было послано.

Г-н Манури приехал через несколько дней. Настоятельница изложила ему дело. Ни минуты не колеблясь, он присоединился к ее мнению. Моя щепетильность показалась ему смешной. Было решено на следующий же день предъявить иск монахиням лоншанского монастыря. Иск был предъявлен, и вот, вопреки моему желанию, имя мое снова появилось в докладных записках, в заявлениях сторон, при разборе дела в суде, и все это со всякими подробностями, предположениями, с нагромождением лжи и всевозможных клеветнических измышлений, какие могли бы бросить на меня тень в глазах судей и вооружить против меня общественное мнение. Но почему, господин маркиз, адвокатам позволяют клеветать, сколько им вздумается? Неужели нет на них никакой управы? Если бы я могла предвидеть все огорчения, которые повлечет это дело, уверяю вас, я никогда не согласилась бы начать его. Нескольким монахиням нашего монастыря позаботились прислать документы, оглашенные на суде и направленные против меня. Они ежеминутно подходили ко мне и расспрашивали о подробностях ужасных событий, которые были сплошным вымыслом. Чем больше неведения обнаруживала я, тем больше верили в мою виновность; верили, что все это правда, так как я не объясняла ничего, не признавалась ни в чем, отрицала все; с улыбочкой делали мне темные, но очень оскорбительные намеки;

пожимали плечами, подтрунивали над моей невинностью. Я плакала, я была безутешна.

Но беда никогда не приходит одна. Наступило время исповеди. Я уже покаялась в первых ласках настоятельницы. Духовник строго-настрого запретил мне соглашаться на них в дальнейшем, но как отказать той, от которой всецело зависишь, в том, что доставляет ей большое удовольствие, и в чем не видишь сама ничего дурного?

Духовник этот должен играть большую роль в моих остальных записках, и я думаю поэтому, что вам следует познакомиться с ним.

Это францисканец; его зовут отец Лемуан; ему не более сорока пяти лет. Редко можно встретить такое прекрасное лицо: оно кроткое, ясное, открытое, смеющееся, приятное, когда он не думает о производимом впечатлении, но когда он думает об этом, его лоб покрывается морщинами, брови хмурятся, глаза смотрят вниз, и манера держать себя делается суровой. Я не знаю двух людей, более различных, чем отец Лемуан у алтаря и отец Лемуан в приемной, один или в компании. Впрочем, все монашествующие таковы, и даже я сама, идя к решетке приемной, несколько раз ловила себя на том, что я внезапно останавливаюсь, поправляю покрывало, повязку на голове, придаю особое выражение лицу, глазам, рту, изменяю положение рук, осанку, походку, сообщаю своим манерам напускную скромность, сохраняя ее более или менее долго, смотря по тому, с кем мне приходится говорить. Отец Лемуан — высокого роста, хорошо сложен, весел и очень любезен, когда забывает о своем звании. Он чудесно говорит и пользуется в монастыре репутацией ученого богослова, а в миру слывет замечательным проповедником. От его бесед приходят в восторг. Этот человек обладает глубокими познаниями во многих областях, не имеющих никакого отношения к его званию. У него прекрасный голос, он знает музыку, историю и языки; он доктор Сорбонны. Несмотря на свой возраст, он прошел уже

главные степени своего ордена. Мне кажется, что он не интриган и лишен честолюбия; его любят собратья. Он ходатайствовал о назначении его настоятелем Этампского монастыря, полагая, что на этом покойном посту он мог бы, не отвлекаясь ничем, отдаться некоторым начатым им научным исследованиям, и получил это назначение. Для монастыря выбор духовника — дело большой важности: надо иметь пастырем значительного и заметного человека. Сделали все, чтобы заполучить отца Лемуана, и он выполнял обязанности духовника, по крайней мере в особо важных случаях.

Накануне больших праздников из монастыря посылали за ним карету, и он приезжал. И надо было видеть, какая суета поднималась во всей общине, когда ждали его приезда; какая радость была написана на лицах, как запирались в кельях, готовясь к исповеди и придумывая, как занять его возможно дольше.

Был канун троицына дня. Его ждали. Меня мучило беспокойство, настоятельница заметила это и заговорила со мной. Я не скрыла от нее причины своего беспокойства. Мне показалось, что она встревожена еще больше меня, хотя и старалась не показывать вида. Она иронически говорила об отце Лемуане, подтрунивала над моей мнительностью, спросила меня, неужели отец Лемуан знает больше о чистоте моих и ее чувств, нежели наша совесть, и упрекает ли меня моя совесть в чем-либо. Я ответила ей, что нет.

— Ну, так вот! — сказала она, — я ваша настоятельница, вы обязаны повиноваться мне, и я приказываю вам не говорить ему ни слова об этих глупостях. Не зачем идти на исповедь, если вам нечего сказать ему, кроме этих пустяков.

Между тем отец Лемуан прибыл, и я готовилась к исповеди, в то время как исповедальней завладели опередившие меня. Приближалась моя очередь, но тут настоятельница подошла ко мне, отвела в сторону и сказала:

— Сестра Сюзанна, я обдумала то, что вы мне ска-

зали. Возвращайтесь в свою келью, я не хочу, чтобы вы шли сегодня на исповедь.

— Но почему же, матушка? — ответила я. — Завтра большой праздник, все будут причащаться в этот день. Что подумают, если я одна не подойду к святому престолу?

— Это не имеет значения, пусть говорят, что хотят, но вы ни в коем случае не пойдете на исповедь.

— Дорогая матушка, если вы меня действительно любите, не налагайте на меня этого испытания, умоляю вас.

— Нет, нет, я не могу этого допустить. — Вы с этим человеком впускаете меня в какую-нибудь неприятную историю, а я вовсе не хочу этого.

— Нет, матушка, я не сделаю ничего подобного!

— Обещайте же мне... Но все равно, завтра утром вы придете ко мне в комнату и покаетесь в своих грехах: за вами нет никакой вины, которой я не могла бы простить вам; и вы будете причащаться вместе с другими. Ступайте.

Итак, я ушла к себе и оставалась в своей келье, печальная, встревоженная, размышляя и не зная, какое решение принять, идти ли мне к отцу Лемуану, несмотря на запрещение настоятельницы, ограничиться ли отпущением грехов, которое она даст мне завтра, и сподобиться святых таин вместе с другими монахинями, или же вовсе не причащаться, что бы об этом ни говорили. Когда настоятельница снова вошла ко мне, она уже побывала на исповеди, и отец Лемуан спросил ее, почему меня совсем не видно, не больна ли я. Не знаю, что она ему ответила, но кончилось тем, что он ждал меня в исповедальне.

— Идите туда, — сказала она, — раз это надо, но я хочу быть уверенной в том, что вы будете молчать.

Я колебалась, она настаивала.

— Э, дурочка, — сказала она, — что же, по-твоему, дурного в том, чтобы молчать о поступках, в которых нет ничего дурного?

— А что же дурного в том, чтобы сказать о них? — ответила я.

— Ничего, но это не совсем удобно. Кто знает, что усмотрит в них этот человек. Дайте же мне уверенность...

Я все еще колебалась, но, наконец, обязалась ничего не говорить, если он не спросит меня, и пошла.

Я кончила исповедь и умолкла, но духовник спросил меня, и я не скрыла ничего. Он задал мне тысячу странных вопросов: когда я вспоминаю их, то и теперь еще совершенно не понимаю. Он отнесся ко мне снисходительно, но о настоятельнице говорил в таких выражениях, что я затрепетала. Он назвал ее недостойной, блудницей, плохой монахиней, опасной женщиной, развращенной душой и предписал мне, под страхом обвинения в смертном грехе, никогда не находиться наедине с нею и не допускать никаких ее ласк.

— Но, батюшка,— сказала я,— это моя настоятельница; она может войти ко мне, позвать меня к себе, когда ей угодно.

— Я это знаю и в отчаянии от этого. Дорогое дитя, да будет благословен господь, предохранивший вас от греха до настоящего времени! Не дерзая пускаться в дальнейшие объяснения, из страха самому сделаться соучастником вашей недостойной настоятельницы и заставить увянуть ядовитым дыханием, которое, вопреки моей воле, исходило бы из моих уст, нежный цветок, сохраненный свежим и незапятнанным до вашего возраста лишь благодаря особому покровительству провидения, я приказываю вам бежать от вашей настоятельницы, отталкивать прочь ее ласки, никогда не входить к ней одной, запирайте перед ней вашу дверь, в особенности ночью; соскакивать с вашей постели, если она войдет к вам вопреки вашему желанию; идти в коридор, звать на помощь, если надо, спастись бегством, хотя бы вы были совсем нагая, к подножию алтаря, наполнить монастырь криками и сделать все то, что любовь к богу, боязнь преступления, святость вашего сана и забота о вашем спасении внушили бы вам, если бы сатана сам предстал пред вами и преследовал вас. Да, дитя мое, сатана; ибо в образе сатаны принужден я показать вам вашу настоятельницу,— она погрязла в пучине греха и старается погрузить вас туда, и, может быть, вы были бы уже там с нею, если бы самая

ваша невинность не наполнила ее ужасом и не оставила ее.

Затем, поднимая глаза к небу, он воскликнул:

— Боже, сохрани это дитя под покровом своим... Говорите вслед за мной: *Satana, vade retro, apage, satana**. Если эта несчастная спросит вас, скажите ей все, повторите ей мои слова. Скажите ей, что лучше было бы ей не родиться вовсе или, подвергнувшись насильственной смерти, низринуться одной в преисподнюю.

— Но, батюшка, — заметила я, — она сама только что исповедовалась у вас.

Он не ответил мне ничего и, глубоко вздохнув, положил руки на перегородку исповедальни и прислонил к ним голову, как человек, объятый скорбью. В таком состоянии он оставался некоторое время. Я не знала, что думать; колени мои дрожали; я была в неопишемом смятении, мысли мои путались. Я походила на путника, который шел во мраке между пропастями, не видя их, и был внезапно оглушен раздавшимся со всех сторон подземными голосами, кричавшими ему: «Ты погиб!» Он взглянул на меня затем спокойно, но с растроганным видом, и сказал:

— Вы здоровы?

— Да, батюшка.

— Не будет ли для вас слишком утомительно провести ночь без сна?

— Нет, батюшка.

— Так вот! В эту ночь вы совсем не ляжете спать: сейчас же после ужина вы пойдете в церковь, падете ниц у подножия алтаря и проведете там ночь в молитвах. Вы не знаете грозившей вам опасности. Благодарите бога за то, что он оградил вас, и завтра вы подойдете к святому престолу со всеми остальными монахинями. Я назначаю вам только одну эпитимию: вы должны держаться подальше от вашей настоятельницы и отвергать ее отравленные ласки. Идите. Я со своей стороны соединю свои молитвы с вашими. Как буду я беспокоиться за вас!

* Сатана, отступи, отойди, сатана.

Я знаю все последствия совета, который даю вам, но это мой долг и перед вами, и перед самим собой. Бог наш владыка, и для нас нет другого закона.

Я плохо помню, сударь, все то, что он мне говорил. В настоящее время, сравнивая его речь в том виде, в каком я только что передала ее вам, со страшным впечатлением, произведенным ею на меня, я нахожу, что то и другое не сравнимо. Но это происходит оттого, что я привела лишь обрывки его речи. В ней не хватает многого, что не удержалось в моей памяти, так как его слова не связывались у меня ни с каким определенным представлением, и я не придавала и до сих пор не придаю никакого значения тому, на что он обрушивался с таким неистовством. Например, я не понимаю, почему он нашел такой странной сцену у клавесина? Разве музыка не производит на некоторых сильнее впечатление? Мне самой говорили, что некоторые арии, некоторые переливы голоса изменяют мое лицо до неузнаваемости. Я прихожу тогда в экстаз, я не знаю, что делается со мной и, однако, не думаю, чтобы становилась от этого менее невинной. Почему не могло быть того же самого с моей настоятельницей, которая была, конечно, несмотря на все свои безумства и неровность характера, одной из самых чувствительных женщин в мире? Она не могла слышать ни одного сколько-нибудь трогательного рассказа, не проливая слез. Когда я рассказала ей свою историю, то привела ее в состояние, возбуждавшее жалость. Почему не вменял он ей также в вину и ее сострадание? А ночная сцена, исхода которой духовник ждал со смертельным страхом... Конечно, этот человек слишком суров.

Как бы то ни было, я в точности исполнила то, что он предписал мне и последствия чего несомненно предвидел. Выйдя из исповедальни, я тотчас же пала ниц к подножию алтаря; мысли мои путались от ужаса; я оставалась там до ужина. Настоятельница, беспокоясь, что со мной, велела позвать меня; ей ответили, что я молюсь. Она несколько раз поднималась к двери хор; но я делала вид, что не замечаю ее. Зазвонили к ужину; я отправилась

в трапезную, наскоро поела и, по окончании ужина, тотчас же вернулась в церковь; вечером я вовсе не появлялась в рекреационном зале; я осталась в церкви, когда разошлись по кельям и легли спать. Настоятельница было известно, где я. Была глубокая ночь. В монастыре царило молчание, когда она спустилась ко мне. Образ, в котором духовник показал мне ее, представился моему воображению; меня охватила дрожь, я не осмеливалась взглянуть на нее, думая, что увижу ее с чудовищным лицом и всю объятую пламенем, и говорила про себя: «Satana, vade retro, apace, satana». Боже, сохрани меня, удали от меня этого демона.

Она преклонила колена и, помолвшись, сказала:

— Сестра Сюзанна, что вы здесь делаете?

— Вы видите, матушка.

— Знаете ли вы, который час?

— Да, матушка.

— Почему вы не вернулись к себе в час отхода ко сну?

— Потому что я решила приготовиться к завтрашнему великому празднику.

— Значит вы намереваетесь провести здесь ночь?

— Да, матушка.

— Кто же позволил вам это?

— Духовник приказал мне это.

— Духовник не может приказывать ничего, противного монастырскому уставу, и я приказываю вам идти спать.

— Матушка, он наложил на меня эпитимию.

— Вы замените ее чем-нибудь другим.

— Выбор эпитимии не зависит от меня.

— Полно, дитя мое, идите к себе. В церкви холодно ночью, это повредит вам; вы помолитесь в своей келье.

После этого она хотела взять меня за руку, но я поспешила отойти.

— Вы убегаете от меня, — сказала она.

— Да, матушка, я бегу от вас.

Ободренная святостью места, присутствием божества, чистотой своего сердца, я осмелилась поднять на нее глаза, но едва я увидела ее, как испустила громкий крик и принялась бегать по хорам, как безумная, восклицая:

— Отойди от меня, сатана!..

Она не следовала за мной, она осталась на месте и говорила, протягивая ко мне обе руки, самым трогательным и кротким голосом:

— Что с вами? Откуда этот ужас? Остановитесь. Я вовсе не сатана, я ваша настоятельница и ваш друг.

Я остановилась, снова повернула к ней голову и увидела, что была напугана причудливым видением, созданным моим воображением: она стояла в таком месте, что светильник освещал только ее лицо и концы рук, остальное было во тьме, и это придавало ей странный вид. Немного придя в себя, я бросилась на скамью. Она подошла и собиралась сесть рядом, я поднялась и пересела дальше. Я путешествовала таким образом от одного сиденья к другому и она также, пока я не дошла до последнего; там я осталась и заклинала ее оставить хотя бы одно пустое место между нею и мною.

— Охотно,— сказала она.

Мы обе сидели; нас разделяло одно место. Настоятельница заговорила со мной:

— Не можете ли вы сказать, сестра Сюзанна, отчего мое присутствие вызывает в вас такой ужас?

— Матушка, простите меня. Это исходит не от меня, а от отца Лемуана. Он в самых ужасных красках изобразил мне вашу любовь ко мне, ваши ласки, в которых, признаюсь вам, я не вижу ничего дурного. Он приказал мне бежать от вас, больше не входить к вам одной; выходить из своей кельи, если вы придете; он нарисовал мне вас в образе демона. Чего только он не наговорил!

— Значит вы ему сказали?

— Нет, матушка, но я не могла не отвечать ему.

— Значит я кажусь вам чудовищем?

— Нет, матушка, я не могу воспрепятствовать себе любить вас, ценить всю вашу доброту и прошу вас отно-

ситься ко мне попрежнему, но я буду повиноваться своему духовнику.

— Значит вы не будете больше приходить ко мне?

— Нет, матушка.

— И не будете принимать меня в своей келье?

— Нет, матушка.

— И будете отталкивать мои ласки?

— Мне это будет тяжело, так как я ласкова по природе и люблю, чтобы меня ласкали, но так надо. Я обещала это своему духовнику, и поклялась в этом у подножия алтаря. Если бы я могла передать вам выражения, которые он употреблял! Это благочестивый, просвещенный человек, — ради чего он будет показывать мне погибель там, где ее вовсе нет? Ради чего ему отдалять сердце монахини от сердца ее настоятельницы? Но, может быть, он признал в действиях, весьма невинных с вашей и с моей стороны, зародыш тайной испорченности, который, по его мнению, развился в вас полностью, и отец Лемуан боится, как бы он не развился под вашим влиянием и во мне. Не буду скрывать от вас, что, вспоминая те ощущения, которые я иногда испытывала... Отчего происходит, матушка, что, возвращаясь от вас в свою келью, я бываю возбуждена, начинаю мечтать? Отчего происходит, что я не могу ни молиться, ни заниматься? Откуда эта тоска, какой я раньше никогда не испытывала? Почему меня клонит ко сну, хотя я никогда не спала днем? Я думала, что вы больны какой-то заразной болезнью, которая начала оказывать действие и на меня, но отец Лемуан смотрит на это совсем иначе.

— Как же он смотрит на это?

— Он видит в этом всю мерзость греха, вашу окончательную и мою возможную гибель. Что понимаю я в этом?

— Ну, — сказала она, — вашему отцу Лемуану мерещится бог весть что. Это не первая его выходка в этом роде против меня. Достаточно мне привязаться к какой-нибудь сестре, почувствовать к ней нежную дружбу, и он уже старается сбить ее с толку. Он чуть не довел до

сумасшествия бедную сестру Терезу. Это начинает мне надоедать, и я отделаюсь от этого человека. К тому же он живет в десяти милях отсюда; вызывать его сюда затруднительно; когда его хочешь видеть, его нет, но мы поговорим об этом в более подходящей обстановке. Итак, вы не хотите подняться к себе?

— Нет, матушка, умоляю вас позволить мне провести здесь ночь. Если я нарушу это предписание, то завтра не посмею причащаться с остальной общиной. А вы, матушка, будете причащаться?

— Конечно.

— Значит отец Лемуан ничего вам не сказал?

— Нет.

— Но как же это так?

— Да ему и нечего было говорить мне. На исповедь идут, чтобы покаяться в своих грехах, а я не вижу никакого греха в том, что так нежно люблю такое прелестное дитя, как сестра Сюзанна. Я виновата разве только в том, что сосредоточила на ней одно чувство, которое должно было бы распространяться одинаково на всех, кто входит в общину. Но это не зависит от меня; я не могу мешать себе отличать заслугу там, где она есть, и отдавать ей предпочтение. Я прошу бога простить мне это, и не понимаю, каким образом ваш отец Лемуан может безоговорочно осуждать меня на вечные муки за столь естественное пристрастие, от которого так трудно уберечься. Я забочусь о счастье всех, но есть такие, которых я уважаю и люблю больше остальных, так как они более заслуживают уважения и более любезны моему сердцу. Вот все мое преступление по отношению к вам. Сестра Сюзанна, вы находите его очень большим?

— Нет, матушка!

— Ну тогда, дорогое дитя, помолимся еще немного и пойдем к себе.

Я снова стала умолять ее позволить мне провести ночь в церкви. Она согласилась, с условием, что это не повторится, и ушла.

Я задумалась над ее словами и просила бога просве-

тить меня. Поразмыслив и все хорошо взвесив, я пришла к заключению, что даже у лиц одного пола способ проявления их взаимной дружбы может заключать в себе нечто непристойное, и что отец Лемуан, человек суровых правил, может быть, и преувеличивает кое-что, но все же надо, по его совету, во что бы то ни стало избегать чрезмерного сближения с настоятельницей. Таково было мое твердое решение.

Когда монахини пришли утром на хоры, они застали меня на обычном месте. Все они приблизились к святому престолу, с настоятельницей во главе, что окончательно убедило меня в ее невинности, но я осталась при своем прежнем решении. И притом ей не хватало многого, чтобы я испытывала к ней такое же влечение, как она ко мне. Я не могла удержаться от сравнения ее с моей первой настоятельницей: какая разница! — у нее не было ни того благочестия, ни той степенности, ни того достоинства, ни рвения, ни ума, ни любви к порядку.

За короткое время случилось два больших события. Во-первых, я выиграла дело против лоншанских монахинь; согласно судебному решению, они должны были выплачивать монастырю св. Евтропии, где я была, пенсию, пропорционально моему вкладу. Вторым событием была смена духовника. Настоятельница сама сообщила мне об этом.

Тем не менее я приходила к ней не иначе, как в сопровождении кого-нибудь. Она больше не бывала у меня одна. Она всюду искала меня, но я ее избегала. Она замечала это и упрекала меня. Не знаю, что происходило в ее душе, но, должно быть, нечто необыкновенное. Она вставала ночью и прогуливалась по коридорам, особенно по моему. Я слышала, как она ходила взад и вперед, останавливалась у моей двери, стонала, вздыхала. Я дрожала от страха и забивалась поглубже в постель. Днем, где бы я ни была — на прогулке, в мастерской, в рекреационном зале, она проводила целые часы, созерцая меня так, чтобы я не могла этого заметить. Она следила за каждым моим шагом. Если я спускалась, я на-

ходила ее внизу лестницы; она ожидала меня паверху, когда я поднималась. Однажды она остановила меня и стала на меня смотреть, не говоря ни слова; слезы ручьем потекли из ее глаз, вдруг она бросилась на землю и, сжимая мне колени руками, сказала:

— Жестокая сестра, проси у меня жизнь, я отдам тебе ее, но не избегай меня, — я не могу больше жить без тебя...

Она была в таком состоянии, что у меня пробудилась жалость к ней, глаза ее угасли, она похудела, ее румянец исчез. Моя настоятельница была у моих ног, — она обнимала их, прижавшись головой к моим коленям; я протянула к ней руки, она с жаром взяла их, целовала и снова смотрела на меня; я подняла ее. Она шаталась, едва шла. Я проводила ее до кельи. Когда дверь была открыта, она взяла меня за руку и, не говоря со мной и не глядя на меня, потихоньку потянула, чтобы заставить войти.

— Нет, — сказала я, — нет, матушка, мое решение неизменно. Так лучше для вас и для меня: я занимаю слишком много места в вашей душе, столько же места потеряю для бога, которому вы обязаны отдать всю свою душу.

— Вам ли упрекать меня в этом?..

Говоря с ней, я старалась высвободить руку из ее руки.

— Значит вы не хотите войти? — сказала она.

— Нет, матушка, нет.

— Вы не хотите, сестра Сюзанна? Вы не знаете, что может произойти от этого, нет, вы этого не знаете, вы убьете меня.

Эти последние слова внушили мне чувство, совершенно противоположное тому, какое она имела в виду вызвать. Я вырвала руку и убежала. Она обернулась, некоторое время смотрела, как я ухожу, затем, возвращаясь в свою келью, дверь в которую оставалась открытой, припала к испускать пронзительные стоны. Я услышала их, — они проникли мне в сердце. Мгновение я была

в нерешительности, идти ли мне дальше или вернуться, однако какое-то чувство отвращения заставило меня удалиться, хотя я сама страдала от того состояния, в каком оставила ее; я сострадательна по природе. Я заперлась у себя. Мне было очень не по себе. Я не знала, чем заняться, бродила по келье, рассеянная и смущенная, выходила, возвращалась обратно, наконец я пошла постучать в дверь своей соседки, сестры Терезы. Я застала ее в интимной беседе с другой молодой монахиней, ее подругой, и сказала ей:

— Дорогая сестра, мне очень неприятно, что я прервала вас, но прошу уделить мне минутку, мне надо кое-что сказать вам...

Она последовала за мной в мою келью, и я сказала ей:

— Не знаю, что с нашей матерью настоятельницей, она в отчаянии. Не пойдете ли вы к ней, может быть, вы ее утешите...

Сестра Тереза не ответила мне; оставив свою подругу у себя, она затворила дверь и побежала к настоятельнице.

Однако болезнь этой женщины ухудшалась со дня на день. Она сделалась меланхоличной и серьезной; веселье, не прекращавшееся со времени моего прибытия в монастырь, вдруг исчезло; восстановился самый строгий порядок во всем; церковные службы совершались с подобающим достоинством; посторонних почти перестали пускать в приемную; монахиням было запрещено посещать друг друга; обряды совершались с самой неукоснительной точностью; не было больше ни собраний у настоятельницы, ни угощений; малейшие проступки сурово карались; ко мне снова обращались иногда, чтобы добиться помилования, но я отказывалась наотрез просить о нем. Причина этого переворота ни для кого не была тайной; старухи не были огорчены этим, молодые были в отчаянии; они смотрели на меня враждебно, но я, уверенная в своей правоте, не обращала никакого внимания на их досаду и упреки.

А настоятельница, которой я не могла ничем помочь, и которую не могла не жалеть, переходила последовательно от меланхолии к благочестию, от благочестия к бреду. Я не буду прослеживать все эти этапы: я застряла бы в подробностях, которым не было бы конца. Скажу вам только, что, будучи в состоянии меланхолии, она то искала меня, то избегала; иногда она обращалась с нами, со мной и с другими, со своей обычной ласковостью; иногда же внезапно переходила к крайней суровости; звала нас и отсылала обратно; назначала рекреационные часы и через минуту отменяла свой приказ; приказывала звать нас на хоры, и когда все приходило в движение, повинуюсь ей, второй удар колокола заперал общину в кельи. Трудно представить себе, какой хаос водворился в нашей жизни. День проходил в том, что мы выходили из своих келий и возвращались обратно, брали молитвенник и оставляли его, ходили по лестницам вверх и вниз, поднимали и опускали покрывало. Ночь была почти так же тревожна, как и день.

Некоторые монахини обращались ко мне и старались дать понять, что при несколько большей снисходительности и внимании к настоятельнице все снова вернется к обычному порядку, вернее сказать, — беспорядку: я отвечала им грустно:

— Мне жаль вас; но скажите мне ясно, что я должна делать...

Одни ютвораживались, опуская голову и не отвечая мне; другие давали советы, которые невозможно было примирить с советами нашего духовника; я говорю о том, которого отозвали, ибо его преемника мы еще не видели.

Настоятельница не выходила больше ночью и проводила целые недели, не показываясь ни в церкви, ни на хорах, ни в трапезной, ни в рекреационном зале. Она оставалась, запершись в своей комнате, бродила по коридорам и спускалась в церковь, подходила к дверям монахинь, стучала и говорила им жалобным голосом:

— Сестра такая-то, молитесь за меня, сестра такая-то, молитесь за меня...

Распространился слух, что она собирается покаяться во всех своих грехах, как на смертном одре.

Однажды я первой сошла в церковь и увидела лист бумаги, приколотый к занавесу решетки; я подошла и прочла:

— Дорогие сестры, вас призывают молиться за заблудшую монахиню, которая хочет вернуться к богу...

Я хотела было сорвать его, однако оставила. Несколько дней спустя появился другой лист, на котором было написано:

— Дорогие сестры, вас призывают молиться милосердному богу о монахине, сознавшей свои заблуждения, — они велики...

На другой день появился призыв, гласивший:

— Дорогие сестры, вас просят молить бога, дабы он избавил от отчаяния монахиню, потерявшую всякую веру в милосердие божие...

Все эти призывы, ярко отражавшие жестокие шатания этой страждущей души, глубоко огорчали меня. Как-то раз я остановилась, как вкопанная, перед одним из этих воззваний, стараясь понять, в каких заблуждениях обвиняет себя эта женщина, отчего происходят ее страхи, в каких преступлениях может она упрекать себя. Мне пришли на память восклицания духовника, я вспомнила его выражения, старалась разгадать их смысл и, не находя никакого объяснения, застыла на месте, поглощенная своими мыслями. Несколько монахинь болтали между собой, посматривая на меня, и, судя по их взглядам, если не ошибаюсь, думали, что мне неминуемо грозят те же ужасы.

Бедная настоятельница появлялась не иначе, как с опущенным покрывалом. Она не вмешивалась более в дела монастыря, не говорила ни с кем, часто беседовала с вновь назначенным духовником. Это был молодой бенедиктинец. Не знаю, он ли налагал на нее все эпитимии, которые она выполняла. Она постилась три дня в неделю; бичевала себя, слушала богослужение, сидя на самой дальней

скамье. Когда мы шли в церковь, нам приходилось проходить перед ее дверью; мы заставляли ее там простертой ниц на полу, и она поднималась только тогда, когда никого больше не было. Ночью она спускалась в одной рубашке, босая; если сестра Тереза или я случайно встречали ее, она отворачивалась и прижималась лицом к стене. Однажды я нашла ее перед дверью своей кельи: она лежала, раскинув руки, лицом к земле, и сказала мне: — Не останавливайтесь, шагайте, топчите меня ногами; я не заслуживаю другого обращения.

Эта болезнь длилась целые месяцы, и вся община успела за это время намучиться и возненавидеть меня. Я не буду описывать снова те неприятности, которым подвергается монахиня, ненавидимая в своем монастыре, — вам это должно быть уже достаточно известно. Отвращение к монашеству мало-помалу вновь возродилось во мне. Об этом отвращении, о своих горестях я поведала на исповеди новому духовнику. Его зовут отец Морель. Это человек с горячим темпераментом, лет сорока. Он выслушал меня с видимым вниманием и интересом, пожелал узнать события моей жизни и велел рассказать ему все до мельчайших подробностей о моей семье, о моих склонностях, характере, о монастырях, где я была раньше, о монастыре, где находилась теперь, о том, что происходило между настоятельницей и мною. Я не скрывала от него ничего. Мне показалось, что он не придает поведению настоятельницы по отношению ко мне такого значения, как отец Лемуан. Он едва удостоил бросить об этом несколько слов. По его мнению, на этом деле следовало поставить крест. Его гораздо больше интересовало мое тайное нерасположение к монашеской жизни. По мере того как я открывала ему свою душу, его доверие ко мне также возрастало. Если я исповедовалась ему, то и он доверял мне свои тайны. Его страдания, о которых он рассказывал мне, как две капли воды походили на мои. Он вступил в монастырь против воли, он переносил свое положение с тем же отвращением и был достоин жалости не меньше меня.

— Дорогая сестра, — прибавлял он, — что же делать теперь? Есть один только выход — сделать наше положение возможно менее тягостным.

И затем давал мне те же советы, каким следовал сам, — они были мудры.

— Поступая так, — прибавлял он, — нельзя избежать горестей, но можно тверже переносить их. Счастливы только те монашествующие, которые несут свой крест, видя в этом заслугу перед богом; тогда они с радостью поднимают его, охотно идут навстречу налагаемым на них испытаниям, и тем счастливее, чем горше и чаще эти испытания; счастье этой жизни они отдают в обмен на будущее блаженство; они обеспечивают его себе, добровольно жертвуя земным счастьем. Настрадавшись вдоволь, они говорят богу: «*Amplius, Domine* — господи, усугуби мои муки... И почти никогда не бывает, чтобы бог не услышал этой молитвы. Но если вас и меня постигают те же страдания, как и их, то мы не можем надеяться на ту же награду, в нас нет того, что превращает мучение в заслугу, нет покорности своей судьбе, и это очень печально. Увы! Как внушу я вам добродетель, которой недостает вам, когда я сам ее не имею? Между тем без нее нам грозит гибель в будущей жизни, после того как мы столько перестрадали в этой. Умерщвляя свою плоть, мы обречены на вечные муки почти так же верно, как и миряне, пользующиеся всеми радостями; мы подвергаем себя лишениям, а они наслаждаются; и после смерти нас ждут те же муки. Как прискорбно положение монаха, монахини, не имеющих никакого звания! И однако таково наше положение, и мы не можем его изменить. На нас надели тяжелые цепи, и мы осуждены постоянно потрясать ими без надежды разорвать их, постараемся же, дорогая сестра, влачить эти цепи. Идите, я опять приеду повидаться с вами.

Он вернулся несколько дней спустя. Я увиделась с ним в приемной, познакомилась ближе. Он окончил, не утаивая ничего, рассказ о своей жизни. Я — о своей; множество обстоятельств сближало нас, создавало сход-

ство; он подвергался почти таким же преследованиям дома и в монастыре. От моего внимания ускользнуло, что, изображая яркими красками свое отвращение к монашеской жизни, он нисколько не помогал мне избавиться от того же чувства; однако, так именно действовал на меня его рассказ и, по-моему, то же самое действие производило на него описание моего отвращения к монашеству. Таким образом, сходство характеров соединялось со сходством событий, и чем больше мы виделись, тем больше нравились друг другу. История его души была историей моей души.

После долгих бесед о себе мы говорили также о других, и особенно о настоятельнице. Как духовник, отец Морель не мог не быть очень осторожным. Тем не менее я поняла из его слов, что теперешнее настроение этой женщины не может длиться долго. Она боролась с собой, но тщетно, и случится одно из двух: или она неминуемо вернется к своим первоначальным наклонностям или сойдет с ума. Меня разбирало любопытство узнать об этом побольше. Он, конечно, мог бы разъяснить мне вопросы, которые я задавала себе, никогда не находя на них ответа, но я не посмела спрашивать его и решилась только задать вопрос, знаком ли он с отцом Лемуаном.

— Да,— сказал он,— я знаком с ним. Это достойный человек, очень достойный человек.

— Он перестал у нас бывать.

— Верно.

— Не можете ли вы сказать мне, в чем дело?

— Мне было бы крайне неприятно, если бы это получило огласку.

— Вы можете быть уверены, что я буду молчать.

— Вероятно написали донос на него архиепископу.

— Что же могли сказать?

— Что он живет слишком далеко от монастыря, что, когда хотят его видеть, его нет, что он чрезмерно строгий нравственности, что есть некоторые основания подозревать его в новаторских тенденциях, что он сеет раздор в монастыре и отдаляет монахинь от их настоятельницы.

— Откуда вы знаете это?

— От него самого.

— Значит вы видите с ним?

— Да, я вижу с ним. Он не раз говорил мне о вас.

— Что же он говорил вам?

— Что вы заслуживаете сожаления. Он не может постичь, как могли вы выдержать все те страдания, которым подвергались. Хотя он имел случай беседовать с вами лишь один или два раза, но думает, что вы никогда не сможете приспособиться к монастырской жизни. У него явилась мысль...

Тут он оборвал свою речь, а я спросила:

— Какая же мысль явилась у него?

Отец Морель ответил:

— Я не могу сказать всего, это дело слишком секретное...

Я не настаивала и прибавила только:

— Отец Лемуан действительно внушал мне держаться как можно дальше от настоятельницы.

— И хорошо делал.

— Почему?

— Сестра моя,— ответил он, принимая серьезный вид,— придерживайтесь его советов и старайтесь всю свою жизнь оставаться в неведении относительно причины их.

— Но мне кажется, что, если бы я знала опасность, я была бы настороже и мне было бы легче избежать ее.

— Возможно и обратное.

— Вы очевидно очень дурного мнения обо мне.

— Я составил себе должное мнение о вашей нравственности и вашей душевной чистоте, но, поверьте, есть такие роковые знания, которые вы не могли бы приобрести, не губя себя. Ваша невинность удерживала вашу настоятельницу. Знай вы больше, она менее церемонилась бы с вами.

— Я не понимаю вас.

— Тем лучше.

— Но разве близость и ласки одной женщины могут представлять какую-нибудь опасность для другой?

Никакого ответа со стороны отца Мореля.

— Разве я перестала быть той же самой? Что же может быть дурного в том, чтобы любить друг друга, говорить об этом друг другу, выказывать свою любовь? Это так приятно.

— Это правда, — сказал отец Морель, поднимая на меня глаза, которые он всегда опускал, когда я говорила.

— Значит это обычно бывает в монастырях? Бедная настоятельница! До какого состояния она дошла!

— Оно прискорбно, и я очень боюсь, что оно ухудшается. Она не создана для монашеского звания, и вот что происходит рано или поздно, когда противятся естественному влечению: насилуя природу, толкают ее к извращенным страстям, тем более необузданным, чем больше они противоестественны, — это род безумия.

— Она безумна?

— Да, она безумна и чем дальше, тем больше будет сходить с ума.

— И вы думаете, что такая судьба ждет тех, которые, не имея никакого призвания, вступили в монашество?

— Нет, не всех. Некоторые умирают до этого, иные, с гибким характером, со временем втягиваются, есть и такие, которых некоторое время поддерживают смутные надежды.

— Какие же надежды могут быть у монахини?

— Какие? Прежде всего надежда расторгнуть свой обет.

— А когда ее нет больше?

— Тогда надеются, что монастырские ворота будут когда-нибудь отворены, что люди откажутся, наконец, от этой дикой нелепости — перестанут заточать в гробницы молодые, полные жизни существа и уничтожат монастыри; что в монастыре произойдет пожар; что монастырская ограда рухнет; что кто-нибудь придет на помощь. Все эти предположения нескончаемой вереницей приходят одно за другим, о них беседуют между собой; гуляя в саду, смотрят, не думая об этом, очень ли высоки стены; находясь в своей келье, хватаются за перекладки ре-

щетки и потихоньку расшатывают их, по рассеянности; если под окнами проходит улица, смотрят туда; если слышат чьи-либо шаги, сердце трепещет, — рвутся к неведомому избавителю; если поднимается какой-нибудь переполох, шум от которого достигает монастыря, начинают надеяться на что-то, рассчитывают на болезнь, которая позволит вступить в общение с мужичной или даст возможность отправиться на воды.

— Правда, правда, — вскричала я, — вы читаете в глубине моего сердца. Я создавала себе и до сих пор еще создаю эти иллюзии.

— А когда, размышляя над этими иллюзиями, в конце концов теряют их, ибо эти спасительные мечты, посылаемые сердцем рассудку, рассеиваются со временем, тогда видят всю глубину своего несчастья; проникаются ненавистью к самим себе, ненавидят других, плачут, стонут, кричат, чувствуют приближение отчаяния. Тогда одни монахини бегут к настоятельнице, бросаются к ее ногам и ищут у нее утешения; другие — простершись ниц в своей келье или у подножия алтаря, призывают небо на помощь; третьи — раздирают одежды и рвут на себе волосы; четвертые — ищут глубокого колодца, окон повыше, петли, и порой находят это; пятые — после долгих мучений, впадают в оцепенение и остаются слабоумными; иные, слабые и хрупкие, — томятся и угасают; у некоторых организм не выдерживает, и они делаются буйными сумасшедшими. Всего счастливее те, у кого те же самые утешительные иллюзии возрождаются снова и убаюкивают их почти до самой могилы, — их жизнь проходит в смене заблуждений и отчаяния.

— А самые несчастные, — прибавила я, глубоко вздыхая, — повидимому, те, которые проходят по очереди через все эти состояния... Ах, отец мой, зачем только я слушала вас!

— А что?

— Я не знала себя, а теперь я себя знаю; мои иллюзии будут менее продолжительны. Через самое короткое время...

Я собиралась продолжать, но тут вошла монахиня, затем другая, потом третья, потом четвертая, пятая, шестая, не знаю сколько. Разговор сделался общим. Одни смотрели на духовника, другие слушали его молча и опустив глаза; некоторые спрашивали одновременно. Все восторгалось мудростью его ответов. Тем временем я забилась в угол и глубоко задумалась. Во время этих разговоров, когда каждая старалась выставить себя в возможно лучшем свете и приковать к себе внимание святого отца своей добродетелью, вдруг слышались чьи-то медленные шаги: кто-то шел, останавливаясь и вздыхая. Прислушались, зашептали:

— Это она, это наша настоятельница.

Затем умолкли и сели в кружок. Действительно, это была настоятельница. Она вошла. Ее покрывало было спущено до пояса, руки скрещены на груди, а голова наклонена. Прежде всего она заметила меня. Немедленно высвободив из-под покрывала руку, она закрыла ею глаза и, отвернувшись немного в сторону, другой рукой сделала всем нам знак выйти. Мы вышли в молчании, она осталась одна с ютцом Морелем.

Я предвижу, господин маркиз, что вы составите себе дурное мнение обо мне; но если я не постыдилась сделать то, что сделала, почему я должна краснеть, признаваясь в этом? Скажем поэтому, что у меня очень странный склад ума. Когда что-нибудь может возбудить ваше уважение или усилить ваше сочувствие, то я, хорошо или плохо, но пишу с необыкновенной быстротой и легкостью. На душе у меня весело, я без всякого напряжения нахожу нужные обороты речи, у меня текут сладкие слезы, мне кажется, что вы тут, что я вижу вас и вы слушаете меня. Если же я, наоборот, принуждена показывать себя в ваших глазах в неблагоприятном свете, то мысль дается мне с трудом, я не знаю, как выразить ее, перо мое еле движется. Это отражается даже на самом моем почерке, и я продолжаю писать только потому, что втайне надеюсь, что вы не прочтете этих мест. Вот одно из них:

Когда все наши сестры разошлись...— «Ну что же?

Что сделали вы?» — Вы не догадываетесь? Нет, вы слишком честны для этого. Я спустилась на цыпочках, потихоньку подошла к двери приемной и стала подслушивать то, что говорилось там. Это очень дурно, скажете вы... О, конечно, да, это очень дурно. Я говорила это сама себе, и мое смущение, меры предосторожности, принятые мной, чтобы не быть замеченной, ежеминутные остановки, голос моей совести, побуждавший меня при каждом шаге повернуть обратно, не позволяли мне сомневаться в этом, однако любопытство превозмогло все, и я пошла. Но если дурно подслушивать разговор двух лиц, думающих, что они одни, то, может быть, еще хуже передавать вам их слова. Вот еще одно место, которое я пишу, надеясь, что вы не прочтете его. Это не так, но мне приходится убеждать себя в этом.

Первые слова, которые я услышала после довольно долгого молчания, заставили меня содрогнуться.

— Отец мой, я осуждена на вечные муки...

Я приободрилась и стала слушать. Завеса, скрывавшая до тех пор опасность, которой я подвергалась, разрывалась, но тут меня позвали. Пришлось идти, и я пошла, но, увы, я слышала слишком много. Какая женщина, господин маркиз, какая чудовищная женщина!..

Здесь мемуары сестры Сюзанны прерываются; то, что следует дальше, представляет только набросок того, что она, видимо, намеревалась использовать для остального рассказа. Повидимому, настоятельница сошла с ума, и к ее злосчастному состоянию относятся отрывки, список которых я дам сейчас.

После этой исповеди несколько дней мы пользовались спокойствием. Радость вернулась в общину, и мне говорили любезности, которые я с негодованием отвергала.

Настоятельница больше не избегала меня. Она глядела на меня, во мое присутствие, повидимому, не смущало ее более. Я старалась скрыть от нее ужас, который

она мне внушала, после того как благодаря счастливому или роковому любопытству я узнала ее ближе.

Вскоре она стала молчаливой: говорила только «да» или «нет», прогуливалась одна, отказывалась от пищи; у нее начинался жар, ее била лихорадка, за лихорадкой следовал бред.

Лежа в постели, она видела меня, хотя в келье никого не было, говорила со мной, просила подойти поближе, обращалась ко мне с самыми нежными словами. Слыша, что я шла мимо ее комнаты, она кричала:

— Она идет мимо. Это ее шаги, я узнаю их. Пусть ее позовут... Нет, нет, не надо.

Как это ни странно, она никогда не ошибалась, никогда не принимала никого за меня.

Она раздражалась хохотом; через мгновение заливалась слезами. Сестры окружали ее молча, некоторые плакали с нею.

Вдруг она говорила:

— Я не была в церкви, я не молилась богу... Я хочу встать с этой постели, хочу одеться; оденьте меня...

Если этому противились, она прибавляла:

— Дайте мне по крайней мере молитвенник...

Ей давали его; она открывала молитвенник, перелистывала его и продолжала перелистывать даже тогда, когда глаза ее блуждали.

Как-то раз ночью она сошла одна в церковь. Некоторые сестры последовали за нею. Она простерлась ниц на ступенях алтаря, принялась стонать, вздыхать, громко молиться; вышла, потом опять вернулась; она говорила:

— Сходите за ней, это такая чистая душа! Это такое невинное создание! Если бы она присоединила свои молитвы к моим...

Затем восклицала, обращаясь ко всей общине и поворачиваясь к пустым скамьям:

— Выйдите, выйдите все, пусть останется со мной одна она. Вы недостойны приблизиться к ней. Если ваши голоса смешаются с ее голосом, ваши нечестивые хвалы

оскверняют перед богом сладость воссылаемых ею молитв. Удалитесь, удалитесь...

Потом она заклинала меня просить небо о помощи и прощении. Она видела бога. Ей представлялось, что небеса разверзлись, что они изборождены молниями и что гром гремит над ее головой; ангелы в гневе нисходили на землю; божество взирало на нее, приводя ее в трепет. Она металась во все стороны, забиралась в темные углы церкви, молила о милосердии, прижималась лицом к земле, впадала в забытье. Холод и сырость церкви охватывали ее, и ее приносили в келью точно мертвую.

На следующий день она ничего не знала об этой страшной ночной сцене и говорила:

— Где наши сестры? Я не вижу больше никого, я осталась одна в этом монастыре. Они все покинули меня, и сестра Тереза тоже; они хорошо сделали. Сюзанны здесь нет больше, и я могу выходить, я не встречу ее... Ах, если бы я могла встретить ее! Но ее нет здесь более, не так ли? Не так ли, ее нет больше здесь?.. Счастлив монастырь, обладающий ею! Она все расскажет новой настоятельнице. Что подумает та обо мне?.. Разве сестра Тереза умерла? Я всю ночь слышала похоронный звон... Бедная девушка! Она навеки погибла по моей вине! По моей вине! Придет день, когда я встречу с ней лицом к лицу. Что скажу я ей? Что отвечу? Горе ей! Горе мне!

Через минуту она говорила:

— Вернулись ли наши сестры? Скажите им, что я очень больна... Поднимите мою подушку... Расшнуруйте меня... Я чувствую, что-то давит меня... Голова моя в огне, снимите с меня покрывало... Я хочу умыться... Принесите воды; лейте, лейте еще... Они белы, но с души грязи не смоешь... Я хотела бы умереть; лучше было бы мне не родиться вовсе, я не увидела бы ее.

Однажды утром ее застали босиком, в одной рубашке, с растрепанными волосами. Она бегала по келье, выла

с пеной у рта, зажав уши руками, закрыв глаза и прижимаясь телом к стене...

— Удалитесь от этой бездны! Слышите эти крики? Это ад. Из этой глубокой пропасти до меня доносятся неясные голоса; они зовут меня... Боже, скалься надо мной!.. Идите скорее! Звоните в колокол, соберите всех монахинь; скажите, чтобы молились за меня, и я тоже буду молиться... Но чуть брежит рассвет; наши сестры спят... Ночью я не смыкала глаз. Хотелось заснуть, но сон не шел.

Одна из сестер сказала ей:

— Матушка, вас что-то мучит. Откройтесь мне. Вам, может быть, будет легче.

— Сестра Агата, слушайте, подойдите ко мне... еще ближе... еще ближе... надо, чтобы нас не слышали. Я все открою сейчас, все, но храните мою тайну... Вы ее видели?

— Кого, матушка?

— Ни у кого нет такого обаяния, не правда ли? Какая у нее походка! Какое благородство! Какая скромность! Какое благонравие!.. Ступайте, скажите ей... О! — нет, не говорите ничего, не ходите. Вы не смогли бы приблизиться к ней; небесные ангелы охраняют ее, бодрствуют вокруг нее, — я видела их; если вы их увидите, вы будете уstraшены, как и я. Оставайтесь... Если вы пойдете, что скажете вы ей? Придумайте что-нибудь, от чего ей не пришлось бы краснеть.

— Матушка, не посоветоваться ли вам с духовником?

— Да, да, да... Нет, нет, я знаю, что он мне скажет; я столько слышала от него... Что еще я могу услышать? Если бы я могла потерять память!.. Если бы я могла вернуться в небытие или родиться снова!.. Не надо звать духовника. Лучше прочтите мне о страстях господина нашего Иисуса Христа. Читайте... Мне делается легче... Достаточно одной капли этой крови, чтобы очистить меня... Видите, она ключом бьет из его бока... Наклоните эту священную рану над моей головой... Его



«Монахиня»

С гравюры Бакуой по рис. Шаллю



«Монахиня»

С гравюры Бажуой по рис. Шаллю

кровь течет на меня и не пристаёт ко мне... Я погибла!.. Унесите это распятие... Подайте его мне...

Ей подавали распятие. Она сжимала его в руках, все покрывала поцелуями и прибавляла:

— Это ее глаза, это ее рот, когда же я снова увижу ее? Сестра Агата, скажите ей, что я ее люблю. Опишите ей получше мое состояние. Скажите ей, что я умираю.

Ей пустили кровь, делали ванны, но ее болезнь, казалось, возрастала от лечения. Я не решаюсь описывать вам те непристойные действия, которые она совершала, повторять все неприличные слова, вырывавшиеся у нее в бреду. Она ежеминутно подносила руку ко лбу, как будто отгоняя какие-то неотвязные мысли, какие-то неведомые образы! Она зарывалась с головой в постель, закрывала лицо простынями.

— Это искушение, — говорила она, — это он! Какой причудливый облик он принял! Принесите святой воды, — окропите меня святой водой... Довольно, довольно, — его нет больше.

Вскоре стали держать ее взаперти, но тюрьма недостаточно хорошо охранялась, и ей удалось однажды вырваться. Она разорвала свои одежды и бегала по коридору совсем нагая. Только два конца разорванной веревки свешивались с ее рук; она кричала:

— Я ваша настоятельница, все вы давали мне клятву, — пусть повинуются мне. Вы заперли меня в тюрьму, несчастные! Так вот награда за мою доброту! Вы оскорбляете меня, потому что я слишком добра; я не буду такой больше... Пожар!.. Убивают!.. Грабят!.. Караул!.. Ко мне, сестра Тереза! Ко мне, сестра Сюзанна!..

Однако ее схватили и снова заперли, и она говорила:

— Вы правы, вы правы, увь! — я сошла с ума, я это чувствую.

Иногда ее как будто осаждали картины различных мучений. Она видела женщин с веревкой на шее или с руками, связанными за спиной; видела их с факелами в руке; присоединялась к тем, которые совершали обряд

публичного покаяния; думала, что ее ведут на казнь, и говорила палачу:

— Я заслужила свою судьбу, я ее заслужила. О, если бы это мучение было последним! Но предстоят вечные муки! Вечные муки в геенне огненной!..

Я говорю здесь одну правду; мне не пристало рассказывать все, что было еще, а то мне пришлось бы покраснеть, пятная грязью эти страницы.

Прожив несколько месяцев в таком плачевном состоянии, настоятельница умерла. Какая смерть, господин маркиз! Я видела ее в последний час, видела страшный образ, искаженный отчаянием и грехом. Ей казалось, что она окружена адскими духами. Они готовились схватить ее душу, — она говорила, задыхаясь:

— Вот они! Вот они!.. — И оборонялась от них распятием, поворачивая его направо и налево, выла, кричала:

— Боже мой! Боже мой!..

Сестра Тереза вскоре последовала за нею, и к нам была назначена другая настоятельница, преклонных лет, крайне суеверная и весьма мрачного нрава.

Меня обвиняют в том, что я околдовала ее предшественницу. Она верит этому, и мои муки начинаются снова. Новый духовник подвергается таким же гонениям со стороны своего начальства и убеждает меня бежать из монастыря.

Все готово для моего побега. Я иду в сад между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи. Мне бросают веревки, я обвязываю их вокруг себя; они обрываются, и я падаю; у меня ссадины на ногах и жестоко ушиблена поясница. Вторая, третья попытка, — меня поднимают на стену; я спускаюсь вниз. Каково же мое изумление! Вместо дилижанса, в котором я надеялась занять место, я нахожу скверную извозчицью карету. И вот я еду в Париж с молодым бенедиктинцем. Вскоре я заметила

по его непристойному тону и по вольностям, которые он позволял себе, что не будет соблюдено ни одно из условий, о которых мы договорились. Тогда я пожалела о своей келье и почувствовала весь ужас своего положения.

Здесь я должна описать вам сцену в карете. Какая сцена! Что за человек! Я кричу; извозчик приходит мне на помощь. Ожесточенная драка между ним и монахом.

Я прибываю в Париж. Экипаж останавливается на маленькой улице, перед узкой дверью, которая выходит в темный и грязный проход. Хозяйка появляется предо мной и помещает меня на самом верхнем этаже, в маленькой, скудно обставленной комнатке. Ко мне является с визитом женщина, занимающая второй этаж.

— Вы молоды, вам должно быть скучно, мадемуазель. Спустимся ко мне, вы найдете там славную компанию — мужчин и женщин, не все такие прелестные, но почти все так же молоды, как вы. Болтают, играют, поют, тапцуют, — вы найдете у нас все развлечения. Если вы вскружите голову всем нашим кавалерам, клянусь вам, наши дамы не будут ни ревновать, ни сердиться из-за этого. Пойдемте, мадемуазель...

Говорившая со мной таким образом, была пожилая особа с ласковым взглядом, кротким голосом и очень вкрадчивой речью.

Я провела две недели в этом доме, подвергаясь преследованиям со стороны своего вероломного похитителя и наблюдая всякие скандальные сцены этого подозрительного места. — Каждую минуту я выжидала удобного случая, чтобы убежать оттуда.

Наконец, он представился мне. Была поздняя осень. Если бы по соседству был мой монастырь, я вернулась бы туда. Я бегу куда глаза глядят. Меня останавливают мужчины. Я трепещу от страха, падаю без чувств от усталости на пороге свечной лавочки. Прибегают на помощь; очнувшись, я вижу себя на убогом ложе, какие-то люди вокруг. Меня спрашивают, кто я. Не знаю, что

я ответила. Мне дали служанку, чтобы проводить. Я беру ее под руку; мы идем. Когда мы отошли довольно далеко, эта девушка говорит мне:

— Мадемуазель, вы конечно знаете, куда мы идем?

— Нет, дитя мое; в приют, я полагаю.

— В приют? Разве у вас нет пристанища?

— Увы, нет!

— За что же вас выгнали из дому в такой поздний час? Мы у двери приюта св. Екатерины. Посмотрим, не отворят ли нам; во всяком случае, не бойтесь ничего, вы не останетесь на улице, переночуете со мной.

Я возвращаюсь к торговцу свечами. Служанка в ужасе, увидя мои ноги, все в осадинах от падения при побеге из монастыря. Я провожу здесь ночь. На следующий день вечером снова иду к приюту св. Екатерины. Остаюсь здесь три дня, по истечении которых мне объявляют, что я или должна отправиться в главный госпиталь, или приять первое попавшееся место.

В приюте св. Екатерины я подвергаюсь опасности со стороны мужчин и женщин, потому что сюда, как мне сказали после, приходят за добычей развратники и городские сводницы. Меня пытаются соблазнить, но безуспешно, несмотря на грозящую мне нищету. Я продаю свою одежду и выбираю платье, более подходящее к моему положению.

Я поступаю в услужение к прачке, у которой нахожусь в настоящее время. Я принимаю белье и глажу его. Моя работа тяжела. Меня скверно кормят, у меня плохое помещение, я сплю где попало, но зато со мной обращаются по-человечески. Муж — извозчик. Жена его грубовата, но все же добродушна. Я была бы почти довольна своей судьбой, если бы могла надеяться спокойно жить таким образом.

Я узнала, что полиция арестовала моего похитителя и передала его в руки церковных властей. Бедняга, он

заслуживает сожаления больше меня. Его неудавшийся побег наделал шуму, а вы не представляете себе, с какой жестокостью наказывают монахи за проступки, получившие широкую огласку. Тюрьма будет его жилищем до конца дней. Та же участь ждет и меня, если меня задержат, но он будет жить дольше меня.

Боль от падения дает себя чувствовать. Ноги у меня распухли, и я не могу сделать ни шагу. Я работаю сидя, мне больно стоять. Тем не менее я боюсь своего выздоровления. Какие отговорки найду я тогда, чтобы совсем не выходить из дому, и какой опасности буду подвергаться, показываясь на улице? Но, к счастью, в моем распоряжении еще достаточно времени. Мои родственники, которые, конечно, не сомневаются в том, что я в Париже, наверное приняли всевозможные меры для розыска. Я решила вызвать г-на Манури на свой чердак, посоветоваться с ним и поступить согласно его советам, но его нет.

Я живу в постоянной тревоге. При малейшем шуме в доме, на лестнице, на улице меня охватывает страх. Я дрожу, как осиновый лист, еле держусь на ногах, и работа вываливается у меня из рук. Я провожу целые ночи, не смыкая глаз. Если я сплю, то беспокойным сном: брежу, зову, кричу, — не понимаю, как окружающие не догадались еще, кто я.

Оказывается, о моем побеге опубликовано. Я ожидала этого. Одна из моих товарок сказала мне об этом вчера, с прибавлением подробностей, позорящих мое имя, и рассуждений, способных довести до отчаяния. К счастью, она развешивала мокрое белье, повернувшись спиной к лампе, и не могла заметить моего смущения. Однако хозяйка увидела, что я плачу, и сказала:

— Мария, что с вами?

— Ничего, — ответила я.

— Неужели вы так глупы, — прибавила она, — что разжалобились над дрянной монахиней, распутной и безбожной, которая втюрилась в какого-то негодяя монаха

и бежала с ним из монастыря? Вы, должно быть, не в меру сострадательны. У нее была только одна забота: пить, есть, молиться богу и спать; она жила припеваючи; какого же рожня ей еще нужно было? Попробовала бы она пройти три-четыре раза на речку в такую погоду, тогда бы, небось, не захотела бросать монастырь.

Я ответила:

— Известно только, что она много перестрадала.

Мне лучше было бы молчать, потому что хозяйка прибавила:

— Будьте покойны, эту негодяйку бог накажет...

При этих словах я наклонилась к столу и оставалась в таком положении, пока она не сказала:

— О чем вы там размышлялись, Мария? Пока вы спите, работа стоит на месте.

Мне всегда не хватало монашеского духа, поступок мой достаточно доказывает это, но я привыкла в монастыре к некоторым обрядам, которые повторяю машинально: например, зазвонят в колокол,— и я крещусь или опускаюсь на колени; постучат в дверь,— я говорю Amen; меня спрашивают,— мой ответ всегда оканчивается словами «да» или «нет», «матушка» или «сестра». Если внезапно приходит посторонний, мои руки скрещиваются на груди, и, вместо реверанса, я кланяюсь. Мои товарищи покатываются со смеху и думают, что я шучу, представляясь монахиней, но их заблуждение не может продолжаться без конца. Мое легкомыслие выдаст меня, и я погибну.

Сударь, поспешите помочь мне. Вы скажете, без сомнения: «Укажите, что я могу сделать для вас». Вот что: мои желания весьма скромны; мне нужно место горничной или кастелянши, или даже простой служанки. Лишь бы я могла жить в неизвестности, в деревне, в глухой провинции, у порядочных людей, у которых бывают немногие. Жалованье не имеет никакого значения, лишь бы только были безопасность, покой, хлеб и вода. Будьте уверены, что службой моей останутся довольны. В роди-

тельском доме я научилась работать, а в монастыре — повиноваться. Я молода, у меня очень кроткий характер. Когда мои ноги заживут, у меня будет более чем достаточно сил для труда. Я умею шить, прясть, вышивать и стирать. Когда я была в миру, я сама чинила свои кружева, и скоро научусь опять этому рукоделию. Всякое дело у меня спорится, и я не брезгаю никакой работой. Я обладаю голосом, знаю музыку и играю на клавесине достаточно хорошо, чтобы доставить удовольствие какой-нибудь мамаше, имеющей склонность к этому. Я могла бы даже давать уроки ее детям, но боюсь, как бы меня не выдали манеры, привитые монастырским воспитанием. Если надо делать прическу, то у меня есть вкус, я взяла бы несколько уроков и вскоре овладела бы этим немудреным искусством. Только бы, по возможности, сносные условия, — это все, что мне надо. Я не желаю ничего больше. Вы можете поручиться за мою нравственность. Несмотря на наружность, я обладаю ею, я даже благочестива. Ах, сударь, все мои беды кончились бы, и мне нечего было бы бояться людей, если бы бог не остановил меня. Сколько раз подходила я к глубокому колодцу, расположенному в конце монастырского сада! Я не бросилась туда только потому, что мне в этом отношении предоставлена была полнейшая свобода. Не знаю, какова предназначенная мне судьба, но если придется когда-нибудь вернуться в какой бы то ни было монастырь, то я не отвечаю ни за что: везде есть глубокие колодцы. Сжальтесь надо мной, сударь; иначе вас замучит совесть.

P. S. Я устала до изнеможения, ужас объемлет меня, и покой от меня бежит. Я только что перечитала со свежей головой эти написанные наспех записки и заметила, что я изображаю себя в каждой строке такой несчастной, какой я была в самом деле, но гораздо более симпатичной, чем я есть, но это без всякого умысла. Не значит ли это, что мы считаем мужчин менее восприимчивыми к картинам наших страданий, чем к изображению того, что чарует в нас? И не полагаем ли мы, что нам легче пленить их,

чем растрогать? Я знаю их слишком мало и недостаточно изучала себя, чтобы знать это. Однако, если маркиз, которому приписывают такую чуткость, придет к убеждению, что я обращаюсь не к его отзывчивому сердцу, а к дурным страстям, то что подумает он обо мне? Это соображение беспокоит меня. Право, было бы большой ошибкой вменять мне лично в вину инстинкт, свойственный всему моему полу. Я — женщина, может быть немного кокетливая, кто знает? Но это у меня естественно и безыскусственно.

LES
BIJOUX

INDISCRETS.

PREMIERE PARTIE.



AU MONOMOTAPA.

Титульный лист первого тома «Нескромных сокровищ»
изд. 1748 г.

НЕСКРОМНЫЕ СОКРОВИЩА

К Зиме

Зима, воспользуйтесь удобной минутой. Ага Наркис беседует с вашей матерью, а ваша гувернантка подстерегает на балконе возвращение вашего отца; берите, читайте, не бойтесь ничего. Но если найдут у вас «Нескромные сокровища», спрятанные за туалетным столом, вы думаете, это удивит кого-нибудь? Нет, Зима, нет, — известно, что «Софа», «Танзай» и «Исповедь» были под вашим изголовьем¹. Вы еще колеблетесь? Узнайте же, что Аглая не побрезговала приложить руку к труду, который вы принимаете, краснея. «Аглая, — говорите вы, — добродетельная Аглая...» Она самая. В то время как Зима скучала, а может быть и впадала в соблазн наедине с молодым бонзой Аллелуйа, Аглая, невинно забавляясь, посвящала меня в приключения Заиды, Альфаны, Фанни и т. д., снабдила кое-какими черточками, которые мне нравятся в «Истории» Мангогула, пересмотрела ее и указала, как ее улучшить. И если Аглая, одна из самых добродетельных и наименее склонных к назиданиям жещицин Конго, она также одна из наименее претендующих на остроумие и наиболее остроумных. Неужели Зиме теперь вздумается разыгрывать скромницу? Еще раз, Зима, берите, читайте, читайте все: я не делаю исключения даже для речей странствующего «Сокровища», которые вам истолкуют так, что это не нанесет ущерба вашей добродетели, если только истолкователем его не будет ни ваш духовник ни ваш любовник.

Глава первая

Рождение Мангогула

Гяуф Зелес Тавзай долго царствовал над великой Чечней; и пока этот сластолюбивый государь предавался наслаждениям, Акажу, короля Минутии, постиг жребий, предсказанный ему отцом его. Зулмис отжил свой век. Граф де... еще был жив. Великолепные Ангола, Мизалуф и другие властители Индии и Азии умерли внезапно. Народы, уставшие повиноваться безмозглым государям, сбросили иго их власти, и потомки этих несчастных монархов бродили, никому неизвестные, почти позабытые, по областям своих империй. Только внук знаменитой Шехерезады утвердился на троне. Он правил в Моголе под именем Шахбагама, когда Мангогул родился в Конго. Как мы видим, гибель нескольких государей печально ознаменовала его рождение. Эрgebзед, отец его, не созывал фей к колыбели сына, так как заметил, что большинство государей того времени, воспитание которых было поручено этим женским умам, оказались глупцами. Он удовольствовался тем, что заказал гороскоп некоему Кодендо, личности, которую приятнее изображать, чем знать в жизни.

Кодендо стоял во главе коллегии гаруспиков Банзы, бывшей исстари столицей империи. Эрgebзед назначил ему большую пенсию и пожаловал ему и его потомкам за заслуги его двоюродного деда, превосходного повара, великолепный замок на границе Конго. Кодендо был обязан следить за полетом птиц и состоянием неба и сообщать

об этом дворе, что он исполнял довольно плохо. Если правда, что в театрах Банзы шли самые лучшие пьесы, а театральные залы были самыми скверными во всей Африке, то, наоборот, местная коллегия жрецов была наилучшей в мире, а предсказания ее наилучшими.

Кодендо, узнав о том, чего хотели от него во дворце Эрgebзеда, отправился туда, весьма удрученный, так как бедняга умел читать по звездам не лучше, чем мы с вами. Его поджидали с нетерпением. Первые сановники двора собрались в апартаментах великой султанши. Богато наряженные женщины окружали колыбель младенца. Придворные спешили поздравить Эрgebзеда с великой судьбой его сына, о которой он, без сомнения, узнает. Эрgebзед был отцом и находил естественным, чтобы в неясных чертах ребенка читали то, чем он некогда будет.

Наконец, Кодендо явился.

— Подойдите, — сказал ему Эрgebзед. — Как только небо даровало мне принца, которого вы видите, я велел со всей бдительностью отнестись к минуте его рождения, о чем вас должны были уже уведомить. Говорите искренно с вашим повелителем и смело возвестите ему судьбы, уготованные небом его сыну.

— Великодушный султан, — отвечал Кодендо, — принц, рожденный от родителей столь же знаменитых, сколь и счастливых, не может иметь иных судеб, кроме великих и благоприятных. Но я ввел бы в заблуждение ваше величество, если бы украсил себя наукой, которой не владею. Звезды восходят и заходят для меня так же, как и для других людей, и для меня будущее не яснее, чем для самых невежественных из ваших подданных.

— Но, — прервал его султан, — разве вы не астролог?

— Великодушнейший государь, — отвечал Кодендо, — я не имею чести им быть.

— Но кто же вы, чорт возьми? — воскликнул старый, но горячий Эрgebзед.

— Гаруспик.

— Тьфу, пропасть! Мне и в голову не приходило, что вы этим занимаетесь. Слушайте, господин Кодендо,

оставьте вы в покое ваших цыплят и определите судьбу моего сына, как вы определили недавно бронхит у попугая моей жены.

В ту же минуту Кодендо вытащил из кармана лупу, взял за левое ушко ребенка, протер глаза, повертел в руках очки, стал разглядывать левое ухо, потом правое и произнес:

— Царствование молодого принца будет счастливо, если только оно будет продолжительным.

— Я понимаю вас, — сказал Эрgebзед, — мой сын совершит прекраснейшие деяния в мире, если у него будет на это время. Но, чорт побери, я именно и хочу, чтобы мне сказали, хватит ли у него на это времени. Но если ему суждено умереть, не все ли мне равно, был ли бы он величайшим государем, останься он в живых... Я вас призвал для того, чтобы получить гороскоп моего сына, а вы читаете над ним надгробную речь.

Кодендо выразил сожаление об ограниченности своих познаний, но умолял его величество принять во внимание, что и этого вполне достаточно, так как он лишь недавно сделался гадателем. И в самом деле, кем был до того времени Кодендо?

Глава вторая

Воспитание Мангогула

Я не буду останавливаться на первых годах жизни Мангогула. Детство у принцев такое же, как и у других людей, вплоть до того, что принцам дано изрекать множество прекрасных вещей, прежде чем они научатся говорить. Так, сын Эрgebзед, когда ему едва исполнилось четыре года, дал уже материал для целой «Мангогулиады». Эрgebзед, будучи умным человеком и не желая, чтобы воспитание его сына велось так же небрежно, как его собственное, заранее созвал к своему двору и удержал при нем значительными пенсиями всякого рода выдающихся людей, какие только нашлись в Конго: художников, философов, поэтов, музыкантов, архитекторов, учителей тан-

цев, математиков, историков, преподавателей военных наук и т. д. Благодаря своим счастливым способностям и продолжительным урокам наставников, Мангогул не упустил ничего из тех познаний, какие молодой принц обычно приобретает в первые пятнадцать лет своей жизни, и умел к двадцати годам пить, есть и спать не хуже всякого властелина его возраста.

Эрgebзед, обремененный тяжестью лет, начал чувствовать и тяжесть короны: устав держать бразды правления, напуганный народными волнениями, ему угрожавшими, полный доверия к необыкновенным способностям Мангогула и движимый религиозным чувством, этим верным симптомом близкой смерти, или просто бессмысленной прихотью, свойственной великим мира сего, покинул трон, чтобы посадить на него сына. Этот добрый государь считал своим долгом замолить в своем уединении грехи правления, самого справедливого из тех, о которых сохранилась память в анналах Конго.

Мангогул начал царствовать в 1 500 000 003 200 001 году от сотворения мира, в 3 900 000 700 003 году от основания государства Конго; он был 1 234 500-м представителем своего рода по прямой линии.

Частые совещания с министрами, ведение войн, управление делами научили его в очень короткий срок тому, что ему еще оставалось узнать, выйдя из рук педагогов, — а это вещи немаловажные.

Меньше чем в десять лет Мангогул приобрел репутацию великого человека. Он выигрывал сражения, брал города, увеличил свою империю, усмирил провинции, привел в порядок финансы, содействовал расцвету наук и искусств, воздвигал здания, обессмертил себя полезными учреждениями, утвердил и исправил законы, учредил даже академии и, чего никогда не могли понять ученые его университета, осуществил все это, не зная ни слова поллатыни.

Мангогул был так же любезен в своем серале, как велик на троне. Он не руководился в своем поведении смешными обычаями родной страны. Он раскрыл двери

дворца, где жили его жены, он выгнал оскорбительных стражей их добродетели, он благоразумно доверил их верность им же самим: в их апартаменты был такой же свободный доступ, как в какой-нибудь монастырь фландрских канонисс, и нравы там были, конечно, такие же строгие. И это было, без сомнения, очень мудро. Что это был за добрый султан! Не было ему подобных, разве только в некоторых французских романах. Он был мягок, приветлив, весел, галантен, красив собой; созданный для удовольствий, он любил их и обладал таким умом, какого не было у всех его предшественников, вместе взятых.

Вполне понятно, что при стольких редких достоинствах многие женщины желали победы над ним; некоторые из них в этом успели. Те, которые упустили его сердце, постарались утешиться с сановниками его двора. Молодая Мирзога была из числа первых. Я не стану забавляться подробным описанием качеств и прелестей Мирзоги; мой труд оказался бы бесконечным, а я хочу, чтобы он имел конец.

Глава третья,

которую можно рассматривать как первую в этой книге

Мирзога владела сердцем Мангогула уже несколько лет. Любовники говорили и повторяли друг другу тысячу раз все, что необузданная страсть внушает самым умным людям. Они дошли до полной откровенности и сочли бы преступлением утаить друг от друга самое незначительное событие своей жизни. Не раз они высказывали друг другу странные предположения:

«Если бы небо, возведшее меня на трон, осудило меня родиться в низком положении, снизошли бы вы до меня? Увенчали ли бы вы меня, Мирзога?»

«Если бы Мирзога утратила те незначительные прелести, какие в ней находят, продолжал бы Мангогул любить ее до конца?»

Такие предположения, — говорю я, — которые по вкусу



«Нескромные сокровища»
С гравюры из издания 1748 г., к ил. 4



«Пескромные сокровища»
С гравюры из издания 1748 г., к ил. 4

изобретательным любовникам, приводят к ссоре наиболее нежных и часто заставляют лгать наиболее искренних, — были у них в ходу.

Фаворитка, в высокой степени обладавшая редким и ценным талантом хорошо рассказывать, исчерпала всю скандальную хронку Банзы. Так как она не отличалась большим темпераментом, она не всегда была расположена к ласкам султана, да и султан не всегда бывал расположен их оказывать. Бывали дни, когда Мангогул и Мирзоза не знали о чем говорить, что делать, и, хотя они попрежнему любили друг друга, ничто их не забавляло. Такие дни выпадали редко. Но все же они бывали. И вот однажды наступил такой день.

Султан лежал, небрежно раскинувшись на кушетке, против фаворитки, которая занималась вязаньем, не говоря ни слова. Погода не позволяла гулять. Мангогул не решался предложить партию пикета. Около четверти часа длилось это угрюмое молчание, наконец, султан, зевнув несколько раз, заговорил:

— Надо признать, что Желиот² пел, как ангел.

— И что ваше высочество умираете от скуки, — прибавила фаворитка.

— Нет, мадам, — возразил Мангогул, полузевая, — минуты, когда видишь вас, не могут быть минутами скуки.

— От вас ничего нельзя ждать, кроме галантности; но вы задумчивы, рассеянны, зеваете. Что с вами, государь?

— Сам не знаю, — сказал султан.

— А я догадываюсь, — продолжала фаворитка. — Мне было восемнадцать лет, когда я имела счастье вам понравиться. Уже четыре года, как вы любите меня. Восемнадцать да четыре — двадцать два. Я уже порядком состарилась.

Это вычисление заставило Мангогула улыбнуться.

— Но если я уже не годюсь для наслаждений, — прибавила Мирзоза, — я хочу вам, по крайней мере, поставить на вид, что я очень хороша как советчица. Разнообразные удовольствий, которыми наполнены ваши дни, не

избавило вас от пресыщения. Вы пресыщены. Вот ваша болезнь, государь.

— Я не согласен с вашими предположениями, — сказал Мангогул, — но если бы это была правда, знаете ли вы какие-нибудь лекарства от этого?

Подумав с минуту, Мирзоа ответила султану, что его высочеству, как ей показалось, очень пришлось по душе рассказы о галагтных похождениях в их городе, а потому она очень жалеет, что у нее нет их больше в запасе, что она недостаточно осведомлена о приключениях при дворе, но что прибегла бы и к этому средству в ожидании чего-нибудь лучшего.

— Я нахожу это средство хорошим, — сказал Мангогул, — но кто знает историю всех этих сумасбродок? И если бы они были известны, кто расскажет мне их так, как вы?

— И все же давайте познакомимся с ними, — сказала Мирзоа. — Кто бы их ни рассказывал, я уверена, что ваше высочество выиграете в отношении содержания то, что проиграете в смысле формы.

— Нам с вами, если захотите, нетрудно вообразить, что у моих придворных дам могут быть очень забавные приключения, — сказал Мангогул, — но как бы они ни были забавны, что толку, раз невозможно с ними познакомиться?

— Здесь могут встретиться затруднения, — ответила Мирзоа, — но я думаю, что нет ничего невозможного. Гений Кукуфа, ваш родственник и друг, делал вещи еще более трудные.

— О радость моего сердца, — воскликнул султан, — вы восхитительны! Я не сомневаюсь, что гений обратит все свое могущество мне на пользу.

Я сейчас же запрусь в моем кабинете и призову его.

Затем Мангогул встал, поцеловал фаворитку, по обычаю Конго, в левый глаз и удалился.

Глава четвертая

Вызов гения

Генши Кукуфа, старый шюхондрик, опасаясь как бы светская суতোлка и общение с другими гениями не помешали его спасению, укрылся в уединении, чтобы властью заняться усовершенствованием Великой Пагоды, щипать, царапать себя, выкидывать разные шутки, скучать, бегаться и издыхать с голоду. Там он лежиг на цыновке, зашитый в мешок, бока его стиснуты веревкой, руки скрещены на груди, голова закрыта капюшоном, из-под которого выглядывает только кончик бороды. Он спит, по можно подумать, что он созерцает. У него нет другого общества, кроме совы, дремлющей у его ног, нескольких крыс, грызущих его подстилку, и летучих мышей, кружащихся над его головой; его вызывают, произнося под звуки колокола первый стих ночного богослужения браминов. Тогда он подымает свой капюшон, протирает глаза, надевает сандалии и отправляется в путь.

Представьте себе старого камальдульца³, который летит по воздуху, держась за ноги двух больших сов. В таком виде Кукуфа появился перед султаном.

— Благословенне Брамь да будет с нами, — сказал он, спускаясь на землю.

— Амишь, — отвечал государь.

— Чего вы хотите, мой сын?

— Очень простую вещь, — сказал Мангогул. — Дайте мне возможность потешиться над моими придворными дамами.

— Э, сын мой, — возразил Кукуфа, — у вас одного больше аппетита, чем у целого монастыря браминов. Что вы думаете делать с этим стадом сумасбродок?

— Узнать от них, какие у них теперь похождения и какие были раньше. Это — все.

— Но это невозможно, — сказал генши, — бесполезно желать, чтобы женщины исповедовались в своих приключениях, — этого никогда не было и не будет.

— Нужно, однако, чтобы это было, — добавил султан.

Гений задумался, почесывая за ухом и рассеянно перебирая пальцами длинную бороду. Его размышление было непродолжительным.

— Сын мой,— сказал он Мангогулу,— я люблю вас, вы будете удовлетворены.

Через минуту он опустил правую руку в свой глубокий карман подмышкой, с левой стороны платья, и вытащил оттуда, вместе с иконками, освященными зернами, маленькими свинцовыми пагодами и залесневелыми конфетами, серебряный перстень, который Мангогул принял сначала за кольцо св. Губерта.

— Видите вы это кольцо? — спросил он султана. — Наденьте его себе на палец, мой сын. Все женщины, перед которыми вы повернете его камень, поведают вам свои похождения громко, ясно и понятно, но не думайте, что они будут говорить с вами ртом.

— Но чем же, чорт возьми, будут они говорить?

— Самой откровенной частью, какая у них есть и наиболее осведомленной о вещах, какие вы желаете знать,— сказал Кукуфа,— своим сокровищем.

— Своим сокровищем! — подхватил султан, разразившись смехом. — Говорящее сокровище! Это неслыханная вещь!

— Сын мой,— сказал гений,— я делал много чудес ради вашего деда: полагайтесь на мои слова, идите, и да благословит вас Брама. Воспользуйтесь как следует своим секретом и помните о том, что любопытство может повести к худу.

Сказав это, ханжа покачал головой, надвинул капюшон, уцепился за ноги сов и исчез в вышние.

Глава пятая

Опасное искушение Мангогула

Как только Мангогул завладел таинственным перстнем Кукуфы, у него явилось искушение сделать первый опыт над фавориткой. Я забыл сказать, что кроме способности

заставлять говорить сокровище женщин, на которых направляли драгоценный камень перстня, у последнего было еще другое свойство — он делал невидимым человека, носившего его на мизинце. Таким образом, Мангогул в мгновение ока мог перенестись в сотню мест, где его не ожидали, и видеть своими глазами много таких вещей, какие обыкновенно происходят без свидетелей: ему стоило только надеть кольцо и произнести: «Хочу быть там-то» — в то же мгновение он туда переносился. И вот он у Мирзозы.

Мирзоза, не ожидавшая султана, была уже в постели. Мангогул тихонько приблизился к ее изголовью и увидел при свете ночника, что она уснула.

— Отлично, — сказал он, — она спит. Живо наденем кольцо на другой палец, примем прежний вид, направим камушек на спящую красавицу и разбудим ее сокровище... Но что останавливает меня? Я дрожу... Возможно ли, что Мирзоза... Нет, это невозможно. Мирзоза мне верна. Удалитесь, оскорбительные сомнения! Я не хочу, я не должен вас слушать! — Сказав это, он поднес руку к перстню, но сейчас же отдернул ее, как от огня, и мысленно воскликнул: — Что я делаю, несчастный! Я пренебрегаю советом Кукуфы. Чтобы удовлетворить глупое любопытство, я рискую потерять возлюбленную и жизнь. Если ее сокровище понесет какой-нибудь вздор, я не смогу ее больше видеть и умру от печали. А кто знает, что скрывается в душе сокровища?

Волнение Мангогула не позволяло ему следить за собой, он произнес последние слова довольно громко, и фаворитка проснулась.

— Ах, государь, — сказала она, более обрадованная, чем удивленная его присутствием. — Это вы? Почему меня не известили о вашем приходе? Вам ли ожидать моего пробуждения?

Мангогул сообщил фаворитке об успешности свидания с Кукуфой, показал ей полученный от него перстень и не скрыл ни одного из его свойств.

— О, какой дьявольский секрет вручил он вам! —

вскричала Мирзоза.— Но, государь, думаете ли вы пустить его в ход?

— Как, чорт возьми! Думаю ли я пустить его в ход? Я начну с вас, если вы мне позволите.

Фаворитка при этих ужасных словах побледнела, задрожала, потом овладела собой и стала заклинать султана Брамой и всеми пагодами Индии и Конго не подвергать ее испытанию, что было бы недостатком доверия к ее верности.

— Если я всегда была благоразумна,— продолжала она,— сокровище мое промолчит, а вы нанесете мне оскорбление, которого я вам никогда не прощу. Если оно заговорит, я потеряю ваше уважение, ваше сердце, и вы будете от этого в отчаянии. До сих пор, как мне кажется, наша связь приносила вам только радость. Зачем же подвергать ее опасности разрыва? Государь, поверьте мне, последуйте совету гения; у него большой опыт, а следовать советам гениев всегда полезно.

— Это самое я себе говорил, когда вы проснулись,— ответил Мангогул.— Однако, если бы вы проспали двумя минутами дольше, я не знаю, что бы из этого вышло.

— Вышло бы то,— сказала Мирзоза,— что мое сокровище ничего бы вам не сказало, а вы потеряли бы меня навсегда.

— Может быть,— отвечал Мангогул,— но теперь, когда я вижу, какой опасности я избежал, клянусь вам вечным божеством, что вы будете исключены из числа тех, на которых я направлю перстень.

Мирзоза успокоилась и начала подшучивать над сокровищами, как и государь собирался подвергнуть испытанию.

— Сокровище Сидализы,— говорила она,— может очень многое рассказать. И если оно так же нескромно, как его обладательница, оно не заставит себя долго просить. Сокровище Гарип уже удалилось от света, и ваше высочество услышит от него только старушечью болтовню. Что касается сокровища Глосен, его стоит порасспросить; она кокетлива и красива.

— И вероятно по этой причине,— сказал султан,— ее сокровище будет немо.

— Тогда обратитесь к сокровищу Федимы,— сказала султанша,— она проказлива и безобразна.

— Да,— продолжал султан,— настолько некрасива, что надо быть такой злой, как вы, чтобы обвинить ее в проказах. Федима добродетельна; это говорю вам я, так как знаю кое-что об этом.

— Может быть, если вам угодно, она и добродетельна,— возразила фаворитка,— но ее серые глаза говорят обратное.

— Глаза ее ввели вас в заблуждение,— резко возразил султан.— Вы меня выводите из терпения вашей Федимой. Можно подумать, что нет других сокровищ для испытания.

— Можно ли, не оскорбляя ваше высочество,— сказала Мирзога,— спросить, кого бы вы почтили своим выбором?

— Это мы вскоре увидим,— отвечал Мангогул,— в кругу Манимонбанды (так называют в Конго старшую султаншу). Их хватит на долгое время, и когда нам наскучат сокровища моего двора, мы сможем сделать обход Банзы; может быть, сокровища у буржуазок окажутся более благоразумными, чем у герцогинь.

— Государь,— возразила Мирзога,— я немного знаю первых и могу вас уверить, что они только более осмотрительны.

— Скоро мы все про них узнаем. Но я не могу удержаться от смеха,— продолжал Мангогул,— когда представляю изумление и смущение этих женщин при первых словах их сокровищ. Ха-ха-ха! Имейте в виду, услада моего сердца, что я буду ждать вас у старшей султанши и что я не пущу в ход перстня, пока вы не придете.

— Во всяком случае, государь, я рассчитываю на ваше слово,— сказала Мирзога.

Ее тревога заставила Мангогула улыбнуться. Он подтвердил свое обещание и, приласкав ее, удалился.

Глава шестая

Первая проба кольца. Альсина

Мангогул пришел первый к старшей султанше. Он застал женщин за игрой в каваньолу, пробежал глазами по всем, чья репутация была установлена, решив остановиться на одной из них, и только затруднился в выборе. Он не знал, с кого начать, когда заметил в нише молодую даму из дворца Манимонбанды. Она шутила со своим супругом. Это показалось странным султану, так как прошла уже неделя, как они поженились. Они показывались в одной ложе в опере, в одной коляске на проспекте или в Булонском лесу, они закончили визиты, и обычай освобождал их от любви и даже от встреч.

— Если это сокровище так же легкомысленно, как его обладательница,— сказал про себя Мангогул,— мы услышим очень забавный монолог.— В этом месте его собственного монолога появилась фаворитка.

— Добро пожаловать,— шепнул султан ей на ухо.— Я сделал выбор в ожидании вас.

— На кого же он пал? — спросила Мирзоза.

— На этих людей, которые забавляются в нише,— ответил ей Мангогул, мигнув в их сторону.

— Хорошее начало, сказала фаворитка.

Альсина (так звали молодую даму) была жизнерадостна и красива. При дворе султана не было женщины более приветливой и большей проказницы, чем она. Один из эмиров султана влюбился в нее. Его не оставили в безызвестности о том, что говорила скандальная хроника. Он был встревожен, но последовал обычаю: спросил у своей возлюбленной, что он должен о ней думать. Альсина поклялась ему, что это была клевета со стороны некоторых фатов, которые молчали бы, если бы у них не было о чем говорить; что, наконец, она с эмиром еще ничем не связана и он волен думать все, что ему угодно. Этот уверенный ответ убедил влюбленного эмира в невинности его возлюбленной. Он принял окончательное решение и титул супруга Альсины со всеми его привилегиями.

Султан направил кольцо на нее. Громкий взрыв смеха Альсины над двусмысленными шутками мужа был сразу оборван действием кольца. И сейчас же послышался шопот из-под ее юбок:

— Вот я, наконец, титулованная особа. Поистине, это меня чрезвычайно радует. Прежде всего надо создать себе положение в свете. Если бы вняли моим первым желаниям, нашли бы, что я стою большего, чем эмир. Но лучше эмир, чем ничего.

При этих словах все женщины оставили игру и стали прислушиваться, откуда исходит голос. Это движение произвело большой шум.

— Тише, — сказал Мангогул, — это заслуживает внимания.

Воцарилась тишина, и сокровище продолжало:

— Вероятно, супруга надо почитать за очень важного гостя, если судить по мерам, какие были приняты перед его приходом. Сколько приготовлений! Какое обилие миртовой воды! Еще недели две такого режима, и меня не стало бы, я исчезло бы, и господин эмир должен был бы искать себе другого помещения или отправить меня на остров Жонкиль.

Здесь автор говорит, что все женщины побледнели, молча переглянулись и приняли серьезный вид, который он приписывает боязни, чтобы беседа не завязалась и не сделалась общей.

— Однако, — продолжало свою речь сокровище Альсины, — мне казалось, что эмиру вовсе не было пужно, чтобы ради него пускались на такие ухищрения; но я узнаю в этом осторожность моей обладательницы, она все доводит до крайности; но меня готовили для эмира так, словно предназначали для его стремящегося.

Сокровище хотело продолжать свои несуразные речи, когда султан, заметивший, что стыдливая Манимонбанда скандализирована этой странной сценой, прервал оратора, повернув кольцо. Эмир исчез при первых словах сокровища его жены. Альсина, не растерявшись, сделала вид, будто

впала в обморочное состояние. Женщины шептались о том, что у нее припадок.

— Да, это припадок, — сказал петиметр. — Сикопь называет такие припадки истерическими. Это, так сказать, явления, которые исходят из нижней области. У него есть против этого божественный эликсир, — это первоначальное, первополагающее, первополагаемое, которое оживляет, которое... Я предложу его сударыне.

Все улыбнулись этой шутке, а наш циник продолжал:

— Это сушая правда, сударыня. Я, говорящий с вами, употреблял его вследствие убыли субстанции.

— Убыли субстанции?

— Господин маркиз, — отозвалась одна молодая особа, — что же это такое?

— Сударыня, — отвечал маркиз, — это один из тех маленьких неожиданных случаев, которые бывают. Ну, да это известно всем на свете.

Между тем симулированный обморок пришел к концу. Альсина присоединилась к игре без тени смущения, как если бы ее сокровище ничего не говорило или сказало бы что-нибудь очень приятное. И только она одна играла без рассеянности. Эта партия принесла ей значительную сумму. Другие не отдавали себе отчета, что делают, не узнавали фигур, забывали цифры, не обращали внимания на выигрыш, платили, где не нужно, и совершали тысячу других оплошностей, которыми Альсина пользовалась. Наконец, игра кончилась, и все разошлись.

Это происшествие наделало много шума при дворе, в городе и во всем Конго. Появились эпиграммы: речь сокровища Альсины была опубликована, просмотрена, исправлена, дополнена и комментирована придворными любезниками. Сложили песенку про эмира. Обессмертили его жену. Указывали на нее в театрах, бегали вслед за нею на прогулках. Теснились вокруг нее, и она слышала шопот со всех сторон: «Вот она! Она самая. Ее сокровище говорило больше двух часов подряд».

Альсина выносила свою новую репутацию с удивительным хладнокровием. Она слушала все эти замечания

и еще многие другие с таким спокойствием, какого не было ни у одной из женщин. Они ожидали каждую минуту какой-нибудь нескромности со стороны своих сокровищ. Но происшествие, описываемое в следующей главе, усилило их тревогу.

Когда гости разошлись, Мангогул подал руку фаворитке и отвел ее в ее апартаменты. У Мирзозы не было радостного оживления, которое обыкновенно не покидало ее. Она основательно проигралась, и ужасное действие перстня погрузило ее в задумчивость, из которой она не успела выйти. Она знала любопытство султана и не рассчитывала на обещания человека, чья влюбленность была менее сильна, чем его деспотизм, — и это продолжало ее беспокоить.

— Что с вами, услада души моей? — спросил Мангогул. — Я нахожу, что вы очень задумчивы.

— Мне исключительно не везло в игре, — отвечала Мирзога. — Я упустила свой шанс: я ставила на двенадцать табло, а они, кажется, и трех раз не выиграли.

— Это очень прискорбно, — сказал Мангогул. — Но что вы скажете о моем секрете?

— Государь, — отвечала фаворитка, — я продолжаю считать его дьявольщиной: без сомнения, он позабавит вас, — но эти забавы будут иметь гибельные последствия. Вы собираетесь внести смуту во все дома, раскрыть глаза мужьям, привести в отчаяние любовников, погубить женщин, обесчестить девушек и натворить тысячи других бед... Ах, государь, я заклинаю вас...

— Э, полноте, — сказал Мангогул, — вы морализируете, как Николь. Я очень хотел бы знать, почему интересы ваших близких сегодня вас так близко затрагивают. Нет, сударыня, нет. Я сохраню свой перстень. Что мне до этих прозревших мужей, до отчаявшихся любовников, погубленных женщин и обесчещенных девушек, раз меня это забавляет? Султан я или нет? До завтра, сударыня. Будем надеяться, что следующие сцены будут более комичны, чем первая, и что незаметно вы войдете во вкус.

— Я не думаю этого, государь,— сказала Мирзоа.

— А я ручаюсь вам, что вы встретите занимательные сокровища, настолько занимательные, что не откажетесь выслушать их. А что бы с вами было, если бы я отрядил их к вам в качестве посланниц? Я вас избавлю, если хотите, от скуки их напыщенных речей. Но о похождениях сокровищ вы услышите из их уст — или из монх. Это решено. Я ничего не могу изменить. Возьмите на себя труд свыкнуться с этими новыми собеседницами.

С этими словами юн поцеловал ее и прошел в свой кабинет, размышляя об опыте, который только что произвел, и принося благочестивую благодарность гению Кукуфа.

Глава седьмая

Вторая проба кольца. Алтари

На другой день Мирзоа давала интимный ужин. Приглашенные рано собрались в ее апартаменты. До вчерашнего чуда они охотно сходились у нее, — в этот вечер все пришли только из приличия, у женщины был принужденный вид, они говорили односложно. Все были на чеку и ждали с минуты на минуту, что чье-нибудь сокровище вмешается в беседу.

Несмотря на сильнейшее желание посудачить насчет скандального приключения с Альсиной, ни одна из присутствующих не решалась заговорить о нем первая. Не потому, что их удерживало ее присутствие; хотя имя ее было вписано в лист приглашенных, она не появилась на вечере. Легко было угадать, что ей помешала мигрень. Однако, потому ли, что уменьшилось чувство опасности, так как целый день говорили только рты, или потому что пришла на помощь напускная смелость, беседа, бывшая вначале в полном упадке, понемногу оживилась. Женщины, наиболее внушавшие подозрение, приняли вид полный достоинства и уверенности в себе. Мирзоа обратилась к придворному Зегрису с вопросом, нет ли чего интересного.

— Сударыня, — ответил Зегрис, — вы слышали о предстоящем браке аги Шазура с молодой Сибериной. Было бы вам известно, что все уже рухнуло.

— Из-за чего же? — прервала его фаворитка.

— Из-за странного голоса, — продолжал Зегрис, — который Шазур, по его словам, слышал во время туалета своей повелительницы. Со вчерашнего дня двор султана полон людьми, которые ходят, наострив уши, в надежде услышать, не знаю каким образом, признания, которых, без сомнения, ни у кого нет охоты делать.

— Но это безумие, — возразила фаворитка. — Позор Альсины, если можно говорить о позоре, ничуть не доказан; это дело еще не расследовано...

— Сударыня, — прервала ее Зельмаида, — я слышала ее совершенно ясно: она говорила, не открывая рта: факты были изложены вполне отчетливо, и было нетрудно догадаться, откуда исходил этот странный голос. Уверяю вас, на ее месте я бы умерла.

— Умерла! — сказал Зегрис. — Не умирают и при худших обстоятельствах.

— Как! — воскликнула Зельмаида. — Что может быть ужаснее нескромности сокровища? Тут нет середины: нужно либо отказаться от легкомысленных забав, либо пойти на то, чтобы прослыть легкомысленной.

— В самом деле, — сказала Мирзоа, — альтернатива ужасна.

— Нет, нет, сударыня, — отозвалась одна из присутствующих, — вы увидите, что женщины примирятся с этим. Сокровищам будет предоставлено болтать сколько им угодно, и все пойдет своим чередом, что бы ни говорил свет. И в конце концов, не все ли равно, сокровище ли женщины или ее любовник окажется нескромным? Разве от этого больше будет огласки?

— По зрелом обсуждении, — продолжала другая, — надо признать, что если похождения женщины должны быть разглашены, то лучше, чтобы это сделало ее сокровище, чем ее любовник.

— Странная мысль, — заметила фаворитка.

— Но верная, — прибавила та, которая осмелилась ее высказать. — Потому что, — примите во внимание, обыкновенно любовник бывает чем-то недоволен прежде, чем стать нескромным, и, чтобы отомстить, он все преувеличивает, между тем как сокровище говорит бесстрастно и ничего не привирает.

— Что касается меня, я держусь другого мнения, — сказала Зельманда, — виновного губит не столько важность обвинений, сколько вескость показаний. Любовник, который бесчестит своими речами алтарь, на котором он священнодействовал, — нечестивец, не заслуживающий никакого доверия; но когда свидетельствует сам алтарь, что можно ему возразить?

— Что алтарь сам не знает, что говорит, — сказала вторая собеседница.

Тут Монима прервала молчание, которое хранила до сих пор, и медленно произнесла небрежным тоном:

— Ах, пускай мой алтарь, раз уж он алтарь, говорит или молчит, я не боюсь его речей.

В это мгновение вошел Мангогул, и от него не ускользнули последние слова Монимы. Он повернул свое кольцо над нею, и все услышали, как ее сокровище закричало:

— Не верьте этому: она лжет.

Соседки ее переглянулись и стали спрашивать одна другую, кому принадлежит сокровище, только что издавшее голос.

— Не мне, — сказала Зельманда.

— Не мне, — сказала вторая собеседница.

— Не мне, — сказала Монима.

— Не мне, — сказал султан.

Все упорно отнекивались, не исключая фаворитки.

Воспользовавшись этой невыясненностью, султан обратился к дамам:

— Вы обладаете алтарями, — сказал он. — Хорошо, какие же совершались в них службы?

Говоря это, он стал быстро направлять перстень в последовательном порядке на всех женщин, исключая

Мирзозу. И каждое сокровище отзывалось по очереди; слышались различные голоса:

— Меня посещают слишком часто...

— Меня истерзали...

— Меня покинули...

— Меня надушили...

— Меня утомили...

— Меня плохо обслуживают...

— Мне докучают... и т. д.

Все произнесли свое слово, но так быстро, что нельзя было понять, кому что принадлежит. Их болтовня, то глухая, то визгливая, сопровождаемая хохотом Мангогула и придворных, произвела небывалый шум.

Женщины признали с самым серьезным видом, что это очень забавно.

— Ну, что же, — сказал султан, — мы очень счастливы, что сокровища удостоили говорить нашим языком и принять участие в наших беседах. Общество бесконечно выиграет от такого удвоения органов речи. Может быть, и мы, мужчины, заговорим иначе, чем ртом. Кто знает! Тому, что так тесно связано с сокровищем, может быть, предназначено спрашивать его и отвечать ему. Однако, мой анатом думает иначе.

Глава восьмая

Третья проба кольца. Интимный ужин

Сервировали ужин, уселись за стол; все начали подшучивать над Монимой; женщины единодушно обвиняли ее сокровище в том, что оно заговорило первым. И она не сумела бы противостоять этой лиге, если бы султан не взял ее под свою защиту.

— Я не утверждаю, — сказал он, — что Монима менее легкомысленна, чем Зельмаида, но я думаю, что сокровище у нее скромнее. И вообще, если уста и сокровище женщины противоречат друг другу, кому из них следует верить?

— Государь, — сказал придворный, — я не знаю, что сокровища будут говорить дальше, но до сих пор они говорили лишь о предмете в высшей степени им близком. До тех пор, пока у них хватит благоразумия говорить лишь о том, что они знают, я буду верить им, как оракулу.

— Можно было бы, — сказала Мирзоза, — спросить более надежных оракулов.

— Сударыня, — возразил Мангогул, — какой интерес был бы у них сказать истину? Что могло бы побудить их на это, кроме химеры чести? Но у сокровища нет этой химеры: здесь нет места для предрассудков.

— Химера чести! — воскликнула Мирзоза. — Предрассудки! Если бы ваше высочество подвергались таким неприятностям, как мы, вы поняли бы, что то, что касается добродетели, — далеко не химера.

Все женщины, осмелев после ответа султанши, поддержали ее и нашли излишним, чтобы их подвергали дальнейшим испытаниям, а Мангогул прибавил, что эти испытания почти всегда бывают опасны.

От этих разговоров перешли к шампанскому, выпито было немало, и настроение пирующих очень повысилось. Сокровища разгорячились. Пришла минута, когда Мангогул решил снова начать свои козни. Он направил кольцо на сильно развеселившуюся молодую женщину, сидевшую близко от него, напротив своего супруга. Тогда все услышали из-под стола какие-то жалобные звуки, и слабый замирающий голос заговорил:

— Как я измучено! Я больше не могу. Я в совершенном изнеможении.

— Как! Во имя бога Понго Сабиама! — вскричал Гуссейн, — сокровище моей жены говорит... Но что оно может рассказать?..

— Мы это сейчас услышим, — ответил султан.

— Государь, разрешите мне не быть в числе слушателей, — попросил Гуссейн. — И если у него вырвутся какие-нибудь глупости, надеюсь, ваше высочество, не подумаете...

— Я думаю, что вы глупец, — сказал султан, — если

вас волнует болтовня сокровища. Разве не известна большая часть того, что оно может сказать, и разве не легко предугадать остальное? Садитесь же и постарайтесь позабавиться.

Гуссейн сел на место, и сокровище его жены принялось стрекотать, как сорока.

— Отделаюсь ли я когда-нибудь от этого верзилы Валанто! — воскликнуло оно. — Я знаю людей, у которых страсть остывает, по он...

При этих словах Гуссейн вскочил, как безумный, схватился за нож, бросился на другой конец стола и пронзил бы грудь своей жены, если бы его не удержали соседи.

— Гуссейн, — обратился к нему султан, — вы делаете слишком много шума. Ничего не слышно. Разве только сокровище вашей жены лишено здравого смысла? Что бы случилось с этими дамами, если бы их мужья, подобно вам, выходили из себя? Как! Вы приходите в отчаяние из-за несчастного приключения какого-то Валанто, у которого страсть не остывает. Сядьте на место, будьте благовоспитанным человеком, не распускайтесь и не поступайте столь дерзко по отношению к государю, который приобщает вас к своим удовольствиям.

В то время, как Гуссейн, стараясь подавить ярость, откинулся на спинку стула, закрыв глаза и опершись лбом на руку, султан опять повернул кольцо, и сокровище продолжало:

— Я хорошо бы приспособилось к молодому пажу Валанто. Но я не знаю, когда он воспламенится. В ожидании, когда один воспламенится, а другой остынет, я набираюсь терпения с брамином Эгоном. Надо сознаться, что он безобразен, но у него есть талант остывать и вновь воспламеняться. О брамин — великий человек!

При этом восклицании сокровища Гуссейн покраснел, устыдившись мысли о том, что так опечалился из-за женщины, которая этого не стоила, и принялся хохотать вместе со всеми. Но он затаил злобу на супругу. Когда ужина кончился, все разошлись по домам, кроме Гуссейна, который проводил свою жену в монастырь и запер ее там.

Мангогул, узнав о ее злоключении, навестил ее. Когда она явился, все сестры утешали ее, но, главным образом, старались выпытать причину ее изгнания.

— Я здесь из-за пустяка, — сказала она. — Вчера за ужином у султана хватили шампанского, хлебнули и то-кайского, никто уже не понимал, что кругом говорилось, как вдруг моему сокровищу вздумалось болтать. Я не знаю, что это были за речи, но мой супруг разгневался на них.

— Без сомнения, мадам, он был неправ, — отвечали монахини. — Нельзя так гневаться из-за пустяков.

— Как! Неужели ваше сокровище говорило? А не может ли оно снова заговорить? О, как нам было бы приятно его послушать! Его выражения, должно быть, полны изящества и ума.

Они были удовлетворены, так как султан направил кольцо на бедную узницу, и ее сокровище достойно отблагодарило их за любезность, заявив, впрочем, что как ни очаровательно их общество, общество брамина было бы еще приятнее.

Султан воспользовался случаем узнать некоторые особенности жизни этих девушек. Его перстень вызвал признание у сокровища одной молоденькой затворницы по имени Клеантиса. И сокровище той, которую считали девственницей, назвало двух садовников, брамина и трех кавалеров и рассказало, как с помощью снадобья и двух выкидшей ей удалось избежать скандала.

Зеферина созналась устами своего сокровища, что она обязана юному приказчику, служившему у них, почетным званием матери. Но больше всего удивило султана, что, хотя сокровища употребляли очень непристойные выражения, девственницы, которым они принадлежали, слушали их, не краснея.

Это навело его на мысль, что если в такого рода убежищах не хватает практики, зато много теоретических познаний. Чтобы убедиться в этом, он направил перстень на послушницу пятнадцати-шестнадцати лет.

— Флора, — сказала сокровище, — не раз заглядыва-

лась через решетку на молодого офицера. Я уверена, что он ей по вкусу. Ее мизинчик сказал мне это.

Плохо пришлось после этого Флоре.

Старшие сестры присудили ее к двухмесячной эпитимии и велели всем молиться о том, чтобы сокровища всей общины хранили молчание.

Глава девятая

Положение Академии наук в Банзе

Едва Мангогул покинул затворниц, среди которых мы его оставили, как в Банзе распространился слух, что все девушки конгрегации копчика Браммы говорили посредством сокровищ.

Этот слух, подтвержденный жестоким поступком Гуссейна, подстрекнул любопытство ученых. Явление было установлено, и мыслители начали искать в свойствах материи объяснения тому, что раньше они считали невозможным. Болтовня сокровищ породила бесконечное число превосходных работ, и эта важная тема обогатила изыскания Академии несколькими трудами, которые можно считать предельным достижением человеческого ума.

Чтобы создать и обессмертить Академию наук Банзы, были призваны и беспрестанно призывались все просвещенные люди Конго, Моноэмуги, Белеганцы и окрестных государств. Она заключала в своих стенах, под различными наименованиями, всех выдающихся ученых в области естественной истории, физики и математики и большую часть тех, какие обещали стать когда-нибудь выдающимися.

Этот улей неутомных пчел работал без остановки в поисках истины, и каждый год читающая публика вкушала в томе, наполненном открытиями, плоды их трудов.

Ученые разделились на две партии — на вихревиков и на притяженцев⁴. Олибри — великий геометр и талантливый физик основал секту вихревиков. Чирчино — великий физик и талантливый геометр был первым притяженцем.

Олибри и Чирчино, оба взялись объяснить природу вещей. Основные положения Олибри отличаются на первый взгляд соблазнительной простотой. В общих чертах они удовлетворительно объясняют главные феномены. Но они неосновательны в деталях. Что касается Чирчино, его исходный пункт кажется нелепым, но ему не удалось только первый шаг. Мельчайшие подробности, испровергающие теорию Олибри, подтверждают его систему. Он идет путем, вначале темным, но чем дальше, тем все более ясным. Наоборот, Олибри, ясный вначале, постепенно становится темнее. Его философия требует не столько изучения, сколько умственной силы: последователем второго нельзя стать без значительного ума и серьезного изучения. В школу Олибри можно войти без подготовки, ключ к ней имеется у каждого. Школа Чирчино открыта только для лучших геометров. Вихри Олибри понятны для всех умов. Основные силы Чирчино доступны лишь первоклассным математикам. Всегда на одного притяженца будет приходиться сотня вихревиков. И один притяженец всегда будет стоить сотни вихревиков. Таково было положение дел в Академии наук Банзы, когда она рассматривала вопрос о нескромных сокровищах.

К этому явлению было трудно приступить. Здесь не было места тяготению; сюда не было доступа тонкой материи. Напрасно президент просил высказаться всех, у кого были какие-нибудь мысли на этот счет,— глубокое молчание царило в аудитории.

Тогда вихревик Персифло, выпустивший в свет трактаты о бесконечном количестве предметов ему неизвестных, встал с места и сказал:

— Этот факт, господа, вероятно, находится в связи со всей системой мироздания: я подозреваю, что причина его та же, что у приливов и отливов. В самом деле, заметьте, что у нас сегодня как раз полнолуние, совпадающее с равноденствием. Но, прежде чем принять мою догадку, надо послушать, что скажут сокровища в следующем месяце.

Кругом пожимали плечами: не смели поставить ему

на вид, что он рассуждает, как сокровище; но так как он обладал пронизательностью, то сразу догадался, что о нем это подумали.

Пригуженец Ресипроко взял слово и сказал:

— Господа, у меня есть таблицы, составленные на основании вычисления высоты морских приливов во всех портах государства. Правда, наблюдениями некоторых морей вычисления опровергаются, но я надеюсь, что это неудобство будет возмещено полезностью, какую из них извлекают, если болтовня сокровищ будет согласоваться с приливами и отливами.

Третий встал, приблизился к доске, начертил геометрическую фигуру и сказал:

— Пусть это будет сокровище AB и т. д.

Здесь невежество переводчиков лишило нас объяснений, какие африканский автор наверное приводит. Дальше, после пропусков около двух страниц, мы читаем:

Доказательства Ресипроко оказались убедительными, и все согласилось на основании выводов, сделанных из его теории, согласно которой он предполагал рано или поздно доказать, что отныне женщины должны говорить посредством сокровища все, когда-либо сказанное им на ухо.

После этого доктор Оркотом, из касты анатомов, сказал:

— Господа, я полагаю, что лучше оставить какое-нибудь явление без рассмотрения, чем искать причин с помощью гипотез, ни на чем не основанных. Что до меня, я бы молчал, если бы мне нечего было вам сказать, кроме вздорных предположений, но я исследовал, изучал, размышлял. Я видал сокровища во время припадков и я пришел, с помощью опытного изучения органа, к уверенности, что то, что мы называем по-гречески *delphus*, имеет все свойства трахей, и что есть субъекты, которые могут так же хорошо говорить при помощи сокровища, как и ртом. Да, господа, *delphus* — инструмент струнный и в то же время духовой, но скорее струнный, чем духовой. Наружный воздух, в него входящий, производит действие смычка на сухожилия губ, которые можно назвать лентами плч

голосовыми связками. Легкое прикосновение воздуха к голосовым связкам заставляет их вибрировать, и своими вибрациями, более или менее частыми, они производят разнообразные звуки. Человек видоизменяет эти звуки, говорит, может даже петь. Так как здесь имеются только две ленты или две голосовых связки и так как они приблизительно одной длины, меня без сомнения спросят, почему этого достаточно, чтобы производить множество звуков, низких и высоких, и сильных и слабых, на какие только способен человеческий голос.

Продолжая сравнивать этот орган с музыкальным инструментом, я ручаюсь, что растяжение и сокращение связок может производить этот эффект.

Что эти части способны к сокращению и к растяжению — излишне демонстрировать в собрании таких ученых мужей, как вы. Но что вследствие этих сокращений и растяжений *delphus* может издавать звуки, более или менее высокие, иными словами, передавать все оттенки человеческого голоса и все тона пения, — это факт, который я льщу себя надеждой установить вне всяких сомнений. Я предлагаю проверить это на опыте. Да, господа, я обязуюсь заставить рассуждать, говорить и даже петь перед вами *delphus* и сокровище.

Так разглагольствовал Оркотом, ставя себе целью не более, не менее, как заставить сокровища играть ту же роль, какую играла трахея у одного из его братьев, который, завидуя его успеху, напрасно старался ему повредить.

Глава десятая,

менее ученая и менее скучная, чем предыдущая.

Продолжение заседания Академии

Судя по возражениям, какие делались Оркотому в ожидании опытов, его идеи находили более остроумными, чем серьезными.

— Если сокровища, — возражали ему, — обладают прирожденной способностью говорить, то отчего они так

долго не пользовались ею? Если это была милость Брамь, внушившего женщинам столь сильное желание говорить и по доброте своей удвоившего органы их речи, странно, что они не знали этого и так долго пренебрегали таким драгоценным даром природы. Почему одно и то же сокровище говорило только однажды? Почему все они говорили только об одном и том же? Какой механизм заставляет один из ртов молчать, когда другой говорит? Кроме того, — прибавляли возражающе, — если судить о болтовне сокровищ по обстоятельствам, при которых большая часть из них говорила, и по вещам, какие они произносили, можно думать, что это была произвольная речь и что эти части тела продолжали бы быть немьми, если бы было во власти их посетительниц принудить их к молчанию.

Оркотом счел своим долгом ответить на эти возражения и подтвердить, что сокровища говорили всегда, но так тихо, что их было едва слышно даже тем, кому они принадлежали; что нет ничего удивительного, если они повысили тон в наши дни, когда вольность речи достигла таких пределов, что без всякого стыда говорят о самых интимных вещах; что быть немьм и хранить молчание — не одно и то же; что если они говорили только однажды, это не значит, что они больше не будут говорить; что они все говорили об одном и том же оттого, что, повидимому, ни о чем другом у них не было представления; что те, которые еще не говорили, заговорят; что если они молчат, это потому, что им нечего сказать, или потому, что они плохо сложены, или же, наконец, потому, что им не хватает мыслей и терминов.

— Одним словом, — продолжал он, — утверждать, что милосердие Брамь дало женщинам возможность удовлетворять ненасытное желание говорить, удвоив орган их речи — значит признать, что если бы это благодеяние вело к неприятным последствиям, то верховная мудрость должна была бы их предотвратить, — она это и делает, принуждая один из ртов молчать, когда другой заговорит. Для нас в высшей степени неприятно, когда женщина с минуты на минуту меняет мнение; что же это было бы,

если бы Брама дал им возможность в одно и то же время иметь два противоположных мнения? Кроме того, нам дано говорить для того, чтобы нас выслушивали; ну, а в каком положении очутились бы женщины, имея два рта, когда и с юдним они не умеют друг друга слушать?

Оркутом отвечал на множество вопросов; он думал, что удовлетворил всех, но он ошибся. Его продолжали осуждать, и он уже готов был сдаться, когда физик Чимоназ поддержал его. Тогда диспут сделался бурным: от вопроса удалились, потеряли нить, нашли ее и снова потеряли, ожесточились, дошли до криков, потом до взаимных оскорблений, и заседание Академии на этом закончилось.

Глава одиннадцатая

Четвертая проба кольца. Эхо

В то время как болтовня сокровищ занимала Академию, она на долгое время стала повостью дня и предметом обсуждения во всех кругах общества; это была неисчерпаемая тема. Все сходило с рук. К истинным происшествиям прибавляли выдуманные. Принимали на веру все, что угодно. В беседах об этом прошло более полугода.

Султан только три раза пользовался своим кольцом. Тем не менее, в кругу дам, приближенных Маншонбанды, обсуждалась речь сокровища, принадлежащего жеге одного председателя, затем сокровища маркизы; потом раскрылись благочестивые секреты некоей ханжи, наконец, секреты многих других отсутствующих дам; бог знает, какие слова приписывались их сокровищам, непристойными выражениями не стеснялись; от фактов переходили к рассуждениям.

— Нужно признать, — говорила одна из дам, — что колдовство, направленное на сокровища, держит нас в ужасном состоянии. Как! — вечно со страхом ожидать, что из твоих недр раздастся дерзкий голос!

— Но, сударыня, — возражала ей другая, — нас удивляет такой страх с вашей стороны. Когда сокровище

не может сказать ничего постыдного, не все ли равно, молчит оно или говорит?

— Совсем не все равно, — отвечала первая, — я отдала бы без сожаления половину моих драгоценностей, если бы знала наверное, что мое сокровище будет молчать.

— Понистине, — заметила вторая, — нужно иметь веские причины опасаться людей, чтобы такой ценой покупать молчанье.

— Они у меня не более веские, чем у других, — возразила Сефиза, — во всяком случае, я их не отрицаю. Двадцать тысяч экию за спокойствие — это совсем не дорого; потому что, откровенно говоря, я не более уверена в моем сокровище, чем в моем языке: ведь у меня вырывалось немало глупостей в моей жизни. — Я слышу ежедневно, какие невероятные похождения разоблачаются, подтверждаются и подробно рассказываются сокровищами; если откинуть от них три четверти, остатка хватит, чтобы обеспечить женщину. Если бы мое сокровище солгало только наполовину, я уже погибла бы. Не достаточно ли того, что сокровища руководят нашим поведением, неужели необходимо, чтобы наша репутация зависела от их болтовни?

— Что до меня, — с живостью вмешалась Исмена, — я предоставляю событиям идти своим чередом, не пускаюсь в бесконечные рассуждения. Если, как утверждает мой брамин, Брама заставил сокровища говорить, то он не потерпит, чтобы они лгали. И нечестиво думать иначе. Мое сокровище может говорить, когда ему угодно и сколько захочет. В конце концов, что может оно рассказать?

Тут послышался глухой голос, как бы выходящий из-под земли и отозвавшийся подобно эхо:

— Очень многое.

Исмена, не представляя себе, откуда раздался ответ, вспыхнула, выбранныла соседок, чем позабавила весь кружок. Султан, в восторге от того, что она попала на удочку, отошел от министра, с которым беседовал в стороне, приблизился к ней и сказал:

— Берегитесь, сударыня; если вы некогда избрали одну из этих дам своей наперсницей, то как бы их сокровища не вздумали предательски напомнить о тех историях, которые ваше собственное уже позабыло.

В ту же минуту Мангоул, повертывая перстень, вызвал между дамой и ее сокровищем довольно странный диалог. Исмена, которая хорошо обдeldывала свои делшки и никогда не имела наперсниц, отвечала, что самые искусные злые языки не могли бы ей повредить.

— Может быть, — раздался незнакомый голос.

— Как, может быть! — воскликнула Исмена, уязвленная обидным сомнением. — Чего же мне бояться с их стороны?

— Весьма многого, если они знают столько, сколько я.

— А что вы знаете?

— Очень многое, будьте уверены.

— Очень многое? Это обещает немало, но не означает ничего. Можете ли вы привести какие-нибудь подробности?

— Без всякого сомнения.

— В каком же они роде? Есть у меня сердечные дела?

— Нет.

— Интриги? Похождения?

— Вот именно.

— С кем же, соблаговолите сказать — с петиметрами? С военными? С сенаторами?

— Нет.

— С артистами?

— Нет.

— Вы увидите, что это окажутся мои папки, мои лакеи, мой духовный отец или духовник моего мужа.

— Нет.

— Господиш лжец, вы кончили?

— Не совсем.

— Однако я не знаю больше никого, кто бы мог участвовать в моих похождениях. Было ли это до моего замужества или после него? Отвечайте же, наглец!

— Ах, сударыня, довольно браниться; прошу вас, не доводите лучшего вашего друга до плохих поступков.

— Говорите, говорите, милейший, я не ценю вашего расположения и не боюсь вашей нескромности. Разъясните, в чем дело, я разрешаю вам это; я вам это приказываю.

— К чему вы принуждаете меня, Исмена? — отозвалось сокровище с глубоким вздохом.

— Воздать должное добродетели.

— Хорошо же, добродетельная Исмена, не припомните ли вы молодого Османа, саиджака Зегриса, вашего учителя танцев Алазпеля, учителя музыки Альмура?

— Какой ужас! — вскричала Исмена. — Моя мать была слишком бдительна для того, чтобы я могла позволить себе такие проказы. И мой муж, если бы он был здесь, заверил бы вас, что он нашел меня такой, какой желал найти.

— Ну да, — отвечало сокровище, — благодаря секрету Альсины, вашей близкой подруги.

— Это нелепость, такая смешная и такая грубая, — сказала Исмена, — что ее незачем даже опровергать. Я не знаю, — продолжала она, — сокровище какой из этих дам обнаруживает такую осведомленность в моих делах. Но оно рассказало такие вещи, о которых мое не знает ничего.

— Сударыня, — сказала Сефиза, — уверяю вас, что мое сокровище ограничилось тем, что слушало.

Другие женщины повторили то же самое, и все принялись за игру, так и не дознавшись, кто был собеседником Исмены в разговоре, который я только что передал.

Глава двенадцатая

Пятая проба кольца. Картежницы

Большая часть партнерш Манимонбадды играла с остервенением, и не нужно было иметь проницательности Мангогула, чтобы это заметить. Страсть игроков труднее

всего скрыть. Она обнаруживается и при выигрыше, и при проигрыше резкими симптомами.

«Откуда у них это неистовство? — спрашивал он себя. — Как решаются они проводить целые ночи за столом, увлекаясь фараоном и трепеща в ожидании туза или семерки? Это безумие портит их здоровье и красоту, если она у них есть. Не говоря уже о распутстве, на которое, я уверен, оно их толкает».

— У меня сильное желание, — тихо шепнул он Мирзозе, — выкинуть сейчас одну шутку.

— Что же это за шутка, которую вы задумали? — спросила фаворитка.

— Направить перстень на самую яростную из картежниц, допросить ее сокровище и, при помощи этого органа, дать добрый совет безмозглым мужьям, которые позволяют своим женам рисковать честью и состоянием за карточным столом или за игрою в кости.

— Мне очень нравится эта мысль, — сказала Мирзоза, — но знайте, государь, что Манимонбанда поклялась своими пагодами, что у нее не будет больше собраний, если она еще раз будет принуждена терпеть бесстыдство энгастримиток.

— Как вы сказали, услада моего сердца? — прервал ее султан.

— Я привела, — ответила фаворитка, — название, какое стыдливая Манимонбанда дает всем, чьи сокровища умеют говорить.

— Это придумал глупец брамин, который хвастается тем, что знает греческий язык и не знает конгского языка, — сказал султан. — Тем не менее, нравится ли это или нет Манимонбанде и ее капеллану, я хотел бы допросить сокровище Маниллы, и было бы уместно составить на этот раз протокол допроса в назидание ближним.

— Государь, если вы меня послушаетесь, — сказала Мирзоза, — вы избавите от неприятностей старшую султаншу, — это вам легко сделать без того, чтобы пострадало ваше или мое любопытство. Почему не перенестись вам к Манилле?

• — Я отправляюсь туда, раз вы этого хотите, — сказал Мангогул.

— Но в котором часу? — спросила фаворитка.

— В полночь, — ответил султан.

— В полночь она играет, — заметила фаворитка.

— Тогда я подожду до двух часов, — сказал Мангогул.

— Государь, — возразила Мирзоза, — вы не подумали о том, что сказали. Это самое прекрасное время для игры. Поверьте, ваше высочество, вы застанете Маниллу только что уснувшей между семью и восемью часами утра.

Мангогул последовал совету Мирзозы и посетил Маниллу в семь часов. Прислужница собиралась уложить ее в постель. Он увидел, судя по ее печальному лицу, что она проигралась; она ходила взад и вперед, останавливалась, подымала глаза к небу, топала ногой, прижимала кулаки к глазам и что-то бормотала сквозь зубы, чего султан не мог расслышать. Прислужницы, которые ее раздевали, с трепетом следили за ее движениями. Наконец, они ее уложили, но это не обошлось без грубостей и даже худших вещей с ее стороны.

И вот Манилла в постели; вместо вечерней молитвы она произнесла несколько проклятий тузу, который вышел семь раз, отчего она и проиграла.

Она только что сомкнула глаза, когда Мангогул направил на нее кольцо. В ту же минуту ее сокровище горестно воскликнуло:

— Вот так раз! У меня девяносто и ни одной взятки.

Султан улыбнулся, увидя, что в Манилле все дышит картежной игрой, даже ее сокровище.

— Нет, — продолжало оно, — я никогда не буду играть против Абидула; он вечно плутует. Не говорите мне о Даресе: с ним рискуешь всегда сделать несчастный ход. Исмаил — сносный игрок, но его не так легко залучить. Мазулиму не было цены, пока он не попался в руки Криссы. Я не знаю более капризного игрока, чем Зульмис. Рика менее капризен, но бедный мальчик проигрался впух и прах. С Лазули ничего не поделаешь. Самая прекрасная женщина в Банзе не заставит его играть по боль-

шой. Неважный игрок и Молли. В самом деле, игрокам есть от чего придти в отчаяние, и скоро не будешь знать, с кем составить партию.

После этой перемены сокровище перешло к тем особым случаям, свидетелем которых оно было, и начало изливаться относительно стойкости его хозяйки и средств, какими она пользовалась в трудных обстоятельствах.

— Не будь меня, — сказала оно, — Манилла уже двадцать раз была бы разорена. Все богатства султана не могли бы покрыть долгов, какие уплатило я. Однажды, играя в брелан, она проиграла финансисту и аббату больше десяти тысяч дукатов. Ей оставалось только прибегнуть к своим драгоценностям. Но они совсем недавно были выкуплены ее мужем из заклада, и было рискованно пускать их в ход. Тем не менее, она взялась за карты, и ей выпала такая соблазнительная игра, какие посылает судьба, когда хочет вас погубить. От нее ждали ответа. Манилла посмотрела на свои карты, опустила руку в кошелек, откуда — она это хорошо знала — ничего нельзя было вынуть, снова обратилась к игре и стала в нее всматриваться, не зная, на что решиться.

«Ставит ли сударыня, наконец?» — спросил ее финансист.

«Да, ставлю... ставлю, — пролепетала она, — мое сокровище».

«В какую сумму?» — спросил Тюркарес.

«В сто дукатов», — сказала Манилла.

Аббат не стал играть, — сокровище показалось ему слишком дорогим. Тюркарес согласился на ставку; Манилла проиграла и уплатила.

Тюркареса соблазнило тщеславное желание обладать титулованным сокровищем; он предложил моей хозяйке снабжать ее деньгами для игры, при условии, чтобы я служило его удовольствиям. Дело было тут же улажено. Но так как Манилла играла по большой, а средства финансиста не были неисчерпаемы, мы скоро увидели дно его сундуков.

Моя хозяйка затеяла у себя блистательный вечер с

игрой в фараон; вся ее компания была приглашена, предполагались ставки не ниже дуката. Мы рассчитывали на кошелек Тюркареса, но утром знаменательного дня этот плут написал нам, что у него не осталось ни гроша, и поверг нас в полное замешательство: нужно было как-нибудь выпутаться, и нельзя было терять ни минуты. Мы спузошли до старого главы браминов, и за весьма дорогую плату оказали несколько любезностей, которых он домогался целый век. Этот сеанс стоил ему двухгодового дохода от его бенефиций.

Однако Тюркарес вернулся через несколько дней; он был в отчаянии, говорил он, что сударыня поймала его врасплох, все же он рассчитывал на ее доброту.

«Но вы ошиблись в расчете, — отвечала Манилла, — я никак не могу вас принять. Когда вы были в состоянии давать взаймы, свет знал, почему я вас терпела. Теперь же, когда вы нигде не годны, вы нанесли бы ущерб моей чести».

Тюркарес был задет этой речью, и я тоже, потому что он был, может быть, наилучший из молодых людей Банзы. Он потерял обычную сдержанность и сказал Манилле, что она ему обошлась дороже трех оперных актрис, которые доставили бы ему удовольствий больше, чем она.

«Ах, — воскликнул он печально, — почему я не держался за мою маленькую белошвейку! Она безумно любила меня. Сколько радостей я доставлял ей каким-нибудь куском тафты!»

Манилла, которой не понравилось это сравнение, прервала его так резко, что его бросило в дрожь, и велела ему сейчас же выйти вон. Тюркарес знал ее и предпочел мирно спуститься по лестнице, чем вылететь в окно.

Манилла сделала после этого заем у другого брамина, который пришел, по ее словам, утешить ее в горе; святой муж занял место финансиста, и мы заплатили ему за утешение той же монетой, что и первому. Она проигрывала меня еще несколько раз. Известно, что игорные долги единственные, какие уплачиваются в свете.

Когда Манилле везет в игре, это самая добропорядоч-

ная женщина в Кошо. Если не считать игры, ее поведение не выходит из должных рамок. Никто не слышит ее проклятий, она платит модистке, прислуге, одаряет прислужниц, выкупает из заклада тряпки и ласкает своего дога и мужа. Но она рискует тридцать раз в месяц хорошими наклонностями и деньгами, ставя их на пикового туза. Вот жизнь, какую она вела и какую будет вести. И бог знает, сколько раз еще я буду ставкой в ее игре.

Тут сокровище умолкло, и Мангогул пошел спать. Его разбудили в пять часов вечера, и он отправился в оперу, где обещал фаворитке встретиться с нею.

Глава тринадцатая

Шестая проба кольца. Опера в Банзе

Из всех театров Банзы на высоте был только оперный.

Утмиутсоля и Уремифасолясиутутут⁵, знаменитые музыканты, один из которых уже начал стареть, а другой только что родился, поочередно владели сценой. Каждый из этих двух оригинальных авторов имел своих приверженцев. Невезды и хрычи стояли за Утмиутсоля: молодежь и виртуозы — за Уремифасолясиутутута; люди же со вкусом, и молодые и старые, высоко ценили их обоих.

Уремифасолясиутутут, говорили последние, превосходен, когда он на высоте, но время от времени он засыпает. С кем же этого не случается? Утмиутсоля более выдержан, более ровен; у него много прелести. Но у него нет ничего такого, чего нельзя найти, и даже в более совершенной форме, у его соперника, у которого есть черты, только ему свойственные и какие можно встретить лишь в его трудах. Старый Утмиутсоля прост, естественен, однообразен, даже слишком иногда, — это его недостаток. Молодой Уремифасолясиутутут причудлив, блестящ, сложен, учен, даже слишком учен иногда, но это, быть может, надо поставить в вину его слушателям. У первого — только одна увертюра, действительно превосходная, но возглавляющая ка-

ждуя из его пьес; у второго — столько увертюр, сколько пьес. И все они слывят шедеврами. Природа вела Утмиутсоля путями мелодии. Изучение и опыт открыли Уремифасолясиутутуту источники гармонии. Кто так владел искусством декламации и будет владеть, как старые авторы? Кто, как не современные авторы, создает легкие арии, полные сладострастия, и оригинальные симфонии? Утмиутсоль один знает толк в партитурах. До Уремифасолясиутутуту никто не различал тонких оттенков, которые отделяют нежность от сладострастия, сладострастие от страсти, страсть от томности. Некоторые приверженцы его утверждали даже, что, если партитуры Утмиутсоля выше, чем у него, то это объясняется не столько неравенством талантов, сколько различием поэтических текстов, какими они пользовались.

— Прочтите, прочтите, — кричали они, — сцену из «Дардануса»⁶, и вы убедитесь, что если дать хороший текст либретто Уремифасолясиутутуту, он создаст не менее очаровательные сцены, чем в операх Утмиутсоля.

Что бы там ни было, в мое время весь город сбегался на оперы одного и задыхался от смеха на балетах другого.

В Банзе ставилось превосходное произведение Уремифасолясиутутуту, которое исполняли бы спустя рукава, если бы фаворитка не заинтересовалась им: периодическое нездоровье, которому подвержены сокровища, было на руку мелким сошкам, завистникам композитора, и вызвало отсутствие главной примадонны; у той, которая заменяла ее, голос был хуже, но так как она возмещала его недостатки игрой, ничто не мешало султану и фаворитке почтить спектакль своим присутствием.

Мирзоа уже пришла. Султан входит. Занавес поднят, спектакль начался. Все шло великолепно. Шевалье заставила забыть Мор⁷, и шел уже четвертый акт, когда во время пения хора, которое затянулось настолько долго, что фаворитка уже два раза зевнула, султану вздумалось направить кольцо на хористок. Никогда театр не видел более странной и комической картины. Тридцать девушек

сразу онемели; широко раскрыв рот, они сохраняли свои прежние театральные позы. В то же время их сокровища надрывали глотку, распевая, одно — простонародную песню, другое — шаловливую уличную песенку, третье — какие-то фривольные куплеты. Все эти сумасбродства соответствовали их характерам. С одной стороны слышалось: «Да, да, милая кума!», с другой: «Как, неужели двенадцать раз?..» Здесь: «Кто меня поцеловал? Ах, нахал!» Там: «Вам проход свободный дан, добрый дядя Киприан!..»

Голоса эти, становясь все громче, все нелепее и безумнее, образовали чудовищный хор, самый шумный и самый смешной, какой когда-либо слышали с тех пор, как... да... но... (рукопись оказалась в этом месте испорченной).

Между тем, оркестр продолжал играть свое, и хохот партера, амфитеатра и лож, присоединившись к его музыке и к лепью сокровищ, дополнял какофонию.

Некоторые из актрис, боясь, что их сокровища устанут напевать глупости и начнут их рассказывать, бросились за кулисы, но они отделались одним страхом. Мапгогул, убедившись, что публика не услышит уже ничего нового, повернул кольцо в обратную сторону. В то же мгновение сокровища смолкли, смех прекратился, спектакль вошел в рамки, пьеса продолжалась и благополучно дошла до конца. Занавес опустился; султан и султанша удалились, и сокровища актрис отправились туда, где их ожидали для новых занятий, — отнюдь не пеннем.

Это происшествие наделало много шума. Мужчины смеялись, женщины были встревожены, бонзы — скандализированы, у академиков голова шла кругом. Что же говорил об этом Оркотом? Оркотом торжествовал. Он предсказывал в одном из своих докладов, что сокровища непременно запоют. Они запели, и это явление, сбившее с толку его собратьев, было для него новым лучом истины и блестяще подтверждало его теорию.

Глава четырнадцатая

Опыты Оркотомы

15 числа, месяца... Оркотом делал в Академии доклад, в котором он высказывал свой взгляд на болтовню сокровищ. Так как он сообщал весьма уверенно о непогрешимых опытах, повторенных неоднократно, и каждый раз с тем же успехом, большинство слушателей было ошеломлено. Некоторое время публика сохраняла благоприятное впечатление о его докладе, и в течение целых полутора месяцев считали, что Оркотом сделал замечательные открытия.

Для полноты его триумфа нужно было только на заседании Академии повторить опыты, которыми он так гордился. Собрание, созванное по этому случаю, было блестящим. На нем присутствовали министры, и сам султан со благоволил явиться туда, оставаясь, однако, невидимым.

Мангогул был большим искусником в монологе, пустота болтовни его современников развила в нем привычку говорить с самим собой,— и вот как он рассуждал:

«Одно из двух — или Оркотом продувной шарлатан, или гений, мой покровитель, — набитый дурак. Если академик, который, конечно, не колдун, может заставить говорить мертвые сокровища, то гений, который мне покровительствует, сделал большую ошибку, заключив договор с дьяволом и продав ему душу, с тем, чтобы наделить душой сокровища, полные жизни».

Погруженный в размышления, Мангогул не заметил, как очутился среди академиков. Аудиторию Оркотомы, как мы видели, составляли все обитатели Банзы, сколько-нибудь сведущие в вопросах о сокровищах. Он мог бы вполне быть довольным своей аудиторией, если бы смог ее удовлетворить; но опыты его не имели ни малейшего успеха. Оркотом брал сокровище, приближал его ко рту, дул в него до потери дыхания, оставлял его и снова брался за него, потом начинал производить опыт над другим, ибо он принес сокровища всех возрастов, всех разме-

ров, всевозможных состояний и цветов; но тщетно он дул на них, слышались только печленораздельные звуки, совсем непохожие на те, какие он обещал.

Вокруг поднялся ропот, который на минуту смутил его, но он овладел собой и заявил, что такие опыты не проходят удачно перед столь большим количеством публики, и был прав.

Мангогул в негодовании встал, вышел и в ту же минуту очутился у своей любимой султанши.

— Ну что же, государь, — спросила она, как только увидела его, — кто прав — вы или Оркотом? Ведь его сокровища творили чудеса. В этом нет сомнения.

Султан прошелся несколько раз по комнате, не отвечая ей.

— Мне кажется, — сказала фаворитка, — ваше высокочество чем-то недовольны.

— Ах, мадам, — ответил султан, — дерзость этого Оркотама ни с чем не сравнима. Я не хочу слышать о нем. Что скажете вы, будущие поколения, когда узнаете, что великий Мангогул выдавал пенсию в пять тысяч экую таким людям, в то время как храбрые офицеры, которые орошали своей кровью лавры, увенчавшие его чело, не получали больше четырехсот ливров пенсии! Ах, чорт возьми, я прихожу в ярость! Я потерял расположение духа на целый месяц.

Тут Мангогул замолчал и продолжал шагать по апартаментам фаворитки. Он ходил с опущенной головой взад и вперед, останавливался и по временам топал ногой. На минуту он присел, но тотчас же вскочил, простился с Мирзой, забыл ее поцеловать и удалился в свои покои.

Африканский автор, обессмертивший себя историей возвышенных и чудесных деяний Эрgebзеда и Мангогула, продолжает в следующих выражениях:

Судя по плохому настроению Мангогула, все думали, что он изгонит всех ученых из своего царства. Отнюдь. На другой день он встал веселый, утром покатался на карусели с кольцами, вечером ужинал со своими фаворитами и с Мирзой в великолепном шатре, разби-

том в садах сераля, и казался ничуть не озабоченным государственными делами.

Умы, настроенные несимпатически, фрондеры Конго и поваторы Банзы, не преминули осудить его поведение. К чему только не придурится эти люди!

— И это называется, — говорили они на прогулках и в кафе, — управлять государством! Целый день не выпускает копыя из рук, а ночи проводит за столом.

— Ах, если бы я был султаном! — вскричал маленький сенатор, разоренный игрой, расставшийся с женой и давший своим детям прескверное воспитание. Если бы я был султаном, я гораздо лучше его привел бы Конго в цветущее состояние. Я хотел бы быть грозой моих врагов и любимцем подданных. Меньше, чем в полгода, я восстановил бы во всей силе полицию, законы, армию и флот. У меня было бы сто линейных кораблей; наши ланды превратились бы в плодородные поля, и дороги были бы исправлены. Я уничтожил бы пли, по крайней мере, уменьшил наполовину налоги. Что касается пенсий, господа остроумцы, даю слово, вы не получали бы и на понюшку табаку. Бравые офицеры, Понго Сабнам! — brave officers, старые солдаты, судьи, вроде нас, посвятившие труды и досуг на то, чтобы чинить правосудие — вот люди, которых я осыпал бы милостями!

— Разве вы не помните, господа, — прибавил тоном знатока старый беззубый политик с прилизанными волосами, в камзоле с протертыми локтями и в обтрепанных манжетах, — нашего великого императора Абдельмалека из абиссинской династии, который царствовал две тысячи триста восемьдесят пять лет тому назад? Разве вы не помните, как он велел посадить на кол двух астрономов за то, что они ошиблись на три минуты в предсказании солнечного затмения, и четвертовал своего хирурга и придворного врача, предписавшего ему некстати манную кашу?

— А затем, — продолжал другой, — спрашивается, на что нужны все эти праздные брамны, эти черви, жирующие от нашей крови? Разве несметные богатства,

в которых они утопают, не больше подошли бы таким честным людям, как мы?

С другой стороны слышалось:

— Разве имели понятие сорок лет тому назад о новой кухне и о лотарингских ликерах? Все окунулись в роскошь, которая возвещает близкую гибель империи, естественное последствие пренебрежения к пагодам и развращения нравов. В те времена, когда за столом великого Каноглу ели только одно мясо и пили только шербет, разве ценили модные фасоны, лаки Мартена и музыку Рамо? Оперные актрисы были так же несговорчивы, как и в наши дни, но их можно было получить за более сходную цену. Государь, как видите, вносит большую порчу во все. Ах, если бы я был султаном!

— Если бы ты был султаном, — с живостью отозвался старый вояка, который вышел живым из битвы при Фонтенуа и потерял руку, сражаясь рядом с государем в битве при Лоуфельте, — ты наделал бы глупостей больше, чем их наговорил. Эх, дружище, ты не умеешь придержать язык, а хочешь управлять империей! У тебя не хватает ума управлять собственной семьей, а между тем ты хочешь привести в порядок государство. Замолчи, несчастный! Уважай властителей земли и благодари богов за то, что ты родился в империи, в царствование государя, мудрость которого озаряет путь его министрам, храбрость которого восхищает солдат, который наводит трепет на врагов и возбуждает любовь подданных и которого можно упрекнуть лишь в терпимости, с какой он относится к тебе и к тебе подобным.

Глава пятнадцатая

Браминны

Когда ученые истощили все, что могли сказать о сокровищах, за них взялись браминны. Религия объявила болтовню сокровищ предметом своей компетенции, и пред-

ставители духовной власти утверждали, что в этом явлении ясно виден перст Брамь.

Было созвано всеобщее собрание жрецов, и было решено обязать всех, хорошо владеющих пером, доказать, что событие было сверхъестественным и, в ожидании впечатления, какое произведут их труды, подготовить его изложением тезисов, частными беседами, влиянием духовников и публичными речами. Но хотя все браминь единодушно признали, что событие было сверхъестественным, однако, поскольку в Конго веровали в два божественных начала и существовало нечто вроде магиейства, они разделились на две партии по вопросу: какому из двух начал они обязаны болтовней сокровищ.

Те, кто никогда не покидал своей кельи и не перелистывал других книг, кроме священных, приписывали чудо Брамь.

— Лишь он один, — говорили они, — может нарушить порядок природы, и время покажет, что во всем этом у него были свои глубочайшие цели.

Наоборот, те, которые посещали альковы и которых чаще встречали в подозрительных переулочках, чем в их кабинетах, боясь, что какие-нибудь нескромные сокровища изобличат их лицемерие, приписывали их болтовню Кадабре, злему божеству, заклятому врагу Брамь и его служителей.

Это вероучение подвергалось ожесточенным нападкам и не имело непосредственной целью улучшения прав. Сами ее защитники не обманывались на этот счет. Но нужно было замести следы: чтобы добиться этого, любой служитель религии сто раз пожертвовал бы идолами и алтарями.

Мангоул и Мирзоа пунктуально присутствовали в установленное время в пагоде на службах Брамь, и газеты извещали об этом по всей империи. Однажды они пришли в большую мечеть, где совершалось очередное торжественное служение. Браминь, на котором лежала обязанность изьяснять закон, поднялся на кафедру и

стал рассыпаться в пустых фразах, приветствуя султана и фаворитку и наводя на них скуку.

Он красноречиво разглагольствовал о способе ортодоксально держаться в обществе, подкрепляя необходимость этого бесчисленными авторитетами, и вдруг, охваченный священным энтузиазмом, разразился тирадой, которая произвела тем большее впечатление, что ее никто не ожидал.

— Что слышу я во всех кругах общества? Смутный ропот, молва о неслыханных происшествиях поразила мой слух. Все извращено, и способность речи, которой милосердный Брама до сих пор наделял язык, — как знамение его гнева, — дана другим органам. И каким органам? Вы знаете их, господа. Нужны ли еще чудеса, чтобы пробудить тебя от усыпления, неблагодарный народ? И не достаточно ли было свидетелей грехов твоих? Нужно было еще, чтобы главные орудия их подали голос. Без сомнения, мера их беззаконий переполнена, ибо гнев небесный наслал на нас новые наказания. Напрасно ты прятался в темноте, напрасно избирал ты немых соучастников; слышишь ты их ныне? Со всех сторон раздаются их голоса, обличающие твое нечестие перед лицом вселенной. О ты, мудро управляющий нами Брама, справедлив суд твой. Закон твой карает вора, клятвопреступника, лжеца и прелюбодея. Он осуждает и низость клеветников, и проiski честолюбцев, и ярость ненавистников, и козни обманщиков. Верные твои служители не перестают возвещать эти истины чадам твоим и грозить им наказанием, какое ты уготовал в праведном гневе твоём нарушителям закона. Но тщетно! Безумцы предались неистовству страстей; они понеслись по течению. Они презрели наши предостережения, они посмеялись над нашими угрозами, они сочли за ничто наши проклятия. И пороки их возросли, укрепились и умножились, голос их нечестия достиг до тебя, и мы не могли предвидеть ужасного бича, каким ты покарал их. После того как мы долго молили тебя о милосердии, будем теперь прославлять твою справедливость. Под твоими ударами они несомненно вернутся

к тебе и познают руку, которая легла на них своей тяжестью. Но, — о неслыханное ожесточение! О верх ослепленности! Они приписали силу твоего могущества слепому механизму природы. Они сказали в сердце своем: «Нет Браммы. Не все свойства материи нам известны. И новое доказательство бытия божества — лишь доказательство невежества и легковерия тех, которые его нам противопоставляют». На этом основании они возвели целые системы, придумали гипотезы, производили опыты. Но с высоты своего вечного чертога Брама смеялся над их бесплодными измышлениями. Он посрамил дерзостную науку, и сокровища разбились, как стекло, преграду, которая сдерживала их болтливость. Пусть признают, наконец, эти горделивые черви слабость своего разума и тщету своих усилий! Пусть перестанут отрицать бытие Браммы или ставить пределы его всемогуществу! Брама существует, и он всемогущ, и он так же ясно явлен нам в своих ужасных карах, как и в своих несказанных милостях. Но кто же навлек кару на эту несчастную страну? Не твои ли злые деяния, мужчина алчный и безбожный? Не твое ли порочное кокетство и безумные любовные утехы, светская женщина, лишенная стыда? Не твое ли бесстыдное распутство, сладострастный нечестивец? Не твое ли бессердечие к монахам, скряга? Не твой ли неправый суд, продажный, пристрастный судья? Не твое ли лихоимство, непасытный торговец? Не твоя ли распущенность и безверие, изнеженный нечестивый придворный?

И вы, на ком в особенности тяготеет эта кара, женщины и девушки, впавшие в распутство! Если бы даже, изменив долгу, палагаемому нашим законом, мы сохранили молчание о вашем распутстве, при вас всегда находится голос еще более настойчивый, чем наш. Он следует за вами повсюду и везде будет укорять вас за ваши нечистые желания, за ваши двусмысленные привязанности, за ваши преступные связи, за чрезмерные заботы о том, чтобы правиться, за ухищрения, на какие вы пускаетесь, чтобы привлечь поклонников, за ловкость, с какой их удерживаете, за чрезмерность ваших стра-

стей и за ярость вашей ревности. Чего же вы еще ждете? Почему не сбросите иго Кадабры и не вернетесь под кроткую власть законов Браммы? Но возвратимся к нашей теме. Я говорил уже, что светские люди держат себя как еретики по девяти причинам: первая... и т. д.

Эта речь произвела различное впечатление. Мангогул и султанша, которые одни знали секрет перстия, нашли, что брамин так же удачно объяснил болтовню сокровищ с помощью религии, как Оркотом с помощью науки. Женщины и придворные петиметры говорили, что проповедь соблазнительна и что проповедник — юродивый. Остальная часть аудитории смотрела на него как на пророка, проливая слезы, прибегала к молитвам и слегка даже к бичеваниям, но ничего не изменила в своей жизни.

Слух об этом докатился до всех кафе. Один из остроумцев решил, что брамин лишь поверхностно коснулся вопроса, и что его выступление было холодной и скучной декламацией. Но, по мнению ханжей и кликуш, это была самая красноречивая и внушительная проповедь из всех, какие были произнесены в храме за целое столетие. По-моему же, остроумец и ханжи одинаково были правы.

Глава шестнадцатая

Видение Мангогула

В то время как все были заняты болтовней сокровищ, в государстве возникли новые волнения. Они были вызваны употреблением «пенума», т. е. маленького кусочка сукна, который накладывали на умирающих. Старинный ритуал требовал, чтобы его клали на рот. Реформаторы утверждали, что его следует накладывать на зад. Страсти разгорелись. Дело готово было дойти до драки, когда султан, к которому зывали обе партии, разрешил в своем присутствии диспут между самыми учеными из их главварей. Вопрос подвергся тщательному обсуждению. Ссылались на традицию, на священные книги и на комментарии к ним. И у той и у другой стороны имелись веские

доводы и крупные авторитеты. Мангогул, не зная, к чему склониться, отложил решение вопроса на неделю. По истечении этого срока сектанты и их противники вновь появились перед султаном.

Султан

Жрецы и священники, — обратился он к ним, — садитесь. Проникнутые сознанием всей важности пункта из учения, вызвавшего между вами разногласия, мы после диспута, происходившего у подножия нашего трона, не переставали взывать к небесам о ниспослании нам озарения. Прошлую ночь, в час, когда Брама открывает свою волю своим любимцам, мы имели видение. Мнилось, мы слышали беседу двух важных лиц, из которых одно считало, что у него посреди лица два носа, а другое, что у него две дыры на затылке. Вот что они говорили. Первым высказалось лицо с двумя носами:

«То и дело ощупывать себе зад рукой — вот смешной тик»...

«Правда».

«Не можете ли вы от него избавиться?»

«С меньшим трудом, чем вы от двух носов»...

«Но мои два носа вполне реальны. Я вижу их, я их ощупываю. И чем больше я рассматриваю и трогаю, тем больше убеждаюсь в их реальности... А вот вы уже десять лет, как ощупываете себя и всякий раз обнаруживаете, что зад у вас такой же, как и у всех. И вам уже давно следовало бы излечиться от вашей мании»...

«Моей мании? Нет, двуносый человек, безумец — это вы».

«Довольно споров! Оставим это. Я уже сказал вам, каким образом у меня появился второй нос. Расскажите и вы мне историю вашего второго отверстия, если только помните»...

«Еще бы мне не помнить! Такие вещи не забываются. Это было тридцать первого числа, между часом и двумя ночами».

«Ну, и что же?»

«Постойте... Простите... Я боюсь, что... Нет, нет... Как ни мало я знаю арифметику, но, кажется, правильно вычислил».

«Это очень странно. Итак, в эту ночь?»

«В эту ночь я услышал знакомый мне голос, кричавший: «Помогите! Помогите!» Я осмотрелся и увидел молодое создание, перепуганное и растрепанное, которое бежало ко мне со всех ног. Его преследовал угрюмый, свирепый старик. Судя по его одежде и по инструменту, которым он был вооружен, это был столяр. На нем была рубаха и короткие штаны. Рукава рубахи были засучены до локтей, руки жилисты, лицо смугло, лоб покрыт морщинами; щеки одутловатые, на подбородке растительность, глаза сверкающие, грудь волосатая; на голове — остроконечный колпак».

«Представляю себе его».

«Женщина, которую он уже достигал, продолжала кричать: «Помогите! Помогите!», а преследовавший ее столяр твердил: «Не удерешь! Я тебя поймал! Теперь уже не скажут, что у одной тебя его нет. Клянусь всеми дьяволами, ты тоже его получишь!» В этот момент несчастная оступилась и упала ничком, все еще крича: «Помогите! Помогите!», а столяр прибавил: «Ори, ори, сколько хочешь, но у тебя оно будет все равно, маленькое или большое,— уж за это я ручаюсь!» Тотчас же он задирает ей юбку и обнажает зад.

Этот зад, белый как снег, жирный, упругий, круглый, пухлый, толстый, как две капли воды походил на зад жены верховного жреца».

Жрец

Моей жены?

Султан

А почему бы и нет?

Человек с двумя дырами прибавил: «Это была, в самом деле, она, я узнал ее. Старый столяр поставил ногу ей на крестец, наклонился, провел руками по ее бедрам до самого места расхождения ног, пригнул ей колени

к животу и приподнял ей зад, так, что я вдоволь мог его разглядеть; созерцание доставляло мне удовольствие, хотя из-под юбок раздавался голос, кричавший: «Помогите! Помогите!» Вы подумаете, вероятно, что я жестокий, безжалостный человек, но я не хочу казаться лучше, чем я есть, и признаюсь, к моему стыду, что в эту минуту испытывал больше любопытства, чем сострадания, смотрел во все глаза и не думал ей помогать».

Великий жрец снова прервал султана:

— Государь, уже не я ли — один из собеседников?

— А почему бы и нет?

— Человек с двумя носами?

— Почему бы и нет?

— А я, — прибавил глава новаторов, — человек с двумя дырами?

— Почему же нет?

«Мерзавец столяр взял свой инструмент, который он перед тем положил на землю. Это был коловорот. Он взял перку в рот, чтобы ее увлажнить, затем уперся рукояткой себе в живот, и, наклонившись над несчастной, все еще кричавшей: «Помогите! Помогите!», собирався проделать ей отверстие там, где их должно быть два и где у нее было только одно».

Жрец

Это не моя жена.

Султан

«Внезапно столяр прервал свою операцию и, словно одумавшись, сказал: «Каких дел я чуть было не натворил! Но она сама виновата. Почему не согласиться добровольно? Сударыня, минуточку терпения». Он положил на землю коловорот и вытащил из кармана бледно-розовую ленту. Большим пальцем левой руки он приложил ее к копчику дамы и, сделав из ленты желобок, ребром другой руки уложил между ягодницами, доведя до низа живота. Дама продолжала кричать: «Помогите! Помогите!», барахталась, отбивалась, вертелась во все сто-

роны, пытаюсь сбросить ленту и расстроить приготовления столяра. А он говорил: «Сударыня, погодите кричать. Ведь я вам еще не причиняю боли. Невозможно действовать осторожнее моего. Если вы будете тормозиться, получится чорт знает что, и вся вина ляжет на вас. Все должно быть на своем месте. Надо соблюдать известные пропорции. Это важнее, чем вы думаете. Еще минута, и уже ничего нельзя будет поделывать; вы сами будете в отчаянии».

Жрец

И вы все это слышали, государь?

Султан

Да, как слышу вас.

Жрец

А что же женщина?

Султан

«Мне показалось, — прибавил говоривший, — что ему почти удалось ее уломать; судя по расстоянию между ее пятками, я думал, что она уже решается на операцию. Не знаю, что она говорила столяру, но вот что он ей отвечал: «Как, только из-за этого? Ах, как трудно уговорить женщину!» Закончив свои приготовления, мастер Анофор разостлал бледнорозовую ленточку на линейке и, взяв карандаш, спросил даму: «Какое вы хотите?»

«Я вас не понимаю».

«В античных пропорциях или в современных?»

Жрец

О глубина небесных велений! Это было бы безумием, если бы не было откровением. Да покорится наш разум и да преклонимся благоговейно.

Султан

«Не помню, что ответила дама, но столяр возразил ей: «Честное слово, она порет чушь. Это будет ни на что не похоже. Скажут: «что за осел прудырявил ей зад?»

Дама

«Довольно болтать, метр Анофор. Делайте, что я вам говорю»...

Анофор

«Делайте, что я вам говорю. Но каждому человеку дорога честь, мадам».

Дама

«Я этого хочу, говорю вам. Хочу, хочу»...

Столяр хохотал во всю глотку, а я, как вы думаете, сохранял ли я серьезность? Между тем Анофор начертил на ленте какие-то линии, поместил ее там, где прежде, и воскликнул: «Мадам, это невозможно, это противоречит здравому смыслу. Всякий, кто увидит ваш зад, если только он понимает в этом деле, станет насмехаться над вами и надо мной. Всем известно, что между этим и тем должен быть известный промежуток, но он никогда не бывает так велик. Что слишком, то слишком. И вы все-таки этого хотите»...

Дама

«Ну, да, хочу, и давайте кончать»...

В тот же миг метр Анофор берет карандаш, наносит на ягодницы дамы линии, соответствующие тем, что он начертил на ленте. Он чертит квадрат, пожимая плечами и бормоча себе под нос: «Что за дурацкий вид это будет иметь. Но такова ее фантазия». И вооружившись снова коловоротом, он спросил: «Итак, сударыня хочет, чтобы оно было там?»

«Да, там. Делайте же»...

«Послушайте, сударыня».

«Что еще?»

«В чем дело? Дело в том, что это невозможно».

«Почему же?» — «Да потому, что вы дрожите и сжимаете ягодницы. Я упустил из глаз чертеж и сделаю отверстие чересчур высоко или чересчур низко. Мужайтесь, сударыня!»

«Вам легко говорить. Покажите мне вашу церку... Господи помилуй!»

«Клянусь вам, что это самая маленькая в моей мастерской. Пока мы с вами разговариваем, я успел бы уже проделать полдюжины отверстий. Раздвиньте же ноги, сударыня. Хорошо. Еще немножко, еще немножко. Великолленно. Еще, еще!» И вот я увидел, как коварный столяр тихоюшко приблизил к ней свой коловорот. Он уже собирался.., когда внезапно мной овладела ярость, смешанная с жалостью. Я рванулся вперед, хотел придти на помощь пациентке, но почувствовал, как чьи-то могучие руки связали меня по рукам и по ногам, и, не в силах пошевелиться, я крикнул столяру: «Разбойник, злодей, стой!» Мой крик сопровождался таким отчаянным усилием, что связывавшие меня узы порвались. Я бросился на столяра и схватил его за горло. «Кто ты, — спросил он меня, — чего тебе надо? Разве ты не видишь, что у нее нет отверстия в заду? Узнай же: я великий Анофор, я делаю отверстия тем, у кого их нет. Я должен сделать ей отверстие, такова воля пославшего меня. За мною придет другой, могущественнее меня. У него не будет коловорота. У него будет долото, и он восстановит то, чего ей недостает. Изыди, оглашенный. Или, клянусь моим коловоротом или долотом моего премника, я тебе»...

«Что — мне?»

«Тебе, да, тебе!..» — В этот момент он левой рукой с шумом потряс в воздухе своим инструментом.

Тут человек с двумя отверстиями, которого вы до сих пор слушали, сказал человеку о двух носах:

«Что с вами? Вы удаляетесь».

«Я боюсь, как бы вы, жестикулируя, не сломали один из моих носов. Продолжайте».

«Не помню, на чем я остановился».

«Вы упомянули об инструменте, которым столяр производил шум в воздухе»...

«Он ударил меня наотмашь правой рукой по плечу, и с такой силой, что я упал ничком. Вот моя рубашка

задрана, обнажен зад, и ужасный Анофор угрожает мне острием своего инструмента и говорит: «Проси пощады, бездельник. Проси пощады, или я тебе сделаю второе»...

Тотчас же я ощутил холод от прикосновения перки коловороты. Меня охватил ужас, и я проснулся. С тех пор я считаю, что у меня две дыры в заду».

— Тут оба собеседника,— прибавил султан,— пришьлись насмехаться друг над другом.

«Ха, ха, ха. У него две дыры в заду!»

«Ха, ха, ха. Это футляры для твоих двух носов!»

Затем, важно повернувшись к собранию, султан прибавил:

— И вы, жрецы, и вы, служители алтарей, вы тоже смеетесь. А между тем, как часто считают люди, что у них два носа на лице, и смеются над теми, которые утверждают, что у них две дыры в заду.

Он помолчал с минуту, лицо у него посветлело, и, обращаясь к главарям секты, он спросил, что они думают о его видении.

— Клянемся Брамой,— отвечали они,— таких глубоких истин небо не открывало еще ни одному из пророков.

— Поняли ли вы что-нибудь?

— Нет, государь.

— Что вы скажете об этих собеседниках?

— Что они безумцы.

— А что, если бы им пришла фантазия сделаться вождями партии и если бы секта, признающая две дыры в заду, стала преследовать секту, признающую два носа?

Жрецы и священники опустили глаза, а Мангогул продолжал:

— Я хочу, чтобы мои подданные жили и умирали, как им заблагорассудится. Я хочу, чтобы пенум клали или на уста, или на зад, смотря по их желанию, и чтобы меня больше не беспокоили такой ерундой.

Жрецы удалились, и на соборе, собравшемся несколько месяцев спустя, было объявлено, что видение Мангогула будет включено в состав канонических книг, к украшению которых оно и послужило.

Глава семнадцатая

Намордники

В то время как брамины вещали от лица Браммы, устраивали шествия с идолами и призывали народ к покаянию, многие в Банзе стали придумывать, какие бы извлечь выгоды из болтовни сокровищ. Большие города кишат людьми, которых нищета делает изобретательными. Они не воруют, не мошенничают, но являются по отношению к мелким ворах тем же, чем те к заправским мошенникам. Они знают все, умеют все, разрушают все. Они шмыгают взад и вперед, всюду умеют прокрасться. Их можно встретить в городе, в суде, в церкви, в театре, у куртизанок, в кафе, на балу, в опере, в академиях. Они будут всем, чем вы захотите. Если вы хлопотаете о пенсии, у них есть ход к министру; если вы ведете тяжбу, они будут хлопотать за вас; любите играть — они станут вашими банкометами; любите хороший стол — они станут вашими поставщиками; любите женщин — они проведут вас к Амине или Акарисе. У какой из этих двух вы предпочтете купить болезнь? Выбирайте. Когда вы ее схватите, они озаботятся о вашем выздоровлении. Их главное занятие — подстерегать смешные стороны у обывателей и пользоваться их глупостью. По их наущению раздают на углах улиц, у дверей храмов, у входа в театр бумажки, которые бесплатно освещают вас, что некто, живущий в Лувре, в Сен-Жан, в Тампле или в аббатстве под такой-то вывеской, на таком-то этаже, дурачит людей у себя дома от девяти часов утра до полудня, а остальное время дня — в городе.

Как только сокровища заговорили, один из этих пройдох наполнил все дома Банзы маленькими печатными листками следующего вида и содержащия.

Заглавие, напечатанное крупными буквами, глаголю:

К СВЕДЕНИЮ ДАМ

Внизу мелким шрифтом стояло:

*С разрешения монсеньера великого
сеншала и с одобрения гг. членов
Королевской академии наук.*

А дальше следовало:

«Господин Эолипилъ, член Королевской академии Банзы, королевского общества Моноэмуги, Императорской академии Биафары, Общества любителей Лоанго, общества Камюра в Мономотапе, института Эреко и королевских академий Белеганцы и Анголы, который в течение нескольких лет читает лекции по эрундистике и стяжавший одобрение двора, города и провинций, изобрел для удобства прекрасного пола намордники или портативные кляпы, которые лишают сокровища возможности говорить, не стесняя их естественных функций. Они чисты и удобны; имеются — всех размеров, на все возрасты, на все цены. Он имел уже честь снабдить ими особ, занимающих высокое положение».

Самое главное — принадлежать к какой-нибудь корпорации; как бы ни было нелепо изобретение, его расхвалят, и оно будет иметь успех.

Так случилось и с выдумкой Эолипиля. К нему ринулись целые толпы. Легкомысленные женщины приезжали в собственных экипажах; благоразумные воспользовались фиакрами; ханжи послали своего духовника или лакея; среди этих лиц видели даже монастырских привратниц. Всем хотелось иметь намордник. От герцогини до буржуазки не осталось ни одной женщины, которая не приобрела бы его, следуя моде или по серьезным основаниям.

Брамнины, объявившие болтливость сокровищ наказанием свыше и ожидавшие от этого исправления нравов и всяких благ для себя, не могли без содрогания смотреть на орудие, которое отвращало небесную кару и обманывало их надежды.

Не успели они сойти с кафедр, как снова взобрались

на них, разразились молниями и громами, заставили вещать оракулов и провозгласили намордник адским изобретением, прибавив, что нет спасения той, которая к нему прибегнет.

— Светские женщины, бросьте ваши намордники, — вопияли они, — покоритесь воле Браммы! Предоставьте голосу ваших сокровищ быть голосом вашей совести и не стыдитесь сознаться в проступках, которые совершали без стыда.

Но тщетно вопили они: намордники продолжали существовать, как и платья без рукавов и стеганные шубы. На этот раз брамины понапрасну простуживались в церквах. Все покупали кляпы и расставались с ними только тогда, когда убеждались в их бесполезности или когда они надоедали им.

Глава восемнадцатая

Путешественники

Таково было положение дел, когда после долгого отсутствия, сопровождавшегося значительными издержками и неслыханными трудами, появились при дворе путешественники, которых Мангогул посылал в отдаленные страны стяжать мудрость. Он держал в руках их дневник и на каждой строчке разражался хохотом.

— Что это вы читаете такое забавное? — спросила Мирзоа.

— Если это, — отвечал он, — такие же вральи, как другие, то, по крайней мере, они забавнее других. Присядьте на эту софу, я хочу угостить вас рассказом о таком употреблении термометров, о каком вы не имеете понятия.

«Я обещал вам вчера, — сказал мне Сиклофил, — занимательное зрелище»...

Мирзоа

Кто этот Сиклофил?

Мангогул

Это житель острова.

Мирзоа

Какого острова?

Мангогул

Не все ли равно?

Мирзоа

Но к кому он обращается?

Мангогул

К одному из моих путешественников.

Мирзоа

Значит, ваши путешественники вернулись?

Мангогул

Конечно. А вы этого не знали?

Мирзоа

Не знала.

Мангогул

Давайте договоримся, моя королева: иногда вы корчите из себя невинность. Я разрешаю вам уйти, как только мое чтение смутит вашу стыдливость.

Мирзоа

А если я уйду сейчас?

Мангогул

Как вам угодно.

Я не знаю, осталась ли Мирзоа или ушла. Но Мангогул, возвращаясь к речи Сиклофила, прочел следующее:

«Говоря о занимательном зрелище, я имел в виду наши храмы и то, что в них происходит. Продолжение рода — предмет, на котором политика и религия у нас сосредоточивают свое внимание; и способ, каким это у нас делается, достоин вашего внимания. У нас также есть

рогоносцы. Не так ли называются и на вашем языке те, чьи жены позволяют другим мужчинам ласкать себя? Итак, у нас имеются рогоносцы, их столько же и даже больше, чем в других странах, хотя мы принимаем бесконечные предосторожности, чтобы супруги хорошо подходили друг к другу.

— Значит, вам известен секрет, — сказал я, — какого мы не знаем или каким мы пренебрегаем, а именно хорошо подбирать супругов?

— Не совсем так, — возразил Сиклофил. — Наши островитяне созданы для счастливых браков, если неукоснительно следуют установленным законам.

— Я не совсем понимаю вас, — заметил я, — потому что в нашем мире ничто так не согласуется с законами, как браки; а между тем, они часто бывают неразумны и несчастливы.

— Хорошо, — прервал Сиклофил, — я сейчас поясню. Но как! Вы живете среди нас больше двух недель и не знаете еще, что сокровища мужское и женское у нас бывают разнообразного вида? На что употребили вы свое время? Эти сокровища от начала века были предназначены действовать совместно. Женское сокровище в форме гайки предназначено мужскому — в форме винта. Вы меня понимаете?

— Понимаю, — ответил я, — это соответствие форм может до известной степени играть роль. Но я не считаю его достаточным для соблюдения брачной верности.

— Чего же вы хотели бы еще?

— Я хотел бы, чтобы в стране, где управляют по законам геометрии, было обращено внимание на соответствие температуры у брачующихся. Неужели вы хотите, чтобы брюнетка восемнадцати лет, живая как бесенок, крепко держалась за шестидесятилетнего, холодного как лед, старика? Это невозможно, хотя бы у этого старика сокровище было в форме бесконечного винта...

— Вы не лишены проникательности, — сказал Сиклофил. — Знайте же, что мы это предвидели...

— Каким образом?

— Благодаря долгим и хорошо проверенным наблюдениям над рогоносцами.

— И к чему привели вас эти наблюдения?

— К определению необходимого соотношения температур у супругов.

— А когда оно было установлено, что было дальше?

— Дальше — приготовили термометры для женщин и для мужчин. Формы их различны. Женский термометр похож по виду на мужское сокровище около восьми дюймов длины и полутора дюйма в диаметре. А мужской термометр в главной своей части напоминает полый сосуд таких же размеров. Вот они, — сказал он, вводя меня в храм, — эти искусно придуманные аппараты, действие которых вы сейчас увидите, так как стечение народа и присутствие жрецов возвещают, что настал момент священных испытаний.

Мы с трудом пробрались сквозь толпу и вошли в святилище, где вместо алтарей стояли два ложа, покрытых шелковой узорчатой тканью и ничем не завешенных. Жрецы и жрицы стояли в молчании, держа термометры, вверенные им, как священный огонь весталке. Под звуки гобоев и волынок приблизились две четы любящих в сопровождении родителей. Они были обнажены, и я увидел, что сокровище одной из девушек было круглой формы, а у ее жениха — цилиндрической.

— В этом нет ничего необыкновенного, — сказал я Сиклофилу.

— Посмотрите на двух других, — ответил он мне.

Я перенес на них взгляд. Сокровище молодого человека имело форму параллелепипеда, а у девушки — квадрата.

— Будьте внимательны к священнодействию, — прибавил Сиклофил.

Затем двое жрецов положили одну из девушек на алтарь; третий приладил к ней сакральный термометр; верховный жрец внимательно наблюдал, до какого градуса поднимется жидкость в течение шести минут. В то же время молодой человек был положен на другую постель

двумя жрицами. А третья приспособила к нему термометр. Верховный жрец, заметив, что термометры у обоих поднялись в одно и то же время, объявил брак прочным и отослал супругов соединиться в родительский дом. Женское четырехугольное сокровище и мужской параллелепипед были испытаны с меньшей строгостью и точностью. Но верховный жрец, внимательно следивший за поднятием температуры, заметил, что она у юноши на несколько градусов меньше, чем у девушки: этим нарушалась установленная норма, потому что законом были указаны известные пределы. Он поднялся на кафедру и объявил, что испытываемые негодны к супружескому акту. Брачный союз им воспрещен светскими и церковными законами, карающими кровосмешение. Кровосмешение на этом острове не считается пустячной вещью. Настоящий грех против природы — сближение сокровищ разного пола, фигуры которых не могут быть вписаны одна в другую или описаны одна около другой.

Предстояла еще одна свадьба. Это была девушка, сокровище которой оканчивалось равноугольной фигурой с нечетным числом сторон, и молодой человек с пирамидальным сокровищем, так что основание пирамиды могло быть вписано в многоугольник девицы. Им были поставлены термометры, и после того как несоответствие температур было признано незначительным, верховный жрец объявил случай имеющим право на льготу и разрешил брак. Так же он поступил, когда дело шло о женском сокровище с нечетным числом сторон, которого домогалось мужское — призматической формы, причем температура оказалась почти одинаковой.

При самом малом знании геометрии легко понять, что на этом острове достигли высокого совершенства в измерении поверхностей и объемов, и все, что известно о фигурах различных типов, применялось там весьма тщательно, в то время как у нас все эти открытия еще ждут своего приложения. Девушки и юноши с круглыми и цилиндрическими сокровищами считаются счастливо рожденными, потому что из всех фигур круг заключает

в себе наибольшее пространство при той же длине замыкающей линии.

Между тем жрецы продолжали совершать обряды. Глава их вызвал меня из толпы, сделав мне знак приблизиться. Я повиновался.

— О чужеземец! — обратился он ко мне. — Ты был свидетелем наших священных мистерий. И ты видишь, какую тесную связь имеет у нас религия с общественным благом. Если бы твое пребывание здесь продлилось, ты, без сомнения, познакомился бы с более редкими и своеобразными случаями. Но, может быть, неотложные обстоятельства призывают тебя в твоё отечество. Посздай и поведай о нашей мудрости твоим согражданам.

Я сделал глубокий поклон, а он продолжал в таких выражениях:

— Если случится, что сакральный термометр будет таких размеров, что не подойдет для молодой девушки (редкий случай, хотя за двенадцать лет их было пять), тогда один из моих сослуживцев приготовляет ее к таинству, и в это время весь народ молится. Ты должен угадать без моего объяснения те качества, какие необходимы для вступления в сан жреца и на основании чего совершается посвящение.

Чаще случается, что термометр не подходит для юноши, потому что его нерадивое сокровище не поддается испытанию. Тогда все взрослые девушки острова могут приблизиться для воскрешения мертвеца. Это называется говеть. Девушку, которая проявляет при этом усердие, считают благочестивой, и она подает остальным пример. Понстине, о чужеземец, — продолжал он, пристально глядя на меня, — все на свете условно — мнения так же, как и предрассудки. Преступлением называете вы то, что у нас считается поступком, приятным для божества. У нас считалась бы достойной порицания девушка, которая достигла бы тринадцати лет, не приблизившись к алтарям, и ее родители осыпали бы ее за это сильными и справедливыми упреками.

Если перезрелая или плохо сложенная девушка под-

вергает себя испытанию термометром и жидкость в нем не подымается, она может идти в монастырь. Но в нашей стране случается так же часто, как и в других странах, что девушки потом раскаиваются, и, если бы их вновь привели к термометру, жидкость в нем поднялась бы так же скоро и так же высоко, как при испытании любой женщины. А потому некоторые даже умирали от отчаяния. На этой почве возникали тысячи злоупотреблений и скандалов, о которых я не упоминаю. Чтобы прославить свой понтификат, я опубликовал норму, где определяется время, возраст и количество раз, какое девушка может быть термометризирована, прежде чем произнести обет, и где указаны кануны и дни, благоприятные для произнесения обетов. Я встречаю много женщин, которые благодарят меня за мудрость моих постановлений и чьи сокровища вследствие этого принесены мне в жертву; но эти незначительные права я предоставляю своему духовенству.

Девушка, которая заставляет жидкость термометра подниматься на такую высоту и с такой быстротой, какая недоступна ни одному мужчине, признается куртизанкой,—положение весьма почтенное и очень на нашем острове чтимое. Нужно тебе знать, что у каждого из наших сановников есть своя куртизанка, как и у каждой знатной женщины—свой геометр. Обе эти моды одинаково благоразумны, хотя последняя начала уже проходить. Если молодой человек, потасканный, слабый от рождения или испорченный колдовством, оставляет жидкость термометра недвижимой, он осуждается на безбрачие. Напротив, если жидкость подымается до такой высоты, какая недоступна ни одной женщине, он принужден стать монахом, вроде кармелита или францисканца. Они служат прибежищем некоторых богатых лицемеров, которых не могут удовлетворить услуги мирян.

О, как много,—воскликнул он, поднимая глаза и руки к небу,—утратила церковь из своего прежнего великолепия!

Он хотел продолжать, но священник, завсвдующий подавниями, прервал его:

— Монсеньер, ваше великожречество не замечает, что служба кончена и что ваше красноречие остудит обед, на который вы приглашены.

Прелат остановился, дал мне поцеловать свой перстень; мы вышли из храма вместе с остатком народа, и Сиклофил, развивая ту же тему, сказал мне:

— Великий жрец не все вам открыл, он не упомянул ни о замечательных случаях, происшедших в нашей стране, ни о занятиях ученых женщин. Однако эти вещи достойны вашего любопытства.

— Повидимому, вы можете удовлетворить его, — отвечал я. — Ну, какие же это случаи и какие занятия? Касаются они также браков и сокровищ?

— Вот уже тридцать пять лет, — отвечал он, — как на острове замечается недостаток мужских цилиндрических сокровищ. Все женские сокровища круглого типа стали жаловаться на это и подали в государственный совет докладные записки и прошения, в которых излагали свои нужды. Совет, всегда руководящийся высшими соображениями, не отвечал в течение месяца. Вопли сокровищ стали подобны тем, какими голодный народ требует хлеба. Сенаторы назначили, наконец, депутатов для того, чтобы расследовать дело и доложить о нем собранию. Это длилось еще целый месяц. Вопли удвоились. И близок уже был открытый бунт, когда в Академию явился один ювелир, человек очень искусный. Были произведены опыты, увенчавшиеся успехом, и после отзыва членов комиссии, с разрешения начальника полиции, ювелир был снабжен грамотой, дающей ему привилегию в течение двадцати лет обслуживать сокровища круглого типа.

Следующий случай заключался в недостатке женских сокровищ многоугольного типа. Были приглашены все художники для устранения этого бедствия. Были объявлены премии. Было изобретено множество аппаратов, некоторые из которых удостоились наград.

— Вы видели, — прибавил Сиклофил, — что сокровища

наших женщин бывают различной формы. Но они сохраняют неизменной ту форму, которую получили при рождении. Так ли обстоит дело у вас?

— Нет, — отвечал я, — женское сокровище, европейское, азиатское или африканское, имеет форму, изменяющуюся до бесконечности — *cujus libet figurae sарax, nullius tenax* *.

— Значит, объяснение, какое дали наши физики явлению этого рода, правильно, — сказал он, — двадцать лет тому назад появилась на острове одна молодая брюнетка, очень любезного нрава. Никто не понимал ее языка; но когда она изучила наш, она ни за что не хотела открыть, где ее отечество. Между тем, ее грация и привлекательные свойства ума очаровали многих из нашей знатной молодежи. Некоторые из богачей предлагали ей вступить с ними в брак. Она остановила свой выбор на сенаторе Колибри. В назначенный день, следуя обычаю, их повели в храм. Прекрасная чужеземка, расprostертая на алтаре, представила глазам изумленных зрителей сокровище, не имевшее никакой определенной формы; в термометре, ей поставленном, жидкость поднялась сразу на сто девяносто градусов. Верховный жрец тут же объявил, что ее сокровище ставит обладательницу его в разряд куртизанок, и влюбленному Колибри было отказано в женитьбе на ней. Не имея возможности обладать ею, как женой, он взял ее в любовницы. Однажды, когда она почувствовала себя вполне удовлетворенной, она призналась ему, что родилась в столице вашей империи. Это очень возвысило наше мнение о ваших женщинах».

На этом месте рассказа вошла Мирзоа.

— Ваша стыдливость, всегда неуместная, — сказал Мангогул, — лишила вас очаровательного рассказа. Я хотел бы, чтобы вы мне сказали, к чему это лицемерие, свойственное вам всем — и добродетельницам и распутницам. Смущают ли вас известного рода факты? Нет, так

* Может принимать любую форму, но не сохраняет ни одной.

как вы с ними хорошо знакомы. Или здесь дело в словах? По правде сказать, это уж совсем непонятно. Если смешно краснеть от поступка, не бесконечно ли смешнее краснеть от слов, его обозначающих? Я без ума от островитян, о которых идет речь в этом драгоценном дневнике. Они все называют своими именами, язык их прост, и понятия о честном и бесчестном гораздо определеннее.

М и р з о з а

Женщины там ходят одетые?

М а н г о г у л

Конечно. Но не из приличия, а из кокетства. Они прикрываются для того, чтобы возбуждать любопытство и желание.

М и р з о з а

И это, по-вашему, вполне соответствует хорошим нравам?

М а н г о г у л

Несомненно.

М и р з о з а

А я сомневаюсь.

М а н г о г у л

О, вы всегда во всем сомневаетесь!

Беседаю таким образом, он небрежно перелистывал дневник:

— Есть тут обычай в высшей степени странный,— говорил он.— Смотрите, вот глава о наружности туземцев. Тут нет ничего, чего бы вы не могли слышать при вашей исключительной стыдливости. Вот другая — о туалете женщин; она совсем в вашей компетенции и могла бы послужить вам на пользу. Вы не отвечаете! Вы никогда не доверяете мне.

— Разве я не права?

— Надо будет отдать вас в руки Сиклофила, чтобы он вас отвез к своим островитянам. Клянусь, вы вернетесь оттуда совершенством.

— Мне кажется, что я и теперь совершенство.

— Вам так кажется! А между тем я не могу сказать ни одного слова, которое вы выслушали бы внимательно. Однако вы были бы гораздо лучше, и я бы гораздо лучше чувствовал себя, если бы я всегда мог говорить, а вы всегда меня слушали.

— А зачем вам нужно, чтобы я вас слушала?

— В конце концов, вы правы. Ну, хорошо, отложим до сегодняшнего вечера, до завтра или до другого дня главу о наружности наших островитян и о туалете их женщин.

Глава девятнадцатая

о наружности островитян и о женском туалете

Это было после обеда. Мирзоа сидела с вязаньем, а Мангогул, растянувшись на софе, с полузакрытыми глазами, молча занимался пищеварением. Прощел добрый час в молчании и покое, когда, наконец, султан обратился к фаворитке:

— Расположена ли сударыня выслушать меня?

— Смотря по тому, о чем вы будете говорить.

— Но, в конце концов, не все ли мне равно, слушаете вы меня или нет, как вы изволили разумно и справедливо заметить?

Мирзоа улыбнулась, а Мангогул продолжал:

— Пусть принесут дневник моих путешественников и пусть не вынимают моих закладок или, клянусь бородою...

Ему принесли дневник, он открыл его и стал читать:

«Островитяне созданы совсем иначе, нежели другие люди. Каждый от рождения несет на себе знак своего призвания,— поэтому в большинстве случаев все бывает тем, чем должны быть. Те, кому природа судила быть геометрами, обладают удлинёнными пальцами, похожими на циркуль. Мой хозяин принадлежал к их числу. Субъект, рожденный быть астрономом, отличается глазами в форме улитки. Географы имеют голову, похожую на глобус. У му-

зыкантив или изучающих акустику уши в форме рожка. У межешчиков ноги похожи на шесты, у гидравликов»...

Тут султан остановился, и Мирзоа спросила его:

— Ну, что же у гидравликов?

Мангогул ответил:

— Вы спрашиваете? Так узнайте же: «Сокровище в форме трубки, пускающей струю. У химиков нос — как перегонный куб. У анатома указательный палец — как скальпель. У механиков руки — как подпилки или как пилы».

Мирзоа прибавила:

— У этого народа все не так, как в нашей стране, где люди, получившие от Браммы мускулистые руки, казалось бы, предназначенные управлять плугом, стоят у кормила государства, заседают в судах или председательствуют в академиях; у нас человек, который видит не лучше крота, проводит всю свою жизнь в наблюдениях, то есть занят профессией, требующей рысьих глаз.

Султан продолжал читать:

«Между обитателями острова можно заметить таких, пальцы которых схожи с циркулем, голова с глобусом, глаза с телескопом, уши с рожком. «Эти люди, — сказал я моему хозяину, — повидимому виртуозы, из числа тех универсальных существ, которые обладают всеми талантами».

Мирзоа перебила султана:

— Бьюсь об заклад, что я угадала ответ хозяина.

Мангогул

Каков же он?

Мирзоа

Он ответил, что эти люди, которых природа, казалось бы, одарила всем, не годны ни к чему.

Мангогул

Клянусь Браммой, именно так. Поистине, султанша, вы очень умны. Мой путешественник прибавляет, что такое строение островитян придает всему народу вид автоматов; когда они ходят, кажется, что они занимаются изме-

решем; когда они жестикулируют, они как будто чертят геометрические фигуры; а их пенье — исполненная пафоса декламация.

Мирзоа

В таком случае музыка у них должна быть очень плохой.

Мангогул

Но почему же?

Мирзоа

Потому, что музыка у них, повидимому, стоит ниже декламации.

Мангогул

«Не успел я несколько раз пройтись по главной аллее общественного сада, как сделался предметом разговоров и объектом всеобщего любопытства.

— Он упал с луны,— говорил один.

— Вы ошибаетесь,— возразил другой,— он явился с Сатурна.

— Я думаю, что это обитатель Меркурия,— говорил третий.

Четвертый приблизился ко мне и сказал:

— Чужеземец, разрешите узнать, откуда вы.

— Из Конго,— ответил я.

— А где же Конго?

Я собирался удовлетворить его любопытство, когда кругом поднялся гул множества мужских и женских голосов, повторявших:

— Он из Конго! Конго... Конго...

Оглушенный, я заткнул уши и поспешил уйти из сада. Между тем они остановили моего хозяина, спрашивая у него, кто такие конго: люди или звери. На другой день моя дверь была осаждена толпой, которая добивалась увидеть конго. Я ^япоказался им, говорил с ними, и они удалились с презрительным смехом, восклицая:

— Фи! Это человек!»

Мирзоа принялась хохотать. Потом спросила:

— А туалет?

Мангогул отвечал:

— Припоминает ли сударыня одного черного брамина, очень оригинального, полубезумца, полумразумного?

— Да, я помню. Это был чудак, который всюду со-
вался со своим умом и которого другие черные брамины,
его собратья, затравили до смерти.

— Отлично. Вероятно, вы слышали, а может быть,
и видели, особого рода клавесин, где он расположил цвета
сообразно с лестницей тонов, намереваясь исполнять для
наших глаз сонату, аллегро, престо, адажио, кантабиле —
столь же приятные для зрения, как и мастерски выпол-
ненные произведения для слуха⁸.

— Я сделала лучше: однажды я предложила ему
перевести звуковой менуэт на цветовой, и он справился
с этим превосходно.

— И это вас очень позабавило?

— Очень, потому что я тогда была ребенком.

— Ну вот, мои путешественники нашли такой же
инструмент у островитян, но исполняющий свое прямое
назначение.

— Должно быть, служить туалету?

— Верно. Но каким образом?

— Каким? Вот каким. Взяв какой-нибудь предмет
нашего туалета, достаточно тронуть известное количество
клавиш, чтобы найти гармонию этой вещи и определить
соответствующие цвета других предметов туалета.

— Вы невозможны! Вас нечему учить, вы все уга-
дываете.

— Я даже думаю, что есть в этой музыке диссо-
нансы, которых можно избежать, предвидя заранее.

— Вот именно.

— Поэтому я и думаю, что для горничной нужно
столько же таланта, опыта и глубины познаний, сколько
и для капельмейстера.

— А вы знаете, что из этого следует?

— Нет.

— Что мне остается закрыть дневник и приняться за

шербет. Ваша мудрость, султанша, приводит меня в дурное настроение.

— Другими словами, вы хотели бы, чтобы я была поглупее?

— Почему же нет? Это сблизило бы нас, и мы приятнее проводили бы время. Нужно быть охваченным нестойкой страстью, чтобы терпеть унижения, которым не видно конца. Я охладю к вам, берегитесь!

— Государь, соблаговолите взять дневник и продолжать чтение.

— Очень охотно. Сейчас будет говорить мой путешественник.

«Однажды, выйдя из-за стола, мой хозяин бросился на софу, на которой и не замедлил погрузиться в сон, а я направился вместе с дамами в их апартаменты. Пройдя ряд комнат, мы вошли в большой, хорошо освещенный покой, посередине которого стоял клавесин. Хозяйка дома села перед ним, провела пальцами по клавишам, взглянула в ящик и сказала с довольным видом:

— Я думаю, что он хорошо настроен.

Я же сказал себе:

— Кажется, она бредит, так как я не слышал ни звука.

— Сударыня играет и, без сомнения, аккомпанирует себе?

— Нет.

— Что же это за инструмент?

— Сейчас увидите.

И, обернувшись к старшей дочери, она сказала:

— Позвоните, чтобы пришли прислужницы.

Их пришло три, и она обратилась к ним приблизительно с такой речью:

— Милые мои, я очень недовольна вами. Уже полгода, как я и мои дочери не одеваемся со вкусом. В то же время вы тратите огромные деньги. Я наняла вам лучших учителей, но, кажется, вы не знаете основных принципов гармонии. Я хочу, чтобы сегодня мой головной убор был зеленый с золотом. Найдите все остальное.

Младшая из прислужниц нажала клавиши одной рукой, и перед нами появились белый, желтый, малиновый и зеленый лучи; нажала другой, и появился голубой и фиолетовый.

— Это не то, что нужно, — нетерпеливо сказала хозяйка, — смягчите эти оттенки.

Прислужница тронула клавиши снова и вызвала белый, лимонно-желтый, яркосиний, пунцовый, цвет розы, цвет заря и черный.

— Еще того хуже, — сказала госпожа. — Вы выводите меня из терпения, — возьмите тоном выше.

Прислужница повиновалась. В результате появились — белый, оранжевый, бледно-голубой, телесный, бледножелтый и серый.

Хозяйка вскричала:

— Это прямо невыносимо!

— Если сударыне угодно выслушать меня, — сказала одна из двух других прислужниц, — то с этими пышными фижмами и с маленькими туфельками...

— Да, пожалуй, это может сойти.

После этого хозяйка удалилась в свой кабинетик, чтобы одеться согласно такому подбору красок.

Между тем старшая из дочерей попросила третью прислужницу дать тона для причудливого наряда, прибавив:

— Я приглашена на бал, и хочу быть легкой, оригинальной и блестящей. Я устала от ярких цветов.

— Ничего нет легче, — сказала служанка.

Вызвав жемчужно-серый луч своеобразного среднего оттенка между светлым и темным, она прибавила:

— Вы увидите, мадемуазель, как это будет хорошо с вашей китайской прической, с накидкой из павлиньих перьев, с бледнозеленой юбочкой, вышитой золотом, с чулками цвета корицы и черными, как агат, башмачками. Особенно при темнокоричневом головном уборе с рубиновой эгреткой.

— Ты дорого стоишь, милая! — сказала молодая девушка. — Тебе остается только самой выполнить твои замыслы.

Когда пришла очередь младшей, третья из прислужниц сказала ей:

— Ваша старшая сестра поедет на бал. А вы пойдете в храм?

— Да, непременно. Вот почему я хочу, чтобы ты придумала мне что-нибудь особенно кокетливое.

— Хорошо,— отвечала служанка,— наденьте ваше газовое платье огненного цвета, и я пошщу к нему аккомпанемент. Это не то... вот оно... нет... вот это... да, это... вы будете очаровательны. Смотрите, мадемуазель: желтый, зеленый, черный, огненный, голубой, белый и синий. Это будет чудесно гармонировать с вашими серьгами из богемского топаза, с румянами, двумя «злодейками», тремя «полумесяцами» и семью мушками.

Они вышли, сделав мне глубокий реверанс. Оставшись один, я сказал себе:

— Они такие же сумасбродки здесь, как и у нас, но этот клавесин все-таки избавляет людей от лишних хлопот».

Мирзоа, прервав чтение, обратилась к султану:

— Ваш путешественник должен был привезти нам, по крайней мере, ноты какой-нибудь ариетты для наряда с шифрованным басом.

Султан

Он это и сделал.

Мирзоа

Кто же нам сыграет ее?

Султан

Кто-нибудь из учеников черного брамина. Тот, в чьих руках остался его цветовой клавесин. Но, может быть, вам надоело слушать?

Мирзоа

Много там еще осталось?

Султан

Нет. Всего несколько страничек, и вы будете свободны.

Мирзо́за

Прочтите их.

Султа́н

«При этих моих словах, — говорится в этом дневнике, — дверь кабинета, в который удалилась мать, приоткрылась, и передо мной предстала фигура в таком странном наряде, что я не узнал ее. Прическа в форме пирамиды и светло-серые туфли на высоченных каблуках увеличили ее рост фута на полтора. На ней был белый палантин, оранжевая пакидка, бледно-голубое платье из гладкого бархата, телесного цвета юбка, бледно-желтые чулки и туфельки с беличьей опушкой. Но что меня особенно поразило, это пятиугольные фижмы, с выдающимися и вдающимися углами. Можно было подумать, что это ходячая крепость с пятью бастionsами. Вслед за нею появилась одна из дочерей.

— Боже милосердный! — вскричала мать, — кто вас так нарядил? Уйдите, вы меня приводите в ужас! Если бы не нужно было так скоро ехать на бал, я заставила бы вас переодеться. Я надеюсь, что вы, по крайней мере, будете в маске.

Потом, оглядев младшую дочь с головы до ног, она прибавила:

— Вот это вполне благопристойно.

В это время появился в дверях ее муж, который успел уже нарядиться после полуночного ужина: он был в шляпе цвета увядших листьев, в пышном парике с буклями, в костюме плотного сукна, с длинными прямоугольными позументами, в полтора фута каждый, с четырьмя карманами и пятью пуговицами спереди, но без складок и фалд, в коротких штанах и чулках светлокорицевого цвета и в зеленых сафьяновых туфлях, — все это вместе составляло шутовской наряд».

Тут Мангогул остановился и сказал сидевшей рядом Мирзо́зе:

— Эти островитяне вам кажутся очень смешными...
Мирзо́за перебила его:

— Можете не кончать. На этот раз, султан, вы правы. Но я прошу вас не делать отсюда выводов. Если вы захотите стать благоразумным, все пропало. Без сомнения, мы показались бы такими же странными островами, как они нам. А в области моды безумцы издают законы для умных, куртизанки для честных женщин, и ничего лучшего не придумаете, как следовать им. Мы смеемся, глядя на портреты наших предков, не думая о том, что наши потомки будут смеяться, глядя на наши портреты.

Мангогул

Итак, хоть раз в жизни я обнаружил здравый смысл.

Мирзоа

Я прощаю вам. Но довольно об этом.

Мангогул

Однако, несмотря на всю пронизательность, вам не догадаться, что гармония, мелодия и цветовой клавесин...

Мирзоа

Постойте, я продолжаю...— Все это вызвало раскол между мужчинами, женщинами и вообще между всеми гражданами. Школа пошла войной на школу, один научный авторитет на другой: разгорелись диспуты, начались взаимные оскорбления, вспыхнула ненависть.

— Прекрасно, но это еще не все.

— Потому что я не все сказала.

— Кончайте.

— Подобно тому, как недавно у нас в Банзе в споре о звуках глухне оказались самыми непримиримыми спорщиками, в стране, описанной вашими путешественниками, именно слепые громче всех и больше всех кричали о цветах.

Тут раздосадованный султан взял дневники путешественников и разорвал их на куски.

— Ах, что вы сделали!

— Я уничтожил бесполезные труды.

— Может быть, бесполезные для меня, но не для вас.

— Мне безразлично все, что не содействует вашему счастью.

— Значит, я вам действительно дорога?

— Вот вопрос, который может раз навсегда отвадить от женщины. Нет, они ничего не чувствуют, они думают, что все должны им служить. Что бы ни делали для них, им все мало. Минута раздражения — и год служения пошел на смарку. Я уйду.

— Нет, вы оставайтесь. Подите сюда и поцелуйте меня.

Султан поцеловал ее и сказал:

— Не правда ли, мы только марionетки?

— Иной раз, да.

Глава двадцатая

Две лицемерки

Султан оставил сокровища в покое на несколько дней. Он был занят важными делами, и таким образом действие его перстня было приостановлено. В это самое время две женщины в Банзе заставили смеяться весь город.

Это были завзятые лицемерки. Они вели свои интриги с величайшей осмотрительностью, и репутация их была так безупречна, что их щадило даже злословие им подобных. В мечетях только и говорили, что об их добродетели. Матери ставили их в пример дочерям, мужья — женам. Обе они придерживались того руководящего принципа, что скандал — величайший из грехов. Общность убеждений, а главное трудность втирать очки проницательному и хитрому ближнему, — превозмогли разницу их характеров, — они были близкими подругами.

Зелида принимала у себя брамина Софии, а сама у Софии совещалась со своим духовным отцом. Разбираясь друг в друге, каждая, конечно, не могла не знать всего,

что касалось сокровища другой. Но сокровища их были так прихотливы и нескромны, что обе они находились в непрестанной тревоге. Им казалось, что их вот-вот разоблачат, и они потеряют репутацию добродетели, ради которой притворялись и хитрили целых пятнадцать лет и которая им была теперь сильно в тягость.

В иные моменты они, — по крайней мере Зелида, — казалось, были готовы пожертвовать жизнью, чтобы о них так же злословили, как и о большинстве их знакомых.

— Что скажет свет? Как поступит мой муж?.. Как! Эта женщина, такая сдержанная, такая скромная, такая добродетельная, — эта Зелида... Она такая же, как и все... Ах, эта мысль приводит меня в отчаяние! Да, я хотела бы, чтобы у меня вовсе не было сокровища, никогда его не было!

Она сидела со своей подругой, которую тоже занимали подобные размышления, но не так беспокоили. Последние слова Зелиды вызвали у нее улыбку.

— Хохочите, сударыня, не стесняйтесь. Хохочите всюю, — сказала с досадой Зелида. — Право, есть от чего.

— Я знаю не хуже вас, — хладнокровно ответила Софья, — какая опасность вам угрожает. Но как ее избежать? Ведь вы же согласитесь, что нет шансов, чтобы ваше пожелание осуществилось.

— Так придумайте какое-нибудь средство, — заметила Зелида.

— О, — продолжала Софья, — я устала ломать голову, ничего не могу придумать... Заживо похоронить себя в провинциальной глуши, — это, конечно, выход; но покинуть все городские развлечения, отказаться от жизни, — нет, я этого не сделаю. Я чувствую, что мое сокровище никогда с этим не примирится.

— Но как же быть?..

— Как быть? Предаться на волю провидения и смеяться, по моему примеру, над тем, что будет о нас говорить. Я все испробовала, чтобы примирить доброе имя и удовольствия. Но раз выходит, что надо отказаться от доброго имени, — сохраним, по крайней мере, удоволь-

ствия. Мы были единственным в своем роде. Ну, что же, моя дорогая, теперь мы будем такие же, как сотни тысяч других. Неужели это вам кажется таким ужасным?

— Ну, конечно, — отвечала Зелида, — мне кажется ужасным походить на тех, которых мы презирали с высоты своего величия. Чтобы избежать такой пытки, я, кажется, убежала бы на край света.

— Отправляйтесь, моя дорогая, — продолжала София, — что касается меня, я осталась. Но, между прочим, я советую вам запастись каким-нибудь тайным средством, чтобы помешать вашему сокровищу болтать в дороге.

— Честное слово, — заметила Зелида, — ваша шутка неуместна, и ваша неустрашимость...

— Вы ошибаетесь, Зелида, — тут нет и речи о неустрашимости. Предоставлять событиям идти их неотвратимым ходом — это тупая покорность. Я вижу, что мне не миновать лишиться чести. Ну, что же! Если уж это неизбежно, — я, по крайней мере, постараюсь избавиться от лишних волнений.

— Лишиться чести! — воскликнула Зелида, заливаясь слезами. — Лишиться чести! Какой удар! Я не могу его вынести!.. Ах, проклятый бонза! Это ты меня погубил. Я любила своего мужа; я родилась добродетельной; я и теперь бы еще любила его, если бы ты не злоупотребил своим саном и моим доверием. Лишиться чести! Дорогая София...

Она не могла продолжать. Ее душили рыдания, и она упала на кушетку почти в полном отчаянии. Когда к ней вернулся дар речи, она воскликнула с тоской в голосе:

— Моя дорогая София, я умру от этого!.. Я должна умереть. Нет, я не переживу моего доброго имени...

— Слушайте Зелида, моя дорогая Зелида, — говорила София, — не торопитесь умирать. Может быть...

— Ничего не может быть. Я должна умереть...

— Но, может быть, нам удастся...

— Ничего нам не удастся, — говорю я вам... Но скажите все-таки, дорогая, что нам может удастся?

— Может быть, нам удастся помешать сокровищу говорить.

— Ах, София, вы хотите меня утешить, внушив мне ложные надежды, — вы обманываете меня.

— Нет, нет, я и не думаю вас обманывать. Выслушайте же меня, вместо того чтобы предаваться безумному отчаянию. Мне рассказывали о Френиколе, Эллипиле, о кляпах и намордниках.

— Какое же отношение имеют Френиколь, Эллипиль и намордники к той опасности, которая нам угрожает? Что может сделать мой ювелир и что такое намордник?

— А вот я вам скажу. Слушайте же, дорогая: намордник — это машинка, изобретенная Френиколем, одобренная Академией и усовершенствованная Эллипилем, который приписывает себе это изобретение.

— Ну, и причем же здесь эта машинка, изобретенная Френиколем, одобренная Академией и усовершенствованная этим олухом Эллипилем?

— О, ваша живость превосходит всякое воображение! Ну, так вот, эту машинку пускают в ход, и она заставляет молчать сокровище, хотя бы оно...

— Неужели это правда, моя дорогая?

— Говорят.

— Надо выяснить это, — заявила Зелида, — и немедленно же.

Она позвонила. Вошла служанка, и она послала ее за Френиколем.

— Почему не за Эллипилем? — спросила София.

— Френиколь менее заметный человек, — ответила Зелида.

Ювелир не заставил себя ждать.

— Ах, вот и вы, Френиколь, — сказала Зелида. — Добро пожаловать. Поторопитесь же, мой милый, вывести двух женщин из большого затруднения.

— В чем дело, сударыни?.. Может быть, вам нужны какие-нибудь редкие драгоценности?

— Нет, у нас и так есть два сокровища, и мы хотели бы...

— Избавьтесь от них, не так ли? Ну, что же, сударыни. Покажите их мне. Я их возьму, или мы с вами обменяемся...

— Нет, господин Френиколь, не то, нам нечем меняться...

— А, я вас понял: речь идет о серьгах, которые вы хотите потерять, да так, чтобы ваши мужья нашли их у меня...

— Совсем нет. Да ну же, София, скажите ему, в чем дело.

— Френиколь, — заговорила София, — нам пужко два... Как! вы все еще не понимаете?

— Нет, сударыня. Как же мне понять? Ведь вы мне ничего не говорите.

— Дело в том, — ответила София, — что для стыдливой женщины мучительно говорить об известных вещах...

— Тем не менее, — возразил Френиколь, — вам необходимо объясниться. Я ведь ювелир, а не гадалец.

— Однако вы должны догадаться.

— Честное слово, сударыни, чем больше я на вас смотрю, тем меньше вас понимаю. Когда женщина молода, богата и красива, как вы, ей незачем прибегать к искусственным прикрасам. Кстати, скажу вам откровенно, что я больше не продаю драгоценностей. Я предоставил торговать этими безделушками моим начинающим собратням.

Ошибка ювелира обоим лицемеркам показалась такой забавной, что они разразились ему в лицо хохотом, — это его окончательно сбilo с толку.

— Разрешите мне, сударыни, откланяться и удалиться, — сказал он. — Я вижу, вы заставили меня пройтги целое лье только затем, чтобы надо мной потешаться.

— Пойдите, пойдите, мой милый, — сказала Зеллида, все еще смеясь. — Это вовсе не входило в наши расчеты. Но вы не поняли нас и наговорили столько несуразного...

— От вас зависит, сударыня, дать мне правильные представления. В чем же дело, наконец?

— О господин Френиколь, дайте же мне высмеяться, прежде чем вам ответить.

Зелида задыхалась от хохота. Ювелир решил, что с ней истерический припадок или что она сошла с ума, и набрался терпения. Наконец, Зелида успокоилась.

— Ну вот, — сказала она. — Речь идет о наших сокровищах, о наших, понимаете вы меня, господин Френиколь? Вы, вероятно, знаете, что с некоторых пор иные сокровища стали болтать, как сороки. Вот мы и хотим, чтобы наши собственные не следовали их дурному примеру.

— А! Теперь я понял. Значит, вам нужен намордник?

— Отлично, вы в самом деле поняли. Недаром мне говорили, что господин Френиколь далеко не глуп...

— Вы очень добры, сударыня. Что касается того, о чем вы меня просите, у меня они есть всех сортов, и я сейчас же пойду за ними.

Френиколь ушел. Зелида бросилась обнимать подругу и благодарить ее за подсказанное средство.

«А я, — говорит африканский автор, — пошел отдохнуть в ожидании, пока вернется ювелир».

Глава двадцать первая

Возвращение ювелира

Ювелир вернулся и предложил нашим ханжам два усовершенствованных намордника.

— Милосердный боже! — вскричала Зелида. — Что за намордники! Что за огромные намордники! И кто эти несчастные, которые будут их употреблять? Да ведь они — добрая сажень в длину! Честное слово, мой друг, вы верно снимали мерку с кобылы султана.

— Да, — небрежно сказала Софья, рассмотрев и вымерив рукой намордники, — вы правы. Они могут подойти только кобыле султана или старой Римозе...

— Клянусь вам, сударыни, — возразил Френиколь, — это нормальный размер, и Зельмаида, Зирфпла, Амиана, Зюлейка и сотни других купуали именно такие...

— Это невозможно, — заявила Зелида.

— Но это так,— продолжал Френиколь,— хотя они говорили то же, что и вы. Если вы хотите убедиться в своей ошибке, вам остается, так же как и им, примерить их...

— Господни Френиколь может говорить все, что угодно, но ему никогда не убедить меня, что это мне подойдет,— сказала Зелида.

— И мне тоже,— заявила София.— Пусть он нам покажет другие, если у него есть.

Френиколь, многократно убеждавшийся на опыте, что женщин невозможно уговорить на этот счет, предложил им намордники для тринадцатилетнего возраста.

— А, вот как раз то, что нам надо,— воскликнули одновременно подруги.

— Я желал бы, чтобы было так,— прошептал Френиколь.

— Сколько вы за них хотите?— спросила Зелида.

— Сударыня, всего десять дукатов.

— Десяток дукатов! Вы шутите, Френиколь!

— Сударыня, это без запроса...

— Вы берете с нас за новинку.

— Клянусь вам, сударыни, что это своя цена...

— Правда, работа хорошая, но десять дукатов — это сумма...

— Я ничего не уступлю.

— Мы пойдем к Эолипилу.

— Пожалуйста, сударыни, но имейте в виду, что и мастера, и намордники бывают разные.

Френиколь стоял на своем, и Зелиде пришлось уступить. Она купила два намордника, и ювелир ушел, убежденный в том, что они будут им слишком коротки и скоро вернутся к нему обратно за четверть цены. Однако он ошибся.

Мангогулу не довелось направить перстень на этих женщин, и сокровищам их не вздумалось болтать громче обычного,— это было к их счастью, ибо Зелида, примерив намордник, обнаружила, что он вдвое короче, чем следует. Но она не решилась с ним расстаться, ибо менять

его показалось ей столь же неудобно, как и пользоваться им.

Обо всех этих обстоятельствах стало известно через одну из ее служанок, которая рассказала по секрету своему возлюбленному, тот в свою очередь передал конфиденциально другим, разгласившим новость под строгим секретом по всей Банзе. Френпколь со своей стороны разболтал тайну, — приключение наших ханжей стало общезвестным и некоторое время занимало сплетников Конго...

Зелда была неутешна. Эта женщина, более достойная сожаления, чем порицания, возненавидела своего брамина, покинула супруга и затворилась в монастыре. Что касается Софин, она сбросила маску, пренебрегла молвой, нарумянилась, посадила мушки на щеки и пустилась в широкий свет, где у нее были похождения.

Глава двадцать вторая

Седьмая проба кольца. Задыхающееся сокровище

Хотя буржуазки Банзы и не предполагали, что их сокровища будут иметь честь говорить, они, тем не менее, все обзавелись намордниками. В Банзе носили намордник, как мы носим придворный траур.

Здесь африканский автор замечает с удивлением, что умеренность цен на намордники и общедоступность не помешали им долго быть в моде в серале. — «На этот раз, — говорит он, — полезность победила предрассудок».

Такое общее место, конечно, не стоило бы того, чтобы его повторять, но мне кажется, что все древние авторы Конго грешат повторениями, может быть они или задаются целью придать таким путем своим произведениям изящество и правдоподобие, или же они далеко не отличаются богатством красок, какое им приписывают их поклонники.

Как бы то ни было, однажды Мангогул, гуляя в садах в сопровождении всего своего двора, решил повернуть пер-

стену в сторону Зеланс. Она была красива, и ее подозревали в кое-каких похождениях. Виззанию ее сокровище стало невинно лепетать и произнесло лишь несколько отрывистых слов, которые ровно ничего не означали; зубоскалы истолковали их каждый по-своему.

— Однако! — воскликнул султан. — У этого сокровища сильно затруднена речь. Вероятно, что-нибудь мешает ему говорить.

И вот он снова направил на него перстень. Сокровище опять сделало усилие высказаться и, частично преодолевая препятствие, тормозившее его речь, выговорило весьма явственно:

— Ах, ах, я... за... задыхалась. Я больше не могу. Ах... ах... задыхалась.

Тотчас же Зеланс стала задыхаться. Лицо у нее побледнело, горло вздулось, и она упала с закрытыми глазами и полуоткрытым ртом в объятия окружавших ее придворных.

Будь Зеланс где-нибудь в другом месте, ей быстро оказали бы помощь. Нужно было только избавить ее от намордника, чтобы сокровище могло свободно дышать. Но как подать ей руку помощи в присутствии Мангогула?

— Скорей! Скорей! Врачей сюда! — воскликнул султан. — Зеланс умирает!

Пажи побежали во дворец и скоро вернулись; за ними важно шли врачи, впереди всех Оркотом. Один из них высказался за кровопускание, другие за отхаркивающее, но проникательный Оркотом велел перенести Зеланс в соседний кабинет, осмотрел ее и разрезал ремешки намордника. Он мог похвастаться, что видел еще одно зашнурованное сокровище в состоянии острого пароксизма.

Однако вздутие было огромно, и Зеланс продолжала бы страдать, если бы султан не сжалился над ней. Он повернул перстень в обратную сторону; кровяное давление восстановилось, Зеланс пришла в себя, и Оркотом приписал себе это чудесное исцеление.

Несчастный случай с Зеланс и нескромность ее врача сильно дискредитировали намордники. Оркотом, не забо-

тятся об интересах Эолпилия, решил построить на развалинах его состояния — свое собственное. Он объявил, что специализировался на лечении простуженных сокровищ. До сих пор на глухих улицах можно еще встретить его объявления. Сперва к нему потекли деньги, но потом на него обрушилось всеобщее презрение.

Султану доставляло удовольствие сбивать спесь с шарлатана. Стоило Оркотому похвастаться, что он вынудил к молчанию какое-нибудь сокровище, которое и без того всегда молчало, как беспощадный Мангогул заставлял его говорить. Наконец, заметили, что после двух-трех визитов Оркотомы любое молчавшее до сих пор сокровище начинает болтать. Вскоре его причислили, так же как и Эолпилия, к разряду шарлатанов, и оба пребывали в этом звании до тех пор, пока Брамэ не заблагорассудилось снять его с них.

Стыд предпочли апоплексии. «Ведь от нее умирают» — говорили в городе. Итак, от намордников отказались, предоставили сокровищам болтать, — и никто от этого не умер.

Глава двадцать третья

Восьмая проба кольца. Истерики

Как мы видели, было время, когда женщины, опасаясь болтовни своих сокровищ, задыхались и чуть не умирали. Но вот наступила другая пора. Они стали выше этого страха, отделались от намордников и начали прибегать только к истерикам.

В числе приближенных фаворитки была одна оригинальная девушка. Она отличалась прелестным, хотя несколько неровным характером. Выражение ее лица менялось десять раз в день, но всякий раз было привлекательно. И в меланхолии, и в весельи она не имела себе равных: в моменты безумной веселости ей приходили в голову очаровательные затеи, а во время приступов грусти у нее были весьма забавные причуды.

Мирзоа до того привыкла к Калироэ, — так звали эту

молодую девушку, — что не могла без нее жить. Однажды султан упрекнул фаворитку, что она проявляет какое-то беспокойство и холодок.

— Государь, — отвечала она, — несколько омущенная его упреками, — я никуда не гожусь, когда со мной нет моих трех зверушек — чпка, кошки и Калироэ, и вот вы видите, что последней нет со мной...

— Почему же ее здесь нет? — спросил Мангогул.

— Не знаю, — отвечала Мирзоа. — Но несколько месяцев назад она заявила мне, что если Мазул отправится в поход, ей никак не обойтись без истерики. И вот Мазул вчера уехал...

— Ну, это еще терпимо, — заметил султан. — Вот, что называется, хорошо мотивированная истерика. Но почему же бывают истерики у сотни других женщин, у которых совсем молодые мужья и нет недостатка в любовниках?

— Государь, — ответил один из придворных, — это модная болезнь. Впадать в истерику — это хороший тон для женщин. Без любовников и без истерики нельзя вращаться в свете. И в Банзе нет ни одной буржуазки без истерики.

Мангогул улыбнулся и тотчас же решил посетить некоторых из этих истеричек. Он направился прямо к Салике. Он нашел ее в постели, с раскрытой грудью, пылающими глазами и растрепанными волосами. У ее изголовья сидел маленький врач Фарфади, зайка и горбун, и рассказывал ей сказки. Она то и дело вытягивала то одну, то другую руку, зевала, вздыхала, проводила рукой по лбу и восклицала страдальческим голосом:

— Ах... Я больше не могу... Откройте окно... Дайте мне воздуху... Я больше не могу... Я умираю...

Мангогул улучил момент, когда Фарфади с помощью взволнованных служанок заменял ее покрывало более легким, и направил на нее перстень. Немедленно услышали:

— Ах, как мне все это надоело! Видите ли, мадам забрала себе в голову, что у нее истерика. Это будет длиться неделю. Умереть мне на месте, если я знаю, из-за чего все это! Я вижу, какие усилия прилагает Фарфади,

чтобы вырвать с корнем это зло, но мне кажется, что он напрасно так усердствует.

— Ладно, — сказал султан, снова повертывая перстень, — у этой истерика на пользу врачу. Посмотрим в другом месте.

Из особняка Салики он направился в особняк Арсиной, который расположен поблизости. Не успел он войти в ее апартаменты, как услышал громкие раскаты смеха. Он направился к ней, думая что застанет ее с кем-нибудь. Между тем, она была одна. Мангогул не очень этому удивился.

— Когда женщина закатывает истерику, — сказал он про себя, — она, повидимому, бывает или грустной, или веселой — как ей заблагорассудится.

Он направил на нее перстень, и внезапно ее сокровище расхохоталось во все горло. От этого необузданного смеха оно резко перешло к забавным lamentациям по поводу отсутствия Нарцеса, которому оно дружески советовало поскорее вернуться, и продолжало с новой силой рыдать, плакать, стонать, вздыхать с таким отчаянием, словно похоронило всех своих близких.

Султан едва сдерживал смех, слушая эти забавные жалобы. Он повернул в другую сторону перстень и отправился домой, предоставив Арсиное и ее сокровищу сетовать на здоровье и решив про себя, что пословица несправедлива.

Глава двадцать четвертая

Девятое испытание кольца. Потерянное и найденное

(Дополнение к ученому трактату Плисиоля и к «Мемуарам» Академии надписей)

Мангогул возвращался в свой дворец, размышляя о смешных причудах женщин. По рассеянности или по прихоти кольца он оказался под портиками великолепного здания, которое Фелиса украсила роскошными гробницами

своих любовников. Он воспользовался случаем порасспросить ее сокровище.

Фелиса была женой эмира Самбуко, предки которого царствовали в Гвинее. Самбуко был почитаем в Конго благодаря пяти-шести знаменитым победам, одержанным им над врагами Эрgebзеда. Он был искусен в дипломатии так же, как и в военном деле, и его назначали послом в самые ответственные моменты, причем он блестяще справлялся со своей миссией. Он увидел Фелису, вернувшись из Лоанго, и сразу в нее влюбился. В ту пору ему было около пятидесяти лет, Фелисе же — не более двадцати пяти. У нее было больше очарования, чем красоты. Женщины говорили, что она очень хороша, а мужчины находили ее прелестной. Ей представлялось много прекрасных партий, но имелась ли у нее какие-то свои расчеты или же здесь была преградой разница между ее состоянием и состоянием ее воздыхателей, но она отвергла все предложения. Самбуко увидал ее, поверг к ее ногам свои огромные богатства, свое имя, лавры и титулы, уступавшие только монаршим, — и добился ее руки.

Целых шесть недель после свадьбы Фелиса была или казалась добродетельной. Но сокровище, по природе сладострастное, лишь в редких случаях овладевает собой, и пятидесятилетний муж, хотя бы и признанный герой, будет безрассуден, если вздумает победить этого врага. Хотя Фелиса и была осторожна в своем поведении, ее первые приключения все же получили огласку. Таким образом, были все основания предполагать, что и в дальнейшем у нее были интимные тайны, и Мангогул, желавший добраться до истины, поспешно прошел из вестибюля ее дворца в ее апартаменты.

Была середина лета, стояла ужасающая жара, и Фелиса после обеда бросилась на кровать в уединенном кабинете, украшенном зеркалами и фресками. Она спала, и рука ее лежала на томике персидских сказок, нагнавших на нее сон.

Некоторое время Мангогул смотрел на нее; он при-

нужден был признать, что у Фелисы была своя прелесть, и направил на нее перстень.

« — Я помню, как сейчас, — немедленно же заговорило ее сокровище, — девять доказательств любви в четыре часа. Ах, какие моменты! Зермунзаид прямо божественен. Это вам не старый ледяной Самбуко. Милый Зермунзаид, до тебя я не знало подлинного наслаждения, истинного блага, — ты научил меня всему этому.

Мангогул, желавший узнать некоторые подробности связи Фелисы о Зермунзаидом, о которых сокровище умалчивало, касаясь лишь того, что больше всего поражает всякое сокровище, — потер алмаз перстня о свой камзол и направил па Фелису засиявший яркими лучами камень. Скоро он оказал действие на сокровище, которое, уразумев, о чем его спрашивают, продолжало более эпическим тоном.

— Самбуко командовал армией Моноэмуги, и я сопровождало его в походе. Зермунзаид служил полковником под его началом, и генерал, удостоивавший его своим доверием, назначил его эскортировать нас. Ревностный Зермунзаид не покинул своего поста: он показался ему настолько приятным, что Зермунзаид и не думал уступать его кому-нибудь другому; и единственно, чего он страшился в продолжение всей кампании, — это потерять свой пост.

В течение зимы я приняло несколько новых гостей: Касиля, Жекия, Альмамума, Язуба, Селима, Манзора, Нерескима, — все это были военные, которые были обязаны своей репутацией Зермунзаиду, но не стоили его. Доверчивый Самбуко возложил охрану добродетели своей жены на нее самое и на Зермунзаида; всецело поглощенный бесконечными перипетиями войны и великими операциями, которые он замышлял во славу Конго, — он ни на мгновение не заподозрил Зермунзаида в измене, а Фелису в неверности.

Война продолжалась; армии снова двинулись в поход, и мы опять сели в паланкины; паланкины продвигались очень медленно; незаметно главная часть войска пере-

гнала нас, и мы оказались в арьергарде, которым командовал Зермунзаид. Этот славный мальчик, которого великие опасности никогда не могли совратить с пути славы, не смог противостоять наслаждению. Он поручил своему подчиненному надзор за движениями преследовавшего нас неприятеля и направился к нашему паланкину, но не успел он войти, как мы услышали заглушенные звуки оружия и крики. Зермунзаид, прервав свою работу, хочет выйти; но вот он простерт на земле, и мы оказываемся во власти победителя.

Итак, я начало с того, что поглотило славу и карьеру офицера, который, благодаря своей храбрости и заслугам, мог рассчитывать на высшие военные посты, если бы не знал жены своего генерала. Более трех тысяч человек погибло в этой переделке. Столько же добрых поданных мы похитили у государства.

Представьте себе изумление Мангогула при этих словах. Он слышал надгробную речь над телом Зермунзаида, и не узнавал полковника в чертах этого портрета. Его отец Эргебзед сожалел об этом офицере. Полученные донесения воздавали последнюю хвалу прекрасному отступлению Зермунзаида, приписывая его поражение и гибель численному превосходству врагов, которых, как там говорилось, было шестеро против одного. Все Конго скорбело о человеке, так хорошо исполнившем свой долг. Его жена получила пенсию, его старшему сыну поручили командовать полком, а младшему обещали бенефицию.

«Какой ужас! — воскликнул про себя Мангогул. — Супруг обесчещен, государство предано, подданные принесены в жертву; эти преступления никому неизвестны и даже вознаграждены как добродетели, — и все это из-за одного сокровища!»

Сокровище Фелисы, остановившееся, чтобы перевести дыхание, продолжало:

— И вот я оказалось брошенным на произвол неприятеля. Полк драгун готов был ринуться на нас. Фелиса, казалось, была в отчаянии, но на деле только того и желала. Однако прелесть добычи посеяла раздор между

мародерами. Засверкали кривые сабли, и тридцать-сорок человек были убиты в мгновение ока. Слух об этих беспорядках дошел до бригадного генерала. Он прибежал, успокоил головорезов и поместил нас под охраной в палатке. Не успели мы опомниться, как он явился просить награду за услуги. «Горе побежденным!» — воскликнула Фелиса, бросаясь навзничь на кровать. И всю ночь она бурно переживала свое несчастье.

На другой день мы очутились на берегу Нигера. Нас поджидал канк, и мы с моей хозяйкой отправились на прием к императору Бенена.

Во время этого путешествия, длившегося сутки, капитан судна предложил Фелисе свои услуги, они были приняты, и я познало на опыте, что морская служба бесконечно проворнее сухопутной. Мы предстали перед императором Бенена; он был молод, пылок, сластолюбив. Фелиса одержала над ним победу, но скоро победы мужа испугали ее. Самбуко потребовал мира и должен был отдать три провинции и выкуп за меня.

Иные времена, иные заботы. Не знаю, как Самбуко стали известны причины несчастья предыдущей кампании, но во время новой он поместил меня на границе под опекой своего друга, главы браминов. Святой муж и не думал защищаться. Он пал жертвой коварства Фелисы. Меньше чем в полгода я поглотило его колоссальные доходы, три пруда и два высокоствольных леса.

— Милосердный боже! — воскликнул Мангогул. — Три пруда и два леса. Что за аппетит у этого сокровища!

— Это пустяки, — продолжало сокровище. — Мир был заключен, и Фелиса отправилась в Мономотапу, куда ее муж был назначен послом. Она играла в карты и свободно проигрывала сто тысяч цехинов в день, которые я возвращало в один час. Мне попался на зубок один министр, у которого дела его владыки не занимали целиком всего времени; в три-четыре месяца я проглотило его прекрасное имение, дворец, полный мебели, экипаж с маленькими пегими лошадками. Четырехминутную благосклонность нам оплачивали праздниками, презентами, драгоценными кам-

нями, а слепой или политичный Самбуко ничуть не мешал нам.

Я не стану упоминать, — прибавило сокровище, — о герцогствах, графствах, титулах и гербах, блеск которых был омрачен мной. Обратитесь к моему секретарю, и он вам расскажет, что о них случилось. Я сильно обкарнало вотчину Бнафары и владею целой провинцией Белегаицы. На склоне своих лет Эрgebзед предложил мне...

При этих словах Мангогул повернул алмаз и заставил замолчать эту бездонную пучину. Он чтит память отца и не хотел слушать ничего такого, что могло омрачить в его сознании блеск великих достоинств, которые он признавал за ним.

Верянувшись в свой сераль, он рассказал фаворитке об истеричках и об испытании, произведенном над Фелисой.

— Вы считаете эту женщину своей подругой, — сказал он, — а между тем не знаете ее интимной жизни так, как я.

— Понимаю, повелитель, — отвечала султанша. — Вероятно, ее сокровище глупо выболтало вам ее похождения с генералом Микокофом, эмиром Феридуром, сенатором Марзуфой и великим браминном Рамадануццо. Ну, что ж! Кто не знает, что она содержит молодого Аламира и что старому Самбуко, который не говорит ни слова, все это известно не хуже, чем вам?

— Не об этом речь, — возразил Мангогул. — Я только что заставил ее сокровище изрыгнуть все проглоченное им.

— Разве оно что-нибудь у вас похитило? — спросила Мирзоа.

— У меня ничего, — ответил султан, — но очень многое у моих подданных. У магнатов моей империи, у соседних властителей: земли, провинции, дворцы, пруды, леса, брильянты, экипажи с гнедыми конями.

— Не считая репутаций и добродетелей, — прибавила Мирзоа. — Не знаю, какие выгоды принесет вам ваше кольцо, но чем больше вы производите с ним опытов, тем противнее становится мне мой пол — в том числе даже те, которых я считала достойными некоторого уважения.

Я испытываю такое негодование против них, что прошу ваше величество предоставить меня на несколько минут моим чувствам.

Мангогул, зная, что фаворитка ненавидит всякое принужденне, трижды поцеловал ее в правое ухо и удалился.

Глава двадцать пятая

Образчик морали Мангогула

Мангогулу не терпелось увидеть фаворитку. Он плохо спал, встал раньше обыкновенного и на рассвете направился к ней. Она уже успела позвонить, и горничные пришли поднять занавески и собирались ее одевать. Султан внимательно осмотрел комнату и, заметив, что там нет собак, спросил о причине этого странного обстоятельства.

— Вы думаете, — отвечала Мирзоза, — что я проявляю в этом оригинальность, а между тем, ничего подобного.

— Уверяю вас, — возразил султан, — что у всех моих придворных дам я видел собак. Вы вынуждаете меня узнать, почему у них есть собаки, а у вас нет. У многих из них даже по несколько собак. И все без исключения расточают псам такие ласки, какне едва ли оказывают любовникам. Чему обязаны эти животные таким предпочтением? На что они нужны?

Мирзоза не знала, что ответить на этот вопрос.

— Дело в том, — сказала она, — что иметь собаку то же, что иметь попугая или чижа. Может быть, и смешно привязываться к животным, но нет ничего странного в том, что их держат в доме: они иногда забавляют и никогда не вредят нам. Если их ласкают, то потому, что такие ласки не имеют последствий. К тому же, неужели вы думаете, государь, что любовник удовлетворится поцелуем, какой дает женщина своей болонке?

— Конечно, я так думаю, — заявил султан. — Чорт возьми, он должен быть очень требовательным, чтобы не удовлетвориться этим.

Одна из горничных Мирзозы, снискавшая любовь сул-

тана и фаворитки своей кротостью, одаренностью и усердием, заметила:

— Эти животные несносны и нечистоплотны: они пачкают платья, портят мебель, рвут кружева и за какие-нибудь четверть часа натворят таких бед, за какие попала бы в немилость самая образцовая горничная, а между тем, их терпят.

— Хотя, как утверждает госпожа, они больше ни на что не годны, — прибавил султан.

— Государь, — отвечала Мирзоа, — нам дороги наши причуды, а иметь болонку — такая же причуда, как и сотни других; если бы можно было отдать себе в них отчет, они перестали бы быть причудами. Царство обезьян кончилось; попугайчики еще держатся. Собаки были низвергнуты, но вот они снова поднимаются. Белка тоже пережила пору своего величия; моды на животных так же изменчивы и преходящи, как на итальянский, английский языки, геометрию, сборки и фалбалы.

— Мирзоа, — возразил султан, качая головой, — недостаточно об этом осведомлена, и сокровище...

— Надеюсь, ваше высочество не рассчитываете узнать у сокровища Гари, почему эта женщина, не пролившая ни слезинки при смерти сына, одной из дочерей и мужа, оплакивала полмесяца потерю своего мопса.

— А почему бы и нет? — спросил Мангогул.

— Честное слово, — сказала Мирзоа, — если бы наши сокровища могли объяснить все наши причуды, — они оказались бы осведомленнее нас.

— А кто же будет это оспаривать? — продолжал султан. — Я думаю, что сокровище заставляет женщину вытворять сотни вещей без ее ведома. И я замечал не раз, как женщина, которая воображает, что повинуется разуму, на деле повинуется своему сокровищу. Один великий философ помещал душу — разумеется, мужскую — в шишко-видную железу⁹. Если бы я допускал ее у женщин, я уж знаю, где поместил бы ее.

— Не трудитесь, пожалуйста, мне об этом рассказывать, — поспешно заметила Мирзоа.

— Но вы мне разрешите, по крайней мере, — сказал Мангогул, — поделиться с вами некоторыми доводами в пользу существования души у женщин, которые внушило мне мое кольцо. Испытания, которые я производил с помощью его, сделали из меня великого моралиста. Я не обладаю ни остроумием Лабрюйера, ни логикой Пор-Рояля, ни воображением Монтэня, ни мудростью Шаррона, и тем не менее, мне удалось собрать факты, быть может, им недостававшие.

— Говорите, государь, — иронически сказала Мирзо-за. — Я буду — вся внимание. Образчик морали султана вашего возраста, конечно, весьма любопытная вещь.

— Теория Оркотомы весьма эксцентрична, — из в обиду будь сказано его знаменитому собрату Ирагу. А между тем, я нахожу глубокий смысл в ответах, которые он дал на полученные им возражения. Если бы я допускал у женщин душу, я охотно бы допустил вместе с ним, что сокровища высказывались всегда, правда, шопотом, и что кольцо гения Кукуфы заставило их лишь повысить тон. С такой предпосылкой нет ничего легче как определить всех вас самым точным образом.

Например, мудрая женщина — это та, которая обладает немым сокровищем или же не слушает его.

Неприступная — та, которая делает вид, что не слушает своего сокровища.

Легкомысленная — та, от которой сокровище требует многого и которая слишком ему поддается.

Сладострастная — та, которая охотно слушает свое сокровище.

Куртизанка — та, к которой ее сокровище пристаёт каждую минуту и которая ни в чем ему не отказывает.

Кокетка — та, которая обладает или немым сокровищем или же не слушает его, но вместе с тем подает всем приближающимся к ней мужчинам надежду на то, что ее сокровище однажды заговорит, и она будет притворяться немой.

Скажите, услада моей души, как вы находите мои определения?

— Мне думается, — сказала фаворитка, — что ваше высочество забыли о чувствительной женщине.

— Я не упомянул о ней потому, — отвечал султан, — что мне еще не вполне ясно, что это такое; опытные люди утверждают, что слово «чувствительная» вне связи с сокровищем лишено всякого смысла.

— Как! Лишено смысла! — воскликнула Мирзоа. — Как! Неужели же нет ничего среднего, и женщина непременно должна быть или недоступной, или легкого поведения, или кокеткой, или сладострастной, или куртизанкой?

— Услада моей души, — сказал султан, — я готов признать недостаточность моей классификации и включу чувствительную женщину в число названных характеров, но при условии, что вы мне дадите такое определение, какое бы не совпадало ни с одним из моих.

— Весьма охотно, — отвечала Мирзоа. — Я надеюсь справиться с этой задачей, не выходя из рамок вашей теории.

— Посмотрим, — сказал Мангогул.

— Ну, вот, — продолжала фаворитка, — чувствительная женщина — это та...

— Смелее, Мирзоа, — сказал Мангогул.

— О! Не мешайте мне, пожалуйста. Чувствительная женщина — это та... которая любит, а между тем, ее сокровище молчит, или... та, сокровище которой высказывалось лишь в пользу человека, которого она любит.

Со стороны султана было бы недостатком любезности придрасться к фаворитке и спрашивать, что она понимает под словом «любить». Итак, он промолчал. Мирзоа приняла его молчание за знак согласия и прибавила, гордясь тем, что так ловко вышла из затруднительного положения:

— Вы, мужчины, думаете, что если мы не аргументируем, так это потому, что не рассуждаем. Узнайте же раз и навсегда, что мы, если только пожелаем, легко обнаружим фальшь ваших парадоксов, как вы выискиваете ошибки в наших доводах. Если бы ваше высочество не спешили удовлетворить свое любопытство по части

болонки, я вам дала бы, со своей стороны, образчик моей философии. Но вы ничего не потеряете. Мы отложим это на один из дней, когда у вас будет больше свободного времени для меня.

Мангогул отвечал, что он только и мечтает о том, чтобы познакомиться с ее философскими идеями, и что метафизика двадцатидвухлетней султанши должна быть не менее своеобразной, чем мораль султана его возраста.

Но Мирзоза, понимая, что это только любезность со стороны Мангогула, попросила у него некоторой отсрочки на подготовку и дала, таким образом, султану предлог устремиться туда, куда влекло его любопытство.

Глава двадцать шестая

Десятая проба кольца. Болонки

Мангогул немедленно же перенесся к Гарри; по своей привычке говорить в одиночестве, он так рассуждал сам с собой: «Эта женщина всякий раз ложится спать со своими четырьмя комнатными собаками; либо сокровища ничего не знают об этих животных, либо ее сокровища кое-что расскажет мне о них; ведь, слава богу, всем известно, что она любит своих собак до обожания».

Оканчивая этот монолог, он очутился в вестибюле Гарри. Он уже предчувствовал, что она отдыхает в своей обычной компании. Это были: маленькая болонка, датский дог и два мопса. Султан вынул табакерку, задал себе две понюшки испанского табаку и приблизился к Гарри. Она спала, но собачонки, у которых слух был настрожен, услышали какой-то шум, залаяли, и она проснулась.

— Молчите, детки, — сказала она им таким нежным тоном, что можно было заподозрить, будто она говорит со своими дочками. — Спите, не тревожьте меня и самих себя.

В свое время Гарри была молода и красива; у нее были любовники соответствующего ранга, но они исчезли

еще скорое, чем прелести. Чтобы утешиться в своем одиночестве, она ударилась в какую-то причудливую роскошь, и ее лакеи были самыми элегантными в Банзе. Время шло, она все старилась. Годы вызвали у нее реформу; она ограничила свой штат четырьмя собаками и двумя браминями и сделалась образцом чопорности. В самом деле, ее не могло коснуться даже самое ядовитое жало сатиры, и уже более десяти лет Гария мирно наслаждалась репутацией добродетели и своими животными. Было известно, что Гария испытывает повышенную нежность к болонкам, и нельзя было заподозрить, что ее хватит на долю браминов.

Гария повторила свою просьбу животным, и они имели любезность послушаться. Тогда Мангогул коснулся рукой своего перстня, и престарелое сокровище начало рассказывать о своем последнем приключении. Его первые похождения происходили так давно, что оно едва о них помнило.

— Удались, Медор, — сказала сокровище хриплым голосом. — Ты меня утомляешь. Я предпочитаю Лизетту, я нахожу ее более нежной.

Медор, которому был незнаком голос сокровища, продолжал свое дело. Но Гария, просыпаясь, сказала:

— Убирайся же, маленький негодяй, — ты мне не даешь отдохнуть. Иногда это и хорошо, но сейчас, право, слишком.

Медор удалился, Лизетта заняла его место, и Гария опять заснула.

Маягогул, приостановивший на несколько минут действие кольца, снова повернул алмаз, и древнее сокровище, глубоко вздохнув, продолжало болтать:

— Ах, как я огорчено смертью большой левретки! Это была прелестнейшая в мире маленькая женщина, самое ласковое создание; она не переставала меня забавлять. Сколько ума и нежности! Вы настоящие животные по сравнению с ней! Этот негодяй убил ее... Бедная Зензулина! Как только подумаю о ней, слезы навертываются на глаза... Я думало, что моя хозяйка умрет от огорчения.

Два дня она ничего не пила и не ела. У нее в голове мутилось. Судите о ее горе. Ни духовник, ни друзья, ни болонка не смели ко мне приближаться. Приелужницам был отдан приказ под страхом увольнения не допускать супруга в ее апартаменты. «Это чудовище лишило меня Зензолины, — восклицала она. — Пусть он не приходит, я больше не желаю его видеть».

Мангогул, которого брало любопытство узнать обстоятельства смерти Зензолины, усилил магнетическое действие перстня, потеряв его о полу своего комзола, затем направил его на Гарнию. Сокровище продолжало:

— Лишившись первого мужа, Рамадека, Гария влюбилась в Сендора. Этот молодой человек был высокого рода, беден, но обладал одним качеством, которое очень нравится женщинам и которое после болонок было всего более по вкусу Гарии. Нищета победила отвращение Сендора к возрасту и собакам Гарии. Двадцать тысяч экю годового дохода примирили его с морщинами хозяйки и с необходимостью терпеть болонок. Он женился на ней.

Он льстил себя надеждой, что возьмет верх над животными благодаря своим талантам и любезности и ему удастся навлечь на них опалу с первых же дней его царствования. Но он ошибся. Через несколько месяцев, считая свое положение упроченным, он решился поставить на вид хозяйке, что собаки в кровати для него далеко не такая приятная компания, как для нее, что смешно иметь больше трех псов и что допускать на брачное ложе больше одного зараз значит превратить это ложе в конуру.

«Советую вам, — ответила Гария сердитым тоном, — обращаться и впредь ко мне с подобными речами. В самом деле, как это к лицу несчастному гасконскому дворянину, которого я извлекла из конуры, негодной для моих собак, изображать из себя неженку! Вероятно, вам специально душили простыни, мой милый, когда вы жили в мебелированных. Знайте же раз навсегда, что собаки гораздо раньше вас вступили в обладание моим ложем, и вы можете убираться отсюда если не желаете разделять его с ними».

Декларация была очень определенной, и собаки оста-

лись хозяевами положения. Но вот однажды ночью, когда мы все спали, Сендор, повернувшись, нечаянно толкнул ногой Зензолину. Левретка, не привыкшая к такому обращению, укусила его в ляжку, и хозяйка была тотчас же разбужена криками Сендора.

«Что с вами, сударь?—спросила она его.— Можно подумать, что вас режут. Вам приснилось что-нибудь?»

«Меня терзают ваши собаки, сударыня,— отвечал он.— Ваша левретка только что выела у меня кусок ляжки».

«Только и всего! — заметила Гария, переворачиваясь на другой бок.— Стоит шуметь из-за таких пустяков!»

Задетый этими словами, Сендор спрыгнул с кровати, поклявшись, что он не ляжет на нее, пока оттуда не будет изгнана свора. Он прибег к помощи их общих друзей, чтоб добиться изгнания псов, однако все они потерпели неудачу в этих серьезных переговорах. Гария им отвечала, что Сендор — ветрогон, которого она извлекла с чердака, где он жил с мышами и крысами; что ему не подобает разыгрывать привередника; что он спал все ночи напролет; что она любит своих собак; что они ее забавляют; что она привыкла к их ласкам с самого раннего детства и что она решила не расставаться с ним до самой смерти.

«Передайте ему еще,— продолжала она, обращаясь к посредникам,— что если он не покорится моей воле, он будет об этом жалеть всю жизнь; что я уничтожу дарственную запись, которую сделала на его имя, и прибавлю эти деньги к сумме, какую оставляю на содержание моих дорогих деток».

— Между нами говоря,— прибавило сокровище,— этот Сендор был, конечно, круглым дураком, раз он воображал, что ради него сделают то, чего не могли добиться двадцать любовников, духовник, исповедник и целая серия браминов, которые даром потратили на это свою латынь. Между тем, всякий раз как Сендор встречался с нашими животными, на него находили приступы ярости, которые он с трудом сдерживал. Однажды несчастная Зензолина попа-

лась ему под руку. Он схватил ее за ошейник и вышвырнул в окно; бедное животное разбилось насмерть. Ну и задали же тогда шуму. Гария с пылающим лицом, с глазами, полными слез...

Сокровище собиралось повторить уже рассказанное им раньше, ибо сокровища охотно впадают в повторения, по Мангогул пресек его речь. Однако молчание не было продолжительным. Решив, что болтливое сокровище уже сбито со следа, государь вернул ему способность речи, и пустомеля, разразившись смехом, продолжал как бы припоминая:

— Между прочим, я забыло вам рассказать, что случилось в первую брачную ночь Гариин. Много смешного приходилось мне видеть на моем веку, но ничто не может с этим сравниться. После торжественного ужина супругов ведут в их апартаменты; все удаляются, кроме горничных, которые раздевают госпожу. Вот она раздета. Ее укладывают в кровать, и Сендор остается наедине с ней. Заметив, что более проворные, чем он, болонки, мопсы и левретка завладевают его супругой, он сказал: «Позвольте мне, сударыня, немного отстранить этих моих соперников».

«Мой милый, сделайте, что сможете, — отвечала Гария, — а у меня, право, не хватает мужества их прогнать. Эти зверушки так привязались ко мне, и уже давно у меня нет другой компании, кроме них».

«Может быть, — продолжал Сендор, — у них хватит любви уступить сегодня место, которое подобает занимать мне».

Глава двадцать седьмая

Одиннадцатое испытание кольца. Пенсин

В царствование Каноглу и Эрgebзедэ Конго потрясали кровавые войны, и оба эти монарха обессмертили себя завоеваниями различных провинций в соседних странах. Императоры Абекса и Анготы, учитывая молодость Мангогула и его неопытность в делах правления, решили, что



«Нескромные сокровища»

С гравюры из издания 1748 г., к ил. 26

конъюнктура благоприятна для отвоевания утраченных ими провинций. Итак, они объявили войну Конго и напали на него со всех сторон. Совет Мангогула был лучший в Африке. Старый Самбуку и эмир Мирзала, участвовавшие в прежних войнах, были поставлены во главе войск; они одерживали победы за победами и создали новых генералов, способных их замещать, — обстоятельство еще более важное, чем их успехи.

Благодаря бдительности совета и достойному поведению генералов, враг, намеревавшийся завладеть государством, даже не приблизился к нашим границам, не смог защитить свои собственные, и его города и провинции были опустошены.

Однако, несмотря на славу и непрерывные успехи, Конго теряло силы, увеличиваясь в объеме. Вследствие постоянных наборов, города и деревни обезлюдели, казна была истощена.

Осады и битвы были весьма кровопролитны. Великий визирь не щадил крови солдат, и его обвиняли в том, что он завязывал сражения, ни к чему не приводившие. Все семьи были в трауре: здесь оплакивали отца, тут брата, там друга. Число убитых офицеров было огромно, и его можно было сравнить только с числом их вдов, которые хлопотали о пенсиях. Кабинеты министров прямо осаждались ими. Они засыпали султана прошениями, где неизменно говорилось о заслугах и карьере покойных, о скорби их вдов, о печальном положении детей и других трогательных вещах. Казалось, нет ничего справедливее их просьб; но откуда достать деньги для пенсий, общая сумма которых составляла миллионы?

Исчерпав высокие слова, а иной раз досаду и желчные речи, министры стали обсуждать; как им покончить с этим вопросом. Однако у них были весьма веские основания никак его не разрешать: в казне не было ни гроша.

Мангогул, которому надоели дурацкие рассуждения министров и жалобы вдов, нашел, наконец, средство, которое давно уже искал.

— Господа, — сказал он в совете, — мне кажется, что,

прежде чем назначать пенсии, нужно установить, действительно ли их заслуживают просительницы...

— Такого рода расследование, — отвечал великий сенешал, — потребует огромного труда и бесконечных обсуждений. А между тем, что нам делать с этими женщинами, которые преследуют нас своими просьбами, криками и надоедают вам больше чем кому-либо, государь?

— Справиться с ними будет не так трудно, как вам кажется, господин сенешал, — возразил султан, — и я обещаю вам, что завтра к полудню все будет улажено согласно требованиям самой строгой справедливости. Заставьте только их явиться ко мне на аудиенцию к девяти часам.

Заседание совета окончилось; сенешал вернулся в свой кабинет, погрузился в глубокое раздумье и затем набросал следующее воззвание, которое три часа спустя было палечатано, оглашено при звуках труб и расклеено на всех перекрестках Банзы:

«Указ султана

и госпоина великого сенешала.

Мы, Птицеклов, великий сенешал Конго, визирь первого ранга, шлейфносец великой Малимонбанды, глава и верховный надзиратель над всеми метельщиками дивана, доводим сим до сведения, что завтра в девять часов утра великодушный султан даст аудиенцию вдовам офицеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, — затем, чтобы, рассмотрев их просьбы, вынести справедливое решение. Издал в нашей сенешални, 12 числа месяца регеб 147 200 000 009 года».

Все безутешные вдовы Конго, — а их было много, — не преминули прочесть это объявление или заставили прочесть своих лакеев, и, само собой разумеется, в назначенный час они собрались в вестибюле перед тронным залом.

— Чтобы избежать суетоки, — сказал султан, — пусть допускают ко мне только по шести дам зараз. Когда мы их выслушаем, им растворят дверь в глубине зала, которая выходит во внешние дворы. Будьте же внимательны, господа, и вынесите решение по существу их требований.

Сказав это, он подал знак обер-актуарию, и были введены шесть вдов, стоявших ближе всего к двери. Они вошли в траурных платьях со шлейфами и отвесили глубокий поклон его высочеству.

Мангогул обратился к самой молодой и самой красивой. Ее звали Изек.

— Сударыня, — спросил он, — давно ли вы потеряли своего мужа?

— Три месяца назад, государь, — отвечала Изек, плача. — Он был генерал-поручик на службе вашего высочества. Он был убит в последнем сражении, и шесть человек детей — вот все, что мне осталось от него.

— От него? — произнес голос, который, хотя и исходил от Изек, но по тембру отличался от ее собственного. — Сударыня говорит не все, что ей известно. Все они были начаты и доделаны молодым брамином, который приходил ее утешать, пока хозяин был в походе.

Легко угадать, откуда исходил нескромный голос, давший такой ответ. Бедная Изек страшно смутилась, побледнела и, пошатнувшись, упала в обморок.

— Сударыня подвержена истерикам, — спокойно сказал Мангогул. — Перенести ее в одну из комнат сераля и оказать ей помощь.

Затем, обратившись к Фенисе, он спросил:

— Сударыня, ваш муж был пашой?

— Да, государь, — отвечала Фениса дрожащим голосом.

— И как вы его потеряли?

— Государь, он умер в своей постели, измученный трудностями последнего похода...

— Трудностями последнего похода?.. — подхватило сокровище Фенисы. — Будет вам, сударыня! Ваш муж вернулся из похода здоровым и невредимым. Он бы и теперь здоровствовал, если бы два или три прохвоста... Вы меня понимаете. Подумайте же о себе.

— Запишите, — сказал султан, — что Фениса просит о пенсии в виду личных заслуг перед государством и собственным супругом.

Третью спросили о возрасте и имени ее мужа, умершего, как говорили, от черной оспы в армии.

— От черной оспы? — воскликнуло сокровище. — Нет, совсем от другой болезни! Скажите лучше, сударыня, от пары добрых ударов саблей, полученных от санджака Кавальи за то, что ему не нравилось поразительное сходство его старшего сына с санджаком. И сударыня знает не хуже меня, — добавило сокровище, — что на этот раз были все основания для такого сходства.

Четвертая хотела заговорить, не дожидаясь вопроса Мангогула, когда из-под юбок раздался голос ее сокровища, сообщавший о том, что десять лет, пока длилась война, она не теряла времени даром, что обязанности мужа выполняли при ней два паж и продувной плут-лакей, и что она, без сомнения, предназначает пенсию, о которой хлопочет, на содержание одного актера комической оперы.

Пятая бесстрашно выступила вперед и уверенным тоном попросила о вознаграждении заслуг ее покойного супруга, аги янычаров, сложившего голову у стен Мататраса. Султан направил на нее алмаз, но напрасно. Ее сокровище безмолвствовало. «Надо сознаться, — говорит африканский автор, — что она была до того безобразна, что все удивились бы, если бы у ее сокровища было что рассказать».

Мангогул занялся шестой, и вот подлинные слова ее сокровища:

— В самом деле, у сударыни есть все основания хлопотать о пенсии, — сказала оно о той, чье сокровище упорно хранило молчание, — ведь она живет карточной игрой. Она содержит игорный дом, который приносит ей более трех тысяч цехинов годового дохода. К тому же, она устраивает интимные ужины на счет игроков и получила шестьсот цехинов от Османа за то, что пригласила меня на один из таких ужинов, где изменник Осман...

— Ваши просьбы, сударыни, будут удовлетворены, — сказал султан, — теперь вы можете удалиться.

Затем, обращаясь к советникам, он спросил их, не находят ли они смешным назначать пенсию ораве незаконных детей браминов и женщинам, которые порочили честь добрых людей, искавших славы на службе султана, не щадя жизни.

Сенешал поднялся, стал отвечать, разглагольствовать, резюмировать и высказывать свое мнение, по обыкновению, в самых неясных выражениях. Пока он говорил, Изек очнулась от обморока; она была в ярости от своего заключения, больше не надеясь на пенсию, но пришла бы в отчаяние, если бы ее получила какая-нибудь другая, что, по всей вероятности, должно было случиться; и вот она вернулась в вестибюль и шепнула на ухо двум-трем подругам, что их собрали сюда лишь для того, чтобы послушать болтовню их сокровищ; что она сама слышала в аудиенц-зале, как одно из них выкладывало разные ужасы; что она не назовет его имени, но, конечно, надо быть круглой душой, чтобы подвергаться такому риску.

Это предостережение быстро передавалось из уст в уста и разогнало толпу вдов. Когда актуарий вторично распахнул дверь — он не нашел ни одной.

Извещенный об их бегстве, Мангогул спросил сенешала, хлопнув добряка по плечу:

— Ну, вот, сенешал, будете вы мне верить в другой раз? Я вам обещал избавить вас от всех этих плакальщиц, — и вот вы от них избавились. А между тем, они были очень расположены увиваться за вами, несмотря на то, что вам уже стукнуло девяносто пять лет. Но каковы бы ни были ваши претензии по отношению к ним, — а мне известно, насколько они были обоснованы, — я полагаю, что вы будете мне благодарны за их изгнание. Они доставляли вам больше хлопот, чем удовольствия.

Африканский автор сообщает нам, что в Конго до сих пор сохранилось воспоминание об этом испытании и что по этой причине правительство Конго так туго назначает пенсии. Однако это не было единственным положительным результатом действия кольца Кукуфы, как мы увидим в следующей главе.

Глава двадцать восьмая

Двенадцатое испытание кольца. Вопросы права

Изнасилование подвергалось в Конго суровой каре. И вот произошел один очень громкий случай такого рода в царствование Мангогула. Этот государь, вступая на престол, поклялся, как и все его предшественники, что не будет прощать такого рода преступления; однако, как ни суровы законы, они не останавливают тех, кто особенно заинтересован в их нарушении. Виновного приговаривали к лишению той части тела, посредством которой он согрешил,— жестокая операция, обычно смертельная для подвергавшихся ей; производивший ее не принимал таких предосторожностей, как Пти¹⁰.

Керсаэль, молодой человек знатного рода, уже полгода изнывал в стенах тюрьмы в ожидании такой кары. Фатима, молодая и красивая женщина, оказалась его Лукрецией и вместе с тем обвинительницей. Они были в интимных отношениях, и это всем было известно. Снисходительный супруг Фатимы не возражал против их близости. Поэтому со стороны общества было бы прямо невежливо вмешиваться в их дела.

После двух лет спокойной связи, по своему непостоянству или в силу охлаждения к Фатиме, Керсаэль увлекся танцовщицей оперного театра Банзы и стал пренебрегать Фатимой, не разрывая, однако, открыто с ней связи. Ему хотелось, чтобы его уход обошелся без скандала, и это заставляло его еще посещать их дом. Фатима, разъяренная его изменой, стала обдумывать план мести и воспользовалась все еще длившимися посещениями молодого человека, чтобы его погубить.

Однажды, когда покладистый супруг оставил их одних, Керсаэль, сняв саблю, старался усыпить подозрения Фатимы уверениями, которые ничего не стоят любовникам, но никогда не могут убедить встревоженную подозрениями женщину. Внезапно Фатима, с блуждающим взглядом, быстрыми движениями привела в беспорядок свой наряд и стала испускать ужасные крики, призывая на помощь

супруга и слуг, которые прибежали и стали свидетелями оскорбления, нанесенного ей, по ее словам, Керсаэлем. Она показала им саблю, говоря:

— Мерзавец десять раз заносил ее над моей головой, чтобы заставить меня покориться его желаниям.

У молодого человека, ошеломленного коварством обвинения, не хватило сил ни отвечать, ни убежать. Его схватили, отвели в тюрьму, и над ним должно было совершиться правосудие кадилескера*.

Закон требовал, чтобы Фатима подверглась освидетельствованию; ее осмотрели, и отчет матрон оказался весьма неблагоприятным для обвиняемого. Они руководствовались формуляром для определения факта изнасилования, и все необходимые условия оказались налицо и говорили против Керсаэля. Судьи подвергли его допросу; ему дали очную ставку с Фатимой; выслушали свидетелей. Напрасно он заявлял о своей невинности, отрицал факт преступления и доказывал, что женщина, с которой он был два года в связи, не могла быть изнасилована; наличие сабли, их свидание с глазу на глаз, крики Фатимы, смущение Керсаэля при виде супруга и слуг — все это были, по мнению судей, весьма веские презумпции. Со своей стороны, Фатима, и не думавшая сознаваться в своей благосклонности к Керсаэлю, говорила, что не подавала ему и тени надежды, и утверждала, что ее упорная верность своему долгу, от которого она никогда не уклонялась, побудила Керсаэля вырвать у нее силой то, чего он уже не надеялся добиться путем соблазна. К тому же, протокол дуэний был весьма грозен. Стоило его пробежать и сличить с различными пунктами уголовного кодекса, чтобы прочесть приговор несчастному Керсаэлю. Он не ждал спасения ни от своей защитительной речи, ни от своей семьи, пользовавшейся влиянием, и магистрат назначил вынесение окончательного приговора по его процессу на тринадцатое число месяца регерб. Об этом было даже возведено народу, согласно обычаю, при звуках труб. Это событие

* Военного судьи.

было предметом разговоров и долго занимало все умы. Какие-то старые дуры, которым никогда не грозило изнасилование, ходили по городу, крича, что преступление Керсаэля ужасно, что он должен быть сурово наказан в назидание другим, а не то невинность больше не будет в безопасности, и честная женщина подвергнется риску быть оскорбленной чуть не у подножья алтаря. Затем они рассказывали о случаях, когда юные нагленцы покушались на некоторых почтенных дам; подробности, которые они при этом приводили, не оставляли сомнений в том, что «почтенные дамы» были они сами. Все это было предметом назидательных бесед между брамниами, далеко не такими невинными, как Керсаэль, и ханжами, столь же добродетельными, как и Фатима.

Петиметры же и некоторые щеголихи, наоборот, утверждали, что изнасилование — чистая химера, что сдаются лишь на капитуляцию и что если какое-нибудь место хотят защитить, совершенно невозможно овладеть им силой. В подтверждение этого приводились примеры; женщинам были известны подобные факты, петиметры их изобретали; не переставали называть имена женщин, которых не удалось изнасиловать.

— Бедняга Керсаэль, — говорил один, — какой чорт дернул его соблазниться маленькой Бимбрелок (так звали танцовщицу)! Держался бы уж своей Фатимы. Они так хорошо устроились; муж предоставлял им идти своей дорогой, — ну, прямо блаженство!.. Эти ведьмы-матроны плохо надели свои очки и ни черта не разглядели! Да и кто там сможет разобраться? И вот господа сенаторы лишат его наслаждений только из-за того, что он ломился в открытую дверь. Бедный малый не переживет этого, без всякого сомнения. Подумайте только, ведь после такого прецедента мстительным женщинам будет решительно все позволено.

— Если эта казнь совершится, — прерывал его другой, — я стану франкмасоном.

Мирзоа, от природы сострадательная, поставила на вид султану, который прохаживался насчет будущего со-

стояния Керсаэля, что, если законы говорят против молодого человека, то здравый смысл свидетельствует против Фатимы.

— Слышанное ли это дело, — прибавила она, — чтобы в просвещенном государстве так рабски следовали букве закона: простого показания потерпевшей достаточно, чтобы подвергнуть опасности жизнь гражданина! Факта изнасилования ведь нельзя констатировать, и вы согласитесь, государь, что этот факт подлежит компетенции вашего кольца не менее, чем ваших сенаторов. Было бы довольно странно, если бы матроны знали об этом предмете больше самих сокровищ. До сих пор, государь, кольцо служило почти исключительно удовлетворению любопытства вашего высочества. Но не задавался ли более высокой целью вручивший вам его гений? Если вы его используете в целях раскрытия истины и ради блага ваших подданных — неужели вы этим обидите Кукуфу? Попробуйте же! У вас в руках самое верное средство вырвать у Фатимы признание в преступлении или же доказательство ее невинности.

— Вы правы, — заметил Мангогул, — и вы будете удовлетворены.

Султан тотчас же отправился к Фатиме; нельзя было терять времени, так как был уже вечер 12 числа месяца регеб, а сенат должен был вынести свой приговор 13-го. Фатима только что легла в кровать. Занавески были полуоткрыты. Свеча бросала тусклый свет на ее лицо. Она показалась султану красной, несмотря на крайнее волнение, искажавшее ее черты. В ее глазах отражались сострадание и ненависть, скорбь и радость мщенья, дерзость и стыд, сменявшиеся в ее сердце. Она выпускала глубокие вздохи, проливая слезы, осушала их и снова лила; замирала на несколько мгновений, уронив голову и опустив глаза, потом резко вскидывала голову и метала к небесам яростные взгляды. Что же делал, меж тем, Мангогул? Он говорил сам с собой:

«Все симптомы отчаяния налицо. Ее былая печальность к Керсаэлю пробудилась с новой силой. Она забыла на-

несенное ей оскорбление и думает лишь о пытке, ожидающей ее любовника». При этих словах он направил на Фатиму роковое кольцо, и ее сокровище воскликнуло порывисто:

— Еще двенадцать часов — и мы будем отомщены. Он погибнет, изменник, неблагодарный, и его кровь прольется...

Фатима, испуганная каким-то необычайным движением в своем теле и пораженная глухим голосом своего сокровища, закрыла его обеими руками, считая долгом пресечь его речь. Но действие кольца не ослабевало, и непокорное сокровище, устраняя препятствие, продолжало:

— Да, мы будем отомщены! О ты, предавший меня, несчастный Керсаэль, умри! А ты, Бимбрелок, которую он предпочел мне, предавайся отчаянию... Еще двенадцать часов! О, до чего долгим покажется мне это время! Скорей наступайте сладостные мгновения, когда я увижу изменника, неблагодарного Керсаэля, под ножом, увижу, как прольется его кровь... Что я сказала, несчастный! Я увижу, не дрогнув, как погибнет предмет, который я больше всего люблю. Я увижу занесенный над ним зловещий нож... Нет, прочь, жестокая мысль!.. Правда, он меня ненавидит, он меня бросил ради Бимбрелок, но может быть, когда-нибудь... Что я говорю — может быть! Любовь, без сомнения, подчинит его моей власти. Эта маленькая Бимбрелок — не более как мимолетная прихоть. Рано или поздно он, конечно, убедится в том, что напрасно предпочел ее, и найдет свой выбор смешным. Утешься, Фатима, ты снова увидишь своего Керсаэля. Да, ты его увидишь! Вставай живее, лети, спеши отвратить от него ужасную опасность, ему угрожающую. Неужели ты не боишься опоздать?.. Но куда я побегу, подлая душонка? Не доказывает ли мне презрение Керсаэля, что он покинул меня навсегда? Бимбрелок им владеет, и я спасу его лишь для нее. Нет! Пусть лучше он погибнет тысячу раз! Если он больше не живет для меня, не все ли мне равно, жив он или мертв? Да, я чувствую, что мой гнев справедлив. Неблагодарный Керсаэль вполне заслужил мою ненависть.

Я больше ни в чем не раскаиваюсь. Раньше я все делало, чтобы его сохранить, теперь я сделаю все, чтобы его погубить. А между тем, днем позже моя месть не удалась бы. Но его злой гений предал его мне в тот самый момент, когда он ускользал от меня. Он попался в западню, которую я ему подстроило. Он в моих руках. Ты думал, что свидание, на которое мне удалось тебя завлечь, было последним, но ты не скоро его забудешь... Как ловко тебе удалось завлечь его, куда ты хотела! О Фатима, как хорошо был подготовлен беспорядок в твоей одежде! Твои крики, твоя скорбь, твои слезы, твое смятение, — все это, включая твое молчание, погубило Керсаэля. Ничто не в силах избавить его от ожидающей его участи. Керсаэль погиб... Ты плачешь, несчастная! Ведь он любил другую, — лучше ему не жить!

Эти речи навели ужас на Мангогула, он повернул в обратную сторону камень кольца и, меж тем как Фатима приходила в себя, поспешил назад к султанше.

— Ну, что же вы услышали, государь? — спросила она. — Керсаэль попрежнему преступен, и непорочная Фатима...

— Избавьте меня, пожалуйста, — отвечал султан, — от необходимости рассказывать вам о злодеяниях, про которые я только что услышал. До чего опасна разъяренная женщина! Кто поверит, что тело, созданное грациями, может заключать в себе сердце, выкованное фуриями? Но прежде чем завтра зайдет солнце в моем государстве, оно будет избавлено от чудовища более опасного, чем те, которых порождает пустыня.

Султан немедленно же позвал великого сенешала и приказал ему схватить Фатиму, привести Керсаэля в апартаменты сераля и объявить сенату, что его высочество берет дело в свои руки. Его приказания были выполнены в ту же ночь.

На другой день, на рассвете, султан, в сопровождении сенешала и одного эфенди, направился в покои Мирзозы и велел привести туда Фатиму. Несчастливая бросилась к ногам Мангогула, призналась в своем преступлении,

рассказала все подробности и стала заклинать Мирзозу вступить за нее. Между тем, ввели Керсаэля. Он ожидал лишь смерти и, тем не менее, вошел с выражением уверенности в правоте, которую может дать одна невиновность. Злые языки говорили, что он был бы более удручен, если бы то, что он должен был потерять, сколько-нибудь стоило наказания. Женщинам было любопытно узнать, так ли это. Он благоговейно повергся к стопам его высочества. Мангогул подал знак встать и сказал, протягивая ему руку:

— Вы невиновны, так будьте же свободны. Воздайте благодарность Бrame за ваше спасение. Чтобы вознаградить вас за перенесенные страдания, жалую вам пенсию в две тысячи цехинов из моей личной казны и первое же вакантное командорство ордена Крокодила.

Чем больше милостей сыпалось на Керсаэля, тем больше оснований было у Фатимы ожидать кары. Великий сенешал настаивал на смертной казни, основываясь на словах закона: «*Si foemina ff. de vi C. calumniatrix*»*. Султан склонялся к пожизненному заключению. Мирзоза, находя первый приговор слишком суровым, а второй — слишком снисходительным, приговорила сокровище Фатимы к заключению под замок. Флорентийский прибор был наложен на нее публично на эшафоте, который был воздвигнут для казни Керсаэля. Оттуда она была направлена в каторжную тюрьму вместе с матронами, которые так умно высказали свое решение по этому делу.

Глава двадцать девятая

Метафизика Мирзозы. Души

Пока Мангогул выпрашивал сокровища Гариин, вдов и Фатимы, у Мирзозы было достаточно времени подготовиться к лекции по философии. Однажды вечером, когда Манимонбанда молилась, и у нее не было ни картонной

* Если женщина... об изнасиловании... из ревности.

игры, ни приема, и фаворитка была почти уверена в посещении султана, — она взяла две черных юбки, одну надела, как обычно, а другую на плечи, просунув руки в прорезы, потом напялила парик сенешала и четырехугольную шапочку капеллана и, нарядившись летучей мышью, решила, что одета, как философ.

В таком обмундировании она расхаживала взад и вперед по своим апартаментам, подобно профессору Королевского колледжа, ожидающему своих слушателей. Она старалась даже придать своему лицу мрачное и сосредоточенное выражение погруженного в размышления ученого. Однако Мирзоа недолго сохраняла напускную серьезность. Вошел султан с несколькими придворными и отвесил глубокий поклон новоявленному философу; его серьезность вмиг разогнала серьезное настроение аудитории, которая в свою очередь раскатами смеха заставила его выйти из роли.

— Сударыня, — сказал Мангогул, — разве вы не обладали и без того преимуществом остроумия и красоты, — к чему же вам было прибегать еще к костюму? Ваши слова и без него имели бы тот вес, который вы им хотели придать.

— Мне кажется, государь, — отвечала Мирзоа, — что вы недостаточно уважаете этот костюм и что ученик обязан оказывать большее почтение тому, что составляет, по крайней мере, половину достоинств его учителя.

— Я замечаю, — сказал султан, — что вы уже овладели умонастроением и тоном, свойственным вашему новому сану. Теперь я уже не сомневаюсь, что ваше дарование вполне отвечает достоинству вашего костюма, и с нетерпением ожидаю его проявлений...

— Вы сейчас же будете удовлетворены, — отвечала Мирзоа, садясь посередине большой софы.

Султан и придворные разместились вокруг нее, и она начала:

— Беседовали ли когда-нибудь с вашим высочеством о природе души философы Моноэмуги, руководившие вашим воспитанием?

— О, весьма часто,— ответил Мангогул,— по все их теории дали мне лишь смутное представление об этом предмете; и не будь у меня внутреннего чувства, как бы подсказывающего мне, что эта субстанция отлична от материи, я или отрицал бы ее существование, или смешивал бы ее с телом. Не возьмете ли вы на себя помочь нам разобраться в этом хаосе?

— Я не решусь на это,— отвечала Мирзоа.— Признаюсь, я не более сведуща в этом, чем ваши педагоги. Единственное различие между ними и мной состоит в том, что я предполагаю существование субстанции, отличной от материи, они же считают ее доказанной. Но эта субстанция, если она только существует, должна же где-нибудь гнездиться. Не наговорили ли они вам и на этот счет всякого рода нелепостей?

— Нет,— ответил Мангогул,— все они в общих чертах соглашались, что она обитает в голове, и это показалось мне правдоподобным. Ведь именно голова думает, соображает, размышляет, судит, распоряжается, приказывает; и о человеке, который не умеет мыслить, всегда говорят, что он безмозглый или безголовый.

— Так вот к чему свелись ваши продолжительные занятия и вся ваша философия,— подхватила султанша,— вы допускаете известный факт и подтверждаете его ходячими выражениями. Государь, что сказали бы вы о вашем географе, если бы он преподнес вашему высочеству карту вашего государства, поместив на ней восток на западе и север на юге?

— Это очень грубая ошибка,— отвечал султан,— и ни один географ не мог бы ее сделать.

— Возможно, что и так,— продолжала фаворитка,— в таком случае ваши философы хуже самого неудачного географа. Им не приходилось наносить на карту целое государство, устанавливая границы четырех стран света,— речь шла лишь о том, чтобы погрузиться в самих себя и определить подлинное местопребывание своей души. А между тем, они поместили запад на востоке и юг на севере. Они заявили, что душа помещается

в голове, в то время, как у большинства людей она никогда там не появляется, и ее первичное обиталище — ноги.

— Ноги! — прервал ее султан, — вот уж, право, самая пустая мысль, какую мне приходилось слышать.

— Да, ноги, — продолжала Мирзоа, — это мнение, которое кажется вам таким глупым, надо только обосновать, и оно станет убедительным, в противоположность всем тем мнениям, которые вы принимаете за истинные и которые на проверку оказываются ложными. Ваше высочество только что согласилось со мной, что факт существования души основывается лишь на свидетельстве внутреннего чувства, в котором вы отдаете себе отчет, и вот я вам докажу, что все свидетельства чувств приводят к необходимости фиксировать душу именно в том месте, которое ей и предназначено.

— Мы этого и ждем от вас, — сказал Мангогул.

— Я не прошу снисхождения, — продолжала она, — и предлагаю вам высказывать свои возражения.

Итак, я вам говорила, что первичным обиталищем души являются ноги; что там она начинает свое существование и что именно оттуда она поднимается вверх в тело. Этот факт я хочу обосновать на опыте и, быть может, мне удастся заложить первые основы экспериментальной метафизики.

Все мы знаем по опыту, что душа утробного младенца долгие месяцы находится в состоянии полного оцепенения. Глаза раскрыты, но не видят, уста не говорят и уши не слышат. Душа пытается распространиться и раскрыться в ином направлении; она впервые проявляется посредством других членов тела; именно движениями ног дитя заявляет о том, что оно сформировалось. Туловище, голова и руки младенца недвижно покоятся в материнском лоне, но его ноги тянутся, сгибаются и заявляют о его существовании, и быть может даже о его потребностях. Если бы не энергия ног, что случилось бы в момент рождения с головой, туловищем и руками? Они никогда не выбрались бы из своей темницы без помощи ног, — ноги

играют тут главную роль и проталкивают вперед остальное тело. Такой порядок, установленный природой, и когда другие члены вздумают взять на себя руководство и, например, голова становится на место ног, — все идет навыоборот, и с матерью и ребенком иной раз случается бог знает что.

Когда ребенок родится, первые движения он делает опять-таки ногами. Приходится их обуздывать, всякий раз встречая с их стороны сопротивление. Голова — это недвижимый ком, с которым можно делать, что угодно, ноги же испытывают ощущения, хотят сбросить путы и словно стремятся к свободе, которую у них отнимают.

Когда ребенок начинает самостоятельно передвигаться, ноги делают тысячи усилий, они приводят в движение все тело, они командуют остальными членами, и покорные руки упираются в стены и тянутся вперед, чтобы предотвратить падение и облегчить работу ног.

Куда обращены все помыслы ребенка и что доставляет ему радость, когда он укрепится на ногах и они привыкнут двигаться? Упражнять ноги, ходить взад-вперед, бегать, прыгать, скакать. Эта подвижность нравится нам и является для нас доказательством ума ребенка, и, наоборот, мы предсказываем, что из ребенка выйдет глупец, видя, что он вял и скучен. Если вы хотите огорчить четырехлетнего ребенка, усадите его неподвижно на четверть часа или держите его взаперти между четырех стульев, — его охватит раздражение и досада; таким образом, вы не только лишаете движения ноги, но и держите в плену душу.

Душа остается в ступнях до двух или трех лет, она распространяется на голени к четырем годам, достигает колен и бедер в пятнадцать лет. В этом возрасте любят танцы, упражнения с оружием, скачки и другие энергичные телесные упражнения. Это главная страсть всех молодых людей, которой иные предаются с безумием. Как! Неужели же душа не пребывает в тех местах, где она почти исключительно проявляется и где испытывает самые приятные ощущения? Но если она меняет свои оби-



«Нескромные сокровища»

С гравюры из издания 1748 г., к ил. 31

тапища в детстве и в юности, — почему бы ей не менять их и в течение всей жизни?

Мирзоза произнесла эту тираду с такой быстротой, что даже запыхалась. Селим, один из фаворитов султана, улучил момент, когда она переводила дыхание, и сказал:

— Сударыня, я воспользуюсь вашим любезным разрешением делать вам возражения. Ваша теория остроумна, и вы ее изложили так же изящно, как и четко; но я еще не настолько убежден, чтобы считать ее доказанной. Мне кажется, вам можно возразить, что уже в самом раннем детстве голова отдает приказанья ногам и что жизненные силы исходят именно из нее, распространяясь посредством нервов на остальные члены, останавливают их или приводят в движение по воле души, пребывающей в шишковидной железе¹¹, подобно тому как из высокой Порты исходят приказы его высочества, которые заставляют его подданных действовать так или иначе.

— Пусть так, — отвечала Мирзоза, — но это утверждение довольно неясно, и я возражу на него, сославшись на данные опыта. В детстве у нас нет никакой уверенности в том, что голова наша мыслит, и вы сами, государь, хотя обладаете весьма светлой головой и слыли в самом нежном возрасте за чудо ума, — разве вы помните, что думали в то время? Но вы можете с уверенностью сказать, что когда вы прыгали, как чертенок, приводя в отчаяние гувернанток, — ваши ноги управляли головой.

— Отсюда еще ничего не следует, — возразил султан. — Вот Селим, например, был живым ребенком, таковы же и тысячи ребят. Они не рассуждают, но все же они думают; время проходит, память о вещах стирается, и они не помнят, что думали раньше.

— Но чем они мыслили? — возразила Мирзоза. — Вот в чем вопрос.

— Головой, — отвечал Селим.

— Опять эта голова, где ни зги не видеть, — возразила султанша. — Бросьте вы ваш китайский фонарь, в котором вы предполагаете наличие света, видимого лишь тому, кто его несет. Выслушайте мои доказательства,

основанные на опыте, и признайте истинность моей гипотезы. Что душа пачинает с ног свое продвижение в теле — явление настолько постоянное, что существуют мужчины и женщины, у которых она никогда не поднималась выше. Государь, вы тысячи раз восхищались легкостью Ниши и прыжками Салиго. Ответьте же мне искренно: неужели вы думаете, что у этих созданий душа помещается не в ногах? И не замечали ли вы, что у Волюсера и Зелндора душа подчиняется ногам? Танцор испытывает постоянный соблазн смотреть на свои ноги. Каким бы па он ни выделявал, внимательный взор прикован к ногам, и голова почтительно склоняется перед ними, как перед вашим высокочеством непобедимые паша.

— Ваше наблюдение верно, — заметил Селим, — но нельзя делать из него решающих выводов.

— Я и не говорю, — возразила Мирзоза, — что душа всегда помещается в ногах; она продвигается, путешествует, оставляет одну часть тела, возвращается в нее, чтобы снова ее покинуть, — но я утверждаю, что остальные члены всегда подчинены тому, в котором она обитает. Местопребывание ее бывает различным, в зависимости от возраста, темперамента, обстоятельств, — отсюда возникают и различия во вкусах, наклонностях и характерах. Неужели вас не восхищает плодотворность моего принципа? И не доказывается ли его истинность множеством феноменов, на которые он распространяется?

— Сударыня, — сказал Селим, — если вы покажете нам его действие в некоторых случаях, мы, может быть, получим те доказательства, которых еще ожидаем от вас.

— Весьма охотно, — отвечала Мирзоза, начавшая чувствовать перевес на своей стороне. — Вы будете удовлетворены, следите только за нитью моих мыслей. Я не претендую на аргументацию. Я говорю, основываясь на свидетельствах чувств, это наша женская философия, и вы ее понимаете немногим хуже нас. Весьма правдоподобно, — прибавила она, — что до восьми-десяти лет душа занимает ступни и голени, но в этом возрасте или даже немного позже она покидает эту квартиру по собственному побу-

ждению или против воли. Против воли, когда педагог применяет известные орудия, чтобы изгнать ее из родного края и направить в мозг, где она обычно превращается в память, и лишь в редчайших случаях в суждение. Такова участь детей школьного возраста. Равным образом, если глупая гувернантка, стремясь воспитать молодую особу, пичкает знаниями ее голову, пренебрегая сердцем и моралью,—душа быстро устремляется к голове, останавливается на языке или помещается в глазах, и ее ученица становится докучной болтуней или кокеткой. Подобным же образом сладострастная женщина — это та, у которой душа обретается в сокровище, никогда его не покидая.

Женщина легкомысленная — та, душа которой находится то в сокровище, то в глазах.

Добродетельная женщина — та, чья душа — то в голове, то в сердце и больше нигде.

Если душа сосредоточена в сердце, она создает характеры чувствительные, сочувственные, правдивые, великодушные. Если она безвозвратно покинет сердце, она поднимается в голову и создает людей, которых мы называем черствыми, неблагодарными, лукавыми и жестокими.

Весьма обширна категория людей, у которых душа посещает голову лишь как загородную виллу, не заживаясь там подолгу. Это петиметры, кокетки, музыканты, поэты, романисты, придворные и все так называемые хорошенькие женщины. Послушайте, как рассуждает такое создание, и вы тотчас же узнаете в нем бродячую душу, страдающую от постоянных перемен климата.

— Если это так,— заметил Селим,— то природа должна была создать много бесполезного. Однако наши мудрецы утверждают, что она ничего не производит бесцельно.

— Оставьте в покое ваших мудрецов с их высокими словами,— ответила Мирзоа,— что касается природы, будем смотреть на нее лишь с точки зрения опыта, и мы увидим, что она поместила душу в тело человека как в обширный дворец, в котором она не всегда занимает

лучшее помещение. Голова и сердце специально ей предназначены как центр добродетелей и местопребывание истины, но чаще всего она останавливается на пути и предпочитает им чердак, подозрительную трущобу, жалкий постоялый двор, где она дремлет в постоянном опьянении. О, если бы мне было дано хотя бы на одни сутки распорядиться вселенной по своему усмотрению, поверьте, я бы вам доставила весьма занятное зрелище: в один миг я отняла бы у всех душ те части их обиталища, которые им не пужны, и каждую личность охарактеризовало бы то, что выпало бы ей на долю. Таким образом, от танцовщиков остались бы ступни или самое большее — голени, от певцов — горло, от большинства женщин — сокровище, от героев и драчунов — вооруженный кулак, от иных ученых — безмозглый череп, у картежницы остались бы лишь кисти рук, беспрестанно перебирающие карты, у обжоры — вечно жующие челюсти, у кокетки — глаза, у развратника — лишь орудие его страсти; невежды и лентяи обратились бы в ничто.

— Если только вы оставите женщинам руки, — прервал ее султан, — они будут преследовать тех, кому вы дадите лишь орудие их страсти. Это будет презабавная охота, и если бы повсюду гонялись за этими птицами так же, как в Конго, — их порода скоро бы прекратилась.

— Но чем вы представили бы женщин нежных и чувствительных, любовников постоянных и верных? — спросил Селим фаворитку.

— Сердцем, — отвечала Мирзога, — и я знаю, — добавила она, нежно взглянув на Манчогула, — с чьим сердцем стремилось бы соединиться мое.

Султан не устоял против этой речи; он вскочил с кресла и бросился к фаворитке; придворные исчезли, и кафедра новоявленного философа сделалась ареной их наслаждений; он доказал ей неоднократно, что был не менее очарован ее чувствами, чем ее речью, — и философское обмундирование пришло в беспорядок. Мирзога вернула своим горничным черные юбки, отослала господину сенешалу его огромный парик и господину аббату — его че-

тырехугольную шапочку вместе с запиской, где обещала включить его в число кандидатов при ближайших назначениях. Чего только бы он не достиг, если бы был остроумцем! Место в Академии было наименьшей наградой, на какую он мог бы рассчитывать, но, к несчастью, он знал всего каких-нибудь двести-триста слов, и ему никогда не удалось сочинить даже пары ригурнелей.

Глава тридцатая

Продолжение предыдущей беседы

Из всех присутствовавших на лекции Мирзозы по философии один Мангогул прослушал ее до конца, ни разу не прервав. Это обстоятельство удивило ее, так как он любил противоречить.

— Неужели султан принимает мою теорию целиком?— спрашивала она себя.— Нет, это маловероятно. Или, может быть, он нашел ее слишком слабой, чтобы опровергать? Возможно. Конечно, мои мысли не принадлежат к самым истинным из всех, что были высказаны до сих пор, но, с другой стороны, они не принадлежат и к самым ложным, и я полагаю, что иной раз выдумывают кое-что и похуже моего.

Чтобы разрешить это сомнение, фаворитка решила расспросить Мангогула.

— Скажите, государь,— обратилась она к нему,— как находите вы мою теорию?

— Она удивительна,— отвечал султан,— и я нахожу в ней лишь один недостаток.

— Какой же именно?— спросила фаворитка.

— Дело в том,— сказал Мангогул,— что она ложна до основания. Если следовать вашим рассуждениям, придется допустить у всех людей наличие души, а между тем, о услада моего сердца, нет никакого смысла в таком допущении. У меня есть душа. Вот это животное почти все время ведет себя так, как если бы у него не было души; может быть, у него и нет ее, хотя иногда оно действует

так, как если бы она у него была. Но у него такой же нос, как и у меня; я чувствую, что имею душу и мысль; итак, у этого животного тоже есть душа, и оно также мыслит.

Уже тысячу лет строят подобные рассуждения, им нет числа и все они бессмысленны.

— Сознаюсь,— заметила фаворитка,— для нас не всегда очевидно, что другие мыслят.

— Прибавьте,— подхватил Мангогул,— что в сотне случаев совершенно очевидно, что они не мыслят.

— Не было бы, как мне кажется, слишком поспешно делать отсюда вывод, что они никогда не мыслили и не будут мыслить,— возразила Мирзоа.— Ведь из того, что человек иногда бывает животным, не значит, что он вообще животное, и ваше высочество...

Боясь оскорбить султана, Мирзоа оборвала речь.

— Продолжайте, сударыня,— сказал Мангогул,— я вас понимаю. Не правда ли, вы хотели сказать, что и мое высочество бывает животным? Я отвечу вам на это, что, действительно, мне иной раз случалось быть животным и что я прощал тех, которые меня считали таковым,— ведь вы же знаете, что иные держались такого мнения, хотя и не дерзали мне его высказать.

— Ах, государь,— воскликнула фаворитка,— если бы люди стали отрицать душу у величайшего в мире монарха, то за кем же они признали бы ее!

— Довольно комплиментов,— сказал Мангогул.— На несколько мгновений я сложил корону и скипетр. Я перестал быть султаном, чтобы стать философом, и я могу выслушивать и говорить правду. Я, кажется, достаточно доказал вам первое, и вы мне намекнули со свойственной вам непринужденностью, отнюдь не обижая меня, что я бывал иногда скотом. Так дайте же мне выполнить до конца обязанности, вытекающие из моей новой роли.

— Я далек от того, чтобы допускать вместе с вами,— продолжал он,— что все, имеющие подобно мне ноги, руки, глаза и уши, обладают, подобно мне, и душой. И я заявляю вам, что никогда не отступлюсь от убеждения, что

три четверти мужчины и все женщины не более как автоматы.

— В ваших словах, — ответила фаворитка, — я не вижу ни истины, ни вежливости.

— О, — воскликнул султан, — сударыня сердится! На какого же чорта вы вздумали философствовать, если вы не хотите, чтобы я говорил вам правду! Неужели же вы будете искать вежливость в школах? Ведь я вам развязал руки, так предоставьте же и мне свободу выражений. Итак, я вам сказал, что вы все животные.

— Да, государь, — отвечала Мирзога, — и вам оставалось это доказать.

— Нет ничего легче, — отвечал султан.

И он стал говорить всякие скверные вещи, которые уже тысячи раз твердили и повторяли без всякого остроумия и изящества про пол, обладающий в высокой степени этими качествами. Никогда терпение Мирзога не подвергалось большему испытанию, и на вас напала бы самая злая скука, если бы я привел вам все рассуждения Мангогула. Этот государь, не лишенный здравого смысла, в тот день проявил невообразимую глупость. Вот вам образец ее.

— Не подлежит сомнению, — говорил он, — что женщина только животное, и я держу пари, что если направлю кольцо Кукуфы на мою кобылу, она станет говорить, как женщина.

— Вот, без сомнения, — заметила Мирзога, — самый сильный аргумент, какой когда-либо направляли или будут направлять против нас.

И она стала хохотать, как безумная. Мангогул, раздраженный тем, что ее смеху не было конца, поспешно вышел, решив проделать странный опыт, пришедший ему в голову.

Глава тридцать первая

Тринадцатая проба кольца. Маленькая кобыла

Я не слишком опытный портретист. Я пощадил читателя и не дал ему портрета любимой жены султана, но я

не могу избавить его от портрета кобылы султана. Она была среднего роста, хороших статей, ее можно было упрекнуть лишь в том, что она слишком низко опускала голову. Масти она была золотистой, глаза голубые, копыта маленькие, ноги сухие, крепкий постав и круп легкий. Ее долго обучали танцевать, и она делала поклоны, как председатель собрания. В общем, это было довольно красивое животное, главное, кроткое, хорошо шло под верхом, но вы должны были быть великолепным наездником, чтобы она не выбрѣсила вас из седла. Раньше она принадлежала сенатору Аарону, но однажды вечером маленькая капризница закусил удила, швырнула на землю господина референта вверх тормашками и помчалась во весь опор в конюшни султана, унося на себе седло, узду, сбрую, дорогой чапрак и попону — весьма ценные; они ей так шли, что их не сочли нужным вернуть хозяину.

Мангогул проследовал в свои конюшни в сопровождении первого секретаря Зигзага.

— Слушайте внимательно, — сказал он ему, — и записывайте...

И он направил кольцо на кобылу, которая принялась подпрыгивать, скакать, брыкаться и выделывать вольты с тихим ржаньем.

— О чем вы думаете? — сказал султан секретарю. — Пишите же...

— О султан, — отвечал Зигзаг, — я жду, когда ваше высочество заговорит...

— На этот раз вам будет диктовать моя кобыла, — заявил Мангогул. — Пишите.

Зигзаг, которому это приказание показалось унижительным, взял на себя смелость заметить, что всегда почтет за честь быть секретарем султана, но не его кобылы...

— Пишите, — говорю я вам, — повторил султан.

— Государь, — возразил Зигзаг, — я не могу, мне неизвестна орфография этих слов...

— И все-таки пишите, — настаивал султан.

— Я в отчаянии, что не могу повиноваться вашему величеству, — сказал Зигзаг, — по...

— Но вы болван, — прервал его Мангогул, разъяренный таким неуместным отказом. — Убирайтесь из моего дворца и больше не показывайтесь мне на глаза.

Несчастный Зигзаг удалился, познав на опыте, что честный человек не должен входить в дома большинства великих мира сего или же должен оставлять за дверьми свои убеждения. Позвали другого секретаря. Это был провансалец, открытый, честный, главное, бескорыстный. Он помчался туда, куда, как ему казалось, звали его судьба и долг, отвесил султану глубокий поклон, другой еще более глубокий — его кобыле и записал все, что лошади было угодно продиктовать.

Всех, кто пожелает ознакомиться с ее речью, я считаю долгом отослать в архивы Конго. Государь велел немедленно же раздать копии ее речи всем переводчикам и профессорам иностранных языков как древних, так и новых. Один из них заявил, что это — монолог из какой-то древнегреческой трагедии, показавшийся ему весьма трогательным, другой, ломая голову, открыл, что это важный фрагмент египетской теологии; третий утверждал, что это начало погребальной речи в честь Ганнибала на языке карфагенян; четвертый уверял, что произведение написано по-китайски и что это весьма благочестивая молитва, обращенная к Конфуцию.

В то время как мужи науки надоедали султану своими учеными гипотезами, он вспомнил про путешествия Гулливера и решил, что этот англичанин, столько времени проживший на острове, где у лошадей свое государство, законы, короли, боги, жрецы, религия, храмы и алтари, и, вероятно, в совершенстве изучивший их нравы и обычаи, должен великолепно знать и их язык. И в самом деле, Гулливер свободно прочел и истолковал слова кобылы, несмотря на то, что запись пестрела орфографическими ошибками. И это — единственный хороший перевод, существующий в Конго. Мангогул узнал, к своему удовлетворению, и к вящей чести своей теории, что это хроника любви старого паши с тремя бунчуками и маленькой кобылой, которую до него покрывало неисчислимое множество

ослов; этот странный анекдот является, однако, истинным фактом, известным султану и решительно всем при дворе в Банзе и в остальном его государстве.

Глава тридцать вторая,

быть может наилучшая и наименее читаемая в этой книге. Сон Мангогула, или путешествие в страну гипотез

— Ах, — сказал Мангогул, зевая и протирая глаза, — у меня болит голова. Пусть никогда не говорят со мной о философии; эти разговоры вредны. Вчера я лег в кровать, с головой, набитой пустыми идеями, и, вместо того, чтобы спать, как подобает султану, мой мозг потрудился за одну ночь больше, чем мозги моих министров за целый год. Вы смеетесь, но чтобы вам доказать, что я ничуть не преувеличиваю, и отомстить за скверную ночь, которой я обязан вашим рассуждениям, я заставлю вас выслушать мой сон от начала до конца.

Я начинал забываться, и мое воображение вступало уже в свои права, когда я увидел, что рядом со мной прыгает какой-то странный зверь. У него была голова орла, лапы грифа, туловище лошади и хвост льва.

Я схватил его, несмотря на прыжки, и, уцепившись за гриву, легко прыгнул к нему на спину. Тотчас же он развернул длинные крылья, росшие из боков, и я почувствовал, что несусь по воздуху с ужасающей быстротой.

Мы долго летели; наконец я заметил в мутном пространстве здание, парившее в воздухе словно по волшебству. Оно было велико. Не могу сказать, чтобы его портил слишком большой фундамент, ибо оно ни на чем не покоилось. Колонны меньше полуфута диаметром поднимались в необозримую даль, поддерживая своды, которые можно было различить лишь благодаря просветам, симметрично на них расположенным.

Гиппогриф остановился у входа в это здание. Сперва я колебался, сойти ли мне с моего скакуна, ибо мне каза-

лось менее опасным летать на гиппогрифе, чем разгуливать под этим портиком. Однако, увидав, что здание населяет множество людей и что все лица удивительно спокойны, я спрыгнул с гиппогрифа, замешался в толпу — стал разглядывать составлявших ее людей.

Это были старики, или безобразно раздутые, или тонкие, без всякого дородства и бессильные, — почти все они отличались каким-нибудь уродством. У одного была слишком маленькая голова, у другого слишком короткие руки. У этого было уродливое туловище, у того не хватало ног. У большинства недоставало ступней, и они ходили на костылях. От малейшего дуновения они падали и лежали на полу до тех пор, пока у кого-нибудь из вновь прибывших не являлось желание их поднять. Несмотря на все эти недостатки, они могли на первый взгляд понравиться. В их лицах было что-то значительное и смелое. Они были почти обнажены, всю их одежду составлял лоскуток, не закрывавший и сотой части тела.

Я продолжал протискиваться в толпе и подошел к подножию трибуны, над которой была натянута как полое огромная паутина. Впрочем, смелость этого сооружения гармонировала со смелостью всего здания. Мне показалось, что трибуна словно балансирует на острие иглы. Я непрерывно трепетал за жизнь человека, находившегося на ней. Это был старец с длинной бородой, такой же сухощавый, как его ученики, и еще более обнаженный. В руках у него была соломинка, он окунал ее в сосуд, полный какой-то прозрачной жидкости, затем подносил к губам и выдувал пузыри, посылая их в обступившую его толпу зрителей, которые старались подбросить пузыри к самым облакам.

— Где я? — спрашивал я себя, смущенный этим ребячеством. — Как истолковать поведение человека, выдувающего пузыри, и всей этой толпы дряхлых детей, пускающих их в небо? Кто разъяснит мне загадку?

Меня поразили также лоскутки материи, и я заметил, что чем крупнее они были, тем меньше интересовались пузырями их носители. Сделав это странное наблюдение,

я решил заговорить с тем из стариков, который покажется мне наименее раздетым.

Я заметил, что у одного из них плечи наполовину прикрыты лохмотьями, так искусно подогнанными друг к другу, что швы были незаметны. Он расхаживал в толпе, почти не обращая внимания на то, что творилось вокруг. Обнаружив, что у него приветливый вид, улыбка на губах, благородная походка и кроткий взгляд, я направился прямо к нему.

— Кто вы? Где я? И что это за люди? — спросил я его без церемоний.

— Я Платон, — отвечал он. — Вы находитесь в стране гипотез, и все эти люди — творцы различных систем.

— Но в силу какой случайности находится здесь божественный Платон? — спросил я. — И чем он здесь занят среди этих безумцев?

— Вербовкой, — отвечал он. — Поодаль от этого портика у меня небольшое святилище, куда я и отвожу тех, кто отказывается от своих систем.

— И что же вы заставляете их делать?

— Познавать человека, жить, осуществлять добродетели и приносить жертвы грациям.

— Это прекрасное занятие, но что означают лоскутки материи, благодаря которым вы скорее смахиваете на нищих, чем на философов?

— Зачем вы меня об этом спрашиваете? — сказал он, вздыхая. — Зачем вызываете вы во мне давние воспоминания? Этот храм никогда не был храмом философии. Увы! Как изменились эти места! Кафедра Сократа стояла вот здесь...

— Как! — прервал я его. — У Сократа тоже была соломинка, и он выдувал пузыри?

— Нет! Нет! — ответил Платон. — Не таким путем заслужил он от богов название самого мудрого из людей. Всю свою жизнь он занимался лишь обработкой умов и воспитанием сердец. Этот секрет погиб с его смертью. Сократ умер, и с ним миновала прекрасная пора философии. Эти клочки ткани, которыми благоговейно украшают

себя творцы систем, — не что иное, как клочки его одежды. Едва закрыл он глаза, как люди, претендовавшие на звание философа, набросились на его платье и разорвали его на клочки.

— Поппимаю,— заметил я.— И эти клочки послужили этикетками им, а также их многочисленному потомству...

— Кто соберет эти лоскутки,— продолжал Платон,— и восстановит нам платье Сократа?

Выслушивая это патетическое восклицание, я заметил вдалеке ребенка, направлявшегося к нам медленными, но уверенными шагами. У него была маленькая головка, миниатюрное тело, слабые руки и короткие ноги, но все его члены увеличивались в объеме и удлинялись, по мере того как он продвигался. В процессе этого быстрого роста он представлялся мне в различных образах: я видел, как он направлял на небо длинный телескоп, устанавливал при помощи маятника быстроту падения тел, определял посредством трубочки, наполненной ртутью, вес воздуха, и с призмой в руках разлагал световой луч. К этому времени он стал колоссом, головой он поднимался до облаков, ноги его исчезали в бездне, а простертые руки касались обоих полюсов. Правой рукой он потрясал факелом, свет которого разливался по небу, озарял до дна море и проникал в недра земли.

— Что это за гигант направляется к нам?— спросил я Платона.

— Узнайте же, это Опыт,— отвечал он.

Но успел он сказать это, как Опыт приблизился к нам, и колонки портика гипотез закачались, своды его покоробились, и плиты пола раздвинулись у нас под ногами.

— Бежим,— сказал мне Платон.— Бежим! Это здание не простоит и минуты.

С этими словами он пустился бежать, я последовал за ним. Колосс подошел, ударил по портику, тот рухнул с ужасным грохотом, и я проснулся.

— О государь,— воскликнула Мирзоза,— да вы мастер видеть сны. Я была бы рада, если бы вы хорошо

провели ночь, но теперь, когда я познакомилась с вашим сном, мне было бы досадно, если бы вы его не видели.

— Сударыня, — сказал Мангогул, — я припоминаю лучше проведенные ночи, чем та, в которую мне приснился так понравившийся вам сон. Если бы от меня зависело, куда держать путь, то по всей вероятности, не надеясь найти вас в стране гипотез, я направил бы стопы в другие места. У меня не болела бы сейчас голова или, по крайней мере, было бы из-за чего ей болеть.

— Государь, — ответила Мирзоза, — будем надеяться, что это пустяки и что две-три пробы кольца избавят вас от боли.

— Посмотрим, — сказал Мангогул.

Разговор между султаном и Мирзозой продолжался еще несколько минут, он покинул ее лишь в одиннадцать часов и направился навстречу приключению, с которым мы познакомимся в следующей главе.

Глава тридцать третья

Четырнадцатая проба кольца. Немое сокровище

Из всех дам, блиставших при дворе султана, ни одна не могла сравниться в прелести и остроумии с молодой Эгле, женой великого кравчего его высочества. Она бывала на всех приемах у Мангогула, который любил изящество ее беседы; казалось, ни одно увеселение или развлечение не могло обойтись без Эгле — она бывала на вечерах у всех придворных. Эгле можно было встретить повсюду — на балах, спектаклях, интимных ужинах, охотах, играх. Везде она была желанной гостьей. Казалось, что из-за любви к удовольствиям она иной раз раздроблялась на части, чтобы угодить всем, желавшим залучить ее к себе. Поэтому нет надобности говорить, что не было женщины, такой желанной для всех и вместе с тем такой популярной, как Эгле.

Ее постоянно преследовала целая толпа воздыхателей, и было известно, что она далеко не со всеми была су-

рова. Была ли то с ее стороны оплошность или обходительность,— по простую вежливость нередко принимали как знаки внимания, и стремившиеся ей поправиться мужчины читали иногда нежность во взглядах, никогда не выражавших ничего, кроме приветливости. Не будучи ни язвительной, ни злоречивой, она открывала уста лишь затем, чтобы говорить лестные вещи, и вкладывала в свои слова столько души и живости, что в иных случаях ее похвалы наводили на мысль, будто она уже оказала кому-то предпочтенье и хочет себя обелить, другими словами, что свет, украшение и радость которого она составляла, недостойны ее.

Можно подумать, что женщина, которую можно было бы упрекнуть лишь в избытке доброты, не должна иметь врагов. А между тем, у нее были враги, и жестокие. Ханжи Банзы находили, что у нее слишком развязный вид и непристойная манера держаться; усматривая в ее поведении только бешеную жажду светских удовольствий, они решили, на основании всего этого, что ее нравственность сомнительна, и милосердно намекали об этом каждому, кто хотел их слушать.

Придворные дамы были не более снисходительны к ней. Они стали подозревать у Эгле связи, приписывали ей любовников, сделали ее даже героиней кое-каких крупных похждений, заставили ее играть, некоторую роль в других; были известны подробности, называли свидетелей.

— Ну да,— шептали на ухо,— ее застали во время свидания с Мельраимом в одной из рощиц большого парка. Эгле не лишена ума,— добавляли при этом,— а у Мельраима его слишком много, чтобы он забавлялся разговорами в десять часов вечера в рощице...

— Вы ошибаетесь,— возражал петиметр,— я сто раз прогуливался с ней в сумерки и получил большое удовольствие. Но, между прочим, знаете ли вы, что Зулмар постоянно присутствует при ее туалете?

— Конечно, нам это известно, а также, что она принимает за туалетом, только когда ее муж на дежурстве у султана...

— Бедняга Селеби, — подхватывала другая. — Его жена афиширует свои связи, надевая эгретку и серьги, которые получила в подарок от нашей Измаила...

— Правда ли это, сударыня?..

— Истинная правда, она сама мне об этом говорила, но, ради Браммы, пусть это останется между нами. Эгле моя подруга, и я буду очень огорчена...

— Увы! — скорбно восклицала третья. — Бедное маленькое создание губит себя своей безрассудной веселостью. Конечно, ее жалко. Но двадцать интриг сразу — это уж, мне кажется, слишком.

Петиметры также не щадили ее. Один рассказывал про охоту, когда они вместе заблудились. Другой красноречиво умалчивал, из уважения к ее полу, о последствиях весьма оживленного разговора, который они вели под масками на балу, где он ее подцепил. Третий рассыпался в похвалах ее уму и прелестям, и в заключение показывал ее портрет, полученный, по его словам, от нее в минуту благосклонности.

— Этот портрет, — говорил четвертый, — более похож, чем тот, что она подарила Жюнеки.

Эти разговоры дошли до ее супруга. Он любил жену, но целомудренно, и так, что никто об этом не подозревал. Он отказывался верить первым донесениям, но обвинения сыпались со всех сторон, и он решил, что друзья проникательней его. Он с самого начала предоставил Эгле полную свободу и теперь стал подозревать, что она злоупотребила ею. Ревность овладела его душой. Он начал всячески утеснять жену. Эгле тем более раздражала перемена в его обращении, что она чувствовала себя невиновной. Природная живость и советы добрых подруг толкнули ее на необдуманные шаги, которые создали полную иллюзию ее виновности и чуть было не стоили ей жизни. Разгневанный Селеби некоторое время обдумывал способы мщениия: кинжал, яд, роковая петля... Он остановился на казни более медленной и жестокой: переезд в имение. Это подлинная смерть для придворной дамы. Итак, отданы распоряже-



«Пескромные сокровища»

С гравюры из издания 1748 г., к ил. 33

ния; однажды вечером Эгле узнает о своей участи; ее слезы не встречают отклика; ее доводов не слушают; и вот она заточена в старом замке в двадцати четырех лье от Банзы; компанию ее составляют две горничных и четыре чернокожих евнуха, не спускающих с нее глаз.

Не успела она уехать, как вдруг оказалась невинной. Петиметры забыли о ее похождениях, женщины простили ей остроумие и обаяние, и весь свет стал ее жалеть. Мангогул узнал из уст самого Селеби о том, что побудило его принять ужасное решение относительно жены, и, казалось, один только одобрил его.

Злосчастная Эгле уже около полугода изнывала в изгнании, когда разыгралась история с Керсаэлем. Мирзозе хотелось бы, чтобы Эгле была невинной, но она не смела на это надеяться. И все-таки однажды она сказала султану:

— Ваш перстень только что спас жизнь Керсаэлю, — не сможет ли он вернуть из ссылки Эгле? Но, конечно, это невозможно. Ведь пришлось бы для этого спросить ее сокровище, а бедная затворница погибает от скуки за двадцать четыре лье от нас...

— Вы очень интересуетесь судьбой Эгле? — спросил Мангогул.

— Да, государь, в особенности, если она невинна, — отвечала Мирзоза.

— Меньше чем через час вы получите новости о ней, — заявил Мангогул. — Или вы позабыли о свойствах моего перстня?

Сказав это, он вышел в сад, повернул перстень, и не прошло и четверти часа, как он очутился в парке замка, где жила Эгле. Там он увидел Эгле, удрученную печалью; она опустила голову на руки, с нежностью произносила имя своего супруга и орошала слезами дерн, на котором сидела. Мангогул приблизился к ней, повернул камень, и сокровище Эгле грустно сказала:

— Я люблю Селеби.

Султан ждал продолжения, но его не было; он решил, что виновато кольцо, и два или три раза потер

его в шляпу, прежде чем снова направить на Эгле. Сокровище повторяло:

— Я люблю Селеби,— и замолкло.

— Вот,— сказал султан,— подлинно скромное сокровище. Посмотрим-ка еще раз и прижмем его к стенке.

Он придавал кольцу всю силу, какую то было способно вместить, и направил его на Эгле. Но ее сокровище оставалось немым. Оно упорно хранило молчание, прерывая его лишь для того, чтобы сказать:

— Я люблю Селеби и никогда не любило никого другого.

Придя к определенному решению, Мангогул через пятнадцать минут вернулся к Мирзозе.

— Как, государь,— воскликнула она,— вы уже вернулись? Ну, что же вы узнали? Принесли ли вы новый материал для разговоров?

— Я ничего не принес,— ответил султан.

— Как! Ничего?

— Решительно ничего. Я никогда не встречал более молчаливого сокровища, мне удалось вырвать у него лишь эти слова: «Я люблю Селеби; я люблю Селеби и никогда не любило никого другого».

— О государь! — воскликнула Мирзоза. — Что вы мне говорите! Какая счастливая новость! Вот, наконец, добродетельная женщина. Неужели же вы потерпите, чтобы она страдала?

— Нет,— ответил Мангогул,— ее изгнание должно окончиться, но не думаете ли вы, что это будет во вред ее добродетели? Эгле добродетельна, но поймите, услада моего сердца, чего вы требуете от меня: вернуть ее ко двору, чтобы она продолжала там быть добродетельной. Ну, что же, вы будете удовлетворены.

Султан немедленно же вызвал Селеби и сказал ему, что, разобрав все ходившие об Эгле слухи, нашел, что это суцая ложь и клевета, и приказывает вернуть ее ко двору. Селеби повиновался и представил жену Мангогулу. Она хотела броситься к ногам его высочества, но султан остановил ее, говоря:

— Мадам, благодарите Мирзозу. Ее расположение к вам побудило меня проверить обвинения, которые возводились на вас. Продолжайте быть украшением моего двора, но помните, что хорошенькая женщина может повредить своей репутации неосторожностью не менее, чем похождениями.

На другой день Эгле снова появилась у Манимоп-бабды, которая встретила ее с улыбкой. Петиметры начали засыпать ее пошлыми комплиментами, дамы бросились ее обнимать и стали попережнему терзать ее имя.

Глава тридцать четвертая

Прав ли был Мангогул?

С тех пор как Мангогул получил роковой подарок Кукуфы, смешные стороны и пороки женщин сделались постоянным предметом его шуток. Он не знал меры и нередко надоедал фаворитке. Но скука вызывала у Мирзозы, так же, как у многих других, два неприятных последствия: она приходила в дурное настроение, и в словах ее появлялась горечь. Горе тем, кто к ней приближался в эти минуты. Она не щадила никого, даже султана.

— Государь,— сказала она в один из дурных моментов,— вы знаете пропасть всяких вещей, но известна ли вам последняя новость?

— Какая же? — спросил Мангогул.

— Что вы вызубриваете наизусть каждое утро по три страницы из Брантома или Увилля, и неизвестно, кого из этих глубоких умов вы предпочитаете.

— Это неверно, мадам,— возразил Мангогул.— Именно Кребильон¹²...

— О, не отрекайтесь от чтения этих книг! — прервала его фаворитка.— Новые сплетни, которые плетут про вас, до того противны, что лучше уже подогревать старые. Право, у этого Брантома есть много хорошего. Если вы прибавите к его рассказкам три или четыре главы из Бейля, вы станете так же умны, как маркиз

Д... и шевадье де-Мун вместе взятые. Это сделает вашу беседу удивительно разнообразной. Вы отделаете как следует женщины, вы обрушитесь на пагоды, от пагод вы снова вернетесь к женщинам. В самом деле, вам не хватает лишь краткого руководства по нечестию, чтобы стать вполне занимательным собеседником.

— Вы правы, мадам, — отвечал Мангогул, — я добуду такое руководство. Тот, кто боится быть обманутым на этом и на том свете, не перестанет сомневаться в могуществе пагод, в честности мужчин и в добродетели женщин.

— Итак, по-вашему, наша добродетель нечто весьма сомнительное? — спросила Мирзоза.

— В высшей степени, — отвечал Мангогул.

— Государь, — сказала Мирзоза, — вы сотни раз утверждали, что ваши министры — честнейшие люди в Конго. Я имела несчастье выслушать столько похвал вашему сенешалу, губернаторам провинций, вашим секретарям, вашему казначею, одним словом, всем вашим чиновникам, что могу повторить их вам слово в слово. И меня удивляет, что высокое мнение, которое вы составили себе обо всех приближенных, не распространяется лишь на предмет вашей нежности.

— А кто вам сказал, что это так? — возразил султан. — Знайте же, мадам, что все, что я говорю о женщинах, будь это правда или ложь, не имеет ни малейшего отношения к вам, если только вы не почитаете себя представительницей вашего пола в целом.

— Я не советую, сударыня, этого делать, — заметил Селим, присутствовавший при разговоре. — От этого на вашу долю выпадут лишь недостатки.

— Я не принимаю, — заявила Мирзоза, — комплиментов, которые расточают мне за счет мне подобных. Если хотят меня хвалить, я желаю, чтобы это не было никому во вред. Большинство высказываемых нам любезностей походят на пышные празднества, которые паши дают вашему высочеству, — они всегда дорого обходятся народу.

— Оставим это, — сказал Мангогул. — Но скажите по совести, разве вы не убедились, что добродетель женщин Конго — химера? Разве вы не видите, улада моего сердца, каково модное воспитание, какие примеры получают молодые девушки от своих матерей; и разве не внушают хорошенькой женщине тот предрассудок, что ограничить себя хозяйством, управлять домом и находиться при муже, — значит вести унылую жизнь, погнаться от скуки и похоронить себя заживо? К тому же, мужчины так предприимчивы, и молодая неопытная девушка бывает так польщена, когда видит, что сию интересуются. Я не раз утверждал, что добродетельные женщины встречаются редко, чрезвычайно редко; и теперь я и не думаю отречься от своих слов, и охотно прибавлю, что меня удивляет, если они еще существуют. Спросите Селима, что он думает об этом.

— Государь, — возразила Мирзога, — Селим слишком многим обязан нашему полу, чтобы безжалостно его поносить.

— Мадам, — заговорил Селим, — его высочество, которому было невозможно встретить отказ, естественно должен именно так судить о женщинах. А вы, со свойственной вам добротой, судите о других по самой себе, и, конечно, не можете быть иного мнения, чем то, какое вы защищаете. Должен, однако, признаться, я готов поверить, что есть рассудительные женщины, которым на опыте известны преимущества добродетели и которые убедились путем размышлений в печальных последствиях распушенности; это — благородные, благовоспитанные женщины, которые поняли, в чем их долг, с любовью его исполняют и никогда ему не изменяют.

— Чтобы нам не вдаваться в пустые рассуждения, — прибавила фаворитка, — возьмем хотя бы Эгле. Она весела, любезна, очаровательна, — и, разве в то же время она не образец благоразумия? Вы в этом не можете сомневаться, государь, и вся Банза знает об этом из ваших уст. Итак, если мы знаем хоть одну добродетельную женщину, значит их могут быть и тысячи.

— О, что касается возможности, — сказал Мангогул, — я ее не оспариваю.

— Но если вы согласитесь, что такие женщины возможны, — продолжала Мирзоа, — то кто сказал вам, что они не существуют?

— Не кто иной, как их сокровища, — отвечал султан. — Признаюсь, однако, что это свидетельство не имеет силы вашего аргумента. Пусть я ослепну, если вы не позаимствовали его от какого-нибудь брамина! Пусть позовут капеллана Манимонбанды, и он скажет вам, что вы мне доказали существование добродетельных женщин, вроде того, как доказывают существование Браммы в браминологии. Скажите, между прочим, вы не проходили курса в высшей школе браминов, прежде чем вступить в сераль?

— Довольно злых шуток, — сказала Мирзоа. — Я не делаю заключений на основании одной возможности. Я исхожу из факта, из опыта.

— Да, — продолжал Мангогул, — из неточного факта, из единичного случая, в то время как в моем распоряжении множество опытов, хорошо вам известных. Но вы и так не в духе, я не хочу больше вам противоречить.

— Какое счастье! — заметила Мирзоа огорченным тоном. — Наконец-то через два часа вам надоело меня изводить.

— Если я виноват перед вами, — отвечал Мангогул, — то постараюсь загладить мою вину. Сударыня, я отказываюсь от всех моих преимуществ перед вами, и если в будущем, в результате испытаний, какие мне еще предстоит сделать, я встречу хоть одну женщину, подлинно и несокрушимо добродетельную...

— То что вы сделаете? — прервала его Мирзоа.

— Я опубликую, если вам угодно, что я в восторге от ваших рассуждений о вероятности существования добродетельных женщин; я подкреплю вашу логику всем моим могуществом и подарю вам мой амарский дворец со всем саксонским фарфором, какой его украшает, не исключая маленькой обезьянки из эмали и других дра-

гоценных безделушек, доставшихся мне из кабинета мадам де-Верю¹³.

— Государь,— сказала Мирзоа,— я удовлетворюсь дворцом, фарфором и маленькой обезьянкой.

— Хорошо,— отвечал Мангогул,— Селим нас рассудит.— Согласитесь немного подождать, а затем я снова спрошу сокровище Эгле. Дайте срок, придворный воздух и ревность супруга окажут на нее свое действие.

Мирзоа дала Мангогулу месяц сроку, это было вдвое больше, чем он просил. Они расстались, оба одинаково полные надежды. Вся Банза, без сомнения, держала бы пари за и против, если бы обещание султана стало известным. Но Селим молчал, и Мангогул решил выиграть или проиграть втихомолку. Он выходил из апартаментов фаворитки, когда услышал ее голос из глубины кабинета:

— Государь, и маленькая обезьянка?

— И маленькая обезьянка,— отвечал Мангогул, удаляясь.

Он медленно шел по направлению к укромному домику сенатора, куда и мы последуем за ним.

Глава тридцать пятая

Пятнадцатая проба кольца. Альфана

Султану было известно, что у всех молодых придворных есть укромные домики, но вот он узнал, что такими убежищами пользуются и сенаторы. Это его удивило.

«Что они там делают? — рассуждал он сам с собой (ибо он сохранил и в этом томе¹⁴ привычку говорить в одиночестве, усвоенную в первом). — Казалось бы, человек, которому я вверил спокойствие, счастье, свободу и жизнь моего народа, не должен иметь укромного домика. Но, быть может, этот домик сенатора совсем не то, что домик какого-нибудь петиметра. Неужели же должностное лицо, присутствующее при обсуждении самых насущных интересов моих подданных, держащее

в руках роковую урну, из которой будут тянуть жребии вдов,— может забыть достоинство своего сана и, в то время как Кошен тщетно надрывает свои легкие, доводя до его слуха вопли сирот,— станет обдумывать фривольные темы для росписи наддверия в убежище тайного разврата?.. Нет, это невозможно! посмотрим, однако»...

С этими словами он отправился в Альканто, где находился укомный домик сенатора Гиппоманеса. Он входит, осматривает комнаты, разглядывает меблировку. Все кругом дышит фривольностью. Укомный домик Агезиля, самого изнеженного и сластолюбивого из его придворных, не наряднее этого. Он собрался уже уходить, не зная, что думать, ибо все эти покойные кровати, украшенные зеркалами альковы, мягкие кушетки, поставец с душистыми настойками и другие предметы были лишь немymi свидетелями того, что ему хотелось узнать. Внезапно он заметил дородную женщину, растянувшуюся на шезлонге и погруженную в глубокий сон. Он направил на нее перстень и заставил ее сокровище рассказать следующую забавную историю.

— Альфана — дочь судейского. Если бы ее мать не жила так долго, меня не было бы здесь. Огромные богатства семьи обратились в прах в руках старой дуры, и она почти ничего не оставила четверым детям: трем мальчикам и одной девочке, чьим сокровищем я имею честь быть. Увы! Видно, это было мне послано за мои грехи. Сколько оскорблений я перенесло! И сколько еще мне придется вытерпеть. В свете говорили, что монастырь приличествует богатству и знатности моей хозяйки; но я-то знаю, что мне он не подходит; я предпочло военное искусство положению монахини и проделало первые кампании под командой эмира Азалафа. Я усовершенствовалось под началом великого Нангазаки, но это была неблагодарная служба, и я променяло шпагу на судейскую мантию. Итак, теперь я буду принадлежать этому маленькому негодяю сенатору, который так кичится своими талантами; умом, внешностью, экипажем и предками. Вот



LES BIJOUX

Indiscrets.

TOME II



au Monomotapa

уже два часа, как я его жду. Повидимому он придет, ибо его управляющий предупредил меня, что он страдает манней заставлять себя ждать.

Сокровищу Альфаны помешал продолжатъ проезд Гиппоманеса. От грохота экипажа и от ласк его любимицы левретки Альфана проснулась.

— Вот и вы, наконец, моя королева, — сказал маленький председатель. — Каких трудов стоит вас добиться! Скажите, как вы находите мой укромный домик? Не правда ли, он не хуже других?

Альфана, разыгрывая из себя дурочку и скромницу («как будто мы никогда не видали укромных домиков, — говорило ее сокровище, — и как будто я ни разу не участвовало в ее похождениях»), воскликнула с печалью в голосе:

— Господин председатель, ради вас я решилась на необычный шаг. Неудержимая страсть влечет меня к вам и заставляет закрыть глаза на опасности, которым я подвергаюсь. Чего только не наговорят обо мне, если заподозрят, что я была здесь.

— Вы правы, — сказал Гиппоманес, — вы сделали рискованный шаг, но можете рассчитывать на мою скромность.

— Да, — отвечала Альфана, — я рассчитываю также на ваше благоразумие.

— О! Не беспокойтесь, — сказал Гиппоманес, хихикая, — я буду весьма благоразумен. Ведь в укромном домике всякий благочестив, как ангел. Честное слово, у вас прелестная грудь.

— Будет вам! — воскликнула Альфана. — Вот вы уже нарушаете свое слово.

— Ничуть не бывало, — возразил председатель. — Но вы мне не ответили. Как вам нравится эта меблировка? Поди сюда, Фаворитка, — обратился он к левретке, — дай лапку, дочка. Славная моя Фаворитка!.. Не угодно ли вам, мадемуазель, прогуляться по саду? Пойдемте на террасу; она очаровательна. Правда, ее видно из окон соседей, но, быть может, они вас не узнают...

— Господин председатель, я не любопытна, — отвечала Альфана обиженным тоном. — Мне кажется, здесь лучше.

— Как вам будет угодно, — продолжал Гиппоманес. — Если вы устали, то вот кровать. Советую вам ее испробовать, чтобы сказать о ней свое мнение. Молодая Астерия и маленькая Фениса, которые знают толк в таких вещах, уверяли меня, что она хороша.

Говоря эти дерзкие слова, Гиппоманес снимал платье с Альфаны, расшнуровывая ее корсет, расстегивая юбки, и освобождал ее толстые ноги от изящных туфель.

Когда Альфана была почти совсем обнажена, она заметила, что Гиппоманес ее раздевает.

— Что вы делаете! — воскликнула она в удивлении. — Будет вам шутить, председатель. Ведь я и впрямь рассержусь.

— О моя королева! — воскликнул Гиппоманес. — Сердиться на человека, который любит вас, как я, было бы прямо дико, и вы на это неспособны. Осмелюсь ли я попросить вас проследовать в кровать?

— В кровать, — подхватила Альфана. — О господин председатель, вы злоупотребляете моими чувствами. Мне лечь в кровать, мне — в кровать?!

— Э, нет, моя королева — отвечал Гиппоманес. — Со всем не то. Кто говорит, чтобы вы ложились в кровать? Надо только, чтобы вы дали себя туда отвести. Вы же понимаете, что при вашем росте я не могу вас туда отнести.

Между тем, он обхватил ее поперек талии. — Ох, — сказал он, — делая напрасные усилия, — до чего она тяжела. Но, дитя мое, если ты мне не поможешь, нам никогда не добраться до кровати.

Альфана поняла, что он прав, стала ему помогать, дала себя приподнять и направилась к так испугавшей ее кровати, переступая ногами и в то же время поддерживаемая Гиппоманесом, которому она шептала жеманясь:

— Честное слово, я сошла с ума, иначе я не при-

шла бы сюда. Я рассчитывала на ваше благоразумие, а вы проявляете неслыханную дерзость.

— Ничуть не бывало, — возражал председатель, — ничуть не бывало. Вы же отлично видите, что я не делаю ничего, выходящего из рамок приличия, строгого приличия.

Я полагаю, они наговорили друг другу еще много нежностей, но так как султан не счел пужным дольше присутствовать при их дальнейшем разговоре, — все это потеряно для потомства. Какая жалость!

Глава тридцать шестая

Шестнадцатая проба кольца. Петиметры

Два раза в неделю у фаворитки бывал прием. Накануне она называла женщин, которых хотела бы видеть у себя, а султан составлял список мужчин. На прием являлись в пышных нарядах. Разговор был общим, или же составлялись отдельные кружки. Когда исчерпывались занятные истории из придворной любовной хроники, выдумывали новые и пускались в область скверных побасенок, что у них называлось продолжать «Тысячу и одну ночь». Мужчины пользовались привилегией говорить все нелепости, какие им взбредет в голову, а женщины — заниматься вязаньем, слушая их. Султан и фаворитка смешивались со своими подданными. Их присутствие ничуть не мешало веселиться, и на приемах редко скучали. Мангогул очень быстро понял, что забавляться можно лишь у подножья трона, и ни один монарх не спускался с трона с такой охотой и не умел так во-время складывать свое величие, как он.

В то время как он обследовал укромный домик сенатора Гиппоманеса, Мирзоа поджидала его в салоне цвета розы вместе с молодой Зайдой, веселой Леокрисой, жизнерадостной Серикой, женами эмиров Аминой и Бензаирой, неприступной Орфизой и супругой великого сенешала Ветулой, настоящей матерью для всех бра-

минов. Султан не замедлил явиться. Вошел он в сопровождении графа Ганетилона и кавалера Фадаэса. За ним следовали старый вольнодумец Альсифенор и его ученик, молодой Мармолен; минуты две спустя, вошли паша Григриф, ага Фортимбек и меченосец Бархатная Лапка, самые отъявленные петиметры двора. Мангогул собрал их с известным умыслом. Ему все уши прожужжали об их любовных похождениях, и он хотел удостовериться, так ли это было на самом деле.

— Господа,— обратился он к ним,— вы знаете все, что происходит в мире любовных пождений. Что же там нового? Как поживают говорящие сокровища?

— Государь,— отвечал Альсифенор,— здесь царит полная разногласица, которая все усиливается. Если так будет продолжаться, скоро перестанут понимать друг друга. Но нет ничего забавнее нескромной болтовни сокровища Зобеиды. Оно перечислило ее мужу длинный ряд пождений.

— Это поразительно,— подхватил Мармолен.— Насчитывают пять начальников янычаров, двадцать капитанов, роту янычаров почти в полном составе и двенадцать браминов. Говорят, что оно и меня называло, но это скверная шутка.

— Самый смак в том,— сказал в свою очередь Григриф,— что испуганный супруг удрал, затыкая уши.

— Какой ужас! — воскликнула Мирзоза.

— Да, мадам,— подхватил Фортимбек,— ужасно, чудовищно, омерзительно!

— Да этому нет имени! — продолжала фаворитка,— обесчестить женщину на основании какой-то болтовни.

— Мадам, это суцая правда. Мармолен не прибавил от себя ни слова,— сказал Бархатная Лапка.

— Это вполне достоверно,— заметил Григриф.

— Ну, да,— добавил Ганетилон,— на этот счет уже составили эпиграмму, а даром никогда не сочиняют эпиграмм. Но почему болтовня сокровищ должна пощадить Мармолена? Сокровище Синары тоже вздумало говорить

и связало мое имя с лицами, которые мне вовсе не под стать. Но как этого избежать?

— Гораздо проще примириться с положенным вещей, — сказал Бархатная Лапка.

— Вы правы, — ответил Ганетилон, и тотчас же запел:

«Было счастье мое велико, беспредельно»...

— Граф, — обратился Мангогул к Ганетилону, — так вы питомно знали Синару?

— Государь, — отвечал за него Бархатная Лапка, — кто же этого не знает? Он хороводился с ней целый месяц. На их счет даже сложили песенку. Это и теперь бы еще продолжалось, если бы он, наконец, не заметил, что она некрасива и что у нее большой рот.

— Согласен, — заметил Ганетилон, — но этот недостаток возмещается у нее редкой приятностью обращения.

— Давно было у вас это похождение? — спросила неприступная Орфиза.

— Мадам, — отвечал Ганетилон, — не могу точно назвать вам даты. Для этого пришлось бы прибегнуть к хронологическим таблицам моих любовных побед. Там точно обозначены дни и часы, но это толстый том, который служит для развлечения моих людей в передней.

— Погодите, — сказал Альсифенор, — я припоминаю, что это было как раз через год после того, как Григриф порвал с госпожой супругой сенешила. У нее божественная память, и она нам точно поведаёт...

— Ваша дата неверна, — важно отозвалась сенешальша. — Всем известно, что вертопрахи никогда не были мне по вкусу.

— И тем не менее, сударыня, — возразил Альсифенор, — вам не удастся нас убедить, что Мармолен сохранял чрезвычайное благоразумие, когда его препровождали в ваши апартаменты через потайную лестницу всякий раз, как его высочество призывали господина сенешила в совет.

— Мне представляется величайшим чудачеством, — прибавил Бархатная Лапка, — пробираться тайком к жен-

щине без всякой корысти. Никто не истолковывал этих визитов превратно, и сударыня уже пользовалась репутацией добродетели, которую она заслуженно сохраняет и до настоящего времени.

— Но ведь это было сто лет назад— сказал Фадаэс.— Это происходило, примерно, в те времена, когда Зюлейка оставила с посом господина меченосца, чтобы перейти к Григрифу, которого она покинула полгода спустя. Теперь она облюбовала Фортимбека. Меня ничуть не огорчает маленькая победа моего друга, я наблюдаю ее, восхищаюсь ею, и все это безо всякой задней мысли.

— Однако, Зюлейка,— сказала фаворитка,— очень любезна, остроумна, у нее есть вкус и в лице какая-то прелесть, которую я предпочитаю красоте.

— Я согласен с вами,— отвечал Фадаэс, но она худа: у нее нет бюста и такие тощие бедра, что прямо жалко смотреть.

— Как видно, вы кое-что о ней знаете,— заметила султанша.

— О мадам,— сказал Ганетилон,— это легко угадать. Я редко бывал у Зюлейки и, тем не менее, знаю о ней не меньше Фадаэса.

— Охотно верю,— согласилась фаворитка.

— Между прочим, позволительно спросить у Григрифа,— сказал меченосец,— надолго ли он завладел Зирфилой? Вот, что называется, хорошенькая женщина, у нее великолепное тело.

— Э! Да кто же этого не знает! — воскликнул Мармолен.

— Какой счастливец наш меченосец! — продолжал Фадаэс.

— Уверяю вас, господа, прервал его меченосец,— что Фадаэс устроился лучше всех придворных любезников. Мне известно, что его любят жена визиря, две самые хорошенькие актрисы Оперного театра и очаровательная гризетка, которую он поселил в укромном домике.

— Я готов отдать,— заявил Фадаэс,— и жену визиря, и актрис, и гризетку за один взгляд женщины, с кото-

рой довольно близок меченосец и которая даже не подозревает, что это всем известно,— и, обращаясь к Леокрисе, он прибавил: — по чести, сударыня, вам удивительно идет, когда вы краснеете.

— Еще не так давно,— сказал Мармолен,— Ганетилон колебался между Мелиссой и Фатимой; обе они прелестные женщины. Сегодня он выбирал блондинку Мелиссу, завтра — брюнетку Фатиму.

— Было из-за чего беспокоиться,— заметил Фадаэс,— почему бы ему не взять их обеих?

— Он так и сделал,— отвечал Альсифенор.

Наши петиметры были, как видим, на полном ходу, когда доложили о прибытии Зобенды, Синары, Зюлейки, Мелиссы, Фатимы и Зирфины. Эта неожиданная помеха на минуту выбила их из колеи, однако они быстро оправились и накинулись на других женщин, которых щадили до сих пор только потому, что не успели их коснуться.

Мирзоа, которой надоели их речи, сказала:

— Господа, ввиду ваших заслуг и бесспорной честности, приходится поверить, что вы действительно одержали все те победы, которыми хвалитесь. Тем не менее, признаюсь, я с большей охотой выслушала бы сокровища этих дам и возблагодарила бы от чистого сердца Брамю, если бы ему было угодно восстановить правду их устами.

— Другими словами,— заметил Ганетилон,— мадам угодно дважды выслушать то же самое; ну, что же, мы готовы повторить все сначала.

Но вот Мангогул стал направлять перстень на дам по старшинству; он начал с сенешальши. Ее сокровище три раза кашлянуло и заговорило дрожащим, разбитым голосом:

— Великий сенешал положил начало моим удовольствиям, но прошло едва полгода со дня свадьбы, как один молодой брамин дал понять моей хозяйке, что, думая о нем, она не изменяет супругу. Я вкусило плодов его морали и впоследствии сочло возможным допустить к себе с чистой совестью сенатора, затем государствен-

ного советника, затем жреца, потом одного или двух докладчиков, потом музыканта...

— А Мармолена? — спросил Фадаэс.

— Мармолена я не знаю, — отвечало сокровище. — Хотя, может быть, это тот молодой фат, которого моя хозяйка велела выгнать из своего дома, не помню за какие дерзости...

Затем заговорило сокровище Синяры:

— Вы спрашиваете меня про Альсифенора, Фадаэса и Григрифа? Меня довольно часто посещали, но эти имена я слышу первый раз в жизни. Впрочем, я непременно услышало бы о них от эмира Амалека, финансиста Тенелора и визиря Абдирама, которые знают всех на свете и близкие мои друзья.

— Сокровище Синяры очень скромно, — сказал Ганетилон, — оно не называет ни Зарафиса, ни Агирама, ни старого Требистера, ни молодого Махмуда, а он не из тех, кого забывают, — и не обвиняет ни одного брамина, хотя вот уже десять-двенадцать лет, как оно таскается по монастырям.

— Я принимало в своей жизни несколько гостей, — сказало сокровище Мелиссы, — но только не Григрифа, не Фортимбека и Ганетилона.

— Сокровище, душа моя, — возразил Григриф, — вы ошибаетесь. Вы можете отречься от Фортимбека и от меня, но что касается Ганетилона, он с вами в более близких отношениях, чем вы утверждаете. Он шепнул мне об этом словечко, это самый правдивый малый в Конго, он лучше всех тех, кого вы знали, и может еще составить репутацию сокровищу.

— Ему не миновать репутации обманщика, так же как и его другу Фадаэсу, — сказало, рыдая, сокровище Фатимы. — Что сделало я этим чудовищам? Почему они меня так бесчестят? Сын абиссинского императора прибыл ко двору Эрgebзеда, я ему понравилось, он стал оказывать мне внимание, но он потерпел бы неудачу и я осталось бы верной своему супругу, который был мне дорог, если бы предатель Бархатная Лапка и его подлый

сообщник Фадаэс не подкупили моих прислужниц и не провели молодого принца ко мне в ванную...

Сокровища Зирфилы и Зюлейки, которых это одинаково затрагивало, заговорили разом и с такой быстротой, что почти невозможно было установить, что именно говорило каждое из них.

«Как! Благосклонность»... восклицало одно. — «К Бархатной Лапке!» — верещало другое. «Ну, хорошо, допустим Зензим... Сербелон... Бенангель... Агарпя... французский раб Рикелли... молодой эфиоп Фезака... но что касается пошляка Бархатной Лапки... дерзкого Фадаэса... клянусь Брамой... призываю в свидетели великого идола и гения Кукуфу... я их не знаю... у меня никогда не было с ними никаких дел»...

Зирфила и Зюлейка продолжали бы говорить, если бы Мангогул не повернул камня в обратную сторону; едва прекратилось действие таинственного перстня, как сокровища замолкли, и после произведенного ими шума наступило глубокое молчание. Тогда султан поднялся и сказал, бросая грозные взгляды на наших молодых вертопрахов.

— Какая наглость с вашей стороны — трепать имена женщин, приближаться к которым вы никогда не имели чести и которые едва знают вас по имени! Откуда у вас такая дерзость, что вы решаетесь лгать в моем присутствии? Трепещите, несчастные!

С этими словами он схватился за саблю, но испуганные женщины подняли такой крик, что он остановился.

— Я собирался, — продолжал Мангогул, — предать вас смерти, которую вы заслуживаете, но предоставляю этим дамам, которых вы оскорбили, решить вашу участь. Гадкие насекомые, теперь от них зависит раздавить вас или дать вам жить. Говорите, сударыня, что вы прикажете.

— Пусть они живут, — сказала Мирзога, — и пусть молчат, если это возможно.

— Живите, — сказал султан. — Эти дамы даруют вам жизнь, но если вы когда-нибудь позабудете, на каких условиях она вам подарена, клянусь душой моего отца...

Мангогулу не удалось закончить свою клятву, его прервал один из камергеров, доложивший, что актеры готовы начать представление. Этот государь взял за правило никогда не задерживать спектаклей.

— Пусть начинают, — приказал он, тотчас же подал руку фаворитке и повел ее в ложу.

Глава тридцать седьмая Семнадцатая проба кольца. Театр

Если бы в Конго знали толк в декламации, то смогли бы обойтись без целого ряда актеров. Из тридцати лиц, составлявших труппу, едва можно было насчитать одного крупного актера и двух сносных актрис. Талантливые актеры должны были применяться к посредственному большинству, и можно было надеяться, что пьеса будет иметь некоторый успех, если позаботились о том, чтобы приспособить роли к порокам комедиантов. Вот что называлось в мое время быть опытным в постановках. Раньше создавали актеров для пьес, — в описываемую эпоху, наоборот, создавали пьесы для актеров; если вы предлагали драматическое произведение, в театре обязательно начинали разбирать, интересен ли сюжет, хорошо ли завязана интрига, выдержаны ли характеры, чиста ли и плавна ли речь; но если там не было роли для Росция и для Амиана — пьесу отвергали.

Главный евнух, заведующий придворными увеселениями, вызвал во дворец труппу в ее наличном составе, и в этот вечер в серале давали премьеру трагедии. Она принадлежала перу одного современного писателя, который пользовался уже давно таким успехом, что будь его пьеса сплетением несуразностей, ей все равно аплодировали бы по привычке; однако он не ударил лицом в грязь. Пьеса была хорошо написана, сцены умело построены, эпизоды искусно расположены; интерес все возрастал, страсти развивались; акты, логически выте-

кавшне друг из друга и насыщенные содержанием, оставляли зрителя в неведении относительно будущего и удовлетворенным прошлым. Шел уже четвертый акт этого шедевра; играли напряженную сцену, подготавливавшую другую, еще более интересную, когда Мапгогул, чтобы избежать смешного вида, какой бывает у зрителей во время трогательных пассажей, вынул лорнетку и, симулируя невнимание, начал разглядывать ложи; он заметил в амфитеатре одну очень взволнованную даму, однако ее волнение имело мало отношения к пьесе и было явно неуместно; немедленно же перстень был направлен на нее, и все услышали, среди весьма патетического признания, задыхающийся голос ее сокровища, которое обращалось к актеру с такими словами:

— Ах!.. Ах!.. Перестаньте же, Оргольи... Вы меня слишком растрогали... Ах!.. Ах!.. Нет больше сил...

Все насторожились, стали искать глазами, откуда исходит голос, в партере распространился слух о том, что заговорило какое-то сокровище. — «Но какое именно и что оно сказала?» — спрашивали себя. В ожидании более точных сведений не переставали аплодировать и кричать: «Бис! Бис!». Между тем, автор, находившийся за кулисами, опасаясь, как бы этот досадный инцидент не прервал представления, в бешенстве посылал все сокровища к чертям. Сильный шум не смолкал и, если бы не почтение к султану, пьеса была бы прервана на этом пассаже. Но Мапгогул дал знак молчания, актеры возобновили игру, и пьеса была доведена до конца.

Султан, которого интересовали последствия такого публичного признания, велел наблюдать за сделавшим его сокровищем. Вскоре узнали, что актер должен быть у Эрифилы; султан опередил его благодаря могуществу своего кольца и очутился в апартаментах этой женщины в тот момент, когда докладывали об Оргольи.

Эрифила была в полном вооружении, то есть в изящном дезабилье; она небрежно раскинулась на кушетке. Актер вошел с видом чопорным и вместе с тем победоносным, самоуверенным и фатовским. В левой руке он

вертел скромную шляпу с белым плюмажем, а кончиком пальца правой руки изящно ковырял у себя в носу, — жест весьма театральный, приводивший в восхищение знатоков. Его поклон был галантен, а приветствие фамплярно.

— О моя королева, — воскликнул он жеманным тоном, склоняясь перед Эрифилой, — вот вы каковы! Знаете ли, в этом неглиже вы прямо очаровательны...

Тон этого бездельника шокировал Мангогула. Государь был молод и, конечно, мог не знать всех обычаев...

— Значит, ты находишь меня хорошенькой, мой милый? — спросила Эрифила.

— Восхитительной, говорю вам...

— Мне это очень приятно слышать. Я хотела бы, чтобы ты мне повторил то место твоей роли, которое так меня взволновало в тот раз. Это место... да... вот это именно... Как сообразителен этот плутишка!.. Но продолжай. Это меня глубоко волнует.

Говоря эти слова, Эрифила бросала своему герою весьма выразительные взгляды и протягивала ему руку, которую дерзкий Оргольи целовал с самым небрежным видом. Более гордясь своим талантом, чем своей победой, он декламировал с пафосом; и его дама, взволнованная, заклинала его то продолжать, то перестать. Мангогул, решив по выражению ее лица, что ее сокровище охотно будет участвовать в этой репетиции, предпочел вообразить конец сцены, а не быть ее свидетелем. Он покинул комнату и направился к фаворитке, которая его поджидала.

Выслушав рассказ султана об этом походе, она воскликнула:

— Государь, что вы говорите! Неужели женщина пала так низко! Это последнее дело — актер, раб публики, гаер! Если бы против этих людей говорило только их положение, — но ведь большинство из них безнравственны, бесчувственны, в том числе и Оргольи — сущий автомат. Он никогда ни о чем не думал, и если бы не учил ролей, может быть, и вовсе бы не говорил...

— Отрада моей души, — возразил султан, — к чему ваши lamentации.

— Вы правы, государь, — отвечала фаворитка, — с моей стороны глупо беспокоиться о созданиях, которые не стоят того. Пускай себе Палабрия боготворит своих мартышек, Салка отдает себя заботам Фарфади во время истерических припадков, Гария живет и умрет среди своих животных, и Эрифила отдается всем гаерам Конго, — что мне до того! Ведь я рискую только дворцом. Я чувствую, что мне надо отказаться от моих утверждений и я уже решила...

— Итак, прощай, маленькая обезьянка, — сказал Мангогул.

— Прощай, маленькая обезьянка, — повторила Мирзоза, — а также хорошее мнение, которое было у меня о моем поле. Мне кажется, я уже не вернусь к нему. Государь, позвольте мне не принимать у себя женщин, по крайней мере, две недели.

— Но ведь нельзя же обойтись без компании, — заметил султан.

— Я буду наслаждаться вашей или стану вас поджидать, — отвечала фаворитка, — а если у меня окажется избыток времени, я проведу его с Рикариком и Селимом, которые ко мне привязаны и общество которых я люблю. Когда меня утомит эрудиция моего лектора, ваш приближенный станет меня развлекать рассказами о своей юности.

Глава тридцать восьмая

Беседа о литературе

Фаворитка любила остроумцев, но сама на остроумие не претендовала. На ее туалете можно было видеть, среди брильянтов и финтифлюшек, романы и литературные новинки, о которых она превосходно судила. Она переходила непосредственно от каваньолы и бириби к беседе с академиком или ученым, и все они соглашались, что тонкое чутье позволяло ей открыть в различных произведениях

красоты и недостатки, иногда ускользавшие от их учености. Мирзоза поражала их своей проникающей способностью, приводила в замешательство своими вопросами, но никогда не злоупотребляла преимуществами, которые ей давали остроумие и красота. В беседе с ней не было обидно оказаться неправым.

К концу одного дня, проведенного ею с Мангогулом, пришел Селим, и она велела позвать Рикарика. Африканский автор дает дальше характеристику Селима, но сообщает нам, что Рикарик был членом Конгской академии; что эрудиция не мешала ему быть умным человеком; что он досконально изучил древние эпохи; что у него было невероятное пристрастие к старинным законам, которые он вечно цитировал; что это была ходячая машина, фабрикующая принципы; что он был самым ревностным ценителем древних писателей Конго, особенно же некоего Мируфлы, написавшего примерно три тысячи сорок лет тому назад великолепную поэму на кафрском диалекте о завоевании Великого леса, откуда кафры изгнали обезьян, обитавших там с незапамятных времен. Рикарик перевел эту поэму на конгский язык и выпустил ее великолепным изданием, с примечаниями, схождениями, вариантами и всеми украшениями издания бенедиктинцев. Его перу принадлежали также две трагедии, скверные во всех отношениях, похвала крокодилам и несколько опер.

— Я принес вам, сударыня, — сказал Рикарик, склоняясь перед Мирзозой, — роман, который приписывают маркизе Тамази, но где, к несчастью, легко узнать перо Мульхазена; затем ответ нашего директора Ламбадаго на речь поэта Тюксграффа, который мы получили вчера, а также «Тамерлана», написанного этим последним.

— Восхитительно! — заметил Мангогул. — Печать работает во-всю, и если бы мужья в Конго исполняли свои обязанности с таким же рвением, как писатели, я мог бы, менее чем в десять лет, поставить на ноги армию в миллион шестьсот тысяч человек и рассчитывать на завоевание Моноэмуги. Мы прочтем роман на досуге. По-

смотрим же теперь, что это за речь, а главное, что там говорится про меня.

Рикарик пробежал глазами речь и попал на такое место:

«Предки нашего августейшего владыки, без сомнения, обессмертили свои имена. Но превзошедший их Мангогул своими необыкновенными деяниями заставит удивиться грядущие века. Что говорю я — удивиться! Выразимся точнее: заставит усомниться. Если наши предки имели основания утверждать, что потомство будет считать баснями чудеса царствования Каноглу, — то не больше ли у нас оснований думать, что наши внуки откажутся верить чудесам мудрости и доблести, свидетелями которых мы являемся?»

— Бедный господин Ламбадаго, — сказал султан, — вы пустой фразер. Я имею основания думать, что ваши преемники однажды заставят померкнуть мою славу перед славой моего сына, подобно тому как вы хотите затмить славу моего отца — моей собственной; и так будет продолжаться до тех пор, пока будут существовать академики. Как вы на это смотрите, господин Рикарик?

— Государь, единственно, что я могу вам сказать, это что пассаж, который я только что прочел вашему высочеству, был весьма одобрен публикой.

— Тем хуже, — возразил Мангогул. — Значит, в Конго утратили вкус к подлинному красноречию. Разве так великодушный Гомплого воздавал хвалу великому Абену?

— Государь, — заметил Рикарик, — подлинное красноречие не что иное, как искусство говорить одновременно благородным, приятным и убедительным образом.

— Прибавьте — и разумным, — продолжал султан, — и с этой точки зрения судите о вашем приятеле Ламбадаго. При всем моем уважении к современному красноречию, я должен признать его фальшивым декламатором.

— Но, государь, — возразил было Рикарик, — со всем почтением к вашему высочеству прошу разрешить мне...

— Я вам разрешаю, — перебил его Мангогул, — ценить здравый смысл выше моей особы и сказать мне на-

прямик, может ли красноречивый человек обойтись без него?

— Нет, государь, — отвечал Рикарик.

Он уже собирался начать длинную тираду, уснащенную авторитетами, цитировать всех риторов африканских, арабских и китайских, чтобы доказать самую очевидную вещь на свете, — но его прервал Селим.

— Все авторы вместе взятые, — заговорил придворный, — никогда не докажут, что Ламбадаго искусный и достойный уважения оратор. Простите мне эту резкость, — господин Рикарик, — прибавил он. — Я к вам питаю незаурядное почтение, но, честное слово, отложив в сторону ваши корпоративные предрассудки, неужели вы не согласитесь с нами, что царствующий султан, справедливый, любезный, благодетель народа и великий завоеватель, и без мишуры ваших риторов так же велик, как его предки, и что принц, в глазах которого воспитатели стараются умалить значение отца и деда, был бы смешным глупцом, если бы не понимал, что, украшая его одной рукой, другой его обезображивают? Неужели для того, чтобы доказать, что Мангогул больше всех своих предшественников, надо сносить головы статуям Эрgebзеда и Каноглу?

— Господин Рикарик, — сказала Мирзоза, — Селим прав. Оставим каждому свое, и пусть никто не подумает, что наши похвалы обкрадывают славу отцов; сообщите об этом от моего имени академикам на ближайшем заседании.

— Они усвоили этот тон слишком давно, — заметил Селим, — чтобы можно было надеяться, что ваш совет даст какие-нибудь результаты.

— Я думаю, сударь, что вы ошибаетесь, — обратился Рикарик к Селиму. — Академия и поныне является сокровищницей хорошего вкуса, и даже в период ее высшего расцвета не было таких философов и поэтов, которым мы не могли бы в настоящее время противопоставить равноценные имена. Наш театр считался и продолжает считаться первым театром в Африке. Что за прекрасный труд — «Тамерлан» Тюксиграфа? В нем пафос Эвризона

и возвышенность Азофа. В нем чистый дух античности.

— Я была,— сказала фаворитка,— на первом представлении «Тамерлана» и нахожу, подобно вам, что произведение хорошо построено, диалоги изящны и характеры правдоподобны.

— Как отличается, мадам,— прервал ее Рикарик,— автор, подобный Тюксграфу, воспитанный на чтении древних, от большинства современных писателей.

— Но эти современные авторы,— возразил Селим,— которых вы поносите, не так уж достойны презрения, как вы думаете. Как, неужели же мы станем отрицать у них талант, изобретательность, вдохновение, точность описаний, верность характеров, красоту периодов? Какое* мне дело до правил,— лишь бы мне правилось. И само собой разумеется, не рассуждения премудрого Альмудира или высокоученого Абальдока и не поэтика компетентного Фоккардена, которой я никогда не читал, заставляют меня восхищаться произведениями Абульказема, Мубардара, Альбабукра и многих других сарацинов. Существуют ли иные правила, кроме подражания природе? И разве у нас не те же глаза, что у людей, которые ее изучали?

— Природа,— возразил Рикарик,— ежеминутно поворачивается к нам разными лицами. Все они истинны, но не все в равной мере прекрасны. И вот именно в этих трудах, которые вы, как кажется, не слишком высоко ставите, можно научиться ценить прекрасное. Там собраны воедино опыты, сделанные нашими учеными, а также и те, которые были произведены до них. Как бы человек ни был умен, он может воспринимать вещи лишь в связи с другими вещами; и никто не может похвалиться, что на кратком протяжении своей жизни видел все, что было открыто человечеством в мишующие века. Иначе пришлось бы признать, что какая-нибудь из наук может быть обязана своим возникновением, развитием и усовершенствованием одному ученому, что противоречит опыту.

— Господин Рикарик,— возразил Селим,— из вашего рассуждения следует только один вывод, а именно, что

современные люди, обладая сокровищами, накопленными в прежние века, должны быть богаче древних, или, если вам не нравится это сравнение, — возьмем другое: стоя на плечах у колоссов древности, они должны видеть дальше последних. В самом деле, что такое их физика, астрономия, навигация, механика и математика по сравнению с нашими? Почему бы и нашему ораторскому искусству и поэзии также не стоять выше, чем у них?

— Селим, — отвечала султанша, — Рикарик когда-нибудь докажет вам, какие есть основания проводить между ними различие. Он скажет вам, почему наши трагедии ниже античных. Что касается меня, я охотно взялась бы вам показать, что дело обстоит именно так. Я не стану вас обвинять, — продолжала она, — в том, что вы не читали древних. Вы обладаете слишком просвещенным умом, чтобы не знать их театра. Итак, оставим в стороне соображения относительно некоторых обычаев, нравов и религии древних, которые шокируют нас лишь потому, что изменились условия жизни, и согласитесь, что темы их благородны, удачно выбраны, интересны, что действие развивается как бы само собой, что разговорная речь проста и очень естественна, что развязка не притянута за волосы, что интерес не раздробляется и действие не перегружено эпизодами. Перенеситесь мысленно на остров Алиндалу; наблюдайте все, что там происходит; слушайте все, что говорят с момента, когда молодой Ибрагим и хитроумный Форфанти высаживаются на остров; подойдите к пещере злосчастного Полипсила, не пророните ни слова из его жалоб, и скажите мне, разбивает ли что-нибудь вашу иллюзию?¹⁵ Назовите мне современную пьесу, которая смогла бы выдержать такой же экзамен и претендовать на такую же степень совершенства, — и я признаю себя побежденной.

— Клянусь Брамой, — воскликнул султан, зевая, — сударыня произнесла поистине академическую речь.

— Я не знаю правил, — продолжала фаворитка, — и еще того менее — ученых слов, в какие их облачают, но я знаю, что нравиться и умилять нас может одна лишь

правда. Я знаю также, что совершенство спектакля заключается в столь точном воспроизведении какого-нибудь действия, что зритель, пребывая в некоем обмаре, воображает, будто присутствует при самом этом действии. А есть ли что-либо подобное в трагедиях, которые вы так нам расхваливаете?

Вы восхищаетесь развитием действия? Но оно обычно так сложно, что было бы чудом, если бы столько событий совершалось в такой краткий срок. Крушение или спасение государства, свадьба принцессы, гибель государя — все это совершается как по мановению волшебного жезла. Если речь идет о заговоре, он намечается в первом акте, завязывается и укрепляется во втором; все меры будут приняты, все препоны преодолены, все заговорщики на местах — в третьем; непрерывно будут следовать друг за другом восстания, сражения, а может быть, и форменные битвы. И вы скажете, что это развитие действия, что это интересно, темпераментно, правдоподобно? Я вам никогда этого не прощу, ибо вы отлично знаете, чего стоит иной раз довести до конца какую-нибудь жалкую интригу, и сколько времени потребно на всякого рода шаги, переговоры и обсуждения, чтобы могло осуществиться самое незначительное политическое событие.

— Совершенно верно, мадам, — отвечал Селим, — наши пьесы несколько перегружены событиями, но это неизбежное зло; зрители остыли бы, если бы их не подогревали эпизодами.

— Вы хотите сказать, что для живого изображения события не надо давать его ни таким, каково оно есть, ни таким, каким должно быть? Это в высшей степени нелепо, подобно тому как было бы сущим абсурдом заставлять скрипачей исполнять веселенькие арии и марши в то время, как зрители ожидают, что государь вот-вот должен лишиться своей возлюбленной, трона и жизни.

— Сударыня, вы правы, — сказал Мангогул, — в такой момент нужны мрачные мотивы, и я сейчас их закажу.

Мангогул встал и вышел. Разговор продолжался между Селимом, Рикарикком и фавориткой.

— Надеюсь, сударыня, — слова заговорил Селим, — вы не будете отрицать, что если неестественность эпизодов нарушает иллюзию, то диалоги ее восстанавливают. Не знаю, кто бы мог справиться с диалогом так, как наши трагики.

— Значит, никто не может с этим справиться, — возразила Мирзоа. — Царящие в современных трагедиях пафос, мудрствование и мишурный блеск уводят нас за тысячу лье от действительности. Напрасно автор хочет спрятаться: мой взгляд проникает насквозь, и я вижу его то и дело за его персонажами. Цинна, Серторий, Максим, Эмиль — лишь рупор Корнеля. У наших древних сарацинов разговор ведется совсем по-иному. Господин Рикарик переведет вам, если угодно, несколько мест, и вы услышите, как устами героев гласит сама природа. Я охотно сказала бы современным писателям: «Господа, вместо того, чтобы наделять по всякому поводу ваши персонажи умом, поставьте лучше их в такое положение, где они необходимо должны быть умными».

— После всего, что вы, мадам, высказали относительно действия и диалога в наших драмах, нельзя думать, — сказал Селим, — что вы пощадите развязку.

— Конечно, нет, — продолжала фаворитка, — на одну удачную развязку приходится сто плохих. Одна не мотивирована, другая оказывается чудодейственной. Если автору в тягость персонаж, которого он протащил по всем сценам через пять актов, — он отправляет его на тот свет ударом кинжала, — все принимаются плакать, а я смеюсь, как безумная. И потом, разве разговорная речь похожа на нашу декламацию? Разве принцы и короли ходят иначе, чем всякий нормальный человек? Разве они когда-нибудь жестикулируют, как одержимые или бешеные? Разве принцессы издают во время речи пронзительные визги? Говорят, что трагедия достигла у нас высокой степени совершенства, а я считаю почти установленным, что из всех жанров литературы, которыми африканцы занимались последние века, — это наименее совершенный.

Этот выпад фаворитки против театральных пьес совпал с возвращением Мангогула.

— Сударыня,— сказал он,— соблаговолите продолжать. У меня есть, как вы видите, средство сократить трактат о поэтике, когда я нахожу его слишком пространном.

— Предположим,— продолжала фаворитка,— к нам прибыл морем путешественник из Анготы, никогда не слышавший о спектаклях, но не лишенный разума и опыта, знакомый с дворами монархов, с уловками придворных, с интригами министров и дрязгами женщины; допустим, далее, что я скажу ему по секрету: «Милый друг, в серале — ужасные волнения. Государь недоволен своим сыном и подозревает в нем страсть в Машимонбанде; он способен отомстить им обоим жесточайшим образом,—это событие повлечет за собой, по всем вероятностям, печальные последствия. Если угодно, я дам вам возможность быть свидетелем всего, что произойдет». Он принимает мое предложение, и я веду его в ложу, закрытую решеткой, откуда ему видна сцена, которую он принимает за покой дворца султана. Неужели вы думаете, что, не взирая на всю мою деланную серьезность, иллюзия у этого человека будет длиться хоть минуту? Не согласитесь ли вы, наоборот, что натянутая поступь актеров, причудливость их костюмов, экстравагантность их жестов, напыщенность их речи, необычной, рифмованной и размеренной, и тысячи других диссонансов, которые его поразят, заставят его расхохотаться мне в лицо уже во время первой сцены и заявить мне, что или я потешалась над ним, или же государь и весь его двор помешались.

— Признаюсь,— сказал Селим,— ваша аналогия меня поразила; но нельзя ли вам возразить, что на спектакль идут, зная заранее, что увидят там воспроизведение события, а не само событие?

— Разве должна эта предпосылка,— возразила Мирзоза,— помешать самому естественному изображению события?

— Я вижу, сударыня,— прервал ее Мангогул,— что вы — во главе фрондеров.

— Если вам поверить, — заметил Селим, — то нам угрожает упадок вкуса, возвращение варварства, и мы вернемся к невежеству времен Мамурры и Орондадо.

— Сударь, но опасайтесь ничего подобного. Я ненавижу пессимистов и никогда не присоединяюсь к ним. К тому же, я слишком дорожу славой его высочества, чтобы пытаться омрачить блеск его царствования. Но согласитесь, господин Рикарик, если бы прислушивались к нашим советам, то литература достигла бы еще более пышного расцвета, — не так ли?

— Как! — воскликнул Мангогул. — Неужели вы собираетесь представить на этот счет доклад моему сенешалу?

— Нет, государь, — отвечал Рикарик. — Но, поблагодарив ваше высочество от имени всех литераторов за нового инспектора, назначенного вами, я со всем смирением поставлю на вид сенешалу, что выбор ученых для пересмотра рукописей — дело весьма ответственное; что эти обязанности поручают людям, которые, как мне кажется, не на высоте положения, отчего мы имеем множество таких плохих последствий, как искажение прекрасных трудов, подавление лучших талантов, которые, не имея возможности писать, как им хочется, не пишут вовсе или же переправляют свои труды за границу, нанося им большой материальный ущерб; прививку дурного мнения о предметах, которые запрещают затрагивать, — и тысячи других неприятностей, перечислить которые вашему высочеству было бы слишком долго. Я посоветовал бы сократить пенсии иным литературным пиявкам, которые без толку и без умолку попрошайничают; я говорю о глоссаторах, знатоках античности, комментаторах и других в том же роде, которые были бы весьма полезны, если бы хорошо делали свое дело, но которые имеют печальную привычку обходить темные места и объяснять и без того непонятные вещи. Мне хотелось бы, чтобы добились упразднения почти всех посмертных трудов и чтобы не допускали поругания памяти великого писателя из-за алчности издателя, собирающего и выпускающего в свет, через

много лет после смерти человека, произведения, которые он при жизни обрек забвению.

— А я, — заметила фаворитка, — назову ему несколько выдающихся людей, подобных господину Рикарику, которых вы могли бы осыпать милостями. Не удивительно ли, что у бедного малого нет ни гроша, между тем как почтенный хиромант Малимонбаады получает тысячу цехинов в год из вашей казны?

— Ну, хорошо, мадам, — отвечал Мангогул, — я назначаю такую же сумму Рикарику из моих личных средств, принимая во внимание чудеса, которые вы мне про него рассказали.

— Господин Рикарик, — сказала фаворитка, — я тоже должна сделать для вас кое-что: я жертвую в вашу пользу маленьким уколом своего самолюбия и, ради той награды, которую вам пожаловал по заслугам Мангогул, согласна забыть нанесенную мне обиду.

— Разрешите спросить у вас, мадам, что это за обида, — осведомился Мангогул.

— Да, государь, вы сейчас узнаете. Вы сами вовлекли нас в разговор о литературе, вы начали с чтения образчика современного красноречия, который отнюдь не был прекрасен, и когда, чтобы вам угодить, мы начали развивать печальную мысль, брошенную вам, — на вас падают скука и зевота, вы вертитесь в своем кресле; вы сто раз меняете положение, никак не находя удобного, наконец, устав от такого скверного времяпрепровождения, вы внезапно принимаете какое-то решение, встаете и исчезаете. И куда же вы направились? Может быть, слушать еще одну сокровище?

— Все это так, мадам, но я не вижу в этом ничего оскорбительного. Если человеку случается скучать, слушая прекрасные вещи, и забавляться, слушая дурные, — тем хуже для него. Его несправедливое предпочтение ничуть не обесценивает того, чем он пренебрег; он только показывает себя плохим судьей. Могу еще к этому прибавить, мадам, что пока вы были заняты беседой с Селимом, я почти столь же безрезультатно пытался доста-

вить вам возможность получить дворец. И вот, раз уж выходит, что я провинился, а вы это утверждаете, — заявляю вам, что вы отомщены.

— Каким же образом? — спросила фаворитка.

— А вот как, — отвечал султан. — Чтобы немного развлечься после академического заседания, которое мне пришлось вытерпеть, я отправился допрашивать кое-какие сокровища.

— Ну, что же, государь?

— Ну, что же? Мне еще не приходилось встречать таких нелюдимых, какие мне сегодня попались.

— Это чрезвычайно радует меня, — заявила фаворитка.

— Они оба принялись болтать на каком-то непонятном языке, я прекрасно запомнил все, что они говорили, но пусть я умру, если я понял хоть что-нибудь.

Глава тридцать девятая

Восемнадцатая и девятнадцатая пробы кольца. Сплющенный Сферонд и путаная болтовня Жиржи-ро. Разумей, кто может

— Странное дело, — продолжала фаворитка, — до сих пор я думала, что если можно в чем-нибудь упрекнуть сокровища, так это в слишком ясной манере говорить.

— Чорт возьми! — заметил Мангогул, — эти два сокровища не похожи на прочие; попробуйте-ка их понять.

Знаете ли вы эту маленькую кругленькую женщину, у которой голова словно растет из самых плеч и едва можно разглядеть руки; у которой ноги так коротки и живот так отвис, что ее можно принять за китайского болванчика или за огромный уродливый эмбрион; ее прозвали Сплющенным Сферондом; она вбила себе в голову, что Брама призвал ее к изучению геометрии, потому что она создана им в форме шара; впрочем, она вполне могла бы избрать артиллерию, ибо благодаря присущей ей форме

должна была выйти из чрева матери природы, как ядро вылетает из жерла пушки.

Мне захотелось узнать новости о ее сокровище, и я стал его расспрашивать; но этот новоявленный вихревик стал изъясняться в таких специальных геометрических терминах, что я ничего не понял и подозреваю, что оратор и сам себя не понимает. Речь все время шла о прямых линиях, вогнутых поверхностях, данных величинах, длине, ширине, глубине, твердых телах, действующей и потенциальной энергии, конусах, цилиндрах, конических сечениях, кривых, эластических кривых, замкнутой кривой с центром приложения силы...

— Довольно! Пощадите меня, ваше высочество! — горестно воскликнула фаворитка, — у вас безжалостная память. Вы можете уморить человека. Теперь у меня обеспечена мигрень на добрую неделю. Скажите, между прочим, неужели и второе сокровище так же забавно?

— Предоставляю вам самим судить, — отвечал Мангогул. — Клянусь большим пальцем Брамы, я совершил прямо-таки чудо. Я запомнил весь этот вздор от слова до слова, хотя там не было ни тени смысла и ни капли ясности; и если вы мне дадите тонкое критическое истолкование, вы сделаете мне очаровательный подарок, сударыня.

— Как вы сказали, государь!? — воскликнула Мирзоза. — Пусть я умру, если вы не похитили у кого-то эту фразу!

— Не знаю, как это случилось, — отвечал Мангогул, — ибо сегодня я никому не давал аудиенции, кроме этих двух сокровищ. Когда я направил перстень на последнее из них, оно помолчало с минуту, а затем заговорило, как бы обращаясь к какому-то собранию:

«Господа!

Я не стану высказывать, пренебрегая моим собственным разумом, образцы мышления и выражений. И если мне удастся высказать нечто новое, в этом не будет никакой аффектации; оно явится следствием моей темы; если бы

я повторяло то, что уже высказывалось по этому поводу, это значило бы, что я мыслю, как другие.

Пусть не вздумают пронизировать над моим вступлением и обвинять меня в том, что я ничего не читало или же читало без толку, — сокровище, подобное мне, не создано ни для чтения, ни для того, чтобы употреблять его на пользу, ни для того, чтобы предвидеть возражения, ни для того, чтобы на них отвечать.

Я не могу отказаться от замечаний и словесных украшений, соответствующих моей теме, тем более, что сама по себе она чрезвычайно скромна и не разрешит мне напыщенного многословия; но я не стану касаться мелких, ничтожных подробностей, которые являются достоянием пустого болтуна; я было бы в отчаянии, если бы меня заподозрили в пустословии.

Теперь, когда я сообщила вам, господа, о том, чего вы должны ожидать от моих открытий и от моей риторики, будет достаточно нескольких ударов кисти, чтобы обрисовать мой характер.

Вы знаете не хуже меня, господа, что существует две категории сокровищ: сокровища гордые и сокровища скромные; первые хотят всегда быть впереди и занимать высшее положение; вторые, напротив, на все согласны и имеют покорный вид. Эти противоположные склонности обнаруживаются в их замыслах и заставляют тех и других действовать согласно руководящему ими духу.

Я считаю, будучи во власти предрассудков, внутренних мне воспитанием в юности, что обеспечу себе более прочную, легкую и приятную карьеру, если возьму на себя роль смиренницы; и я отдавалось с ребяческой стыдливостью и кроткими мольбами всем тем, кого имело счастье встретить.

Но какие ужасные времена! Мои услуги были приняты лишь после того, как я выслушало множество всяких «но», «если» и «как», которые могли бы вывести из терпения самое праздное из сокровищ.

Увы! Счастье было непродолжительно. Мой первый

обладатель, стремясь к новой, льстившей его самолюбию победе, бросил меня, и я снова оказалось не у дел.

Я потеряю драгоценность, и не льстило себя надеждой, что судьба возаградит меня за эту потерю; в самом деле, вакантное место вскоре было занято, но не все целиком, одним шестидесятилетним старцем, страдавшим не столько недостатком доброй воли, сколько отсутствием данных.

Старик из всех сил старался заставить меня позабыть прошлое. Он обращался со мной со всей учтивостью и обходительностью, какие приняты в нашем кругу, но, несмотря на все усилия, не мог устранить мои сожаления о потерянном.

Правда, искусство, которое ни перед чем не останавливается, открыло ему в сокровищнице даров природы некоторые средства смягчить мою печаль,— но эта компенсация показалась мне недостаточной; и мое воображение тщетно пыталось найти новые формы отношений и даже создать фантастические. Преимущество первенства так велико, что оно овладевает мыслью и ставит преграды всему, что впоследствии пытается предстать перед нами в других формах; и так велика неблагодарность сокровищ,— скажу это к нашему стыду,— что для них добрая воля никогда не заменяет факта.

Это замечание кажется мне столь справедливым, что,— хотя я и никому не обязано этой мыслью,— я полагаю, что она приходила в голову не мне одному; но если она поражала кого-нибудь и до меня, тем не менее, господа, я первое решаюсь высказать ее вслух и тем самым дать вам оценить все ее значение.

У меня нет ни малейшей склонности вменить в вину говорившим до меня тот факт, что они опустыли столь важное обстоятельство, и мое самолюбие вполне удовлетворено тем, что мне удалось после стольких ораторов предложить вам мое наблюдение как нечто совершенно новое»...

— Ах, государь,— воскликнула Мирзоа,— мне кажется, что я слышу хироманта Маннмонбанды. Обратитесь

к этому человеку, и вы получите от него тонкое критическое истолкование, приятный дар, за которым вы тщетно будете обращаться ко всякому другому.

Африканский автор сообщает, что Мангогул улыбнулся и продолжал говорить. «Но я остерегаюсь, — прибавляет он, — приводить остаток речи сокровища. Ибо если ее начало не было так занимательно, как первые страницы повести о фее Топ, то продолжение ее еще скучнее последних страниц истории фен Мустан»¹⁶.

Глава сороковая

Сон Мирзоы

Когда Мангогул окончил пересказ академической речи путаника Жиркиро, было уже поздно, и все легли спать.

В эту ночь фаворитка могла ожидать, что крепко уснет, но во время сна ей припомнился вчерашний разговор, вызванные им мысли перемешались с другими, и ее мучил причудливый сон, который она не преминула рассказать султану.

— Я только что заснула, — говорила она, — как почувствовала себя перенесенной в огромную галерею, всю уставленную книгами. Не скажу вам, что это были за книги; я отнеслась к ним так, как относятся многие наяву: я не прочла ни одного названия, моим вниманием завладело нечто более интересное.

На некотором расстоянии друг от друга, между книжными шкафами, стояли на пьедесталах прекрасные мраморные и бронзовые бюсты. Безжалостная рука времени пощадила их, и, если не считать кое-каких мелких повреждений, они были в полной сохранности; на них лежал отпечаток благородства и изящества, какие античность умела придавать своим творениям; у большинства была длинная борода, высокий лоб, подобный вашему, и значительное выражение лица.

Мне захотелось узнать их имена и заслуги, и вот некая женщина вышла из амбразуры окна и приблизилась

ю мне; у нее был прекрасный рост, величаяя поступь и благородная осанка; ее взгляд был кроток и в то же время горделив, а голос обладал проникающим в душу очарованием; наряд ее составляли шлем, броня и развевающаяся юбка из белого атласа.

«Я вижу ваше недоумение, — сказала она мне, — и сейчас удовлетворю ваше любопытство. Люди, изображения которых так вас поразили, были моими любимцами; они посвящали дни и ночи усовершенствованию изящных искусств, изобретательницей которых я являюсь. Они жили в самых просвещенных странах мира, и их сочинения, доставлявшие наслаждение современникам, вызывают восхищение и поныне. Подойдите поближе, и вы увидите на пьедесталах бюстов барельефные изображения на различные интересные темы; из них вы почерпнете указания относительно характера произведений».

Первый бюст, который я стала рассматривать, изображал величавого старца, показавшегося мне слепым¹⁷; по всей вероятности, он воспевал битвы, так как они были изображены по бокам пьедестала; переднюю сторону его занимала одна фигура, — это был молодой герой; он положил руку на рукоять меча, и видна была женская рука, которая схватила его за волосы, как бы обуздывая его гнев.

Против этого бюста стоял бюст молодого человека¹⁸; он был воплощением скромности; его глаза внимательно смотрели на старца; он также воспевал войну и сражения; но это не было единственным предметом его песен, ибо на боковых барельефах были изображены с одной стороны пахарь, согбенный над плугами и обрабатывающий землю, а с другой — пастухи, лежащие на траве и играющие на свирели посреди баранов и собак.

Несколько поодаль от бюста старца находился бюст, изображавший человека со смятым взглядом¹⁹: казалось, он следил глазами за каким-то удаляющимся предметом, внизу были изображены брошенная лира, рассыпанные лавры, разбитые колесницы и бешеные кони, несущиеся по широкой равнине.

Напротив этого бюста стоял другой, сильно меня заинтересовавший; мне кажется, я и сейчас еще вижу его; у него было хитрое выражение лица, острый огромный нос, внимательный взгляд и лукавая усмешка²⁰. Барельефы, украшавшие пьедестал, изобиловали фигурами, и вздумай я вам их описать, я бы никогда не кончила.

Рассмотрев еще несколько бюстов, я принялась расспрашивать мою водительницу.

«Кто этот человек, — спросила я, — у которого на устах написана правдивость и в чертах — честность?»

«Он был, — отвечала она, — другом и жертвой обеих этих добродетелей. Всю свою жизнь он старался просветить своих соотечественников и сделать их добродетельными; а они, неблагодарные, лишили его жизни»²¹.

«А этот бюст, стоящий ниже?»

«Какой? Тот, который словно поддерживают грации, изображенные по бокам пьедестала?»

«Да, именно этот».

«Это ученик, унаследовавший мудрость и принципы злополучного добродетельного мужа, о котором я вам говорила»²².

«А этот толстощекий, увенчанный виноградом и миртами?»

«Это веселый философ, единственным занятием которого было пенне и наслаждение. Он умер в объятиях сладострастия»²³.

«А этот слепец?»

«Это...» — начала она отвечать.

Но я не стала ждать ее ответа. Мне показалось, что я нахожусь в знакомой мне стране, и я поспешно подошла к бюсту, стоявшему напротив²⁴. На его пьедестале были изображены трофеи — различные атрибуты наук и искусств. На одной стороне пьедестала среди этих трофеев развилась амуры. На другой стороне изображены были гении политики, истории и философии. На третьей — две армии в боевом порядке, на лицах у воинов написаны были изумление и ужас, а также можно было прочесть восхищение и благоговение. Эти чувства были, повиди-

мому, внушены зрелищем, к которому были прикованы все взгляды. Это был умирающий молодой человек и, рядом с ним, воин более зрелого возраста, обращавший оружие против самого себя. Все в этих фигурах было необычайно прекрасно: и отчаяние одного, и оцененные смерти, овладевшее членами другого. Приблизившись, я прочла наверху надпись, начертанную золотыми буквами:

«...Увы! то сын его!»²⁵

В другом месте был изображен египетский султан, в ярости вонзавший кинжал в грудь молодой женщины в присутствии толпы народа. Одни отвращали взоры, другие плакали. Вокруг изображения были выгравированы такие слова:

«Не вы ли это, Нерестан?...»²⁶

Я хотела перейти к другим бюстам, когда внезапный шум заставил меня обернуться. Его производила толпа людей в длинных черных одеяниях, устремившаяся в галерею. У одних в руках были кадила, откуда вырывались клубы густого дыма, у других — гирлянды из бархатных гвоздик и других цветов, сорванных без разбора и безвкусно подобранных. Они сгрудились вокруг бюстов и стали на них кадить, распевая гимны на непонятных мне языках. Клубы дыма цеплялись за бюсты, которым украсившие их гирлянды придавали нелепый вид. Но вскоре античные бюсты обрели прежний вид; на моих глазах гирлянды увяли и осыпались на пол сухими лепестками. Среди варваров поднялся спор о том, почему некоторые из них не преклонялись достаточно низко, в угоду другим, и дело, казалось, было готово дойти до рукопашной, когда моя водительница рассеяла их одним взглядом и восстановила тишину в своей обители.

Не успели они исчезнуть, как из противоположной двери вошла длинная вереница пигмеев; эти человечки не достигали и двух локтей в вышину, но зато у них были весьма острые зубы и длинные ногти²⁷. Разбившись на несколько групп, они окружили бюсты. Одни старались поцарапать барельефы, и паркет был усеян обломками их ногтей, другие, еще более наглые, взгромоздившись на

плечи товарищей до уровня голов бюстов, давали им щелчки. Но меня весьма забавляло, что щелчки, даже не коснувшись носа статуй, обращались на носы пигмеев. Рассмотрев пигмеев вблизи, я обнаружила, что они почти все курносы.

«Вы видите, — сказала мне моя водительница, — какова наглость этих пигмеев и постигающая их кара. Уже давно длится эта война, и всегда она для них неудачна. Я обхожусь с ними не так строго, как с черными одеждами, — ладан последних может повредить бюстам, старания же первых почти всегда лишь усиливают блеск их красоты. Но так как вам осталось провести здесь лишь час или два, советую вам перейти к другим предметам».

Тотчас же распахнулся большой занавес, и я увидела мастерскую, где работали другого рода пигмен; у них не было ни зубов, ни ногтей, но зато они были вооружены бритвами и ножницами²⁸. Они держали в руках головы, казавшиеся живыми, и занимались тем, что у одной обреза́ли волосы, у другой нос и уши, у третьей выкалывали правый глаз, у четвертой — левый, затем они рассекали на части почти все головы. После этой операции они начинали их разглядывать и улыбаться, как будто находили их прекраснейшими в мире. Напрасно бедные головы испускали громкие крики, — их почти не удостоивали ответом. Я слышала, как одна из них требовала обратно свой нос и доказывала, что ей невозможно никуда показаться без этой части лица.

«Э, милейшая голова, — отвечал ей пигмей, — да ты с ума сошла! Этот нос, о котором ты так сожалешь, уродовал тебя. Он был такой длинный, длинный... С ним бы ты никогда не добилась успеха. Но теперь, когда его отрезали, ты стала очаровательной, и все будут искать с тобой знакомства».

Я сожалела об участи этих голов, когда заметила других пигмеев, более милосердных, которые ползали по земле, вооруженные очками. Они собирали носы и уши и прилаживали их к каким-то старым головам, утратившим их от времени²⁹.

Некоторым из них, правда, немногим, это удавалось, другие же приставляли нос на место уха или же ухо на место носа, отчего головы становились еще более безобразными.

Мне не терпелось узнать, что означали все эти вещи, я спросила об этом мою водительницу, и она уже открыла уста, чтобы мне ответить, когда я внезапно проснулась.

— Какая досада! — заметил Мангогул. — Эта женщина открыла бы вам начало тайн. Но за отсутствием ее мы обратимся к моему фокуснику Блокулокусу.

— Как! — воскликнула фаворитка. — К этому простофиле, которому вы даровали привилегию показывать при вашем дворе волшебный фонарь?

— Да, именно к нему, — отвечал султан. — Ваш сон объяснит либо он, либо никто.

— Пусть позовут Блокулокуса, — приказал Мангогул.

Глава сорок первая

Двадцать первая и двадцать вторая пробы кольца. Фрикамона и Калинига

Африканский автор ничего не говорит о том, что делал Мангогул в ожидании Блокулокуса. Повидимому, он отправился расспрашивать кое-какие сокровища и, удовлетворенный тем, что узнал, вернулся к фаворитке, испуская крики радости, которыми и начинается эта глава.

— Победа! Победа! — восклицал он. — Вы можете торжествовать, сударыня; и дворец, и фарфор, и маленькая обезьянка — ваши!

— Это, конечно, Эгле? — спросила фаворитка.

— Нет, сударыня, не Эгле, — отвечал султан, — это другая.

— О государь, — сказала фаворитка, — не томите меня ожиданием, сообщите, кто этот феникс...

— Ну, хорошо. Это... Кто бы мог думать?

— Это?.. — спросила фаворитка.

— Фрикамона, — отвечал султан.

— Фрикамона! — повторила Мирзоа. — Я в этом не вижу ничего невозможного. Эта женщина провела в монастыре большую часть своей юности и, с тех пор как вышла оттуда, ведет самую примерную и уединенную жизнь. Ни один мужчина не входил к ней, она сделалась как бы аббатисой и стоит во главе целой паствы молодых богомолков, которых она ведет к совершенству и которыми полон ее дом. Вам, мужчинам, там нечего делать, — прибавила фаворитка, улыбаясь и покачивая головой.

— Мадам, вы правы, — сказал Мангоул. — Я стал спрашивать ее сокровище. Ответа не было. Я удвоил силу моего перстня путем повторного трения, — попрежнему ничего. «Вероятно, это сокровище глухо», — говорил я себе. И я собирался оставить Фрикамону на кушетке, где ее застал, когда она вдруг заговорила, разумеется, ртом.

«Дорогая Акарис, — воскликнула она, — как я счастлива в минуты, когда убегаю от неотвязных дел, чтобы отдаться тебе! После тех минут, которые я провожу в твоих объятиях, это самые сладкие минуты в моей жизни... Ничто меня не развлекает; кругом царит молчанье, полукрытые занавески впускают немного света, достаточного для того, чтобы мне с умилением созерцать тебя. Я приказываю воображению, оно вызывает твой образ, и вот я уже вижу тебя... Милая Акарис! Как ты прекрасна!.. Да, вот твои глаза, твоя улыбка, твои уста... Не прячь от меня твою юную грудь. Дай мне ее поцеловать... Я еще не нагляделась на нее... Еще разок ее поцелую... О, дай мне умереть на ней!.. Какая страсть меня охватывает! Акарис! Милая Акарис, где ты... Приди же, милая Акарис... О дорогая и нежная подруга, клянусь тебе, неведомые чувства овладели моей душой! Она переполнена ими, она стала им дивиться, она не может их выдержать... Лейтесь, сладостные слезы, лейтесь и утолите пожирающий меня жар!.. Нет, милая Акарис, нет, этот Ализали, которого ты мне предпочитаешь, не любит тебя так, как я... Но я слышу какой-то шум... Ах, это, без сомнения, Акарис... Приди, милая подруга, приди»...

— Фрикамона не ошиблась, — продолжал Мангогул, — это была, действительно, Акарис. Я оставил их беседовать вдвоем и, глубоко убежденный в том, что сокровище Фрикамоны останется скромным, прибежал сообщить вам, что проиграл пари.

— Но, — сказала султанша, — я не понимаю эту Фрикамону, она или сошла с ума, или у нее истерический припадок. Нет, государь, нет, у меня больше совести, чем вы предполагаете. Я ничего не могу возразить против этого испытания, но чувствую, что здесь есть что-то, что не позволяет мне признать за собой победу. Нет, я не считаю себя победительницей, уверяю вас. Мне совсем не нужно вашего дворца и фарфора или же я получу их по справедливости.

— Сударыня, — сказал Мангогул, — я, право, вас не понимаю. На вас находят удивительные причуды. Вероятно, вы не рассмотрели, как следует, маленькую обезьянку.

— Государь, я отлично ее рассмотрела, — возразила Мирзоза. — Я знаю, она очаровательна. Но я подозреваю, что случай с Фрикамоной совсем не на руку мне. Если вы захотите, чтобы обезьянка когда-нибудь мне принадлежала, спросите других.

— Честное слово, сударыня, — сказал Мангогул, — после основательного размышления я думаю, что выигрыш вам может доставить лишь возлюбленная Мироло.

— О государь, вы бредите! — отвечала фаворитка. — Я не знаю вашего Мироло, но кто бы он ни был, раз у него есть возлюбленная, этим все сказано.

— В самом деле, вы правы, — сказал Мангогул. — Но все-таки я готов биться о заклад, что сокровище Калипиги не знает решительно ничего.

— Согласитесь же, — продолжала фаворитка, — что здесь одно из двух: или сокровище Калипиги... Но я хотела удариться в смешные рассуждения... Делайте же, государь, все, что вам будет угодно. Спросите сокровище Калипиги; если оно будет молчать, тем хуже для Мироло и тем лучше для меня.

Мангогул вышел, и в одно мгновение очутился возле вышитой серебром софы цвета нарцисса, где покоилась Калипига. Не успел он направить на нее перстень, как услышал глухой голос, бормотавший такие слова:

— О чем вы меня спрашиваете? Я ничего не понимаю в ваших вопросах. Обо мне даже не знают. А между тем, мне кажется, что я не хуже других. Правда, Мироло часто заглядывает ко мне, но...

В этом месте в рукописи значительный пропуск. Ученые круги были бы весьма признательны тому, кто мог бы восстановить текст речи сокровища Калипиги, от которой сохранились лишь две последних строки. Приглашаем ученых рассмотреть их и решить, не был ли этот пропуск сознательным опущением автора, недовольного тем, что сказало сокровище, и не сумевшего заставить его слова чем-нибудь лучшим.

...Говорят, что моему сопернику воздвигнуты алтари за Альпамп. Увы! Если бы не Мироло, во всем мире воздвигали бы мне храмы.

Мангогул тотчас же вернулся в сераль и повторил фаворитке жалобы сокровища Калипиги слово в слово, ибо у него была удивительная память.

— Ее слова, сударыня, — сказал он, — вам наруку. Я отдаю вам обещанное, и вы поблагодарите за это Калипигу, когда сочтете нужным.

— Государь, — торжественно отвечала Мирэоза, — своим выигрышем я хочу быть обязанной лишь неоспоримой добродетели, а не...

— Но, сударыня, — прервал ее султан, — я не знаю, чья добродетель лучше установлена, чем у той, которая видала врага так близко.

— Государь, — возразила фаворитка, — я знаю, что говорю. Вот Селим и Блокулокус, они нас рассудят.

Вошли Селим и Блокулокус. Мангогул рассказал им, в чем дело, и они оба приняли сторону Мирэозы.

Глава сорок вторая

Сновидения

— Сударь, — сказала фаворитка Блокулокусу, — вы должны оказать мне еще одну услугу. Прошлую ночь я видела множество необычайных вещей. Это был сон, но один бог знает, что это за сон. Меня уверяли, что вы лучший в Конго толкователь снов. Скажите же мне поскорей, что означает этот сон. — И она тотчас же рассказала ему все виденное.

— Сударыня, — отвечал Блокулокус, — я весьма посредственный опейрокритик...

— О, избавьте меня, пожалуйста, от научных терминов! — воскликнула фаворитка. — Оставьте науку в покое и говорите разумным языком.

— Сударыня, — сказал Блокулокусу, — вы будете удовлетворены. У меня есть кое-какие интересные соображения о сновидениях. Именно этому я обязан прозвищем Пустой Сон, а также тем, что имею честь беседовать с вами. Я изложу вам свои мысли по возможности ясно.

— Вам, конечно, известно, сударыня, — продолжал он, — что говорят об этом большинство философов, а также прочие смертные. Предметы, — говорят они, — поразившие днем наше воображение, занимают наше сознание ночью; следы, оставленные ими во время бодрствования в фибрах нашего мозга, сохраняются; жизненные силы, привыкшие направляться в известные области, следуют по уже знакомому пути, — отсюда возникают произвольные представления, которые огорчают нас или радуют. Исходя из этих положений, счастливый любовник, казалось бы, всегда должен иметь приятные сны, а между тем случается нередко, что особа, отнюдь не враждебная ему паяву, в сновидении обращается с ним, как с негром, или, вместо того, чтобы обладать очаровательной женщиной, он видит в своих объятиях маленькое безобразное чудовище.

— Нечто подобное как раз случилось со мной прошлой ночью, — прервал его Мангогул. — Ведь я вижу сны

каждую ночь,— это семейная болезнь; она передается от отца к сыну и началась с султана Тогрула, который первый стал видеть сны с 743 500 000 002 года. Так вот, прошлой ночью я видел вас, сударыня,— обратился он к Мирзозе.— Это были ваша кожа, ваши ручки, ваша грудь, ваша шея, ваши плечи, ваше упругое тело, ваш стройный стан, ваша несравненная округлость форм, одним словом, это были вы; а между тем, вместо вашего прелестного лица, вместо очаровательной головки, которую я искал глазами,— я очутился носом к носу с мордой мопса.

Я испустил ужасный крик. Котлук, мой камердинер, прибежал и спросил, что со мной. «Мирзоза,— отвечал я ему в полусне,— только что подверглась самой безобразной метаморфозе, она стала мопсом».

Котлук не счит нужным разбудить меня, он удалился, и я снова заснул. Но могу вас уверить, я отлично узнал вас, ваше тело и видел голову собаки. Объяснит ли мне Блокулокус этот феномен?

— Я не теряю надежды его объяснить,— отвечал Блокулокус,— но только ваше высочество должны признать одну весьма простое положение: что все существа находятся между собой в самых разнообразных отношениях, благодаря присущим им одинаковым свойствам, и что известный комплекс свойств характеризует их и образует различия между ними.

— Это ясно,— заметила Мирзоза,— например, у Ипсифилы руки, ноги и рот характерны для умной женщины...

— А Фарасман,— прибавил Мангогул,— носит шпагу, как доблестный человек.

— Если мы недостаточно знакомы со свойствами, комплекс которых характеризует ту или иную категорию людей, или если мы будем поспешно судить о том, подходит ли этот комплекс к тому или иному индивиду, мы рискуем принять медь за золото, страз за бриллиант, счетчика за математика, фразера за человека науки, Критона за честного человека и Федиму за хорошенькую женщину,— добавила султанша.

— Так вот, знаете ли вы, сударыня,— продолжал

Блокулокус, — что можно сказать о людях, произносящих такие суждения?

— Что они грезят наяву, — отвечала Мирзоза.

— Отлично, сударыня, — продолжал Блокулокус. — И ходячее выражение «Мне кажется, вы грезите» является во всех отношениях самым мудрым и точным; ибо самое обычное явление — люди, которые воображают, что рассуждают, а на самом деле грезят с открытыми глазами.

— Именно о них, — прервала фаворитка, — можно сказать буквально, что жизнь есть сон.

— Не могу надвинуться, сударыня, — продолжал Блокулокус, — легкости, с которой вы схватываете самые абстрактные понятия. Наши сны — не что иное, как слишком поспешные суждения, следующие друг за другом с невероятной быстротой; сближая между собой вещи, имеющие лишь самое отдаленное сходство, они создают из них некое причудливое целое.

— О, я вас прекрасно понимаю, — сказала Мирзоза. — Это своего рода мозанка, составные части которой более или менее многочисленны, более или менее правильно расположены, в зависимости от того, живой ли у нас ум, проворное ли воображение и надежная ли память. Не в этом ли заключается безумие? И когда какой-нибудь обитатель желтого дома восклицает, что он видит молнию, слышит гром и видит, как пропасти разверзнутся у него под ногами, или когда Ариадна, стоя перед зеркалом, улыбается сама себе, находя, что у нее живой взгляд, прелестный цвет лица, прекрасные зубы и маленький ротик, — то не воспринимают ли их поврежденные мозги воображаемые вещи как существующие и реальные?

— Вот именно, сударыня. Да, если мы станем хорошенько наблюдать сумасшедших, — сказал Блокулокус, — мы убедимся, что их состояние не что иное, как непрерывный сон.

— Я располагаю, — сказал Селим, обращаясь к Блокулокусу, — некоторыми фактами, к которым ваши идеи блестяще приложимы, что и заставляет меня их принять. Однажды мне пришлось, что я слышу ржанье, и вот

я увидел, как из великой мечети вышли двумя параллельными рядами странные животные. Они важно шли на задних ногах, морды их были закрыты капюшонами, сквозь отверстия которых виднелись длинные уши, подвижные и бархатистые; передние ноги были закутаны очень длинными рукавами. В свое время я ломал голову, пытаюсь разгадать смысл видения, но сегодня я вспомнил, что накануне этого сна был на Монмартре³⁰.

Другой раз, когда я был в походе под началом самого великого султана Эрgebзеда и, измученный форсированным маршем, спал в палатке, мне приснилось, что я должен добиваться у дивана решения по одному весьма важному делу; я хотел обратиться в государственный совет, — но судите о моем изумлении: зал оказался уставленным яслями для корма скота, колодами для поила, кормушками и клетками с цыплятами; в кресле великого сенешала я увидел пережевывающего жвачку быка; на месте сержанта — берберийского барана; на скамье тефтардара — орла с крючковатым клювом и длинными когтями; вместо князя и кадилескера — двух большущих сов, закутанных в меха; а вместо визирей — гусей с хвостами павлинов; я изложил свое ходатайство и тотчас же услышал отчаянный шум, который меня разбудил.

— Нечего сказать, трудно разгадать этот сон! — заметил Мангоул. — У вас в то время было дело в диване, и, прежде чем туда отправиться, вы прошли по зверинцу. Но вы ничего не говорите мне, господин Блокулокус, о моей собачьей голове.

— Государь, — отвечал Блокулокус, — сто шансов против одного за то, что у сударыни был палантин из куньих хвостов, или же что вы видели его на другой особе, а также, что мопсы поразили вас, когда вы их увидели в первый раз, — всех этих данных более, чем достаточно, чтобы заставить работать вашу фантазию ночью; благодаря сходству цветов, вам легко было заменить палантин собачьей шерстью, и тотчас же вы посадили безобразную собачью голову на место прекраснейшей женской головки.

— Ваши мысли кажутся мне справедливыми, — заметил Мангогул. — Почему вы их не опубликуете? Они могли бы содействовать успеху гаданий по снам, — важной науки, которой много занимались две тысячи лет назад и которой впоследствии стали пренебрегать. Другое преимущество вашей теории в том, что она сможет пролить свет на некоторые труды как древние, так и современные, которые являются не чем иным, как сплетением сновидений; таковы: «Трактат об идеях» Платона, «Фрагменты» Гермеса Трисмегиста, «Литературные парадоксы» отца Г...³¹. «Ньютон», «Учение о цветах» и «Универсальная математика» одного брамина³². Не скажете ли вы, между прочим, господин гадатель, что видел Оркотом в ту ночь, когда ему приснилась его гипотеза; что видел отец К...³³, когда начал сооружать свой цветовой орган, и под влиянием какого сна Клеобул сочинил свою трагедию?

— Путем некоторого размышления мне удастся растолковать все это, государь, — отвечал Блокулокус, — но я откладываю разъяснение этих щекотливых вопросов до того времени, когда предложу публике мой перевод Филлоксена, привилегию на который умоляю ваше высочество мне дать.

— Весьма охотно, — сказал Мангогул, — но кто такой этот Филлоксен?

— Государь, — отвечал Блокулокус, — это греческий автор, прекрасно понимавший природу снов.

— Так вы знаете греческий?

— О нет, государь.

— Но разве вы не сказали, что переводите Филлоксена и что он писал по-гречески?

— Да, государь, но нет необходимости знать язык, чтобы переводить с него; ведь переводят для людей, которые его не знают.

— Это замечательно! — воскликнул султан. — Господин Блокулокус, переведите с греческого, не зная языка; даю вам слово, что никому не скажу об этом и буду оказывать вам и впредь не менее исключительное уважение.

Глава сорок третья

Двадцать третья проба кольца. Фанни

Когда окончилась эта беседа, было еще светло; это побудило Мангогула, прежде чем удалиться в свои апартаменты, сделать еще одну пробу кольца, хотя бы для того, чтобы заснуть с более веселыми мыслями, чем занимавшие его до сих пор. Он немедленно перенесся к Фанни, но не застал ее. После ужина он вернулся, но ее все еще не было. Итак, он отложил свое испытание до утра следующего дня.

В этот день, — говорит африканский автор, летопись которого мы переводим, — Мангогул явился к Фанни в половине десятого. Ее только что уложили в кровать. Султан подошел к ее изголовью, некоторое время рассматривал ее и не мог понять, как, при таких незначительных прелестях, у нее было столько похождений.

Фанни белокура до бесцветности, высока, развинченна, обладает непристойной походкой, черты лица у нее неправильны, в ней мало обаяния, вид ее дерзок, терпим лишь при дворе; что касается ума, она набралась его в галантных похождениях, — ведь женщина должна быть природной душой, чтобы не овладеть развязной речью после двадцати интриг, как это было у Фанни.

В последнее время она принадлежала человеку, прямо созданному для нее. Он отнюдь не пугался ее измен, — правда, он не был так прекрасно осведомлен, как публика, насколько далеко они заходили. Он взял Фанни, повинувшись прихоти, и сохранял ее за собой по привычке. У них было что-то вроде палаженного хозяйства. Они провели ночь на балу, легли спать в девять часов утра и безмятежно заснули. Беспечность Алонзо не так устраивала бы Фанни, не будь у него легкий характер. Итак, наша пара крепко спала спина к спине, когда султан направил кольцо на сокровище Фанни. Тотчас же оно принялось болтать, хозяйка его захрапела, Алонзо проснулся.

Зевнув несколько раз, сокровище сказало:

— Это не Алонзо. Который час? Чего от меня хотят? Мне кажется, я не так давно заснуло. Оставьте же меня в покое.

Алонзо собирался снова заснуть, но это не входило в намерения султана.

— Что за преследования! — продолжало сокровище. — Снова толчок! Чего от меня хотят? Беда иметь знаменитых предков! Глупое положение титулованного сокровища. Если что вознаграждает меня за трудности моего положения, — так это доброта вельможи, которому я принадлежу. О, в этом отношении он лучший в мире человек! Он никогда к нам не придирался. Зато и мы хорошо пользовались предоставленной нам свободой. Милосердный Брами, что бы было со мной, если бы я принадлежало одному из тех докучных, что вечно за нами шпионят! Хороша была бы наша жизнь!

Сокровище сказало еще несколько слов, которых Мангогул не расслышал, и принялось выкладывать с поразительной быстротой целую кучу событий — героических, комических, забавных, трагикомических. Запыхавшись, оно продолжало говорить в следующих выражениях:

— Я обладаю, как видите, некоторой памятью, но я такое же, как и другие, я запомнило лишь ничтожную долю из того, что мне доверяли. Итак, удовольствуйтесь тем, что я вам рассказало, больше ничего не могу припомнить.

— Это, по крайней мере, честно, — заметил Мангогул, но все-таки продолжал настаивать на своем.

— Ах, вы выводите меня из терпения! — воскликнуло сокровище. — Неужели нет лучшего занятия, кроме болтовни! Ну, что же, давайте болтать, если так надобно. Быть может, когда я все скажу, мне будет позволено делать что-нибудь другое.

Моя хозяйка Фанни, — продолжало сокровище, — повинясь непостижимой прихоти, покинула двор и затворилась в своем особняке в Банзе. Было начало осени, и в городе не было ни души. Что же она там делала? — спросите вы меня. Ей-богу, не знаю; ведь Фанни умеет делать только

одно, и если бы она этим занялась, мне было бы известно. Она, по всей видимости, была не у дел. Да, я припоминаю: мы провели полтора дня ничего не делая и умирая от скуки.

Я уже боялось, что такой образ жизни меня погубит, когда Амизадар решил нас от него избавить.

«А, вот и вы, мой бедный Амизадар. Право, я в восторге от вашего прихода. Вы явились очень кстати».

«А кто же знал, что вы в Банзе?» — спросил Амизадар.

«О, решительно никто. Ни ты, ни кто другой об этом не подозревает. Ты не догадываешься о том, что меня сюда привело?»

«Нет, сказать по правде, ничего не подозреваю».

«Решительно ничего?»

«Да, ничего».

«Ну, так узнай же, мой милый: я захотела обратиться».

«Обратиться?»

«Ну, да».

«Посмотрите-ка на меня. Но вы сейчас очаровательнее, чем когда-либо, и я не вижу, что могло привести вас к обращению. Это шутка».

«Честное слово, нет. Это вполне серьезно. Я решила покинуть свет, он мне надоел».

«Это фантазия, которая скоро пройдет. Пусть я умру, если вы когда-нибудь станете богомолкой».

«Стану, говорю вам. У мужчин нет больше совести».

«Разве Мазул дурно с вами обошелся?»

«Нет, я не видела его уже сто лет».

«Так, значит, Зуфоло?»

«Вот уж нет! Я перестала с ним видеться, сама не знаю почему, даже не думая об этом».

«А! я догадался: это молодой Имола».

«Вот еще! Разве сохраняют такую дребедень?»

«Так в чем же дело?»

«Сама не знаю; я зла на весь свет».

«О мадам, вы неправы. Этот свет, на который вы злитесь, еще возместит вам ваши потери».

«Скажи по правде, Амизадар, неужели ты веришь, что есть еще добрые души, не загронутые всеобщим развращением и умеющие любить?»

«Как, любить? Неужели же вы падете так низко? Вы хотите быть любимой, вы?»

«А почему бы и нет?»

«Но подумайте сами, мадам, ведь мужчина, который любит, требует, чтобы и его любили, притом его одного. Вы слишком благоразумны, чтобы подчиниться ревности и капризам пылкого и верного любовника. Нет ничего утомительнее таких людей. Никого не видеть, не любить, ни о ком не мечтать, кроме как о них; отдавать свое остроумие, веселье и прелести только им, — это никак к вам не подходит. Хотел бы я посмотреть, как вы окунетесь с головой в сильную страсть и приобретете все смелотворные повадки маленькой буржуазки!»

«Мне кажется, ты прав, Амизадар, я думаю, что в самом деле нам не пристало заниматься любовью. Что же, будем менять привязанности, раз так уж надо. К тому же, я не вижу, чтобы чувствительные женщины, которых нам ставят в пример, были счастливее других».

«Кто вам это сказал, сударыня?»

«Никто, я чувствую, что это так».

«Не верьте себе. Чувствительная женщина составляет свое счастье, счастье своего любовника, но эта роль идет не ко всем женщинам»...

«Честное слово, милейший, она никому не идет, все чувствуют себя в ней не по себе. Какое преимущество в том, чтобы привязываться?»

«Тысячи. Привязчивая женщина сохраняет свою репутацию, ее высоко чтит тот, кого она любит; вы не поверите, сколь многим любовь обязана уважению».

«Я ничего не понимаю в твоих словах, ты все смешиваешь: репутацию, любовь, уважение, — не знаю что еще. Как! Неужели же непостоянство навлекает на нас бесчестье? Вот, например, я выбираю себе мужчину: я им недовольна; беру другого, который также мне не под стать; меняю его на третьего, и тот не лучше прежних;

и если мне так не везет и я раз двадцать ошиблась в выборе, вместо того чтобы меня пожалеть, ты хочешь»...

«Я хочу, сударыня, чтобы женщина, которая в первый раз ошиблась в своем выборе, больше уже никого не выбирала, а то она рискует снова ошибиться и переходить от ошибки к ошибке».

«О, какая мораль! Мне кажется, мой милый, ты только что проповедывал мне совсем другое. Нельзя ли узнать, какова должна быть женщина, чтобы придтись вам по вкусу?»

«Охотно скажу, сударыня; но уже поздно, и это заведет нас слишком далеко»...

«Тем лучше. Я одна, и ты мне составишь компанию. Идет? Садись на эту кушетку и продолжай. Так мне будет удобнее тебя слушать».

Амизадар послушно уселся рядом с Фанни.

«На вас накинута, сударыня, — сказал он, наклоняясь к ней и открывая ей грудь, — мантилья, которая как-то странно вас закрывает».

«Совершенно верно».

«Э! Так почему скрывать такие прелести!» — прибавил он, целуя их.

«Перестаньте, слышите! Вы с ума сошли! Ваша дерзость переходит все границы. Господин моралист, продолжайте-ка речь, которую вы начали».

«Итак, я хотел бы, чтобы моя любовница, — продолжал Амизадар, — отличалась красотой, умом, чувствительным сердцем, а главное, скромностью. Я желал бы, чтобы она ценила мои заботы о ней и не выпроваживала бы меня за дверь ловкими минами; чтобы она раз навсегда сказала мне, что я ей нравлюсь, чтобы она сама сообщила мне, чем я могу еще больше ей понравиться; чтобы она не скрывала от меня завоеваний, какие я сделаю в ее сердце; чтобы она слушала одного меня, смотрела только на меня, думала и мечтала лишь обо мне, любила меня одного, занималась только мной; чтобы все ее поступки убеждали меня в этом; и чтобы после окончательной победы над ней,

я увидел, что всем обязан моей и ее собственной любви. Какой триумф, сударыня! И какое счастье для мужчины обладать такой женщиной!»

«Но, мой бедный Амизадар, ты бредишь, честное слово! Ты парисовал мне портрет женщины, каких нет на свете».

«Извините меня, сударыня, но такие есть. Признаюсь, они редки. Но все же я имел счастье встретить подобную женщину. Увы! Если бы смерть не похитила ее у меня, — ибо таких женщин отнимает у нас только смерть, — я, вероятно, и теперь находился бы в ее объятиях».

«Но как ты вел себя с ней?»

«Я любил ее безумно; я не упустил случая доказать ей свою нежность. Мне доставляло сладостное удовлетворение видеть, что знаки моей нежности хорошо приняты. Я был верен ей до мелочей. Она платила мне тем же. Мы спорили лишь о том, кто из нас меньше и кто больше любит другого. В таких маленьких распрях развивалась наша страсть. Никогда мы не бывали так нежны, как после испытания нашего сердца. За нашими объяснениями следовали самые бурные ласки. О, сколько любви и правдивости было в наших взорах! Я читал в ее глазах, она в моих, о том, что мы оба пылаем одинаковым и взаимным жаром».

«И к чему все это вас приводило?»

«К радостям, неведомым смертным, менее влюбленным и менее правдивым, чем мы».

«Итак, вы наслаждались?»

«Да, я наслаждался благом, которым бесконечно дожил. Если уважение само по себе не действует на нас опьяняюще, оно, во всяком случае, содействует опьянению. Мы раскрывали сердце друг перед другом, и вы не поверите, насколько выигрывала от этого наша любовь. Чем больше я наблюдал свою возлюбленную, тем больше открывал в ней достоинств и тем в больший восторг я приходил. Я провел у ее ног полжизни и жалею, что не всю целиком. Я составлял ее счастье, она — мое. Я всегда встречал ее с радостью и покидал с печалью. Так мы

жили. Посудите же сами теперь, сударыня, достойны ли жалости чувствительные женщины».

«Конечно, нет, если правда все, что вы мне рассказали; но мне трудно поверить. Разве так любят? Я думаю также, что страсть, подобная той, какую вы испытали, должна приносить наряду с наслаждениями и большое беспокойства».

«Они были у меня, сударыня, но они были мне дороги. Я испытывал иной раз ревность. Малейшее изменение, замеченное мной в лице моей возлюбленной, зарождало в глубине моей души тревогу».

«Какое сумасбродство! Приняв все это во внимание, я заключаю, что лучше уж любить, как любят все: выбирать мужчину по своему вкусу, сохранять при себе, пока это доставляет удовольствие; бросать, когда надоеет или придет фантазия взять другого. Непостоянство доставляет разнообразие наслаждений, неизвестных вам, немеющим от страсти».

«Признаюсь, такой образ действий подходит щеголихам и распутницам, но человек чувствительный и деликатный не может к нему приспособиться. Самое большее, — это может его позабавить, если сердце его свободно и ему хочется сделать некоторые сравнения. Одним словом, женщина легкомысленная мне ничуть не по вкусу».

«Ты прав, дорогой Амиздар. Твой образ мыслей меня восхищает. Но любишь ли ты кого-нибудь сейчас?»

«Нет, сударыня, если не считать вас, но я не решаюсь вам сказать»...

«О мой милый, ты можешь мне это сказать», — возразила Фанни, пристально глядя на него.

Амиздар отлично понял смысл этих слов, придвинулся поближе к Фанни и начал тереть ленту, спускавшуюся ей на грудь. Сопротивления не было. Его рука, не встречая препятствий, скользила по ее телу. На него попрежнему устремлялись взгляды, которые он понимал, как должно. Я хорошо видел, — прибавлю сокровище, — что он был прав. Он поцеловал грудь, которую так хвалил. Фанни просила его поскорее прекратить, но таким тоном,

что, казалось, была бы обижена, если бы он повиновался. Поэтому он и не думал слушаться. Он целовал ей руки, вновь принимался за грудь, переходил к губам. Она не сопротивлялась. Незаметно нога Фанни очутилась на коленях Амизадара. Он стал ее ощупывать; она была тонка. Амиздар не преминул это заметить. Его похвала была выслушана с рассеянным видом. Пользуясь таким невниманием, рука Амизадара сделала новые завоевания и довольно быстро добралась до ее колен. Фанни оставалась рассеянной, и Амиздар начал уже устраниваться, когда она очулась. Она стала обвинять молодого философа в том, что он оказывает ей недостаточно уважения, но он, в свою очередь, впал в такую рассеянность, что ничего не слышал или отвечал на ее упреки, довершая свое блаженство.

Каким очаровательным он мне показался! Среди множества тех, что ему предшествовали и пришли ему на смену, ни один не был мне до такой степени по вкусу. Не могу говорить о нем без дрожи. Но позвольте же мне передохнуть, мне кажется, я уже достаточно наговорило для того, кто делает это в первый раз.

Алонзо не упустил ни одного слова из рассказа сокровища Фанни, и ему, так же как и Мавгогулу, не терпелось узнать, чем кончилось это приключение. Но ни тому, ни другому не пришлось сгорать от любопытства, ибо сокровище-историк продолжало в таких выражениях:

— Насколько мне удалось выяснить путем размышлений, Амиздар через несколько дней отправился за город; там его спросили о причинах пребывания в Банзе, и он рассказал о своем походе с моей хозяйкой, потому что один из их общих знакомых, проходя мимо нашего особняка, осведомился, случайно или кое-что подозревая, нет ли дома сударыни, велел о себе доложить и поднялся в ее покои.

«О, сударыня! Кто бы мог подумать, что вы в Банзе? И давно ли вы вернулись?»

«Я уже здесь сто лет, мой дорогой, с того самого дня, как две недели назад удалилась от света».

«Нельзя ли у вас спросить, сударыня, что вас к этому побудило?»

«Увы! Общество меня утомляло. Светские женщины до такой степени распущены, что нет сил выносить. Пришлось бы или поступать, как они, или же прослыть душой, а сказать по правде, и то, и другое мне не по душе».

«Но, сударыня, вы стали прямо примерной женщиной. Уж не обратила ли вас речь брамина Брелибиби?»

«Нет, это просто припадок философии, приступ благочестия. Это нашло на меня внезапно. И если бы не бедняга Амизатар, я была бы сейчас совсем обновленной».

«Так мадам его недавно видела?»

«Да, один или два раза».

«И никого, кроме него?»

«Никого. Это единственное мыслящее, рассуждающее и действующее существо, которое проникло сюда за бесконечно долгое время моего уединения».

«Странно!»

«Что же в этом странного?»

«Ничего, кроме похождения, бывшего у него недавно с одной дамой в Банзе; она была подобно вам одинока, подобно вам благочестива и подобно вам удалилась от света. Но я расскажу вам эту историю, быть может она вас позабавит».

«О, конечно», — отвечала Фанни. И тотчас же приятель Амизатара начал рассказывать ей о ее походе-нии, слово в слово, совсем как я, — прибавило сокровище, — и когда он дошел до этого момента...

«Ну, что вы на это скажете, сударыня? — спросил он. — Неужели этот Амизатар не счастливец?»

«Но, — возразила Фанни, — быть может, Амизатар лжец. Неужели вы думаете, что есть женщины столь дерзкие, что отдаются без стыда?»

«Но примите во внимание, мадам, — заметил Марзуфа, — что Амизатар никого не называл, и мало вероятно, что он нас обманул».

«Догадываюсь, в чем дело, — продолжала Фанни. — Амизатар умен и хорош собой. Вероятно, он совратил

с пути истинного эту бедную затворницу какими-нибудь соблазнительными идеями. Да, конечно, так. Такие люди опасны для тех, кто им внимает, и среди них Амизадар не знает себе равных»...

«Как же так, сударыня! — прервал ее Марзуфа. — Неужели же Амизадар единственный мужчина, умеющий убеждать? Не воздадите ли вы должное и другим, которые, подобно ему, могут претендовать на ваше уважение?»

«Будьте добры сказать, о ком вы говорите».

«О самом себе, мадам, ибо я нахожу вас очаровательной».

«Вы, кажется, шутите. Посмотрите-ка на меня, Марзуфа. У меня на лице нет ни румян, ни мушек. Чепчик мне совсем не идет. Меня можно испугаться».

«Вы ошибаетесь, сударыня. Это дезабилье удивительно вам к лицу. Оно придает вам такой трогательный, такой нежный вид»...

К этим галантным словам Марзуфа присоединил другие. Незаметно я вмешалось в разговор, и когда Марзуфа со мной покончил, он продолжал, обращаясь к моей хозяйке:

«Кроме шуток, неужели Амизадар пытался вас обратиться? Этот человек — удивительный мастер обращаться. Не познакомите ли вы меня с его моралью? Готов биться об заклад, что она немногим отличается от моей».

«Мы углублялись с ним в некоторые вопросы любви. Мы рассмотрели, в чем состоит разница между женщиной чувствительной и женщиной легкомысленной. Что касается его, он стоит за чувствительных».

«Без сомнения, также и вы?»

«Ничуть, мой милый. Я исчерпала все доводы, доказывая ему, что все мы одинаковы и действуем согласно тем же принципам. Амизадар не разделяет моего мнения. Он устанавливает бесконечное множество различий, которые существуют, мне кажется, лишь в его воображении. Он создал себе какой-то идеальный образ женщины, химеру, воображаемое влюбленное существо».

«Сударыня, — отвечал Марзуфа, — я знаю Амизадара. Он юноша с головой и знающий женщины. Если он вам сказал, что такие женщины существуют»...

«О! Существуют они или нет, — все равно я не намерена им уподобляться», — прервала его Фанни.

«Знаю, — отвечал Марзуфа. — Вы усвоили себе поведение, более соответствующее вашему происхождению и достоинствам. Предоставим этих жеманниц философам; при дворе они увяли бы во цвете лет»...

Тут сокровище Фанни замолчало. Одним из главных достоинств такого рода ораторов было умение во-время остановиться. Оно говорило так свободно, как если бы никогда ничего другого не делало. На основании этого некоторые авторы заключили, что сокровища — не более как автоматы. Вот как они рассуждали. Здесь африканский автор приводит целиком метафизические аргументы картезианцев против существования души у животных, каковые он со свойственной ему проникательностью применяет к говорящим сокровищам. Одним словом, он высказывает мнение, что сокровища говорят точно так же, как поют птицы, то есть владеют речью, не учившись ей, и, без сомнения, им внушает слова какое-нибудь разумное начало.

А как поступает автор с государем? — спросите вы меня. Он посылает его обедать к фаворитке; по крайней мере, там мы его находим в следующей главе.

Глава сорок четвертая История путешествий Селима

Мангогул, помышлявший лишь о том, чтобы разнообразить удовольствия и почаще испытывать действие кольца, расспросив самые интересные сокровища при дворе, захотел выслушать и кое-какие сокровища в городе. Но не ожидая от них ничего хорошего, он предпочел бы их расспросить, избавив себя от труда разыскивать каждое в отдельности. Но как собрать все эти сокровища? Вот занимавший его вопрос.

— Вы ломитесь в открытую дверь, — сказала ему Мирзоа. — Стоит вам, государь, дать бал, и я ручаюсь вам, что в тот же вечер вы услышите сколько угодно таких болтунов.

— О радость моего сердца, вы правы, — отвечал Мангоул. — Ваше средство тем более действительно, что к нам соберутся наверняка именно те, которые нам нужны.

Тотчас же был отдан приказ главному евнуху и казначею, заведующему развлечениями, приготовить празднество и распространить не более четырех тысяч билетов. Это значило, что он должен рассчитывать по меньшей мере на шесть тысяч человек.

В ожидании бала Селим, Мангоул и фаворитка начали обсуждать различные новости.

— Знаете ли, сударыня, — спросил фаворитку Селим, — что бедный Кодендо умер?

— Впервые слышу. Отчего же он умер? — спросила фаворитка.

— Увы, мадам, — отвечал Селим, — это жертва мирового притяжения. Он еще в молодости слепо уверовал в эту теорию, и на старости лет у него помутился разум.

— Как же это случилось? — спросила фаворитка.

— Он вычислил по методу Галлея и Чирчино, знаменитых астрономов Моноэмуги, что комета, наделавшая столько шуму к концу царствования Каюглу, снова должна была появиться третьего дня. И опасаясь, что она ускорит бег и он не будет иметь счастья первым ее заметить, он решил провести ночь на башне, и еще вчера, в девять часов утра, он сидел там, прижав глазом к телескопу. Его сын, беспокоясь, как бы отцу не повредило столь длительное наблюдение, подошел к нему в восемь часов, потянул его за рукав и несколько раз позвал его:

«Отец, отец!» Ответа не было. «Отец, отец!» — повторял молодой Кодендо.

«Она придет! — отвечал Кодендо. — Она придет! Чорт возьми, я ее увижу!»

«Что вы говорите, отец? Ведь сейчас ужасающий туман».

«Я хочу ее увидеть и я увижу ее, говорю тебе».

Молодой человек, убедившись, что его отец заговаривается, принялся звать на помощь. Сбежались домашние. Послали за Фарфадн. Я как раз был у него, так как он мой врач, когда прибежал слуга Кодендо.

«Скорее, скорее, сударь! Спешите! Старый Кодендо, мой хозяин...»

«Ну, в чем же дело, Шампань? Что случилось с твоим хозяином?»

«Сударь, он помешался».

«Твой хозяин помешался?»

«Ну да, сударь, он кричит, что хочет увидеть зверей, что увидит зверей, что они придут. Господин аптекарь уже там. Вас ждут. Идите скорей!»

«Мания! — говорил Фарфадн, надевая свою мантию и разыскивая четырехугольную шапочку. — Мания! Ужасный приступ мании! Шампань, — спросил он слугу, — твой хозяин не видит бабочек? Не отрывает клочков шерсти от своего одеяла?»

«О нет, сударь, — отвечал Шампань. — Бедняга в своей обсерватории, на самом верху. Его жена, дочери и сын вчетвером пытаются его удержать. Идите поскорей, вы разыщете завтра вашу четырехугольную шапочку».

Болезнь Кодендо заинтересовала меня. Мы сели с Фарфадн в карету и поехали к обсерватории. Находясь внизу лестницы, мы услышали, как Кодендо кричал, словно безумный: «Я хочу видеть комету! Я увижу ее! Убирайтесь вы, бездельники!»

Повидимому, родные Кодендо, которым не удалось убедить старика спуститься в его покои, велели поднять кровать на башню, так как мы застали ученого в постели. Позвали местного аптекаря и приходского брамина, который трубил ему в уши, когда мы пришли:

«Брат мой, дорогой брат, дело идет о вашем спасении. Вы не можете со спокойной совестью поджидать в этот час комету, вы навлекаете на себя вечную гибель».

«Это мое дело», — отвечал Кодендо.

«Что ответите вы Бrame, перед которым должны предстать?» — продолжал брамин.

«Господин кюре, — отвечал Кодендо, не отрываясь от телескопа, — я отвечу ему, что ваше ремесло — увещевать меня за деньги, а ремесло господина аптекаря расхваливать теплую водичку, что господин врач исполняет свои обязанности, щупая мне пульс и ничего не понимая, а моя обязанность — поджидать комету».

Сколько к нему ни приставали, больше ничего от него не добились. Он продолжал свои наблюдения с героическим мужеством и умер на крыше, прикрывая левой рукой левый глаз, с правой рукой на трубе телескопа, и прижавшись правым глазом к окуляру, между съном, кричавшим ему, что он допустил ошибку в вычислении, аптекарем, предлагавшим какое-то средство, доктором, заявлявшим, покачивая головой, что уже ничего нельзя поделать, и кюре, говорившим ему: «Брат мой, покайтесь и положитесь на волю Бrame»...

— Вот что называется, — сказал Мангогул, — умереть на ложе чести.

— Оставим, — прибавила фаворитка, — бедного Кодендо покоиться в мире и перейдем к другим, более приятным предметам.

И, обращаясь к Селиму, она сказала:

— Сударь, вы много прожили, вы галантны, умны, обладаете талантами и счастливой внешностью, и это — при дворе, где царят удовольствия; неудивительно, что сокровища всегда вас боготворили. Я подозреваю даже, что они не признались во всем, что им известно на ваш счет. Я не прошу, чтобы вы рассказали нам остальное, у вас могут быть веские основания мне отказать. Но после всех походов, которые приписывают вам эти господа, вы должны знать женщин, с этим вы, конечно, согласитесь.

— Этот комплимент, сударыня, — отвечал Селим, — польстил бы моему самолюбию, будь мне двадцать лет. Но у меня есть жизненный опыт, и одно из основных моих убеждений состоит в том, что чем больше мы занимаемся

этим делом, тем хуже в нем разбираемся. Вы думаете, я знаю женщин? Самое большее, что можно сказать, это, что я их много изучал.

— Ну, так что же вы о них думаете? — спросила фаворитка.

— Сударыня, — отвечал Селим, — что бы ни разгласили о них сокровища, я считаю их всех достойными уважения.

— Честное слово, мой милый, — сказал султан, — вам следовало бы быть сокровищем, тогда вам не понадобился бы намордник.

— Селим, — прибавила султанша, — оставьте сатирический тон и говорите правду.

— Сударыня, — отвечал придворный, — я мог бы коснуться в своем рассказе некоторых неприятных черт, но не принуждайте меня оскорблять пол, который всегда был ко мне довольно благосклонен и который я глубоко чту.

— Ах! Вечно это поклонение! Нет ничего язвительнее слащавых людей, которые этим занимаются, — прервала его Мирзоза. Думая, что Селим отказывается говорить из уважения к ней, она прибавила:

— Пусть мое присутствие не стесняет вас. Мы хотим позабавиться, и я обещаю вам отнести к себе все, что вы скажете лестного о моем поле, и предоставить остальное другим женщинам. Итак, вы много занимались изучением женщин? Ну, так изложите нам ход ваших занятий; они были как нельзя более удачны, если судить по известным нам успехам, и остается предположить, что неизвестные нам достижения лишь укрепят нас в этом мнении.

Старый придворный уступил настояниям султанши и начал свой рассказ в таких выражениях:

— Сокровища много говорили обо мне, не отрицаю этого, — но они сказали далеко не все. Те из них, которые могли бы дополнить мою историю, уже умерли или далеко, а те, которые обо мне рассказывали, лишь слегка коснулись предмета. До сих пор я хранил нерушимое молчание, как обещал им, хотя я умею говорить лучше их;

но раз они нарушили молчание, мне кажется, тем самым они и с меня сняли запрет.

Будучи от природы огненного темперамента, я не успел узнать, что такое красивая женщина, как уже полюбил ее. У меня были гувернантки, которых я терпеть не мог, зато мне полюбились горничные моей матери. Они были, большей частью, молоды и красивы, они разговаривали между собой, раздевались и одевались передо мной без всяких предосторожностей, вызывали даже меня на вольности с ними; склонный интересоваться вопросами любви, я принимал все это к сведению. В возрасте пяти-шести лет я перешел в руки мужчины, уже обладая известными познаниями, которые значительно расширились, когда меня познакомили с древними авторами и мои учителя растолковали мне некоторые места, смысл которых они, быть может, и сами не постигали. Пажки моего отца рассказали мне о кое-каких шалостях, а чтение «Алоизии»³⁴, которую они мне дали, внушило мне величайшее желание усовершенствовать свои познания. Мне было тогда четырнадцать лет.

Я стал осматриваться, разыскивая среди женщин, посещавших наш дом, ту, к которой я мог бы обратиться; однако все они показались мне в равной мере пригодными к тому, чтобы избавить меня от тяготившей меня невинности. Завязавшиеся отношения, а главное смелость, которую я испытывал в присутствии особы моего возраста и какой у меня нехватало перед другими,— побудили меня остановить выбор на одной из кузин. Эмилия,— так ее звали,— была юна, как и я. Я находил ее хорошенькой и нравился ей. Она была податлива, а я предприимчив. Мне хотелось поскорее научиться, ей же было не менее любопытно узнать. Нередко мы задавали друг другу вопросы весьма простодушные и рискованные. Однажды ей удалось обмануть бдительность своих гувернанток, и мы обучились. О, сколь великий учитель природа! Она быстро привела нас к наслаждению, и мы отдались ее внушениям, не предвидя возможных последствий. Однако таким путем нельзя было их избежать. Эмилия почувствовала

недомогание, которое она не стала скрывать, ибо не подозревала его причины. Мать принялась ее расспрашивать, вырвала у нее признание в нашей связи и сообщила об этом моему отцу. Он сделал мне выговор, впрочем довольно одобрительным тоном, и тотчас же было решено, что я отправляюсь в путешествие. Я уехал с гувернером, которому было поручено внимательно наблюдать за моим поведением и не стеснять меня ни в чем. Пять месяцев спустя я узнал из газеты, что Эмилия умерла от оспы, а из письма отца — что страсть, которую она питала ко мне, стоила ей жизни. Первый плод моей любви в настоящее время доблестно служит в армии султана; я всегда поддерживал его, снабжая средствами, и он до сих пор считает меня лишь своим покровителем.

Мы находились в Тунисе, когда я получил известие о его рождении и о смерти его матери. Я был глубоко потрясен и, вероятно, был бы безутешен, если бы не шутрига, которую я завязал с женой одного корсара, не оставлявшая мне времени для отчаяния. Туниска была отважна, я — безумен, и каждый день при помощи веревочной лестницы, которую она мне бросала, я направлялся из нашего особняка на ее террасу и пробирался в уединенную комнату, где она меня совершенствовала в науке любви, ибо Эмилия сообщила мне лишь начатки. Ее супруг вернулся из плавания как раз в то время, когда мой гувернер, исполняя данные ему инструкции, стал торопить меня переехать в Европу. Я сел на корабль, отправлявшийся в Лиссабон. Само собой разумеется, что перед тем я весьма нежно простился с Эльвирой, от которой я получил вот этот брильянт.

Судно, на котором мы плыли, было нагружено товарами, но самым драгоценным из них была на мой вкус жена капитана. Ей было не больше двадцати лет. Муж был ревиш, как тигр, и не без оснований. Все мы очень скоро поняли друг друга; донна Велина сразу постигла, что нравилась мне, я — что был ей небезразличен, а муж, что он нам мешал. Моряк тотчас же решил не спускать с нас глаз до самого прибытия в Лиссабон; я прочел

в глазах его дорогой жены, в каком бешенстве она была от бдительности своего мужа; мои взоры говорили ей о том же, а муж прекрасно нас понимал. Целые два дня мы провели в невероятной жажде наслаждения и, конечно, умерли бы от нее, если бы не вмешался промысел, — впрочем, он всегда помогает страждущим душам. Не успели мы миновать Гибралтарский пролив, как поднялась яростная буря. Если бы я сочинял рассказ, я конечно заставил бы, сударыня, ветры свистеть вам в уши, гром рокотать над вашей головой, зажег бы небо молниями, вздыбил бы валы до облаков и описал бы самую ужасную бурю, какая вам когда-либо встречалась в романах. Но я просто скажу вам, что крики матросов вынудили капитана покинуть каюту и подвергнуться одной опасности из боязни другой. Он вышел вместе с моим гувернером, а я без колебаний устремился в объятия прекрасной португалки, совершенно забыв, что есть на свете море, гроза и бури, что нас унесит хрупкое суденышко и что мы всецело во власти коварной стихии. Наше плавание было поспешно, и вы сами понимаете, сударыня, что в такую бурю я достаточно повидал разные страны в короткий срок; мы расстались в Кадиксе, и я обещал синьоре, что встречу с ней в Лиссабоне, если будет угодно моему ментору, в планы которого входило ехать прямо в Мадрид.

Испанки пользуются меньшей свободой и более влюбчивы, чем наши женщины. Интриги завязываются там через посредство особых посланниц, которым приказано разглядывать чужестранцев, делать им предложения, сопровождать их, вновь приводить, а уж дамы берут на себя заботу их осчастливить. Мне не пришлось пройти через этот церемониал, благодаря чрезвычайным обстоятельствам. Великая революция только что возвела на трон этого королевства принца французской крови; его прибытие и коронация дали повод к придворным празднествам, на которые я был допущен. На балу ко мне подошли и назначили мне свидание на следующий день. Я согласился и отправился в укромный домик, где нашел лишь замаскированного мужчину, закутанного в плащ; он

подал мне записку, в которой донна Оропеза переносила свидание на следующий день в тот же час. Я прибыл к назначенному сроку, и меня провели в довольно пышно убранный покой, освещенный свечами. Моя богиня не заставила себя ждать. Она вошла вслед за мной и бросилась в мои объятия, не говоря ни слова и не снимая маски. Была ли она безобразна? Была ли красива? Я не знал этого. Я заметил только, очутившись на софе, куда она меня увлекла, что она молода, хорошо сложена и любит наслаждения; когда она почувствовала себя удовлетворенной моими похвалами, она сняла маску и показала мне оригинал портрета, который вы видите на этой табакерке.

Селим открыл и передал фаворитке золотую коробочку великолепной работы, украшенную драгоценными камнями.

— Галантный подарок! — заметил Мангогул.

— Но что больше всего считаю ценным, — прибавила фаворитка, — так это портрет. Какие глаза! Какой рот! Какая грудь! Но не польстил ли ей художник?

— Так мало, сударыня, — отвечал Селим, — что Оропеза, быть может, навсегда удержала бы меня в Мадриде, если бы ее супруг, осведомленный о нашей связи, не напугал ее угрозами. Я любил Оропезу, но жизнь я любил еще больше. Да и гувернер мой был против того, чтоб я рисковал быть заколотым ее мужем из-за нескольких лишних месяцев блаженства. Итак, я написал прекрасной испанке весьма трогательное прощальное письмо, позаимствованное из какого-то испанского романа, и отправился во Францию.

Государь, царствовавший тогда во Франции, был дедом испанского короля, и его двор справедливо считался самым пышным, самым изысканным и самым галантным в Европе. Мое появление там было событием.

«Молодой вельможа из Конго, — говорила одна красивая маркиза. — О, это весьма занятно! Их мужчины куда лучше наших. Конго — это, кажется, недалеко от Марокко».

Давались ужины, на которых я должен был присутствовать. Если в моих словах был хоть какой-нибудь

смысл, их находили умными, восхитительными. Все этому удивлялся, ибо вначале заподозрили меня в том, что я не обладаю здравым смыслом.

«Он очарователен, — восклицала придворная дама. — Какая досада, что нам придется отпустить такого красавца обратно в Конго, где женщины охраняют мужчины, которые на самом деле вовсе не мужчины. Правда ли это, сударь? Говорят, у них ничего нет. Это так безобразит мужчину»...

«Но, — прибавляла другая, — надо удержать здесь этого большого мальчика. Он высокого происхождения. Почему бы не сделать его хотя бы мальтийским рыцарем? Я берусь, если угодно, достать ему хорошее место, а герцогиня Виктория, моя давнишняя подруга, замолвит за него словечко королю, если понадобится».

Вскоре я получил самые неоспоримые доказательства их благосклонности, и дал возможность маркизе высказать свое мнение о достоинствах обитателей Марокко и Конго. Я убедился, что должность, обещанная мне герцогиней и ее подругой, была обременительна, и отделался от нее. При этом дворе я научился завязывать увлекательные интрижки на одни сутки. Полгода я крутился в бешеном водовороте, где начинают одну интригу, не окончив другую, где гонятся лишь за наслаждением, и если оно замедлит наступить или его добьются, летят к новым удовольствиям.

— Что это вы мне рассказываете, Селим? — прервала его фаворитка. — Разве в этих странах неведомо приличие?

— Прошу извинить меня, сударыня, — отвечал старший придворный, — это слово не сходит у всех с уст, но французенки — рабы приличия не более, чем их соседки.

— Какие же соседки? — спросила Мирзоа.

— Англичанки, — отвечал Селим. — Это женщины холодные и надменные с виду, но на деле горячие, сладострастные и мстительные; они менее остроумны и рассудительны, чем французенки; последние любят язык чувств, первые предпочитают язык наслаждений; но в Лондоне, так же, как и в Париже, любят, расстается, снова схо-

дятся, чтобы опять разойтись. От дочери лорда-епископа (это — разновидность брамнов, которая не сохраняет целибата) я перешел к жене баронета; в то время как он горячился в парламенте, отстаивая интересы народа против натисков двора, у нас с его женой, в его доме, происходили прения совсем иного рода. Но когда парламент закрылся, она была принуждена следовать за своим супругом в его родовое поместье. Я перешел к жене полковника, чей полк находился в гарнизоне на морском побережье. Затем я принадлежал жене лорд-мэра. О, что за женщины! Я никогда бы не вернулся в Конго, если бы не благоразумие моего гувернера, который, видя, что я погибая, спас меня от этой каторги. Он показал мне письма, якобы написанные моими родителями, спешно отзывавшие меня на родину, и мы отплыли в Голландию. В наши планы входило пересечь Германию и проследовать в Италию, откуда мы легко могли переправиться в Африку.

Мы видели Голландию лишь из окон кареты; наше пребывание в Германии было не более продолжительным. Там всякая женщина, обладающая известным положением, похожа на цитадель, которую надо осаждать по всем правилам военного искусства. В конце концов, добьешься цели, но требуется столько всевозможных подходов, а когда пойдет речь об условиях капитуляции, встречается столько «если» и «но», что эти завоевания быстро мне надоели.

Всю жизнь буду помнить слова одной немки из высших слоев общества, которая была уже готова пожаловать мне то, в чем она не отказывала многим другим.

«Ах,— воскликнула она с прискорбием,— что сказал бы мой отец, великий Альзики, если бы он знал, что я отдаюсь ничтожному человеку из Конго, вроде вас!»

«Решительно ничего, сударыня,— отвечал я.— Такое величие меня пугает, и я удаляюсь».

Это был мудрый поступок с моей стороны, и если бы я скомпрометировал ее светлость связью с моей посредственной особой,— это мне не прошло бы даром. Брама, покровительствующий нашей благоразумной стране, надумил меня, без сомнения, в этот критический момент.

Итальянки, которыми мы затем зацелились, не заносятся так высоко. У них я научился различным способам наслаждения. В этих утонченностях много прихотливого и причудливого. Но извините меня, сударыня, они нужны нам иногда, чтобы вам понравиться. Из Флоренции, Венеции и Рима я привез несколько рецептов удовольствий, неизвестных в наших варварских странах, честь их изобретения принадлежит всецело итальянкам, сообщившим их мне.

В Европе я провел около четырех лет и через Египет вернулся в нашу страну вполне образованным, владея секретом важных итальянских изобретений, которые я тотчас же разгласил.

Здесь африканский автор говорит: Селим, заметив, что многочисленные общие места в рассказе о его похождениях в Европе и о женских характерах в странах, которые он изъездил, навеяли на Мангогула глубокий сон,— из опасения его разбудить, подсел поближе к фаворитке и продолжал вполголоса:

— Сударыня, если бы я не опасался, что уже утомил вас рассказом, который был, может быть, слишком длинным, я рассказал бы вам свое первое похождение по приезде в Париж. Не знаю, как это я забыл о нем упомянуть.

— Говорите, мой дорогой,— отвечала фаворитка.— Я удвою внимание, чтобы вознаградить вас за потерю второго слушателя, раз уж султан спит.

— Мы получили в Мадриде,— продолжал Селим,— рекомендательные письма к некоторым вельможам французского двора и, прибыв в Париж, очень легко вошли в общество. Было лето, и мы с моим гувернером ходили по вечерам на прогулку в Пале-Рояль. Однажды подошло к нам несколько петиметров, которые указали нам на хорошеньких женщин и рассказали их историю, правдивую или выдуманную, не забыв упомянуть о самих себе, как вы догадываетесь. В саду было уже изрядное множество женщин, но в восемь часов прибыло значительное подкрепление. Глядя на множество драгоценных камней, на великолепие их уборов и на толпу поклонников, я поду-

мал, что это, по меньшей мере, герцогиня. Я высказал эту мысль одному из молодых господ, составлявших мне компанию. Он отвечал, что сразу видит во мне знатока и что, если мне угодно, я буду иметь удовольствие поужинать сегодня же вечером с наиболее любезными из этих дам. Я принял его предложение, и тотчас же он шепнул словечко на ухо двум-трем своим приятельницам, которые упорхнули в разные стороны и, меньше чем через четверть часа, вернулись дать нам отчет о своих переговорах.

«Господа, — сказали они, — сегодня вечером вас ждут к ужину у герцогини Астерин».

Молодые люди, не входившие в нашу компанию, громко завидовали нашему счастью. Мы прошли еще несколько раз, затем все разошлись, а мы сели в карету, чтобы ехать развлекаться.

Карета остановилась у маленькой двери. Мы вышли, поднялись по весьма узкой лестнице на второй этаж и очутились в апартаментах, которые теперь не показались бы мне такими обширными и великолепно меблированными. Меня представил хозяйке дома, которой я отвесил самый глубокий поклон, присоединив к нему такой почтительный комплимент, что очень смутил ее. Подали ужин. Меня посадили рядом с одной очаровательной маленькой особой, которая начала с успехом разыгрывать герцогиню. Сказать по правде, не знаю, как я посмел в нее влюбиться, однако это случилось со мной.

— Так, значит, вы любили хоть раз в жизни? — прервала его фаворитка.

— О да, сударыня, — отвечал Селим, — как любят в семнадцать лет, с крайним нетерпением довести до конца начатое дело. Я не спал ночь, и на рассвете начал сочинять моей красавице самое галантное в мире письмо. Я отослал его, мне ответили, и я добился свидания. Ни тон ответа, ни доступность дамы не вывели меня из заблуждения, и я помчался в указанное место, глубоко убежденный, что буду обладать женой или дочерью первого министра. Моя богиня поджидала меня, лежа на большой кушетке.

Я взял ее руку и поцеловал с величайшей нежностью, поздравляя себя о благосклонности, которую она мне оказывала.

«...Правда ли,—спросил я ее,—что вы разрешаете Селиму любить вас и сказать вам об этом? И может ли он, не оскорбляя вас, льстить себя самой сладкой надеждой?» С этими словами я поцеловал ее грудь, и так как она лежала навзничь, я был уже готов весьма поспешно вести атаку, когда она меня остановила, говоря:

«...Слушай, дружок, ты красивый молодчик, ты умен, ты говоришь, как ангел, но мне надо четыре лундора».

«Что вы говорите!» — прервал я ее.

«Я говорю,—продолжала она,—что тебе нечего здесь делать, если у тебя нет четырех лундоров».

«Как, мадемуазель,—отвечал я, пораженный,—вы цените себя так дешево? Стоило приезжать из Конго ради такого пустяка!»

Я поспешно оправился, спустился вниз по лестнице и уехал.

Как видите, сударыня, я начал с того, что принял актрису за принцессу.

— Я крайне удивлена,—заметила Мирзоза,—ведь разница между ними так велика.

— Я не сомневаюсь,—продолжал Селим,—что у этих дам вырывались тысячи вольностей, но что вы хотите? Иностранец, молодой человек, не умеет разбираться. Мне рассказывали в Конго столько дурного о вольности европейцев...

При этих словах Селима Мангогул проснулся.

— Проклятие! — воскликнул он, зевая и протирая глаза. — Он все еще в Париже! Разрешите вас спросить, прекрасный рассказчик, когда вы рассчитываете вернуться в Банзу и сколько мне еще осталось спать? Ибо вы должны знать, мой друг, что стоит только начать в моем присутствии рассказ о путешествии, как на меня нападает зевота. Я получил эту дурную привычку от чтения Тавернье и других авторов.

— Государь,— отвечал Селим,— уже больше часа, как я вернулся в Банзу.

— С чем вас и поздравляю,— сказал султан и, обращаясь к султанше, прибавил: — сударыня, настал час бала. Пойдемте, если только вам это позволит усталость после путешествия.

— Государь,— ответила Мирэоза,— я готова.

Мангогул и Селим уже надели домино; фаворитка накнула свое, султан подал ей руку, и они направились в бальный зал, при входе в который расстались, чтобы затеряться в толпе. Селим следовал за ними. «И я также,— говорит африканский автор,— хотя предпочел бы спать, чем смотреть на танцы».

Глава сорок пятая

Двадцать четвертая и двадцать пятая пробы кольца. Бал-маскарад и его последствия

Самые сумасбродные сокровища Балзы не преминули сбежаться туда, куда призывало их удовольствие. Одни из них приехали в обывательских каретах, другие в наемных экипажах, некоторые даже пришли пешком.

— Я никогда бы не кончил,— говорит африканский автор, при котором я имею честь состоять шлейфноссем,— если бы стал подробно описывать все шутки, которые сыграл с ними Мангогул. Он задал в эту ночь своему кольцу больше работы, чем за все время с тех пор, как получил его от гения. Он направлял его то на одно, то на другое, иногда сразу на двадцать. Вот когда поднялся шум! Одно кричало пронзительным голосом: «Скрипка! Колокола Дюнкирхена, пожалуйста!»; другое хриплым голосом: «А я хочу «Попрыгунчиков!»» — «А я хочу трикоте!» — кричало третье. И целое множество голосов зараз требовало всевозможных затасканных танцев. Только и слышалось: «Бурре!»... «Четыре лица!»... «Сумасбродка!»... «Цепочка!»... «Пистолет!»... «Новобрачная!»... «Пистолет!»... «Пистолет!»... Все эти восклицания были

пересыпаны тысячами вольностей. С одной стороны слышалось: «Чорт бы подрал этого болвана! Его надо послать в школу!»; с другой: «Так я вернусь домой, не сделав почина?»; здесь раздавалось: «Кто заплатит за мою карету?»; там: «Он увильнул от меня, но я буду его искать, пока не найду!»; в другом месте: «До завтра! Прощайте! Но обещайте мне двадцать лун. Без этого дело не пойдет!» И со всех сторон раздавались слова, разоблачавшие желания или поступки.

В этом кавардаке одна буржуазка, молодая и хорошенькая, распознала Мангогула, стала его преследовать, дразнить и добилась того, что он направил на нее перстень. Тотчас же все услышали, как ее сокровище воскликнуло:

— Куда вы бежите? Стойте, прекрасная маска! Неужели вы останетесь равнодушным к сокровищу, которое пылает к вам страстью?

Султан, шокированный таким наглым заявлением, решил наказать дерзкую. Он вышел, нашел среди своих телохранителей человека приблизительно его роста, уступил ему свою маску и домино и предоставил буржуазке его преследовать. Обманутая сходством, она продолжала говорить тысячи глупостей тому, кого принимала за Мангогула.

Мнимый султан был не дурак. Он умел объясняться знаками и быстро заманил красавицу в уединенный уголок, где она в продолжение часа воображала себя фавориткой, и бог знает, какие планы роились в ее голове. Но волшебство длилось недолго. Осыпав ласками мнимого султана, она попросила его снять маску. Он повиновался и показал ей лицо, украшенное огромными усами, отнюдь не принадлежавшими Мангогулу.

— Ах! Фи! Фи! — воскликнула буржуазка.

— Что с вами такой, мой маленький белка? — спросил ее швейцарец. — Я думать хорошо вам услужить, за чем вы сердиться, что меня узнайт?

Но богиня не удостоила его ответом, вырвалась из его объятий и затерялась в толпе.

Те из сокровищ, которые не претендовали на столь высокие почести, дорвались-таки до удовольствий, и все они направились обратно в Балзу, весьма удовлетворенные поездкой.

Публика расходилась, когда Мангогул встретил двух старших офицеров, оживленно разговаривавших.

— Она моя любовница, — говорил один. — Я обладаю ею уже год, и вы первый осмелились посягать на мое добро. Зачем вам беспокоить меня? Нассес, мой друг, обратитесь к другим. Вы найдете сколько угодно любезных женщин, которые сочтут за счастье вам принадлежать.

— Я люблю Амшу, — отвечал Нассес. — Мне только она и нравится. Она подала мне надежды, и вы позволите мне ими воспользоваться.

— Надежды! — воскликнул Алибег.

— Да, надежды.

— Чорт возьми! Не может этого быть...

— Говорю вам, сударь, что это так. Вы оскорбляете меня недоверием и должны немедленно дать мне удовлетворение.

Тотчас же они спустились по главной лестнице. Сабли были уже обнажены, и спор их должен был кончиться трагически, когда султан остановил их и запретил им драться до тех пор, пока они не спросят свою прекрасную Елену.

Они повиновались и направились к Амине, Мангогул следовал за ними по пятам.

— Меня измучил бал, — сказала им она. — У меня слипаются глаза. Какие вы жестокие! Приходите как раз в тот момент, когда я собиралась лечь в кровать. Но у вас обоих какой-то странный вид. Нельзя ли узнать, что привело вас сюда?..

— Пустяки, — отвечал Алибег. — Нассес хвалится и даже весьма высокомерно, — прибавил он, указывая на своего приятеля, — что вы подавали ему надежды. В чем дело, сударыня?..

Амина открыла рот, но султан тотчас же направил на нее перстень, и вместо нее отвечало сокровище:

— Мне кажется, Нассес ошибается. Нет, сударыне угодно совсем не его. Разве у него нет высокого лакея, который большего стоит, чем он? О, какие глупцы эти мужчины! Они думают, что почести, титулы, имена — пустые слова — в состоянии обмануть сокровище. У всякого своя философия, а наша состоит главным образом в том, чтобы различать достоинство от его посетителя, подлинное достоинство от воображаемого. Не в обиду будь сказано господину де-Клавиль³⁵, но он знает об этом меньше нас, и я сейчас вам это докажу.

Вы оба знаете, — продолжало сокровище, — маркизу Бибикозу. Вам известна ее связь с Клеандором, постигшая ее опала и глубокая набожность, в какую она теперь ударилась. Амнна — добрая подруга, она сохранила связь с Бибикозой и не перестала посещать ее дом, где можно встретить браминов всех сортов. Один из них просил однажды мою хозяйку замолвить за него словечко перед Бибикозой.

«О чем же я должна ее попросить? — удивилась Амнна, — она погибшая женщина и ничего не может сделать даже для себя самой. Право, она будет вам благодарна, если вы станете обращаться с ней как с особой, имеющей еще значение. Оставьте это, мой друг. Принц Клеандор и Мангогул ничего для нее не сделают, и вы будете зря терять время в передних».

«Но, сударыня, — отвечал брамин, — речь идет об одном пустяке, который зависит непосредственно от маркизы. Дело вот в чем. Она выстроила небольшой минарет в своем особняке; без сомнения это для того, чтобы совершать салу, — здесь необходим имам, и об этом месте я и прошу»...

«Что вы говорите! — возразила Амнна. — Имам! Да вы шутите! Маркизе требуется лишь марабу, которого она и будет призывать время от времени, когда пойдет дождь или когда она захочет совершить салу перед тем, как лечь спать. Но содержать в своем особняке имама, одевать его и кормить, — это не под силу Бибикозе. Я знаю положение ее дел. У бедной женщины нет и шести тысяч

цехинов дохода, а вы думаете, что она может дать две тысячи имаму. Вот так фантазия!»...

«Клянусь Брамой, я очень этим огорчен,— отвечал святой муж,— ибо, видите ли, если бы я был ее имамом, я не замедлил бы стать ей необходимым, а когда этого добьешься, на тебя посыпятся деньги и всякие прибыли. Честь имею предстать, я из Мономотапы и хорошо знаю свое дело»...

«Ну, что же,— отвечала Амна с запинкой,— пожалуй, ваше дело имеет шансы на успех. Жаль, что в отношении достоинств, о которых вы говорите, недостаточно одной презумпции».

«Имея дело с людьми моей страны, ничем не рискуешь,— продолжал человек из Мономотапы.— Взгляните-ка».

И он тотчас же дал Амне доказательство таких исключительных достоинств, что с этого момента вы потеряли в ее глазах половину значения, которым она вас надеяла. Итак, да здравствуют жители Мономотапы!

Алибег и Нассес слушали с выгнутыми лицами, молча глядя друг на друга. Но вот они пришли в себя от изумления, обнялись и, окинув Амину презрительным взглядом, поспешили к султану, чтобы броситься к его ногам и поблагодарить за то, что он открыл им глаза на эту женщину и сохранил им жизнь и дружбу. Они пришли в тот момент, когда Мангогул, вернувшись к фаворитке, рассказывал ей историю Амны. Мирзоза посмеялась над ней, и ее уважение к придворным дамам и браминам отнюдь не возросло.

Глава сорок шестая

Селим в Банзе

Мангогул пошел отдохнуть после бала, а фаворитка, которая не расположена была спать, велела позвать Селима и просила его продолжать свою любовную хронику. Селим виновался и начал в таких выражениях:

— Сударыня, галантные похождения не занимали це-

ликом всего моего времени. Я вырывал у развлечений время для серьезных занятий. Интриги, которые я завязывал, не мешали мне изучить фортификацию, стратегию, разные виды оружия, музыку и танцы, наблюдать обычаи и искусства европейцев, изучать их политику и военные науки. Вернувшись в Конго, я был представлен государю, деду султана, который предоставил мне почетный военный пост. Я появился при дворе, вскоре стал принимать участие во всех увеселениях принца Эрgebзеда, и, естественно, оказался вовлеченным в интриги с хорошенькими жепщинами. Я узнал жепщин всех наций, всех возрастов, всех общественных положений, — немпогие из них были жестоки со мной. Не знаю, обязан ли я был этим своему высокому рангу, ослеплявшему их, или им правилась моя речь, или, наконец, их привлекала моя внешность. В то время я обладал двумя качествами, с которыми быстро продвигаются в любовных делах: отвагой и самонадеянностью.

Сперва я занялся жепщинами из общества. Я намечал себе одну из них вечером на приеме или за игрой у Манмонбанды, проводил с ней ночь, а на следующий день мы снова были почти незнакомы. Одна из забот этих жепщин — раздобывать себе любовников, даже отбивать их у лучших подруг; другая забота — отделяться от них. Из опасения оказаться ни при чем они, будучи заняты одной интригой, уже выскивают случаи завязать две-три других. Они владеют несметным количеством уловок, чтобы привлечь мужчину, которого они себе наметили, и тысячами способов избавиться от любовника. Так всегда было и так всегда будет. Я не буду называть имен, но я узнал всех жепщин при дворе Эрgebзеда, отличавшихся молодостью и красотой. И все эти связи возникали, рвались, возобновлялись и забывались меньше, чем в полгода.

Разочаровавшись в свете, я кинулся к его антиподу. Там я увидел буржуазок и нашел, что они притворщицы, гордятся своей красотой, любят разглагольс.вогаь о чести, и почти при всех из них состоят свирепые, зверские мужья или особого рода кузены, — последние целые дни напро-

лет разыгрывали влюбленных перед своими кузнами и весьма мно не нравились. Нельзя было ни минуты побыть с ними наедине: эти скоты то и дело появлялись, расстраивали свидания и, под всякими предлогами, вмешивались в разговор. Несмотря на все препятствия, мне удалось добиться своего от пяти или шести таких дур, чтобы затем бросить их. Больше всего меня забавляло в связях с ними то, что они носились с чувствами, и надо было тоже с ними пошутить; а говорили они о чувствах так, что можно было умереть со смеху. К тому же, они требовали внимания, маленьких услуг; если их послушать, то оказывалось, что вы погрешали против них каждую минуту. Они проповедывали такую корректную любовь, что, казалось, надо было отказаться от всяких притязаний. Но хуже всего то, что у них не сходило с языка ваше имя и что иногда вы бывали вынуждены показываться публично вместе с ними и подвергались риску нарваться на глупейшее буржуазное приключение. В один прекрасный день я убежал из этих магазинов, с улицы Сен-Дени, чтобы никогда больше туда не возвращаться.

В то время все были помешаны на укромных домиках. Я снял себе такой домик в восточном квартале и помещал там одну за другой девушек из тех, что сегодня встречаешь, а завтра забываешь, с которыми сегодня говоришь, а завтра не удостоиваешь словом, и которых прогоняешь, когда они надоедят. Я собирал туда приятелей и оперных певцов, там устраивались интимные ужины, которые принц Эрgebзед несколько раз почтил своим присутствием. Ах, сударыня, у меня были восхитительные вина, чудесные ликеры и лучший повар в Конго.

Ничто меня так не позабавило, как одна затея, которую я привел в исполнение в одной удаленной от столицы провинции, где квартировал мой полк. Я уехал из Банзы, чтобы сделать ему смотр, — только это дело заставляло меня удаляться из города. Моя поездка была бы непродолжительна, если бы не причудливая затея, которую я осуществил. В Барути был монастырь, где жили

самые редкие красавицы; я был молод и безбород, и задумал туда проникнуть под видом вдовы, ищущей защиты от соблазнов развращенного века. Мне слыли женское платье, я нарядился в него и отправился для переговоров к монастырской решетке. Меня встретили приветливо, утешили меня в потере супруга. Мы уговорились о размере моего вклада, и я был принят.

Помещение, которое мне отвели, примыкало к дортуару послушниц. Их было изрядное количество, в большинстве молодых и на редкость свежих. Я осыпал их любезностями и скоро сделался их подругой. Не прошло и недели, как меня посвятили во все интересы маленькой республики. Мне обрисовали характеры, рассказали анекдоты. Я получил всякого рода признания и увидел, что мы, простые смертные, не лучше монахинь владеем даром злословия и клеветы. Я строго соблюдал устав. Я усвоил вкрадчивые манеры и слащавый тон, и уже перешептывались о том, что община будет счастлива, если я постригусь.

Не успел я приобрести репутацию в монастыре, как уже привязался к юной девственнице, которая только что приняла первое посвящение. Это была восхитительная брюнетка. Она называла меня своей мамой, а я называл ее: мой маленький ангел. Она дарила мне невинные поцелуи, а я возвращал ей весьма нежные. Юность любопытна. Зирзифила при всяком удобном случае заговаривала со мной о браке и о супружеских радостях; она расспрашивала меня об этом,— я искусно подогревал в ней любопытство. Переходя от вопросов к вопросам, я довел ее до практического применения теории, которой ее обучал. Это была не единственная послушница, которую я наставлял. Несколько молодых монахинь также приходили пополнять свое образование в моей келье. Я так искусно пользовался обстоятельствами, распределял свидания и время, что никто не сталкивался. Что же вам сказать еще сударыня? Благочестивая вдова породила многочисленное потомство. Но когда, наконец, разразился скандал, о котором сначала потихоньку вздыхали, и совет старших сестер,

собравшись, призвал монастырского врача, я стал обдумывать бегство. И вот однажды ночью, когда все в доме спали, я перелез через стену сада и удрал. Я отправился на воды в Томбино, куда доктор послал полмонастыря и где я закончил в костюме кавалера работу, пачатую мной в платье вдовы. Вот, сударыня, деяние, о котором помнит вся страна и виновника которого знаете лишь вы одна.

— Остаток моей молодости, — прибавил Селим, — я провел в подобных же развлечениях, — много женщин всякого рода, — и обнаружил полное отсутствие искренности, сколько угодно клятв и никакого соблюдения тайны.

— Но если судить по вашим рассказам, — заметила фаворитка, — выходит, что вы никогда не любили.

— Что вы! — отвечал Селим. — Разве я думал тогда о любви? Я гнался только за наслаждением и за теми, которые мне его обещали.

— Но разве можно испытывать наслаждение без любви? — прервала его фаворитка. — Какую все это имеет цену, когда сердце молчит?

— Ах, сударыня, — возразил Селим, — разве сердце говорит в восемнадцать, двадцать лет?

— Но в конце концов, каков же результат всех этих опытов? Что вы можете сказать о женщинах?

— Что они в большинстве случаев бесхарактерны, — отвечал Селим; — что ими руководят три силы: корысть, похоть и тщеславие и что нет, быть может, такой женщины, которой не владела бы одна из этих страстей, а те, что совмещают в себе все три страсти, — настоящие чудовища.

— Ну, похоть еще терпима, — сказал, входя, Мангогул. — Хотя на таких женщин и нельзя положиться, их все же можно извинить: когда темперамент возбужден, — это бешеный конь, уносящий всадника в простор, а почти все женщины скачут на этом животном.

— Может быть, по этой причине, — сказал Селим, — герцогиня Менега называет кавалера Кайдара своим великим конюшим.

— Но неужели у вас не было ни одного сердечного увлечения?— спросила султанша Селима.— Неужели вы искренно хотите обесчестить пол, который доставлял вам наслаждения и которому вы платили тем же? Как! Неужели среди такого множества женщин не нашлось ни одной, захотевшей быть любимой и достойной этого? Нет, это неправдоподобно.

— Ах, сударыня, — отвечал Селим, — я чувствую по легкости, с какой вам повинуюсь, что годы не ослабили власть любезной женщины над моим сердцем. Да, сударыня, я любил, как и все. Вы хотите все знать, я все вам скажу, и вы будете сами судить, справился ли я как следует с ролью любовника.

— Будут путешествия в этой части вашей истории?— спросил султан.

— Нет, государь, — отвечал Селим.

— Тем лучше, — продолжал Мангогул, — ибо у меня нет никакого желанья спать.

— Что касается меня, — сказала фаворитка, — я с разрешения Селима немного передохну.

— Пусть он тоже идет спать, — заявил султан. — А пока вы будете отдыхать, я порасспрошу Киприю.

— Но, государь, — возразила Мирзоза, — ваше величество сами не знаете, что говорите. Это сокровище вовлечет вас в путешествия, которым не будет конца.

Африканский автор сообщает нам здесь, что султан, напуганный предостережениями Мирзозы, запасся самым сильным средством против сна, и прибавляет, что лейб-медик Мангогула, его личный друг, сообщил ему этот рецепт, который он и приводит в качестве предисловия к своему труду. Но от этого предисловия сохранились лишь последние строчки, которые я и привожу:

Взять...

Затем...

Далее...

«Марианны» и «Крестьянина» по четыре страницы.

«Заблуждений сердца» — один лист.

«Исповеди»³⁶ — двадцать пять с половиной строк.

Глава сорок седьмая

Двадцать шестая проба кольца.

Сокровище-путешественник

Пока фаворитка и Селим отдыхали после утомительного дня и ночи, Малгогул с удивлением обозревал великолепные апартаменты Киприн. Эта женщина, при помощи своего сокровища, приобрела состояние, которое можно было сравнить с богатством крупнейшего откупщика. Пройдя длинную анфиладу комнат, одна роскошнее другой, он вошел в салон, где в центре многочисленного круга гостей узнал хозяйку дома по неимоверному количеству безобразивших ее драгоценных камней и ее супруга — по добродушью, написанному у него на лице. Два аббата, остроумец и три академика Банзы окружали кресло Киприн, а в глубине зала порхали два петиметра и молодой судья, преисполненный важности, который управлял свои манжеты, то и дело поправлял парик, ковырял в зубах и радовался, глядя в зеркало, что румяна хорошо держатся. За исключением этих трех мотыльков, вся остальная компания испытывала глубокое почтение перед величавой мумией, которая, раскинувшись в соблазнительной позе, зевала, говорила зевая, судила обо всем вкряк и вкось и никогда не встречала возражений.

«Как это ей удалось,— рассуждал сам с собой Малгогул, давно не говоривший в одиночестве и до смерти соскучившийся по такому занятию,— как ей удалось при таком жалком умишке и таком лице обесчестить человека знатного происхождения?»

Киприн хотелось, чтобы ее принимали за блондинку. Ее кожа, бледножелтая, с красными прожилками, напоминала цветом пестрый тюльпан. У нее были большие близорукие глаза, короткая талия, длинный нос, тонкие губы, грубый овал лица, впалые щеки, узкий лоб, плоская грудь и костлявые руки. Этими чарами она околдовала своего мужа. Султан направил на нее перстень, и тотчас же услышали тявканье. Все ошибочно подумали, что Кип-

рия говорит попрежнему ртом и собирается о чем-нибудь судить, но ее сокровище начало такими словами:

— История моих путешествий. Я родилось в Марокко в 17 000 000 012 году и танцовало в оперном театре, когда содержавший меня Мегемет Трипатхуд был поставлен во главе посольства, которое наш могущественный государь отправил к французскому монарху. Я сопровождало его в этом путешествии. Чары французенок вскоре отняли у меня моего любовника. Я тоже не теряло даром времени. Придворные, жадные до новинок, захотели познакомиться с марокканкой, — так называли мою хозяйку. Она обошлась с ними весьма приветливо, и ее любезность принесла ей в какие-нибудь полгода драгоценностей на двадцать тысяч экю и такую же сумму чистоганом, а, сверх того, меблированный особнячок. Но французы непостоянны, и скоро я вышло из моды. Мне не хотелось ездить по провинциям; великим таламтам нужна большая арена, я решило покинуть Трипатхуд и наметило себе столицу другого королевства.

Проведя год в Мадриде и в Индии, я отправилось морем в Константинополь. Я не приняло обычаев народа, у которого сокровища сидят под замком, и быстро покинуло страну, где рисковало утратить свободу. Тем не менее, пришлось иметь дело с мусульманами, и я убедилось, что они хорошо отшлифовались благодаря сношениям с европейцами; я обнаружило у них легкость французов, пылкость англичан, силу германцев, стойкость испанцев и довольно сильный налет итальянской утонченности.

Одним словом, один ага стоит кардинала, четырех герцогов, лорда, трех испанских грандов и двух немецких графов, вместе взятых.

Из Константинополя я переехало, как вам известно, ко двору великого Эрgebзеда, где я довершило образование самых галантных из наших придворных. А когда я оказалось уже никуда не годным, я подцепило вот эту фигуру, — заключило сокровище, показывая характерным для него жестом на супруга Киприн. Недурной финал!

Африканский автор заканчивает эту главу предупреждением дамам, которые пожелали бы, чтобы им перевели те места, где сокровище Киприи изъяснялось на иностранных языках.

«Я изменил бы долгу историка,— говорит он,— если бы опустил их; и нарушил бы почтение к прекрасному полу, если бы привел их в моем труде, не предупредив добродетельных дам, что у сокровища Киприи чрезвычайно испортился стиль во время путешествий и что его рассказы по своей вольности превосходят все произведения, которые им когда-либо случалось читать тайком».

Глава сорок восьмая

Сидализа

Мангогул вернулся к фаворитке, у которой уже сидел Селим.

— Ну, что же, государь,— спросила его Мирзоа,— приесли ли вам пользу путешествия Киприи?

— Ни пользы, ни вреда,— отвечал султан,— я их не понял.

— Почему же?— спросила фаворитка.

— Дело в том,— сказал султан,— что ее сокровище говорит, как полиглот, на всевозможных языках, кроме нашего. Оно довольно наглый рассказчик, но могло бы быть великолепным переводчиком.

— Как,— воскликнула Мирзоа,— вы так-таки ничего не поняли в его рассказах?

— Только одно, сударыня,— отвечал Мангогул,— что путешествия еще более пагубно действуют на добродетель женщин, чем на благочестие мужчин, и что мало заслуги в знании нескольких языков. Можно в совершенстве владеть латинским, греческим, английским и конгским и быть ничуть не умнее сокровища. Вы с этим согласны, сударыня? А какого мнения Селим? Пусть начнет он свой рассказ, только не надо больше путешествий. Они до смерти меня утомляют.

Селим обещал султану, что действие будет происходить в одном и том же месте, и начал:

— Мне было около тридцати лет. Я только что потерял отца. Я женился, чтобы не оставить род без потомства, и жил с женой, как полагается: взаимные знаки внимания, заботы, вежливость, мало интимности, зато все крайне благопристойно. Между тем, принц Эргезед взомел на престол. Еще задолго до его воцарения я заручился его благосклонностью. Он благоволил ко мне до самой своей смерти, и я старался оправдать его доверие, проявляя рвение и преданность. Освободилось место главного инспектора войск, я получил его, и этот пост потребовал постоянных поездок на границу.

— Постоянных поездок! — воскликнул султан. — Достаточно одной, чтобы усыпить меня до завтра. Имейте это в виду.

— Государь, — продолжал Селим, — в одной из этих поездок я познакомился с женой полковника спаги, по имени Осталук. Это был славный человек, хороший офицер, но далеко не покладистый муж, ревнивый, как тигр; правда, его ярость была понятна, ибо он был чудовищно безобразен.

Незадолго перед тем он женился на Сидализе, молодой, жизнерадостной, хорошенькой, одной из тех редких женщин, которые при первом же знакомстве вызывают у вас нечто большее, чем простую вежливость, от которых уходишь с сожалением и о которых сто раз вспомнишь, прежде чем снова увидишь.

Сидализа судила обо всем здраво, выражалась изящно. В ее беседе было нечто притягательное, на нее нельзя было вдоволь насмотреться и без усталости можно было слушать. Обладая этими качествами, она должна была производить сильное впечатление на всех мужчин, в чем я и убедился. Я преклонялся перед ней, вскоре у меня возникло еще более нежное чувство, все мое поведение приобрело оттенки самой настоящей страсти. Я был несколько избалован легкостью своих первых побед. Начиная атаки на Сидализу, я воображал, что она скоро

Он был назначен лейтенантом гвардейского полка сааги, и этот пост приковал его ко двору государя. Итак, Остапук появился при дворе, а с ним Сидализа, тотчас же ставшая модной красавицей.

— Вы хорошо сделали, — сказал султан, — что остались на посту и призвали вашу Сидализу ко двору, ибо, клянусь Брамой, я не последовал бы за вами в провинцию.

— Ее со всех сторон лорнировали, разглядывали, преследовали, но безуспешно, — продолжал Селим. — Один я пользовался привилегией видеть ее каждый день. Чем больше я с ней знакомился, тем больше открывал в ней прелестей и достоинств и тем сильнее в нее влюблялся. Мне пришло в голову, что, быть может, мне вредит в ее глазах еще свежее воспоминание о моих похождениях. Чтобы изгладить его и убедить ее в искренности моей любви, я покинул общество и не видел других женщин, кроме тех, которых случайно встречал у нее. Мне показалось, что такое мое поведение тронуло ее и что она несколько умерила свою строгость. Я удвоил внимание к ней; я просил о любви, а мне было даровано уважение. Сидализа стала ценить мое общество и удостоила меня своего доверия. Нередко она советовалась со мной о своих домашних делах, однако о своих сердечных делах она не обмолвилась ни единым словом. Если я заводил с ней речь о чувствах, она отвечала мне нравственными рассуждениями, повергая меня в отчаяние. Долго длилось такое тяжелое для меня положение; наконец, я решил выйти из него и узнать раз навсегда, на что мне рассчитывать.

— Как же вы взялись за дело? — спросила Мирзоа.

— Сударыня, сейчас вы это узнаете, — отвечал Мангоул.

Селим продолжал:

— Как я уже вам сказал, сударыня, я виделся с Сидализой каждый день. Так вот, я начал с того, что стал видеться с ней все реже, а потом и совсем почти перестал с ней встречаться. Если мне случалось разговаривать с ней

Он был назначен лейтенантом гвардейского полка сааги, и этот пост приковал его ко двору государя. Итак, Остапук появился при дворе, а с ним Сидализа, тотчас же ставшая модной красавицей.

— Вы хорошо сделали, — сказал султан, — что остались на посту и призвали вашу Сидализу ко двору, ибо, клянусь Брамой, я не последовал бы за вами в провинцию.

— Ее со всех сторон лорпировали, разглядывали, преследовали, но безуспешно, — продолжал Селим. — Один я пользовался привилегией видеть ее каждый день. Чем больше я с ней знакомился, тем больше открывал в ней прелестей и достоинств и тем сильнее в нее влюблялся. Мне пришло в голову, что, быть может, мне вредит в ее глазах еще свежее воспоминание о моих похождениях. Чтобы изгладить его и убедить ее в искренности моей любви, я покинул общество и не видел других женщин, кроме тех, которых случайно встречал у нее. Мне показалось, что такое мое поведение тронуло ее и что она несколько умерила свою строгость. Я удвоил внимание к ней; я просил о любви, а мне было даровано уважение. Сидализа стала ценить мое общество и удостоила меня своего доверия. Нередко она советовалась со мной о своих домашних делах, однако о своих сердечных делах она не обмолвилась ни единым словом. Если я заводил с ней речь о чувствах, она отвечала мне нравственными рассуждениями, повергая меня в отчаяние. Долго длилось такое тяжелое для меня положение; наконец, я решил выйти из него и узнать раз навсегда, на что мне рассчитывать.

— Как же вы взялись за дело? — спросила Мирзоа.

— Сударыня, сейчас вы это узнаете, — отвечал Мангоул.

Селим продолжал:

— Как я уже вам сказал, сударыня, я виделся с Сидализой каждый день. Так вот, я начал с того, что стал видаться с ней все реже, а потом и совсем почти перестал с ней встречаться. Если мне случалось разговаривать с ней

наедине, я так мало говорил ей о любви, как если бы у меня никогда не было в душе даже искры страсти к ней. Эта перемена удивила ее, она стала подозревать, что у меня завелась тайная связь, и однажды, когда я рассказывал ей про галантные придворные похождения, она спросила меня с рассеянным видом:

«Почему это вы ничего не расскажете про себя, Селим? Вы восхитительно рассказываете о чужих победах, но упорно молчите о своих собственных».

«Сударыня, — отвечал я, — очевидно, это потому, что у меня их не имеется, или же потому, что я нахожу нужным о них умалчивать».

«О да, — прервала она меня, — очень мило с вашей стороны скрывать от меня то, о чем весь свет завтра будет говорить».

«Пусть себе, сударыня, — отвечал я, — но, во всяком случае, никто ничего не узнает от меня».

«Честное слово, — сказала она, — вы прямо поражаете меня своей осмотрительностью. Кто же не знает, что вы заритесь на белокурую Мизис, на маленькую Зибелину и на темнокурую Сеферу?»

«Кого еще будет вам угодно назвать, сударыня?» — холодно спросил я ее.

«Право же, — продолжала она, — я склонна думать, что не только эти дамы владеют вашим сердцем. Ведь последние два месяца, когда вы показываетесь у нас только из милости, вы не пребывали в бездействии, а этих дам так легко победить».

«Как! Оставаться в бездействии, — воскликнул я. — Это было бы ужасно для меня. Я создан для любви и отчасти для того, чтобы быть любимым. Признаюсь вам, что я любим, но больше не спрашивайте меня ни о чем, я и так, быть может, слишком много сказал».

«Селим, — продолжала она серьезным тоном, — у меня нет от вас секретов, и я хочу, чтобы и вы ничего не скрывали от меня. В каком положении ваши сердечные дела?»

«Я почти довел до конца роман».

«А с кем же?» — о живостью спросила она.

«Вы знаете Мартезу?»

«О, конечно, это очень любезная женщина».

«Ну, так вот, не добившись вашей благосклонности, я повернул в другую сторону. Обо мне мечтали уже полгода, два свидания подготовили мне победу, третье довершит мое счастье, и сегодня вечером Мартеза ждет меня к ужину. Она забавна, весела, немного язвительна, но, в общем, это лучшее в мире создание. С этими сумасбродками лучше иметь дело, чем с чопорными дамами, которые»...

«Сударь, — прервала меня Сидализа (глаза у нее были опущены), — хоть я и поздравляю вас с таким выбором, но позвольте вам заметить, что Мартеза не новичок в делах любви, и до вас у нее уже были любовники»...

«Что мне до того, мадам!.. — возразил я, — если Мартеза искренно любит меня, я могу считать себя первым. Однако, час свидания приближается. Разрешите».

«Еще одно слово, сударь: действительно ли любит вас Мартеза?»

«Я думаю, что да».

«А вы ее любите?» — прибавила Сидализа.

«Мадам, — отвечал я, — вы сами бросили меня в объятия Мартезы: этим все сказано».

Я поднялся, чтобы уйти, но Сидализа потянула меня за край моего доломана и резко отвернулась.

«Сударыня хочет чего-нибудь от меня? Вам угодно что-нибудь мне приказать?»

«Нет, сударь. Как, вы еще здесь! Я думала, что вы уже давно ушли».

«Сударыня, я поспешу удалиться».

«Селим»...

«Сидализа»...

«Итак, вы уходите?»

«Да, сударыня».

«Ах, Селим, кого вы мне предпочли! Разве уважение Сидализы не дороже благосклонности Мартезы?»

«Это было бы так, мадам, — возразил я, — если бы я

не испытывал к вам ничего, кроме уважения. Но я вас любил»...

«Что же из того! — воскликнула она горячо. — Если бы вы меня любили, вы разобрались бы в моих чувствах, вы бы предугадали дальнейшее, вы бы надеялись, что, в конце концов, ваша настойчивость возьмет верх над моей гордостью. Но вам все это надоело. Вы отказались от меня, и, может быть, сейчас»...

Сидализа смолкла, у нее вырвался вздох, и глаза стали влажными.

«Говорите, сударыня, — сказал я, — продолжайте. Быть может, несмотря на всю вашу суровость, любовь еще жива в моем сердце, и вы могли бы»...

«Я ничего не могу, и вы меня не любите, а Мартеза вас ждет».

«А если Мартеза мне безразлична, если Сидализа сейчас дороже мне, чем когда-либо, что вы тогда скажете?»

«Входить в обсуждения одних предположений было бы безумием».

«Умоляю вас, Сидализа, ответьте мне, как если бы мы говорили всерьез. Если бы Сидализа попрежнему была самой желанной для меня в мире женщиной и если бы я никогда не имел никаких намерений по отношению к Мартезе, скажите, что бы вы сделали?»

«Да то, что я всегда делала, неблагодарный, — ответила, наконец, Сидализа. — Я любила бы вас»...

«А Селим вас боготворит!» — воскликнул я, бросаясь перед ней на колени, и я стал целовать ей руки, орошая их слезами радости.

Сидализа была ошеломлена. Неожиданная перемена во мне ее взволновала. Я воспользовался ее расстройством, и наше примирение ознаменовалось проявлениями нежности, отказать в которой она была не в силах.

— А как смотрел на это добрый Осталук? — прервал Мангогул. — Без сомнения, он разрешил своей дражайшей половине быть благосклонной к человеку, которому был обязан чином лейтенанта спаги?

— Государь, — отвечал Селим, — Осталук считал дол-

гом быть благодарным лишь до тех пор, пока меня отвергали, но едва я добился счастья, как он стал нетерпим, резок и несносен со мной и груб с женой. Мало того, что он сам нас изводил, он еще приставил к нам шпионов. Нас предали, и Осталук, уверенный в своем бесчестии, имел дерзость вызвать меня на дуэль. Мы сразились в большом парке сераля. Я нанес ему две раны и заставил его просить о пощаде. Пока он выздоравливал от ран, я ни на минуту не разлучался с его женой. Но первое, что он сделал по выздоровлении, было то, что он разлучил нас и стал жестоко обходиться с Сидализой. Она описывала мне всю тяжесть своего положения. Я предложил ее похитить, она согласилась, и наш ревнивец, вернувшись с охоты, куда он сопровождал султана, был очень удивлен, оказавшись вдовцом. Осталук, вместо того чтобы бесплодно сетовать на виновника похищения, стал тотчас же обдумывать месть.

Я спрятал Сидализу в загородном доме, в двух лье от Банзы. Через ночь я тайком ускользал из города и отправлялся в Сизар. Между тем, Осталук назначил цену за голову неверной, подкупил моих слуг и проник в мой парк. В этот вечер я прогуливался там с Сидализой. Мы углубились в одну темную аллею, и я собирался оказать ей самые нежные ласки, когда невидимая рука на моих глазах пронзила ей грудь кинжалом. Это была рука жестокого Осталука. Я выхватил кинжал, и Сидализа была отомщена. Я бросился к обожаемой женщине. Ее сердце еще трепетало. Я поспешил перенести ее в дом, но она скончалась по дороге, прильнув устами к моим устам.

Когда я почувствовал, что тело Сидализы холодеет в моих руках, я стал испускать пронзительные крики. Сбежали мои слуги и увезли меня из этих мест, полных ужаса. Я вернулся в Банзу и заперся в своем дворце; я был в отчаянии от смерти Сидализы и осыпал себя самыми жестокими упреками.

Я искренне любил Сидализу и был горячо ею любим, и у меня было достаточно времени, чтобы понять всю глубину постигшей меня утраты и оплакать ее.

— Но, в конце концов, вы утешились? — спросила фаворитка.

— Увы, сударыня, — отвечал Селим, — долгое время я думал, что никогда не утешусь; но тут я познал, что не существует вечного горя.

— Не говорите мне больше о мужчинах, — сказала Мирзоа. — Все вы такие. Я хочу сказать, господин Селим, что бедная Сидализа, история которой только что нас растрогала, была глупенькой, если верила клятвам. И теперь, когда Брама, быть может, жестоко карает ее за легковерие, вы приятно проводите время в объятиях другой.

— Успокойтесь, сударыня, — заметил султан. — Селим и сейчас любит. Сидализа будет отомщена.

— Государь, — отвечал Селим, — вероятно, вы плохо осведомлены. Неужели вы думаете, что встреча с Сидализой не научила меня, что истинная любовь вредит счастью?

— Конечно, так, — прервала его Мирзоа. — И, несмотря на ваши рассуждения, я готова держать пари, что сейчас вы любите другую еще более пылко...

— Не смею утверждать, что более пылко, — отвечал Селим, — уже пять лет я связан сердечной любовью с очаровательной женщиной. Не без труда мне удалось склонить ее к моим мольбам, ибо она всегда отличалась замечательной добродетелью.

— Добродетель! — воскликнул султан. — Смелее, мой друг! Я бываю в восторге, когда мне рассказывают про добродетель придворной дамы.

— Селим, — сказала фаворитка, — продолжайте ваш рассказ.

— И верьте всегда, как добрый мусульманин, верности вашей любовницы, — прибавил султан.

— О государь, — с живостью сказал Селим, — Фульвия мне верна.

— Верна она или нет, — отвечал султан, — это безразлично для вашего счастья. Вы этому верите, — и этого достаточно.

— Итак, вы любите сейчас Фульвию? — спросила фаворитка.

— Да, сударыня, — отвечал Селим.

— Тем хуже, мой дорогой, — прибавил Мангогул, — ибо я несколько не верю ей. Ее вечно окружают брамины, а эти брамины — ужасный народ. Кроме того, у нее маленькие китайские глазки, вздернутый носик и такой вид, что она должна любить наслаждения. Скажите, между нами, как она на этот счет?

— Государь, — отвечал Селим, — мне думается, она их далеко не чуждается.

— Ну вот, — заявил султан, — никто не может противиться этим примамкам, вы должны это знать лучше меня, или вы...

— Вы ошибаетесь, — прервала его фаворитка, — можно быть умнейшим в мире человеком и не знать этого, — держу пари...

— Вечно эти пари! — воскликнул Мангогул. — Мне это надоело... Эти женщины неисправимы. Сначала выиграйте дворец, сударыня, а потом будете держать пари.

— Сударыня, — сказал Селим, — не может ли Фульвия быть вам чем-нибудь полезной?

— Каким же образом? — спросила Мирзоа.

— Я заметил, — продолжал Селим, — что сокровища до сих пор говорили лишь в присутствии его высочества, и мне пришло в голову, что гений Кукуфа, который совершил столько чудесных деяний ради Каноглу, вашего деда, вероятно, даровал и внуку способность заставлять говорить сокровища. Но сокровище Фульвии, насколько мне известно, еще не говорило; нельзя ли его порасспросить, таким путем выиграть дворец и заодно убедить меня в верности моей любовницы?

— Конечно, — отвечал султан. — Что вы на это скажете, сударыня?

— О, я не вмешиваюсь в такие скабрзные дела. Селим слишком близкий мой друг, чтобы из-за моего дворца подвергать его риску потерять счастье своей жизни.

— Что вы говорите! — возразил султан. — Фульвия до-

бродетельна, — Селим в этом так уверен, что готов дать голову на отсечение. Он это сказал, и он не такой человек, чтобы отречься от своих слов.

— Нет, государь, — сказал Селим, — и если ваше высочество назначите мне свидание у Фульвии, я буду там первым.

— Подумайте о том, что вы предлагаете, — продолжала фаворитка. — Селим, бедный Селим, вы слишком торопитесь! И при всей вашей любезности...

— Не беспокойтесь, мадам. Жребий брошен, — я выслушаю Фульвию. Самое большее, что мне грозит, — это потерять неверную.

— И умереть, скорбя об этой утрате, — прибавила фаворитка.

— Что за чепуха! — сказал Мангогул. — Неужели вы думаете, что Селим стал дураком? Он потерял нежную Сидализу и, тем не менее, полон жизни, а вы воображаете, что, если бы он убедился в неверности Фульвии, он умер бы от этого. Если ему грозят лишь такие удары, я уверен, что он будет жить вечно. Итак, Селим, до свидания, встретимся завтра у Фульвии, слышите? Вас известят, в котором часу.

Селим склонился, Мангогул вышел. Фаворитка продолжала доказывать старому придворному, что он затеял рискованную игру. Селим поблагодарил ее за благосклонность к нему, и они расстались в ожидании великого события.

Глава сорок девятая

Двадцать седьмая проба кольца. Фульвия

Африканский автор, обещавший нам дать характеристику Селима, решил привести ее здесь. Я слишком уважаю произведения древности, чтобы утверждать, что эта характеристика была бы уместнее в другой главе. «Существуют люди, — говорит он, — которым заслуги раскрывают все двери, которые благодаря красоте лица и изяществу ума в молодости являются любимцами женщин и

в старости окружены почетом, ибо они сумели сочетать долг с удовольствиями и в зрелые годы жизни прославились услугами, оказанными государству, — одним словом, этих людей общество всегда принимает с восторгом. Таков был Селим. Хотя ему уже минуло шестьдесят лет, и он рано вступил на стезю наслаждений, — крепкое сложение и благоразумие избавили его от одряхления. Благородное выражение лица, свободные манеры, пленительная речь, глубокое знание света, вытекающие из долголетнего опыта, умение обходиться с прекрасным полом — все это создало ему при дворе высокую репутацию, и каждый хотел бы на него походить. Однако тот, кто вздумал бы ему подражать, не добился бы успеха, не обладая дарованиями и талантами, которыми Селим был отмечен природой».

«Теперь я спрошу вас, — продолжает африканский автор, — имел ли этот человек основания тревожиться за свою любовницу и провести ночь, подобно безумцу? Но факт, что тысячи мыслей роились у него в голове, и чем больше он любил Фульвию, тем больше опасался обнаружить ее неверность».

«В какой лабиринт я зашел! — говорил он себе. — И ради чего? Мне-то что за корысть, если фаворитка выиграет дворец? И что мне до того, если она его не получит?.. Но почему бы ей не получить его? Разве я не уверен в нежности Фульвии?.. О, я владею всеми ее помыслами, и если ее сокровище заговорит, то лишь обо мне... Но если измена... Нет, нет, я почувствовал бы это в самом начале. Я заметил бы неровности в ее обращении со мной. Неужели за эти пять лет мне не удалось бы изобличить ее во лжи?.. А между тем, испытание сопряжено с большим риском... Но отступать уже поздно. Я поднес чашу к устам, и надо испробовать напиток, хотя бы мне пришлось потом выплеснуть всю жидкость. Но, быть может, оракул будет мне благоприятен... Увы! Чего мне ждать от него? Почему бы другим не одолеть добродетель, над которой я восторжествовал?.. Ах, дорогая Фульвия, я оскорбляю тебя этими подозрениями, я забываю, чего мне стоило тебя завоевать. Мне сияет луч надежды, и я упо-

капваю себя мыслью, что твое сокровище сохранит упорное молчание»...

Селим предавался этим тревожным мыслям, когда ему вручили записку султана, содержащую лишь такие слова: «Селим, сегодня вечером, ровно в половине двенадцатого, будьте в известном вам месте». Селим взял перо и написал дрожащей рукой: «Повинуюсь вам, государь».

Селим провел остаток дня, как и предшествующую ночь, беспрестанно переходя от надежды к опасению. Не подлежит сомнению, что любовники обладают своего рода инстинктом; если их возлюбленная неверна, они испытывают волнение, подобное тому, какое охватывает животных при приближении непогоды. Охваченный подозрением, любовник подобен дикой кошке, у которой зудит в ушах в туманную погоду; у животных и у любовников есть еще то сходство, что домашние животные утрачивают этот инстинкт, и он притупляется у любовников, когда они становятся супругами.

Время тянулось долго для Селима; сто раз он взглядывал на стенные часы; наконец наступил роковой час, и придворный отправился к своей любовнице. Время было позднее, но так как двери Фульвии были всегда для него открыты, его провели к ней.

— Я вас перестала ждать, — сказала она, — и легла в кровать с мигренью, вызванной досадой, какую вы мне причинили.

— Мадам, — отвечал Селим, — требования приличия, а также дела удерживали меня при дворе султана; с тех пор как я с вами расстался, у меня не было ни минуты свободной.

— А я, — заявила Фульвия, — была в ужасном настроении. Подумать только, целых два дня не видеть вас!

— Вы знаете, — продолжал Селим, — к чему обязывает меня мой сан, и как непрочно милость великих мира сего...

— Как? — прервала его Фульвия. — Неужели султан выказал вам холодность? Неужели он позабыл ваши заслуги? Вы рассеяны, Селим. Вы мне не отвечаете. Ах, если вы меня любите, не все ли вам равно, ласковд или

холодно принял вас султан? Вы будете искать счастья не в его взоре, а в моих глазах и в моих объятиях.

Селим внимательно слушал, вглядываясь в лицо своей любовницы и стараясь подметить в ней выражение правдивости, в котором нельзя обмануться и которое невозможно подделать. Если я говорю невозможно, я имею в виду нас, мужчин, ибо Фульвия так артистически прикидывалась, что Селим начал уже упрекать себя в том, что мог в ней усомниться. Когда прибыл Мангогул, Фульвия тотчас же замолкла. Селим содрогнулся, а сокровище сказалао:

— Сударыня может совершать паломничества во все пагоды Конго, у нее все равно не будет детей, и уж я, ее сокровище, знаю, по какой причине...

При этих словах смертельная бледность покрыла лицо Селима. Он хотел встать, но дрожащие ноги подкосились под ним, и он упал в кресло. Султан, оставаясь невидимым, приблизился к нему и спросил его на ухо:

— Не довольно ли с вас?

— Ах, государь,— горестно воскликнул Селим,— почему я не послушался советов Мирзоы и предостережений своего сердца? Счастье мое померкло, я все потерял; я не выдержу, если ее сокровище будет молчать, а если оно заговорит — я погиб. Но все-таки пусть оно говорит. Я жду ужасных признаний, но они будут для меня не так мучительны, как та неуверенность, в какой я нахожусь.

Между тем, первым движением Фульвии было положить руку на сокровище и закрыть ему рот. То, что оно до сих пор сказала, могло быть истолковано в хорошую сторону, но она боялась дальнейшего. Она уже начала успокаиваться, видя, что сокровище хранит молчание, когда султан, по настоянию Селима, снова направил на нее перстень. Фульвия была принуждена раздвинуть пальцы, и сокровище продолжало:

— Я никогда не понесу плода, меня слишком упомляют. Слишком частые посещения стольких святых мужей вечно будут препятствовать моим намерениям, и у сударыни не будет детей. Если бы меня ублажал один Селим,

я, быть может, и понесло бы плод, но я живу как на галерах. Сегодня один, завтра другой, гребешь — не выгребешь. В каждом новом мужчине Фульвия видит того, кого небо предназначило быть продолжателем ее рода. Никто не застрахован от этих ее посягательств. Как ужасно положение сокровища титулованной женщины, у которой нет наследника! Уже десять лет, как я предоставлено людям, которые по своему положению не должны бы поднимать на меня и глаз.

Малгогул решил, что сказанного достаточно, чтобы вывести Селима из неизвестности. Не желая его дольше мучить, он повернул в обратную сторону кольцо и вышел, предоставив Фульвию упрекам ее любовника.

Сперва злополучный Селим остолбенел, но ярость вернула ему речь, он бросил на неверную презрительный взгляд и сказал:

— Неблагодарная, вероломная женщина! Если бы я еще любил вас, я отомстил бы вам; но вы показали себя недостойной моей нежности и моего гнева. Такого человека, как я! Обмануть меня с целой кучей негодяев!..

— В самом деле,— внезапно прервала его Фульвия тоном куртизанки, сбросившей маску,— есть из-за чего обижаться. Вместо того чтобы быть мне благодарным за то, что я скрывала от вас вещи, которые привели бы вас в отчаяние,— вы горячитесь, приходите в ярость, как если бы вас оскорбили. Какие основания у вас, сударь, ставить себя выше Сетона, Рикеля, Молли, Тахмаса, любезнейших придворных кавалеров, которым можно оказывать милость, не скрывая от них своих измен? Вы уже стары, Селим, одряхлели и уже давным-давно не в силах удержать при себе молодую женщину, которая далеко не дура. Согласитесь же, что ваши претензии неуместны, ваш гнев непристойен. Впрочем, вы можете, если недовольны, очистить место для других, которые сумеют лучше вас воспользоваться им.

— Так я и сделаю, и с радостью,— заявил Селим, в крайнем негодовании. И он вышел, твердо решив больше никогда не видеть этой женщины.

Он вернулся в свой особняк и заперся в нем на несколько дней, в глубине души менее огорченный своей потерей, чем своим продолжительным заблуждением. В нем была уязвлена гордость, а не сердце. Он боялся упреков фаворитки и шуток султана и избегал их обоих.

Он почти решил удалиться от двора, проводить дни в одиночестве и закончить, как философ, жизнь, большую часть которой он потерял в одежде придворного. Однако Мирзоза, угадавшая его мысли, решила его утешить, вызвала в сераль и сказала ему следующее:

— Как, мой бедный Селим, неужели вы решили меня покинуть? Ведь не Фульвию, а меня вы наказываете за ее неверность. Все мы огорчены случившимся с вами, мы признаем, что все это весьма прискорбно, но если вы хоть сколько-нибудь цените благосклонность султана и мое уважение к вам, вы будете попрежнему составлять нам приятную компанию и позабудете Фульвию, которая никогда не была достойна такого человека, как вы.

— Сударыня, — отвечал Селим, — возраст мой подсказывает мне, что пора удалиться. Я достаточно насмотрелся на свет; еще четыре дня тому назад я дерзнул бы утверждать, что знаю его, но случай с Фульвией сбил меня с толку. Женщины — непостижимые существа, и они все были бы мне ненавистны, если бы вы не принадлежали к полу, всеми прелестями которого вы обладаете. Да сохранит вас Брама от его пороков. Прощайте, сударыня, я удаляюсь в уединение и буду предаваться полезным размышлениям. Я навсегда сохраню воспоминание о расположении, которым вы и султан меня почтили, и если у меня родятся еще какие-нибудь желания, это будут пожелания счастья вам и славы султану.

— Селим, — отвечала фаворитка, — вами владеет досада. Вы боитесь быть смешным, но вам этого не удастся избежать, удалившись от двора. Будьте в душе философом, если вам это угодно, но проводить в жизнь философию сейчас не время. Ваш уход объясняется лишь досадой и огорчением. Вы не созданы для того, чтобы жить в пустыне, и султан...

Приход Мангогула прервал слова фаворитки. Она рассказала ему о намерениях Селима.

— Он с ума сошел, — воскликнул государь, — неужели дурное поведение малютки Фульвии лишило его разума?

И обращаясь к Селиму, он прибавил:

— Этого не будет, мой друг. Вы останетесь. Я надеюсь в ваших советах, а мадам — в вашем обществе. Этого требует благо всего государства и удовольствие Мирзозы, и так будет.

Тронутый любовью Мангогула и фаворитки, Селим почтительно поклонился. Он остался при дворе и продолжал пользоваться благосклонностью султана и Мирзозы и всеобщей любовью и уважением, благодаря чему все его любили, ценили, высоко ставили и искали его общества.

Глава пятидесятая

Занимательные события в царствование Каноглу, деда Мангогула

Фаворитка была еще очень молода. Родившись в конце царствования Эрgebзеда, она почти не имела представления о дворе Каноглу. Случайно вырвавшееся у Селима слово пробудило в ней любопытство; ей захотелось узнать, какие чудеса совершил гений Кукуфа для этого доброго государя, и никто не мог дать ей более точных сведений, чем Селим. Он был свидетелем этих чудес, принимал участие в событиях и знал эту эпоху. Однажды, когда они сидели вдвоем с Мирзозой, она завела разговор на эту тему и спросила его, совершались ли в царствование Каноглу, о котором так много толкуют, еще более поразительные события, чем те, что в настоящее время занимают все Конго.

— Сударыня, — отвечал Селим, — я не склонен предпочитать минувшие времена царствованию нашего государя. Сейчас происходит много замечательного, и это, может быть, лишь начало событий, которые прославят

Мангогула, а я слишком много прожил, чтобы надеяться их увидеть.

— Вы ошибаетесь, — возразила Мирзоа, — ведь вы приобрели прозвище бессмертного и сохраните его. Но расскажите мне о том, что вы видели.

— Сударыня, — продолжал Селим, — царствование Капоглу было весьма продолжительным, и наши поэты называли его золотым веком. Это название подходит к нему во многих отношениях. Оно было озаглавлено различными успехами и победами, однако, к хорошим сторонам приписывались и дурные, доказывающие, что это золото было иной раз низкой пробы. Двор, который задает тон всему государству, был весьма галантен. У султана были возлюбленные, вельможи спешили ему подражать, и народ незаметно перенял их замашки. Роскошь костюмов, мебели и экипажей была чрезвычайной. В кулинарии достигли высокого искусства. Вели крупную игру, делали долги и не платили их, растрачивали все свои деньги и использовали весь свой кредит. Против роскоши были изданы прекрасные постановления, которых никто не выполнял. Захватывали города, завоевывали провинции, начинали строить дворцы; страна обезлюдела и обнищала. Народ воспевал победы и умирал с голоду. У вельмож были роскошные дворцы и чудесные сады, а земли их оставались необработанными. Флотилия из сотни линейных кораблей царила на море, наводя ужас на соседей, но одна умная голова вычислила, сколько стоило государству содержание этого флота, и, несмотря на протесты остальных министров, был отдан приказ устроить из него потешные огни. Королевская казна представляла собой огромный пустой ящик, который отнюдь не наполнялся благодаря такому жадному хозяйничанию. Золото и серебро стали таким редким металлом, что в один прекрасный день монетный двор был превращен в бумажную фабрику. В довершение всеобщего блаженства, Капоглу дал себя убедить фанатикам в том, что крайне необходимо, чтобы все его подданные на него походили, чтобы у них были голубые глаза, вздернутый нос и рыжие усы, как у него, и он

изгнал из Конго более двух миллионов людей, не обладавших такими чертами или отказавшихся их подделывать.

Таков был, сударыня, золотой век, таково было это доброе старое время, о котором постоянно сожалеют. Но предоставьте болтать пустомелям и поверьте, что у нас есть еще Тюренны и Кольберы, что наше время, в общем, лучше прошлого и что, если народ счастливее при Мангогуле, чем при Каноглу, значит, царствование его величества более славно, чем царствование его деда, ибо счастье подданных — точное мерило величия государей. Но вернемся к удивительным событиям, случившимся при Каноглу.

Итак, я начну с рассказа о появлении паяцев.

— Вы можете не рассказывать мне о них, Селим, — сказала фаворитка, — эту историю я знаю наизусть. Переходите к другим темам.

— Разрешите вас спросить, сударыня, — сказал придворный, — откуда вы знаете об этом?

— Но об этом же писали, — отвечала Мирзоа.

— Да, сударыня, но люди, ничего не понимавшие, — возразил Селим. — Я начинаю раздражаться, когда вижу, что незначительные частные лица, видевшие государей лишь во время их въезда в столицу или других торжественных церемоний, лезут туда же, в истории.

— Сударыня, — продолжал Селим, — мы провели ночь на маскараде в залах сераля, когда под утро перед нами появился гений Кукуфа, признанный покровитель царствующей фамилии, и приказал нам лечь в кровать и проспать целые сутки. Мы повиновались, и когда миновал этот срок, сераль превратился в обширную и великолепную галерею паяцев. В одном конце можно было увидеть Каноглу на троне; между ног у него болталась длинная потертая веревка; старая дряхлая фея то и дело дергала за нее и приводила в движение несметное множество подчиненных паяцев, к которым протягивалась целая сеть незримых веревочек от рук и ног Каноглу. Она дергала, и сенешал мигом составлял разорительные эдикты и прикладывал к ним печать или произносил в честь феи по-



«Нескромные сокровища»
С гравюры из издания 1748 г., к ил. 50

хвальное слово, которое ему подсказывал его секретарь. Военный министр посылал на войну брандскугели; министр финансов строил дома и морил голодом солдат; то же самое случалось и с прочими паяцами.

Если некоторые из паяцев неохотно производили свои движения, недостаточно высоко поднимали руки и слишком мало сгибали колени, фея быстрым ударом руки наотмашь обрывала их привязь, и они становились паралитиками. Никогда не забуду двух весьма доблестных эмиров, на которых обрушилась ее кара и которые на всю жизнь остались парализованными, с бессильно опущенными руками.

Нити, исходившие от всех частей тела Капоглу, простирались на громадные расстояния и приводили в движение или в покой на границах Моноэмуги армии паяцев; протягивалась веревочка — и осаждались города, атаковались траншеи, проламывались брешни, и неприятель готовился к капитуляции; но вот, новое подергивание, — и артиллерийский огонь стихал, атаки больше не производились с прежней энергией, в крепость прибывали подкрепления, между нашими генералами вспыхивала рознь; нас атаковали, застигали врасплох и разбивали наголову.

Такого рода дурные известия никогда не огорчали Капоглу, он узнавал их только тогда, когда о них уже забывали его подданные, и фея позволяла сообщать их ему только тем паяцам, у которых была прикреплена нить к концу языка и которые говорили лишь то, что ей было угодно, под страхом навсегда онеметь.

В другой раз всех нас, молодых безумцев, привело в восторг приключение, которым были жестоко скандализованы ханжи: женщины вдруг принялись кувыряться и ходить вниз головой и вверх ногами, вдев руки в туфельки.

Сперва это сбilo всех с толку, и пришлось знакомиться с новыми физиономиями; многих из них перестали находить привлекательными, когда они нам показались в таком виде, другие же, о которых раньше никогда не говорили, бесконечно много выиграли при ближайшем зна-

комстве. Так как юбки и платья закрывали глаза, легко можно было ошибиться и сделать неверный шаг, — поэтому юбки укоротили, а платья сделали открытыми. Таково происхождение коротких юбок и открытых платьев. Когда женщины вновь стали на ноги, они сохранили свой туалет в том же виде, и, если как следует всмотреться в юбки наших дам, легко заметить, что они не были созданы для того, чтобы их носить так, как носят теперь.

Всякая мода, преследующая лишь одну цель, скоро проходит; для того чтобы быть длительной, она должна преследовать, по крайней мере, две цели. В то время открыли способ поддерживать бюст, а теперь им пользуются, чтобы поддерживать живот.

Ханжи, с удивлением обнаружив, что у них голова внизу, а ноги наверху, сперва закрылись руками; но такое положение заставляло их терять равновесие и неуклюже спотыкаться. По совету браминов, они впоследствии обвязали юбки вокруг ног черными ленточками; светские женщины нашли этот прием смешным и оповестили публику о том, что это стесняет дыхание и вызывает истерики. Это чудо имело счастливые последствия: оно вызвало много браков или союзов, близких к брачным, а также массовые обращения. Все женщины, обладавшие безобразными бедрами, очертя голову ударились в религиозность и завели черные ленточки; целых четыре миссии браминов не добились бы таких результатов.

Новое знамение: двор Каноглу изобиловал петиметрами, и я имел честь быть в их числе. Однажды, когда я им рассказывал о молодых французских вельможах, я вдруг заметил, что плечи у всех нас поднялись выше головы. Но это было еще не все. Внезапно мы все стали выделять пируэты, крутясь на одном каблуке.

— Что же в этом особенного? — спросила фаворитка.

— Ничего, — отвечал Селим, — если не считать, что первая метаморфоза вызвала к жизни заносчивых людей, а вторая пересмешников, господство которых еще не миновало. В то время, как и сейчас, обращались к кому-нибудь с речью и затем, выделявая пируэты, продолжали

ее, обращаясь уже ко второму или к третьему лицу, которым она казалась и непонятной, и дерзкой.

В другой раз мы все внезапно сделались близорукими. Пришлось прибегнуть к Биону³⁷. Этот жулик соорудил подзорные трубы, которые он продавал нам по десять цехинов и которыми мы продолжали пользоваться даже тогда, когда к нам вернулось нормальное зрение. Так произошли, сударыня, театральные бинюкли.

Не знаю, чем провинились в эту эпоху легкомысленные женщины перед Кукуфой, но он жестоко с ними расправился. К концу одного года, все ночи которого они провели на балах, за столом или за игрой, а дни — в экипажах или в объятиях любовников, они все с удивлением обнаружили, что сделались безобразными: одна стала черной, как крот, другая угреватой, третья бледной и тощей, четвертая — желтой и морщинистой. Необходимо было замаскировать эти жуткие превращения, и наши химики изобрели белила, румяна, помады, туалетные воды, платочки Венеры, девичье молоко, мушки и тысячи других секретов, которые женщины стали применять и из безобразных сделались чудовищными. Кукуфа держал их под гнетом такого проклятия, когда Эрgebзед, любивший красивых женщин, вступился за них. Гений сделал, что смог. Но чары были так могущественны, что ему удалось снять их лишь отчасти. И придворные дамы остались такими, каковы они теперь.

— Так же обстояло дело и с мужчинами? — спросила Мирзоа.

— Нет, сударыня, — отвечал Селим. — Некоторые из перемен, с ними произошедших, держались долго, другие же прошли быстрее. Высокие плечи опустились, и мы выпрямились; из боязни прослыть горбунами, стали высоко закидывать голову и жеманиться. Пируэты продолжали выделявать, да и теперь их еще выделяют. Начните серьезный, глубокомысленный разговор в присутствии молодого вельможи-франта, и — фью! — он мигом упорхнет от вас, размахивая тросточкой, и, если кто-нибудь спросит его о военных новостях или о его здоровье, он

начнет сыпать шутками, шептать на ухо о том, что вчера он ужинал с Рабон,— что это восхитительная девушка; что вышел новый роман; что он прочел из него несколько страниц, что это прекрасно, чудесно; а потом — фью! — подлетит с пируэтом к женщине, спросит ее, видела ли она новую оперу, и сообщит ей, что Данжевилль была неподражаема.

Мирзоза нашла эти смешные происшествия весьма занятными и спросила Селима, не было ли и с ним чего-нибудь подобного.

— Как, сударыня,— воскликнул старый придворный,— неужели вы думаете, что можно было обойтись без всего этого и не прослыть за человека, свалившегося с луны? Я горбился и шипел, как кошка, жеманился, лорнировал, выделял пируэты, гримасничал не хуже других; и мои усилия были направлены к тому, чтобы первым усвоить эти пороки и последним от них отделаться.

При этих словах Селима появился Мангогул.

Африканский автор ничего не говорит о том, что с ним было и чем он занимался в предыдущей главе; повидному, государям Конго дозволено совершать незначительные поступки, говорить иной раз ничтожные вещи и походить на прочих смертных, у которых большая часть жизни уходит на пустяки или на вещи, не заслуживающие того, чтобы о них упоминали.

Глава пятьдесят первая

Двадцать восьмая проба кольца. Олимпия

— Порадуйтесь, сударыня,— сказал Мангогул, входя к фаворитке.— Я принес вам приятное известие. Сокровища — просто дурочки, которые сами не знают, что говорят. Кольцо Кукуфы может заставить их болтать, но оно не в силах вырвать у них правду.

— Каким же образом, ваше высочество, вы уличили их во лжи? — спросила фаворитка.

— Вы это сейчас узнаете,— ответил султан.— Селим

вам обещал рассказать все свои похождения. И вы не сомневаетесь, что он сдержал слово. Ну, вот, я поговорил с одним сокровищем, которое обвиняет его в дурном поступке, какой он, будто бы, от вас скрыл, какого, наверное, и не было и какой даже не в его характере. Тиранишь хорошенькую женщину, требовать от нее контрибуции под угрозой расстрела — похоже это на Селима?

— Почему же нет, государь? — отвечала фаворитка. — Нет такой злостной выходки, на которую Селим был бы неспособен, и если он умолчал о походе, которое вы открыли, это, может быть, потому, что он примирился с этим сокровищем, они в хороших отношениях, и он, не изменяя своему обещанию, думал прикрыть таким образом свои грехи.

— Вечная несостоятельность ваших догадок, — сказал султан, — должна была бы излечить вас от них. Это совсем не то, что вы воображаете. Это одно из сумасбродств ранней юности Селима. Дело идет об одной из таких женщин, которыми бывают заняты на минуту и которых потом бросают.

— Сударыня, — сказал Селим, — как я ни напрягаю память, я больше ничего не могу припомнить, и совесть моя совершенно чиста.

— Олимпия... — произнес Мангогул.

— Ах, государь, — перебил его Селим, — я знаю, что это такое. Это очень старая история, и неудивительно, что она ускользнула от меня.

— Олимпия, — продолжал Мангогул, — жена главного казначея, увлеклась молодым офицером, капитаном Селимова полка. В одно прекрасное утро ее любовник с растерянным видом объявил ей приказ, данный всем военным, присоединиться к своим корпусам. Мой дед, Капоглу, решил в том году начать военные действия раньше обыкновенного, — и превосходный план, который он выработал, не удался лишь вследствие огласки его приказаний. Политики стали фрондировать, а женщины проклинали этот план, — у тех и у других были на то основания. Я рас-

скажу вам, какие были у Олимпии. Эта женщина задумала, повидавшись с Селимом, помешать, если возможно, отъезду Габалиса — так звали ее любовника. У Селима уже была и тогда репутация опасного мужчины. Олимпия решила взять с собой провожатых. Две из ее подруг, такие же красивые, как она, предложили сопровождать ее. Селим находился в своем особняке, когда они пришли. Он принял Олимпию, вошедшую без подруг, с той приветливостью, какая вам известна, и спросил, чему он обязан таким счастливым посетителем.

«Я пришла по делу Габалиса, — сказала Олимпия, — у него есть важные дела, которые требуют его присутствия в Банзе, и я хочу попросить у вас для него полугодовой отпуск».

«Полугодовой отпуск, сударыня? Вы шутите! — сказал Селим. — Приказ султана вполне точен; я в отчаянии, что не могу оказать вам услугу, которая неминуемо погубила бы меня».

Олимпия продолжала просить, Селим продолжал отказывать.

«Визирь обещал мне повышение по службе в ближайшее время. Неужели вы потребуете от меня, сударыня, чтобы я топил себя, исполняя ваше желание?»

«О нет, сударь, вы не утонете, а мне окажете огромную услугу»...

«Сударыня, это невозможно; но если бы вы повидались с визирем»...

«Ах, сударь, к кому вы посылаете меня! Этот человек никогда не делает ничего для дам».

«Я стараюсь что-нибудь придумать, так как был бы счастлив оказать вам услугу, но я вижу только одно средство»...

«Какое?» — с живостью спросила Олимпия.

«В ваши намерения входит сделать Габалиса счастливым на полгода, но разве вы не можете разделить с другим на четверть часа наслаждения, какие предназначены для Габалиса?»

Олимпия прекрасно поняла, о чем он говорит, покрас-

нела, пробормотала что-то невнятное и кончила тем, что возмутилась жестокостью условия.

«Не будем больше говорить об этом, — холодно произнес полковник, — Габалис отправится в поход, — воля государя должна быть выполнена. Я мог бы взять кое-что на себя, но вы ничем не хотите поступиться. Во всяком случае, сударыня, если Габалис уедет, то лишь потому, что вы этого пожелали».

«Я! — вскричала Олимпия. — Ах, сударь, отошлите скорее его документы, и пусть он останется».

Существеннейшая часть договора была заключена на софе, и дама уже считала, что Габалис в ее руках, когда злодей, который сейчас перед вами, спросил, как будто вспомнив невзначай, кто эти две дамы, которые с ней пришли и которых она оставила в соседней комнате.

«Это мои подруги», — ответила Олимпия.

«И также подруги Габалиса, — прибавил Селим, — тут не может быть сомнений. Ввиду этого я думаю, что каждая из них не откажет уплатить следующую с нее треть за договор. Это мне кажется вполне справедливым, сударыня, и я предоставляю вам уговорить их».

«По правде говоря, сударь, это очень странно с вашей стороны. Могу вас уверить, что эти дамы не имеют никаких прав на Габалиса. Но чтобы вывести их и себя из затруднительного положения, я обещаю, если это вам по вкусу, оправдать вексель, который вы предъявляете им».

Селим принял предложение. Олимпия оправдала свое слово. Вот что, сударыня, Селим должен был рассказать вам.

— Я прощаю его, — сказала фаворитка — Олимпия не настолько была интересна, чтобы я стала обвинять его в том, что он ее забыл. Я не знаю, откуда выкапывается вы этих женщин. Поистине, государь, вы ведете себя, как человек, который сильно опасается проиграть дворец.

— Сударыня, мне казалось, что вы изменили ваше мнение за эти дни, — сказал Мангогул. — Разрешите мне напомнить вам, над кем я хотел произвести первый опыт. И вы увидите, что не от меня зависело проиграть раньше.

— Да,—отвечала султанша,—я знаю, что вы дали мне слово исключить меня из числа говорящих сокровищ, и что с того времени вы обращались только к женщинам, утратившим доброе имя,—к Аминте, Зобеиде, Фелисе, Зюлейке, чья репутация была почти установлена.

— Я согласен,—сказал Мангогул,—что смешно было рассчитывать на их сокровища, но, за неимением других, пришлось иметь дело с ними. Я уже говорил вам и сейчас повторяю, что хороший тон у сокровищ встречается реже, чем вы предполагаете; и если вы сами не захотите играть...

— Я,—с живостью перебила его Мирзоза,—отказываюсь от дворца, если для этого нужно решиться на что-нибудь подобное. Говорящее сокровище. Какая гадость. В этом есть что-то непристойное. Словом, государь, вы знаете мои взгляды на это, и я не на шутку повторяю свои угрозы.

— В таком случае, не жалуйтесь на мои опыты, или, по крайней мере, укажите мне, к кому, по вашему мнению, теперь нам прибегнуть, так как я не предвижу этому конца. Распутные сокровища да распутные сокровища—и так до бесконечности.

— У меня большое доверие к сокровищу Эгле,—сказала Мирзоза.—И я с нетерпением жду, когда истечет двухнедельный срок, который вы у меня просили.

— Сударыня,—ответил Мангогул,—он истек вчера; в то время как Селим забавлял вас рассказами о старом дворе, я узнал от сокровища Эгле, что, вследствие дурного настроения Селеби и ухаживания Альманзора, его хозяйка уже для него непригодна.

— Ах, государь, что вы говорите!—воскликнула фаворитка.

— Это факт,—подтвердил султан.—Я позабавлю вас этой историей в другой раз, но пока—поищите другой тетивы для вашего лука.

— Эгле, добродетельная Эгле, в конце концов, изменила себе!—с удивлением повторяла фаворитка.—Я никак не могу опомниться.

— Вы совсем растерялись, — сказал Мангогул, — и не знаете больше, куда вам метнуться.

— Дело не в том, — возразила фаворитка, — но признаюсь, я сильно рассчитывала на Эгле.

— Бросьте об этом думать, — промолвил султан, — скажите нам только, была ли она единственной безупречной женщиной из всех, каких вы знаете.

— Нет, государь, я знаю их сотни, — возразила Мирзоза, — и премилых. Я вам сейчас их назову. Я отвечаю за них, как за себя. Это... это...

Мирзоза внезапно остановилась, не выговорив ни одного имени. Селим не удержался от улыбки, а султан рассмеялся при виде смущения фаворитки, которая знала столько безупречных женщин и не могла припомнить ни одной. Задетая за живое, она обернулась к Селиму и сказала:

— Помогите же мне, Селим, вы знаток по этой части. Государь, — прибавила она, — обратитесь к... к кому бы это? Да помогите же мне, Селим.

— К Мирзозе, — подсказал Селим.

— Вы не оказываете мне достаточно уважения, — сказала фаворитка, — я не боюсь испытания, но чувствую к нему отвращение. Назовите скорее кого-нибудь другого, если хотите, чтобы я вас простила.

— Можно было бы посмотреть, — сказал Селим, — нашла ли Занда в действительности такого идеального любовника, о котором мечтала и с которым сравнивала всех своих ухаживателей?

— Занда? — переспросил Мангогул. — Сознаюсь, что из-за этой женщины я могу проиграть.

— Это, — прибавила фаворитка, — может быть, единственная, — репутацию которой пощадили и чопорная Арсиноя, и фат Жюнеки.

— Это очень много, — сказал Мангогул. — Но свидетельство моего кольца значит больше. Отправимся к ее сокровищу.

«Этот оракул правдивей Калхаса».

— Как! — воскликнула фаворитка со смехом, — оказывается, вы декламируете Расина, как актер.

Глава пятьдесят вторая

Двадцать девятая проба кольца. Зулейман и Заида

Мангогул, не отвечая на шутку Мирзозы, быстро вышел и направился к Заиде. Он нашел ее уединившейся в кабинете у маленького столика, на котором он увидел письма, портрет, несколько безделушек, полученных в дар от возлюбленного, о чем легко было догадаться по тому, как она ими дорожила. Она писала, слезы струились у нее из глаз и орошали бумагу. Она с жаром осыпала поцелуями портрет, перечитывала письма, писала несколько строк, опять бралась за портрет, хватала безделушки, о которых я упоминал, и прижимала их к сердцу.

Султан был несказанно удивлен. Он знал только двух нежно любящих женщин — фаворитку и Заиду. Он считал себя любимым Мирзозой. Но Заида не больше ли любила Зулеймана? И эти два любовника, может быть, единственные заслуживали этого имени в Конго.

Слезы, которые Заида проливала над письмом, не были слезами печали, — это были слезы любви. Ее переполняло в эту минуту восхитительное чувство уверенности, что сердце Зулеймана всецело принадлежит ей.

— Милый Зулейман, — говорила она, — как я люблю тебя! Как ты мне дорог! Как мне хорошо с тобой! В минуты, когда Заида лишена счастья видеть тебя, она пишет тебе о том, что она твоя: и в разлуке с Зулейманом ничто не занимает ее, кроме ее любви к нему.

Она предавалась этим нежным мечтам, когда Мангогул направил на нее кольцо. В ту же минуту он услышал, как сокровище ее вздыхает и лепечет первые слова монолога его хозяйки.

— Милый Зулейман, как я люблю тебя, как ты мне дорог! Как мне хорошо с тобой!

Сердце и сокровище Заиды были в таком единении, что речи их не могли быть несходны.

Заида сначала была изумлена, но она так была уверена, что ее сокровище не может сказать ничего неприят-

ного для Зулеймана, что ей захотелось, чтобы он был здесь.

Мангогул возобновил свой опыт, и сокровище Заиды повторило тихим и нежным голосом:

«Зулейман, милый Зулейман, как я тебя люблю, как ты дорог мне!»

— Зулейман — счастливейший из смертных в моей империи, — вскричал султан, — покинем эти места, где образ счастья, большего, чем мое, огорчает меня.

Он быстро вышел и явился к фаворитке с беспокойным и задумчивым видом.

— Что с вами, государь? — спросила она, — Вы ничего не говорите мне о Заиде.

— Заида, мадам, — отвечал Мангогул, — чудесная женщина. Она любит, как никто никогда не любил...

— Тем хуже для нее, — сказала Мирзоа.

— Что вы говорите! — воскликнул султан.

— Я говорю, — отвечала фаворитка, — что Кермадес — один из неприятнейших людей в Конго; что расчеты и авторитет родителей принудили ее к этому браку и что нет супружества более неравного, чем Кермадес и Заида...

— Э, мадам, — прервал ее слутан, — она любит вовсе не своего супруга.

— Кого же? — спросила Мирзоа.

— Зулеймана, — ответил Мангогул.

— Прощай фарфор и маленькая обезьянка, — сказала Мирзоа.

— Ах, — шептал Мангогул, — эта Заида меня поразила. Она меня преследует, я одержим ею. Мне необходимо ее повидать.

Мирзоа задала ему несколько вопросов, но он отвечал на них односложно, отказался от партии в пикет, которую она ему предложила, пожаловался на головную боль, которой у него не было, ушел к себе, лег спать без ужина, чего еще не случалось в его жизни, и не мог уснуть. Прелести и нежность Заиды, достоинства Зулеймана и его счастье мучили его целую ночь.

Легко догадаться, что на другой день он прежде всего поспешил к Заиде; он вышел из дворца, даже не справившись, как себя чувствует Мирзоа. Он позабыл об этом в первый раз. Заиду он застал в том же кабинете, как и накануне. С нею был и Зулейман. Он держал возлюбленную за руки и смотрел ей в глаза; Заида, сидя у него на коленях, кидала на него взгляды, полные страсти. Они замерли в этой позе; но через несколько мгновений, повинаясь силе желаний, бросились друг к другу в объятия и крепко обнялись. Глубокое молчание, царившее между ними до этого, нарушилось вздохами, звуками поцелуев и бессвязными словами, вырывающимися из их уст:

— Вы любите меня?..

— Обожаю...

— Будете любить меня всегда?..

— До последнего вдоха, Заида...

Опечаленный Мангогул откинулся на кресла и закрыл глаза рукой. Он боялся увидеть то, что обычно в этих случаях происходит, но чего здесь не произошло. После нескольких минут молчания Заида сказала:

— Дорогой мой, нежный мой возлюбленный, отчего вы не всегда были таким, как сейчас? Я любила бы вас не меньше, но мне было бы не в чем упрекать себя... Ты плачешь, милый Зулейман? Постой, дорогой мой, нежно любимый, постой, я осушу твои слезы. Ты опускаешь глаза, Зулейман: что с тобой? Посмотри же на меня. Дай мне утешить тебя, дорогой друг: прижми твои губы к моим; вдохни в меня твою душу; прими мою... Остановись. Ах, нет... нет...

Заида закончила речь громким вздохом и умолкла.

Африканский автор сообщает нам, что эта сцена поразила Мангогула; что у него явилось подозрение в несостоятельности Зулеймана и что он с своей стороны сделал некое предложение Заиде, которое она отвергла, не ставя себе этого в заслугу перед своим любовником.

Глава пятьдесят третья

Платоническая любовь

— Но неужели Заиде нет равных? Мирозоза не уступает ей в прелести, и у меня тысячи доказательств ее нежной привязанности; я хочу быть любимым, и я любим. И кто поручится, что Зулейма больше любим, чем я? Я был безумцем, завидуя его счастью. Нет никого на свете счастливее Мангогула.

Так начал убеждать себя султан. Автор не приводит полностью всех его доводов и лишь сообщает нам, что государь оказал им больше внимания, чем обычно словам своих министров, и перестал думать о Заиде.

В один из вечеров, когда он был особенно доволен фавориткой и собой, он предложил позвать Селима, чтобы побродить вместе с ним в рощах и садах сераля. Там были беседки из зелени, где можно было все говорить и многое делать. Направляясь туда, Мангогул завел разговор о причинах любви.

Мирозоза, поклонница высоких принципов, одержимая идеей добродетели, которая совершенно не подходила ни к ее положению, ни к лицу, ни к возрасту, утверждала, что часто любят лишь для того, чтобы любить, и что связи, основанные на сходстве характеров, поддерживаемые уважением и скрепленные доверием, отличаются продолжительностью и постоянством, без притязаний любовника на ласки возлюбленной и без желания их с ее стороны.

— Видите, мадам,— сказал султан,— как испортили вас романы. Вы начитались там о почтительных героях и о принцессах, добродетельных до глупости. И вы не подумали, что эти персонажи существовали только в голове авторов. Если вы спросите у Селима, который знает лучше всех катехизис Цигеры, что такое любовь, бысь об заклад, он ответит, что любовь не более, чем...

— Но готовы ли вы побиться об заклад,— перебила султанша,— что нежность чувств — химера, что без надежды на наслаждение в мире не может быть любви?

Поистине, для этого нужно быть очень плохого мнения о человеческом сердце.

— Какого я и придерживаюсь, — ответил Мангогул. — Наши добродетели не более бескорыстны, чем наши пороки. Храбрый гонится за славой, презирая опасность; трус любит покой и цепляется за жизнь, а любовник хочет наслаждаться.

Селим присоединился к мнению султана и прибавил, что если бы случились две вещи, любовь была бы изгнана из общества навсегда.

— Какие же это две вещи? — спросила фаворитка.

— Это вот что, — ответил Мангогул: — если бы вы, сударыня, и я, и все другие люди потеряли то, что Танзай и Неадарна нашли во сне...

— Как! — вскричала Мирзоза, — вы думаете, что без этих ничтожных вещей не было бы ни уважения, ни доверия между двумя лицами разного пола! Талантливая, умная, с обаятельной наружностью женщина не привлекала бы мужчин? И богато одаренный мужчина с интересным лицом, с превосходным характером не был бы благосклонно выслушан женщиной?

— Нет, мадам, — ответил Мангогул, — ибо что, по вашему, он мог бы сказать ей?

— Очень много прекрасных вещей, какие, мне кажется, всегда приятно слышать, — отвечала фаворитка.

— Заметьте, мадам, что эти вещи говорятся каждый день без всякой любви. Нет и нет, сударыня. У меня есть веские доказательства, что без тела, снабженного надлежащими органами, нет любви. Аженор, красивейший дюпоша в Конго, самый изящный ум в придворной среде, мог бы, если бы я был женщиной, сколько угодно выставлять передо мной свою красивую ногу, глядеть на меня своими большими синими глазами, осыпать меня самыми изысканными любезностями, — я бы, оценив все это по достоинству, сказал ему только одно слово, и если бы он не ответил на него со всюю точностью, я бы сохранил к нему уважение, но без капли любви.

— Это несомненно так, — прибавил султан. — И спра-

ведливость, и нужность этого таинственного слова вы признаете сами, когда любите. Вам следовало бы для вашей пользы познакомиться с беседой одного из просвещенных людей Банзы — со школьным учителем. Вы поняли бы тогда, почему остроумец, поддерживавший ваш тезис, согласился одновременно, что он неправ и что противник его рассуждает, как сокровище. Но Селим расскажет вам все это. Я слышал от него эту историю.

Фаворитка подумала, что история, о которой умолчал Мангогул, должна быть очень непристойной; она вошла в одну из беседок, не задав никаких вопросов. Это было к счастью для Селима; потому что со всем его умом, он плохо удовлетворил бы любопытство фаворитки или задел бы ее стыдливость. Но чтобы переменить тему и отсрочить историю школьного учителя, он рассказал ей следующее.

— Сударыня, — начал придворный, — в обширной стране близ истоков Нила проживал юноша, прекрасный, как любовь. Ему не исполнилось еще восемнадцати лет, когда все девушки перессорились из-за его сердца, и не было женщины, которая не взяла бы его в любовники. Обладая от природы нежным сердцем, он полюбил, едва стал в состоянии любить.

Однажды на богослужении, посвященном Великому идолу, он должен был совершить семнадцать установленных коленопреклонений; в это время проходила мимо него красавица, в которую он был влюблен, и бросила на него такой взгляд, сопровождаемый улыбкой, что он сразу впал в рассеянность, потерял равновесие, ткнулся носом в землю, привел в смущение всех присутствующих, забыл число поклонов и сделал только шестнадцать.

Великий идол, оскорбленный и возмущенный скандалом, жестоко покарал его. Гилас, — так его звали, — бедный Гилас почувствовал, что его охватило жгучее желание и что он окончательно лишен возможности его удовлетворять. Удивленный и огорченный такой бедой, он воприсил идола.

«Ты вновь найдешь себя, — сказал ему голос, сопро-

вождаемый чиханьем, — лишь в объятиях женщины, которая, зная о твоём несчастье, не разлюбит тебя».

Самопадеянность нередко является спутницей молодости и красоты. Гилас вообразил, что его ум и очарование его наружности скоро привлекут к нему чье-нибудь чувствительное сердце, которое, довольствуясь тем, что осталось у юноши, будет любить его и не замедлит вернуть ему утраченное им благо. Прежде всего он обратился к той, которая была невольной причиной его беды. Это была молодая особа, живая, страстная и кокетливая. Гилас обожал ее. Он добился свидания, где его ласкали и ласкали, и доласкали до предела, которого он не мог перешагнуть; он долго мучился в объятиях возлюбленной и ждал исполнения, обещанного оракулом; — все было напрасно. Когда ей наскучило ждать, она быстро оправила платье и покинула его. Самое худшее в этом приключении было то, что маленькая сумасбродка рассказала о нем одной из своих подруг, которая по секрету передала это трем-четырем другим подругам; они же поделились секретом с таким количеством подруг, что Гиласа, за два дня до этого любимого всеми женщинами, все стали презирать, считать чудовищем и показывать на него пальцем.

Несчастный Гилас, обесславленный на родине, отправился путешествовать, чтобы отыскать лекарство от своей болезни. Без спутников, инкогнито, он появился при дворе абиссинского императора. Началось с того, что многие женщины влюбились в молодого иностранца, — чуть не передрались из-за него. Но осторожный Гилас избегал таких встреч, где он боялся не найти того, что ему было нужно, и знал, что женщины не найдут того, что им нужно. Но подивитесь женской проницательности. «Такой молодой, такой умный и красивый и так ведет себя, — говорили о нем. — Не странно ли это?» Чуть было не усмотрели среди стольких его прекрасных качеств его недостатка и, боясь подарить ему все, что нормальный мужчина может пожелать, ему отказывали в единственной вещи, которой ему недоставало.

После первого ознакомления со страной Гилас при-

вязался к одной молодой женщине, которая, неизвестно по какому капризу, перешла от легкомысленной жизни к крайнему ханжеству. Он мало-помалу вкрался в ее доверие, усвоил ее взгляды, подражал ее поступкам, подавал ей руку в храме и так часто беседовал о суетности мирских удовольствий, что незаметно пробудил в ней вкус к ним вместе с воспоминанием о них. Больше месяца он ходил по мечетям, присутствовал на проповедях, навещал больных, когда, наконец, он решился приступить к излечению себя, но здесь его ждала неудача. Благочестивая возлюбленная его, хотя и знала все, что делается на небе, была не менее хорошо осведомлена о том, как иные вещи происходят на земле. И бедный юноша в одну минуту лишился плодов своих добрых дел. Единственно, что его утешало, это ненарушимость тайны, которая была соблюдена. Одно словечко сделало бы неизлечимой его болезнь, — но оно не было произнесено. Гилас завязал дружбу еще с несколькими благочестивыми женщинами, к которым он прибегал за исцелением, предписанным оракулом; они не сняли с него чар, потому что любили его именно за то, чего у него недоставало. Привычка все одухотворять ни к чему не послужила им. Они искали чувства, но именно того, которое порождается наслаждением.

«Так вы меня не любите?» — грустно спрашивал их Гилас. — «Но разве вы не знаете, сударь, — отвечали ему, — что нужно сначала знать то, что хочешь любить? И вы должны сознаться, что, вследствие вашей обездоленности, вы недостаточно любезны в тот момент, когда вас хотят узнать».

«Увы, — говорил он, удаляясь, — нигде нет этой чистой любви, о которой столько говорят. Эта тошкоть чувств, которою хвалятся столько женщин и мужчин, не более, чем химера. Оракул обманул меня, и я останусь таким на всю жизнь».

Попутно он встречался с женщинами, которые ищут только сердечных связей и ненавидят дерзкого мужчину как жабу. Они ему так настоятельно советовали не вносить ничего земного и грубого в свое отношение к ним,

что он стал надеяться на исцеление с их помощью. С открытым сердцем он подошел к ним; и был очень удивлен тем, что после чувствительных бесед, какие они с ним завязывали, он оставался неизцеленным.

«Нужно,— сказал он себе,— попробовать другой способ, кроме слов».

Он стал поджидать случая, удобного для выполнения предписаний оракула. Случай представился. Молодая последовательница платонизма, до безумия любившая прогулки, увлекла его в глубину леса. Они были далеко от посторонних глаз, когда ей сделалось дурно. Гилас бросился к ней и прибегнул к всевозможным средствам, чтобы привести ее в чувство. Но все усилия его оказались напрасными. Находившаяся в обмороке красавица заметила это не хуже его.

«Ах, сударь,— сказала она,— освобождаясь из его объятий,— какой же вы мужчина! Никогда мне больше не придет в голову забираться в такие уединенные места, где, почувствовав себя дурно, сто раз рискуешь погибнуть без помощи».

Подруги, узнав об этом, пожалели ее и поклялись, что нежные чувства, которые они к нему питали, также не были утолены, после чего они перестали с ним видеться.

Так бедный Гилас вызвал неудовольствие у стольких женщин, несмотря на прекрасное лицо и самые утонченные чувства.

— Какой же он простофиля,— сказал султан.— Почему не обратился он к весталкам, которыми полны наши монастыри? Они влюбились бы в него до безумия, и он был бы наверняка исцелен через решетку.

— Государь,— отвечал Селим,— история гласит, что он избирал и этот путь и убедился, что нигде не хотят любить впустую.

— В таком случае,— сказал султан,— я отчаиваюсь в его выздоровлении.

— Он, как и ваше высочество, отчаивался в нем,— продолжал Селим.— Устав от попыток, которые ни к чему не привели, он ушел в уединение, подавленный приговором

бесконечного количества женщин, которые слишком ясно дали ему понять, что он бесполезен в обществе.

Уже несколько дней бродил он в уединении, когда до него донесли из отдаленного места чьи-то вздохи. Он прислушался. Вздохи снова раздались; приблизившись, он увидел молодую девушку, прекрасную, как светила небесные. Она сидела в грустной и задумчивой позе, опустив голову на руки, с лицом, орошенным слезами.

«Что вы здесь делаете, мадемуазель? — спросил он ее. — Для вас ли созданы эти пустынные места?»

«Да, — отвечала она печально, — здесь, по крайней мере, можно всецело предаваться своей горести».

«Что же так огорчает вас?»

«Увы!»

«Откройтесь, мадемуазель, что с вами?»

«Ничего».

«Как, ничего?»

«Ровно ничего. И в этом причина моей горести. Два года тому назад я имела несчастье оскорбить Пагоду, и она отняла у меня все. Вещь была так невелика, что для этого не требовалось больше могущества. С этого дня все мужчины бегут и будут бежать от меня, — так сказал идол, — до тех пор, пока я встречу кого-нибудь, кто, зная о моем несчастье, привяжется ко мне и полюбит меня такую, как я есть».

«Что я слышу! — вскричал Гилас. — Этот несчастливый, который сейчас перед вами на коленях, также не имеет ничего. И в этом его болезнь. Он имел несчастье несколько времени тому назад оскорбить Пагоду, которая отняла у него то, чем он обладал. Не тщеславясь можно сказать, что это было нечто значительное. С тех пор все женщины бегут от него и будут убегать, — так говорит Пагода, — пока не встретится хоть одна, которая, зная о его несчастье, привяжется к нему и будет любить его таким, как он есть».

«Возможно ли это?» — спросила молодая девушка.

«Верно ли то, что вы мне сказали?» — спросил Гилас.

«Смотрите», — сказала девушка.

«Смотрите», — сказал Гилас.

Оба удостоверились, что на них обрушился небесный гнев. Общее горе соединило их. Ифис, так звали молодую девушку, была создана для Гиласа, Гилас — для нее. Они, как легко себе вообразить, полюбили друг друга платонически, потому что не могли любить иначе; но тут же кончилась власть чар, они вскрикнули от радости, и платоническая любовь исчезла.

За те месяцы, в какие они наслаждались своей близостью в уединении, они имели достаточно времени убедиться в происшедшей с ними перемене. Когда они покинули пустыню, Ифис была основательно излечена. Про Гиласа же автор говорит, что ему грозил возврат болезни.

Глава пятьдесят четвертая

Тридцатая и последняя проба кольца. Мирзоа

В то время как Мантогул беседовал в садах с фавориткой и Селимом, ему принесли известие о смерти Суламека. Сулабек начал с того, что сделался учителем танцев у султана против желания Эрgebзеда; несколько интриганок, которых он научил делать рискованные прыжки, проталкивали его изо всех сил и добились того, что он был предпочтен Марселю и другим, которым не годился и в подручные. Он обладал мелочным умом, придворным жаргоном и даром занимательно рассказывать и забавлять детей, но он ничего не понимал в высоком искусстве танца. Когда освободилась должность великого визиря, он сумел, с помощью реверансов, опередить старшего сенешала, неутомимого танцора, но человека недостаточно гибкого и не умевшего грациозно приседать. Правление его не было ознаменовано никакими славными событиями. Его враги (а у кого же их нет? Их достаточно у самых достойных людей) обвиняли его в том, что он плохо играет на скрипке и ничего не понимает в хореографии; что он позволил дурачить себя пантомимами пресвитера Иоанна и пугать себя медведем из Моноэмуги, который однажды плясал перед ним; что он издержал миллионы на

императора Томбута, чтобы помешать ему танцевать в то время, как у него самого была подагра; что он просаживал ежегодно больше пятисот тысяч цехинов на кашифоль и еще больше на преследование скрипачей, которые играли менуэты других композиторов, а не его. Словом, его обвиняли в том, что он продремал пятнадцать лет под звуки бандуры толстого гвинейца, который аккомпанировал себе, напевая песенки, сложенные в Конго. Надо отдать ему справедливость, что он ввел в моду голландские липы и т. д. У Мангогула было прекрасное сердце. Он сожалел о Суламеке и заказал ему катафалк и надгробную речь, поручив ее проповеднику Брррубубу.

В день, назначенный для церемонии, главы браминов, весь диван и султанши, сопровождаемые евнухами, собрались в большую мечеть. Брррубубу доказывал два часа подряд неподражаемой скороговоркой, что Суламок возвысился благодаря своим исключительным талантам. Он громоздил предисловие на предисловие; не забыл ни Мангогула, ни подвигов, совершенных им во время управления Суламека, и рассыпался в восторженных восклицаниях, когда Мирзоза, которую ложь приводила в истерическое состояние, впала в летаргию. Офицеры и придворные дамы бросились к ней на помощь, положили ее в паланкин и тотчас же отнесли в сераль. Прибежал Мангогул, которого уведомили о несчастии, и была пущена в дело вся аптека: были испробованы гарус, капли генерала Ламотта, английские капли, но без всякого успеха. Пораженный горем, султан то плакал над Мирзозой, то проклинал Оркотому и потерял надежду на все средства, кроме перстня.

— Если я вас потерял, услада моей души, — воскликнул он, — ваше сокровище так же, как ваши уста, должно хранить вечное молчание.

Он немедленно приказал всем выйти. Ему повиновались, и он остался наедине с фавориткой. Он направил на нее перстень, но сокровище Мирзозы, соскучившееся на проповеди, как это постоянно случается с другими, и, повидимому, также впавшее в летаргию, пробормотало лишь

несколько невинных слов. Султан снова направил перстень, и сокровище явственно произнесло:

— Что было бы со мной в разлуке с вами, Мангогул? Верное вам до гроба, я не переставало бы вас искать, и, если любовь и постоянство награждаются за гробом, я бы нашло вас, дорогой государь! Увы! Без вас дивные чертоги Браммы, которые он обещал верующим в него, были бы для меня в тягость.

Мангогул, вне себя от радости, не заметил, что фаворитка приходит в сознание и что, если он не повернет во-время перстень, она может услышать последние слова своего сокровища. Так и случилось.

— Ах, государь,— сказала она,— где ваши клятвы? Поняли ли вы, наконец, несправедливость ваших сомнений? И ничто не удержало вас: ни состояние, в каком я была, ни оскорбление, какое вы мне этим нанесли, ни слово, данное вами.

— О сударыня,— отвечал султан,— не приписывайте постыдному любопытству поступок, который внушен только отчаянием от мысли, что я потерял вас. Я вовсе не испытывал вашей верности при помощи кольца. Я считал возможным, не изменяя своим обещаниям, прибегнуть к этому средству, которое вернуло вас моей любви и отдало вам мое сердце навсегда.

— Я верю вам, государь,— сказала фаворитка,— но пусть этот перстень будет возвращен гению, и пусть его роковой дар не тревожит больше ни ваше сердце, ни ваше государство.

Мангогул тотчас же стал на молитву, и перед ним появился Кукуфа.

— Всемогущий гений,— сказал султан,— возьмите обратно свое кольцо и будьте и впредь ко мне благосклонны.

— Государь,— отвечал гений,— да протекут ваши дни между любовью и славой. Первую подарит вам Мирзоа, а вторую обещаю вам я.

С этими словами страшилище надвинуло на голову капюшон, схватило за хвосты сов и умчалось прочь, как и примчалось, выделявая в воздухе пирюэты.

БЕЛАЯ ПТИЦА

Нобылица в лицах

Первый вечер

Фаворитка ложилась рано и засыпала очень поздно. Чтобы ускорить наступление сна, ей щекотали пятки и рассказывали сказки; щадя воображение и легкие рассказчиков, их обязанность распределили между четырьмя лицами — двумя эмирами и двумя одалисками. Эти четыре импровизатора, по приказанию фаворитки, продолжали один за другим тот же самый рассказ. И вот, когда голова ее поконлась на подушечке, тело возлежало на постели, а ступни были вверены щекотальщице, она сказала: «Начинайте», и первая одалиска приступила к повествованию.

Первая одалиска

«Ах, сестра, какая прекрасная птица! Как! разве ты не видишь ее между двумя ветвями той пальмы? Она просунула клюв между перьями и чистит крылья и хвост. Подойдем потихоньку; может быть, она прилетит на зов; похоже, что она — ручная». — «Птичка, сердце мое, птичка, царевич мой, лети сюда, не бойся ничего; ты так прекрасна, что тебя не обидят, лети сюда, тебя ждет прелестная клетка, а если ты предпочитаешь свободу, то будешь свободна».

Птица была слишком галантна, чтобы не откликнуться на заигрывания двух молодых и красивых особ. Она взле-

тела и легко опустилась на грудь той, которая ее помянула. Агариста — так звали эту девушку — сказала подруге, проводя рукой по головке птицы и глядя ее крылья: «Ах, сестра, как она очаровательна! Какое нежное оперенье! Как оно гладко и как лоснится! Клюв и лапы у нее розовые, а глаза дивного черного цвета!»

Султанша

Кто же были эти женщины?

Первая одалиска

Две девы — из тех, которых китайцы запирают в монастырях.

Султанша

А я не думала, что в Китае есть монастыри.

Первая одалиска

Я тоже. — Эти девы подвергались большой опасности, теряя невинность без разрешения. Если случалось, что какая-нибудь вела себя неосмотрительно, ее ввергали на всю жизнь в темную пещеру, где она становилась жертвой подземных духов. Единственным средством избавиться от этой казни было притвориться безумной или действительно сойти с ума. Тогда китайцы, относящиеся, подобно нам и мусульманам, с безграничным почтением к сумасшедшим, выставляли этих дев на ложе под балдахин, и народ с благоговением взирал на них, а в большие праздники их проносили по улицам под звон колокольчиков и неких распространенных там тамбуринов, звук которых, говорят, очень гармоничен.

Султанша

Очень хорошо, сударыня. Мне хочется зевнуть. Продолжайте.

Вторая одалиска

Итак, белая птица попала в храм большой обезьяны огненного цвета.

Султанша

А что это за обезьяна?

Вторая одалиска

Старый, весьма чтимый идол, покровитель монастыря.— Девы, подруги Агаристы, увидя ее издали с прекрасной птицей в руке, сбегаются, окружают ее и насыпают вопросами. Тем временем птица, внезапно поднявшись в воздух, начинает парить над ними; тень ее покрывает их, и они ощущают странный трепет. Агариста и Мелисса первые испытывают чудесное действие ее влияния. Божественный огонь, священный жар воспламеняет их сердца: какое-то просветление мгновенно озаряет ум, вызывает в нем брожение и превращает их из двух идиоток, какими они были, в остроумнейших и смысленейших девушек Китая: они комбинируют свои идеи, сопоставляют их, сообщают друг другу и незаметно вносят в них силу и точность.

Султанша

Стали ли они от этого счастливее?

Вторая одалиска

Не знаю.— Однажды утром белая птица запела, но так мелодично, что все девы упали в экстазе. Настоятельница, до сих пор не поддававшаяся искушению и презиравшая птицу, закатила глаза, повалилась на подушки и вскричала прерывающимся голосом: «Ах, не могу больше!.. Я умираю!.. Я не могу больше!.. Прелестная птица, божественная птица, еще одну песенку!»

Султанша

Мне ясно представляется эта сцена, и я думаю, что белую птицу разбирало желание рассмеяться при виде сотни девушек, лежащих вповалку, в полном смятении, в растрепанной одежде, с блуждающими глазами, и бормотавших, тяжело переводя дух, замирающим голосом

страстные молитвы большой обезьяне огненного цвета. Мне очень хотелось бы знать, что было дальше.

Вторая одалиска

Что было дальше? Чудо, одно из изумительнейших чудес, какие только упоминаются в летописях мира.

Султанша

Первый эмир, продолжайте.

Первый эмир

От этого родилось множество маленьких духов, и, тем не менее, девственность этих жриц не пострадала.

Султанша

Послушайте, эмир, вы надо мной смеетесь. Я очень рада слушать сказки, но вовсе не хочу, чтобы мне рассказывали такую чепуху.

Первый эмир

Примите во внимание, сударыня, что это были духи.

Султанша

Вы правы; я не сообразила. Да, да, духи!
(Султанша произнесла эти последние слова, зевая.)

Первый эмир

Настоятельница доложили о чуде. Собрали жрецов; много толковали о рождении маленьких духов; после долгих пререканий относительно решения, которое следовало принять, постановили спросить большую обезьяну. Тотчас же тамбурины и колокольчики возвещают народу о церемонии. Отворяют двери храма, зажигают благовония, приносят жертвы; но причина жертвоприношения неизвестна. Трудно было бы убедить верующих, что птица — отец маленьких духов.

Султанша

Я вижу, эмир, что вы еще не знаете, как велика
глухость народов.

Первый эмир

Полтора часа прошло в воскуренных фимнама, коле-
нопреклоненных и прочих кривляниях; наконец, большая
обезьяна почесала за ухом и принялась изрекать, в сущ-
ности, дрянную прозу, приятную, однако, за небесную
поэзию:

«Чтоб сохранились девства ароматы,
Что в храме сем витали испокон,
Пусть прочь летит пернатый селадон
В другую клетку, вдаль и без возврата.
Вы, девушки, сердца свои закуйте в латы,
Пребудьте девами иль около того.
Пусть ушки ваши впредь, презрев его кантаты,
Останутся навек зажатые:
Так повелело божество.
И ты, что первая им до небес подъята,
Умерь свою тоску и горько не тужи,
Что белого певца судьбина изгоняет.
Ты создала ему блаженство здесь в тиши.
Но, Агариста, пусть, оставив царство лжи,
Он ищет истину и пусть скорей... линяет».

Султанша

Сударыня, сегодня вечером ваше прикосновение слиш-
ком резко, и вы щекочете меня чересчур сильно. Тише,
тише... Очень хорошо, вот так... ах, какое вы мне до-
ставляете наслаждение! Завтра без промедления будет
подписана грамота на пенсию, которую я вам обещала.

Первый эмир

Смысл слов этого оракула оставался темен, поэтому
возникло множество догадок, одна несуразнее другой,
что составляет привилегию оракулов. «Пора пернатому
селадону искать Истину, — сказала одна, — это, очевидно;

ния какой-нибудь чужеземной голубки, — его суженой». — «Пусть он освободится от лжи, — сказала другая, — и пусть линяет. Пусть линяет! Сестра, значит он потеряет перья? Однако это очень жаль, — у него такие красивые перышки!» А другие продолжали: «Сестра Агариста заставляла его столько петь! Столько петь!»

После того, как кончили затемнять изречения оракула, стараясь их разъяснить, жрица предусмотрительно приказала запереть распутную птицу, из страха, как бы она не завершила того, что так удачно начала, и не умножила свою породу до бесконечности. Молодые затворницы возроптали, но старухи держались твердо, и птица была водворена в глубине дортуара, где проводила дни в смертельной скуке. Ночью какая-нибудь сострадательная дева приходила на цыпочках утешить птицу в ее изгнании. Однако вскоре ночи показались птице такими же длинными, как и дни. Все одни и те же лица! Все одни и те же девы!

Султанша

Ваша белая птица слишком привередлива. Что же ей надо было?

Первый эмир

Несмотря на весь тот ум, который она внушила этим затворницам, они были прескучные недотроги — и только: ни светских манер, ни кокетства, ни напускной живости, ни деланного легкомыслия. Вместо этого, вздохи, томность, вялость и благочестие, наводящее тоску. Пораскинув умом, белая птица пришла к заключению, что ей пора следовать своему предназначению и улететь, что она, еще немного поразмыслив, и исполнила. Говорят, ее несколько беспокоила совесть из-за клятв, которые она надавала Агаристе и некоторым другим. Не знаю, так ли это.

Султанша

И я не знаю. Но достоверно то, что угрызения совести бессильны против отвращения и что если неверным

ничего не стоит давать клятвы, то еще меньше стоит нарушать их.

Вслед за этим рассуждением султанша весьма явственно зевнула в третий раз; это означало сон или скуку и приказание удалиться, что и было исполнено как можно тише.

Второй вечер

Султанша сказала щекотальщице: «Не меняйте этого движения, это как раз то, что надо. Сударыня, вот грамота на пенсию; султан удвоит ее, с условием, что от меня вы пойдете к нему оказать ту же услугу; я ничего против этого не имею, ровно ничего. Вам виднее, устраивает ли вас это... Второй эмир, ваш черед. Насколько я помню, ваша белая птица несется по воздуху и спешит так потому, что надеется избавиться от угрызений совести, если улетит подальше от их источника. Было поздно, когда она пустилась в путь. Куда она прилетела?»

Второй эмир

К индийскому императору, который вышел подышать свежим воздухом в свои сады и прогуливался вечером в сопровождении жен и евнухов. Птица опустила на тюрбан монарха, что было принято за хорошее предзнаменование, и не напрасно; ибо, хотя этот султан не имел никакого зятя, он не замедлил сделаться дедушкой. Дочь великого Кинкинки, Ливели, — имя это означает в переводе на наш язык «Миловидность» или «Живость», — воскликнула, что никогда не видала ничего прекраснее. А птица подумала про себя: «Какой цвет лица! Какие глаза! Какой воздушный стан! Прелести, которые предлагали мне жрицы обезьяны огненного цвета, ничто по сравнению с этими».

Султанша

Все они одинаковы. Для Мангогула я буду красивейшей из женщин, пока он меня не бросит.

Второй эмир

Мир не видал еще таких тоненьких и крохотных ножек.

Щекотальщица

Ваша птица согласится сделать исключение для тех, которые я щекочу.

Второй эмир

Ливели носила короткие юбки, и белая птица могла без труда разглядеть прелести, которые воспевала, при-мостившись на тюрбане.

Султанша

Держу пари, что едва кончила она этот монолог, как оставила место, откуда делала свои здравые наблюдения, и пересела на грудь принцессы.

Второй эмир

Вы не ошибаетесь, султанша.

Султанша

Неужели вы не можете избежать этих общих мест?

Второй эмир

Нет, султанша; это самое верное средство усыпить вас.

Султанша

Вы правы.

Второй эмир

Фамльярность птицы не понравилась черному евнуху, который вздумал сказать, что следовало бы перерезать ей горло и приготовить ее принцессе на обед.

Султанша

Из нее вышло бы плохое блюдо: она так истомилась у дев и в дороге, что, наверно, стала тощей.

Второй эмир

Ливели сняла туфлю и так шлепнула евнуха по лицу, что приплюснула ему нос.

Султанша

Так вот происхождение приплюснутых носов; они происходят от туфли Ливели и от ее глупого евнуха.

Второй эмир

Ливели приказала принести корзинку, посадила туда птицу и отослала ее спать. Та очень нуждалась в этом, ибо умирала от усталости и любви. Она заснула, но тревожным сном: ей снилось, что ей сворачивают шею, что ее ощипывают, и она испустила крики, разбудившие Ливели, так как корзинка была помещена на ночном столике принцессы, а у той был чуткий сон. Ливели позволила; явились рабыни; птицу извлекли из ее спальни. По трепыханью крыльев принцесса решила, что птица перепугалась. Она взяла ее к себе на грудь, поцеловала и сочла своим долгом ободрить, нежно лаская и давая самые красивые клички. Птица оставалась на груди принцессы, несмотря на обуревавшее ее желание.

Султанша

У нее были уже повадки истинных любовников.

Второй эмир

Белая птица была робка и застенчива от природы: она удовольствовалась тем, что распустила крылья, покрыла ими и сжала очень красивую грудь.

Султанша

Как! Неужели она не отважилась приблизить свой клюв к губам Ливели?

Второй эмир

Эта дерзость ей удалась. «Вот как! — воскликнула принцесса, — она предприимчива!»... Между тем птица,

пользуясь привилегией своей породы, с большим жаром клевала принцессу к великому удивлению прислужниц, которые покатывались со смеха. Это подобие сладострастия вызвало вздохи Ливели: наследный принц Японской империи был ее нареченным; Кинкинка уже сказал ей об этом; со дня на день ожидали послов, которые должны были сделать предложение, но они не прибывали. Наконец, было получено известие, что принц Женнстан — имя это означает на туземном языке «ум» — исчез, неизвестно как и почему; и опечаленной Ливели оставалось только проливать слезы и желать, чтобы он нашелся.

В то время как она, за неимением лучшего, утешалась белой птицей, японский император, потерявший голову после исчезновения сына, велел вырвать усы его гувернеру и приказал произвести розыски; но Женнстану суждено было долго не появляться в Японии. Если он хорошо проводил свои дни там, где нашел убежище, то и белая птица также не теряла времени подле принцессы; она ежедневно получала новые ласки; с нетерпением ожидали, когда она запоет, ибо составили самое высокое мнение об ее щебетании; птица заметила это, и принцесса была удовлетворена. При первых трелях птицы...

С у л т а н ш а

Остановитесь, эмпр... — Ливели упала навзничь на грудь подушек, позволяя птице созерцать свои прелести; от такого зрелища у той закружилась голова. Она пришла в себя только для того, чтобы спеть вторично и усугубить обморочное состояние принцессы, которое продолжалось бы и дольше, если бы птице не пришло в голову помахать ей в лицо крыльями. После пения Ливели чувствовала себя так хорошо, что первой ее мыслью было просить птицу петь почаще; она достигла этого без труда; птица повиновалась ей даже слишком усердно; она столько пела для нее, что охрипла; вот отчего у голубей такой хриплый, как бы простуженный голос. —

Не так ли, эмир?.. Теперь ваш черед, сударыня, продолжайте.

Первая одалиска

Это было несчастьем для птицы, ибо, когда имеешь голос, досадно его лишиться; но ей грозило еще большее несчастье: проснувшись однажды утром, принцесса нашла рядом с собой маленького духа; она позвала прислужниц и стала расспрашивать о новорожденном: «Кто это? Откуда он взялся? Кто его положил туда?» Все заявили, что ничего не знают. Тем временем прибыл Кинкинка; увидя его, рабыни принцессы исчезли, а император, оставшись с дочерью наедине, спросил Ливели голосом, заставившим ее затрепетать, какой смертный осмелился проникнуть к ней и, не дожидаясь ответа, подбежал к окну, отворил его и, схватив маленького духа за крыло, собирался швырнуть его в канал, омывавший стены дворца, как вдруг в апартаменты ворвался вихрь света, ослепил глаза монарха, и маленький дух исчез. Кинкинка, оправившись от изумления, но по-прежнему разъяренный, бегал по дворцу, крича, как безумный, что он найдет виновного и не позволит безнаказанно бесчестить свою дочь, чорт возьми! Найдет виновного! Белая птица знала лучше кого бы то ни было, был ли император прав в своем гневе, но не осмелилась говорить из страха навлечь какую-нибудь неприятность на принцессу. Она ограничилась тем, что страшно перепугалась, отчего выпали длинные перья из ее крыльев и хвоста; и это придало ей взъерошенный вид.

Султанша

И Ливели перестала заботиться о птице, как только та перестала быть красивой; и так как она потеряла на службе у принцессы отчасти и свой голос, то Ливели сказала однажды за туалетом: «Пусть уберут эту птицу; она сделалась безобразной, на нее противно смотреть, и поет она фальшиво; она не годна больше ни на что...» Ваш черед, вторая одалиска, продолжайте.

Вторая одалиска

Этот приказ вмиг облетел дворец; евнух подумал, что пришла пора воспользоваться злосчастием птицы и отомстить ей за злосчастие своего носа; он доказал принцессе по всем правилам новейшей кулинарии, что из белой птицы вышло бы восхитительное блюдо; Ливели слегка поломалась формы ради, а затем согласилась отправить птицу на кухню. Белая птица, вне себя от гнева, — что легко поймет каждый, кто потрудится поставить себя на ее место, — бросилась принцессе прямо в лицо, долбанула ее несколько раз клювом по голове, опрокинула флаконы, перебила банки и была такова.

Султанша

Ливели и ее повар были в неопикуемой досаде. «Какова наглость!» — говорила она. «Это было бы дивное блюдо!» — говорил он.

Вторая одалиска

В то время как повар засовывал обратно отточенный понапрасну нож, а одалиски усиленно натирали принцессе голову водой от самого Брами, — птица достигла полей, мало удовлетворенная своим мщением, утешаясь только надеждой поправиться когда-нибудь Ливели в своем натуральном виде и отвергнуть ее любовь, оплатив ей таким образом за неблагодарность. Вот как рассуждала она своим птичьим умом: «Я умен и буду писанным красавцем, когда перестану быть птицей. Держу пари, сто против одного, что она безумно влюбится в меня; этого только мне и надо; тогда наступит мой черед. Неблагодарная! Вероломная! Я так трепетал из-за нее, что потерял перья; я пел для нее, пока не лишился голоса, и вот, по ее приказанию, повар должен был заграбастать меня, свернуть мне шею, и я был бы теперь на кухне! Какова награда! И я еще находил ее прелестной? Нет, нет, после такого коварства все ее чары меркнут в моих глазах. Как она безобразна! Как я ее ненавижу!»

Тут султанша рассмеялась, зевнув в первый раз.

Вторая одалиска

Из этого монолога видно, что хотя белая птица была влюблена в принцессу, но не имела ни малейшего желания попасть из-за нее на кухню и пожертвовала бы для своей возлюбленной всем, кроме жизни.

Султанша

И имела искренность сознаться в этом. — Ваш черед, первый эмир.

Первый эмир

Белая птица летела безостановочно. Она намеревалась достичь страны феев Истины. Но кто покажет ей дорогу? Кто будет ее вожатым? Туда ведет бесконечное множество дорог, но со всех них очень легко сбиться, и даже неоднократно делавшие это путешествие не знают, как следует, ни одной. Ей пришлось поэтому ждать, пока счастливый случай укажет ей путь, и она не была бы в этом более неудачлива, чем остальные путешественники, если бы ее разочарование не зависело от встречи с феей — трудно достижимой встречи, которой бывают обязаны, обыкновенно, не столько глубоким размышлениям, сколько инстинкту особого рода, которым наделены немногие существа.

Султанша

Скажите лучше, что это был принц. Не так ли?

Первый эмир

Нет, сударыня, мы еще не знаем, кто это был и кем он будет; пока это только птица. Птица следует своему инстинкту. — Мрак несколько не испугал ее; она летела всю ночь; забрезжил рассвет, когда она очутилась на хижине пастуха, который гнал стадо в поле, наигрывая на свирели простые сельские напевы; он прерывал игру только для того, чтобы сказать несколько нежных и наивных слов молодой крестьянке, которая сопровождала его,

прядя лен; природа и страсть проявлялись в этих словах без всяких прикрас:

- Зирфея, ты поздно встала.
- Да, я заснула очень поздно.
- Почему же ты заснула так поздно?
- Потому что я думала об отце, о матери и о тебе.
- Разве ты боишься, что твои родители будут против?
- Почему я знаю?
- Хочешь, я поговорю с ними?
- Хочу ли я! Неужели ты в этом сомневаешься?
- А если они мне откажут?
- Тогда я умру с горя.

Султанша

Птица находится недалеко от страны Истины. С истинной соприкасаются везде, где испорченность не исказила еще сердечных чувств вычурной речью.

Первый эмир

Едва ошеломленный пастух увидел белую птицу, как задумал подарить ее пастушке; птица великолепно поняла это, видя, что пастух крадется, чтобы поймать ее.

Султанша

Смотрите только, чтобы ваша распутная птица не сделала маленького духа этой невинной юной пастушке, слышите?

Первый эмир

Вообразив, что она может узнать от этих людей новости об Истине, птица позволила поймать себя, и хорошо сделала. С первых же дней своей жизни с ними, она услышала имя Истины; оно всегда было у них на устах; это было их божество, и они больше всего боялись оскорбить Истину; но так как в культе, которым они ее окружали, было гораздо больше чувства, чем разума, то птица поняла прежде всего, что лучшие друзья феи знают не больше других ее местопребывание и что

с пастухом и пастушкой можно беседовать сколько угодно, но от них не узнаешь, как найти Истину. Птица улетела от пастухов, очарованная невинностью их жизни, простотою нравов, наивностью речей; она пришла к заключению, что всеми этими преимуществами они обязаны, может быть, только вечным сумеркам, царствовавшим на их полях и сливавшим все в их глазах; эти сумерки мешали им наделять предметы воображаемыми ценностями и даже преувеличивать их действительную ценность.

Тут султанша слегка вздохнула и, когда эмир перестал говорить, сказала слабым голосом:

«Продолжайте, я еще не сплю».

Первый эмир

Дорогой птица кинулась в какой-то птичник; обитатели его встретили ее весьма враждебно: они собираются вокруг нее стаяй и, заметив, что она отличается от них воркованием и оперением, беспощадно осыпают ее ударами клювов. «О Истина,— воскликнула тогда белая птица,— вот как поощряют и награждают тех, кто любит тебя и стремится тебя найти?» Она едва вырвалась из лап этих глупых и злых птиц и поняла, что ее путешествие затянулось так не столько из-за трудностей пути, сколько из-за нетерпимости прохожих...

На этом месте эмир остановился, не зная хорошо, спит султанша или бодрствует, ибо из-за полога доносилось только ровное дыхание. Чтобы удостовериться в этом, знаком велели щекотальщице прервать свое занятие. Молчанье султанши продолжалось; отсюда заключили, что она заснула, и удалились на цыпочках.

Третий вечер

Этикет вечеров султанши требовал, чтобы тот, кто рассказывал накануне, не продолжал своего рассказа на следующий день. Поэтому говорить предстояло второму

эмиру; и он приступил к рассказу после того, как султанша заметила, что ничто не приносит такого скорого сна, как воспоминание о первых годах жизни, или молитва Бrame, или философские идеи.

«Если вы хотите, чтобы я поскорее заснула, — сказала она второму эмиру, — следуйте по стопам первого эмира и потолкуйте со мной о философии».

Второй эмир

Однажды вечером белая птица прогуливалась вдоль луга, увлеченная красотой и тишиной этого места более, чем своими планами и поисками Истины, как вдруг заметила свет, вспыхивавший и потухавший время от времени на довольно высоком холме. Она направила туда свой полет. Свет увеличивался по мере того, как она приближалась, и вскоре белая птица оказалась на одной высоте с сияющим дворцом, особенно замечательным блеском и прочностью стен, величиною окон и крохотными размерами дверей. Покои дворца были почти безлюдны, обстановка отличалась простотой, на столиках там и сям были расставлены канделябры, повсюду виднелись зеркала. Белая птица сразу узнала свое прежнее жилище — место, где она провела первые и прекраснейшие дни своей жизни, и заплакала от радости. Но ее умиление удвоилось, когда, заканчивая осмотр дворца, она открыла фею Истину, уединившуюся в алькове, где фея трудилась над проверкой правильности одной замечательной системы, не сводя глаз с глобуса и держа компас в руке.

Султанша

Принц, воспитанный под наблюдением Истины! Эмир, уверены ли вы в том, что рассказываете? Это не так нелепо, чтобы насмешить, но слишком несуразно, чтобы можно было поверить.

Второй эмир

Белая птица шаловливо вспорхнула на плечо феи, которая сначала ее не заметила; но она так быстро

хлопала крыльями, так горячо ласкалась и так настойчиво кричала, что фея прервала размышления и узнала своего ученика, ибо никто не обладает такой проникающей способностью, как эта фея.

Султанша

Принц, упорствующий в своем влечении к истине! Опять небыллица! Еще немного, и я велю вам замолчать; но все-таки продолжайте.

Второй эмир

Истина тотчас коснулась белой птицы своим жезлом; перья упали, и принц вновь принял свой натуральный вид, но фея поставила ему одно условие: он должен вновь превратиться в голубя до тех пор, пока не прибудет к отцу; фея боялась, как бы он не встретил духа Руша (что на туземном языке значит «лгун») — своего злейшего врага, и не подвергся снова его преследованиям. Затем Истина задала вопросы, на которые принц Женистан, переставший быть птицей, дал точные и ясные ответы, какие нужны были этой фее: он рассказал ей свои приключения; особенно подробно остановился принц на своем пребывании в храме обезьяны огненного цвета; фея заподозрила, что он прибавил к своему рассказу некоторые обстоятельства, которых тому не хватало, чтобы быть вполне занимательным, и отбросил подробности, противившие повествованию; но так как она относилась снисходительно к этим невинным отступлениям от истины...

Султанша

Невинным! Что вы, эмир! С помощью этого пагубного искусства раздувают всякий пустяк, превращая его в бесчестное, непристойное, позорное похождение... Молчите, молчите; вместо того, чтобы усыпить меня, — а это ваша обязанность, — вы взволновали меня, и я не засну до завтрашнего дня. Первая одалиска, продолжайте.

Первая одалиска

Фея смеялась до упаду, когда принц рассказал о маленьких духах, оставленных им там. «И эта прекрасная принцесса собиралась отправить вас на кухню?» — сказала она ему прощически.

— Ах, неблагоприятная, — воскликнул он, — жестокая! Я не хочу ничего о ней слышать.

— Я понимаю вас, — возразила Истина, — вы безумно в нее влюблены.

Это рассуждение явилось лучом света для принца, и он тотчас же сознался, что влюблен.

— Что же вы намерены делать? — спросила его Истина.

— Не знаю, — ответил Женнстан, — может быть, жениться.

— Жениться! — возразила фея, — этого еще недоставало! Я подыскала вам, по-моему, более подходящую партию.

— Какую? — спросил принц.

— Это особа незнатного рода, — отвечала фея, — не первой молодости, ее суровое лицо не нравится с первого взгляда, но у нее доброе сердце, твердый ум, и она ни одного слова не скажет зря. Она была возлюбленной молодого философа, который пошел в гору, пресмыкаясь перед сильными мира сего, и бросил ее; с той поры я ищу кого-нибудь, кто захотел бы ее взять, и на вас пал мой выбор.

— Нельзя ли узнать имя этой покинутой? — спросил принц.

— Полихреста, — сказала фея, — что означает: «всем хороша», или «на все хороша». Партия не блестящая; вы не найдете тут ни титулов, ни денег, но зато вам достанутся миллионные поместья, и вы поправите свои дела, расстроенные расточительностью вашего отца и вашей собственной.

— Разумеется, сударыня, — отвечал принц, — но помилуйте: ее лицо, возраст, повадки мне совсем не под-

ходят, и я не потеряю, чтобы о сыне всемогущего японского императора говорили, будто он взял в жены принцессу без роду и племени; сделать ее любовницей еще куда ни шло, — на это смотрели бы сквозь пальцы.

Султанша

Любовниц меняют, когда они предаются.

Первая одалиска

... Что касается моих дел, то я могу поправить их так же легко, но более достойным способом. Я сделаю заем, сударыня. Япония перед тем, как я стал птицей, была полным полно чудесных людей, готовых дать сколько угодно займы из двадцати пяти процентов в месяц.

— Эти чудесные люди, — прибавила Истина, — в конце концов женят вас на Полихресте.

— Ах! Клянусь вам собственной вашей особой, — сказал ей принц, — что этого не будет никогда; и затем ваша Полихреста захочет, чтобы ей с утра до вечера делал детей, а я не знаю ничего гнуснее такой жизни.

— Что за бредни! — сказала фея, — вы слывете за человека со смыслом: мне очень хотелось бы знать, как вы его используете.

— Конечно, не для вступления в глупый брак, — отвечал принц.

— Ваше презрение неуместно, — серьезно сказала ему Истина: — Полихреста мне немного сродни; я ее знаю и люблю; вам не отделаться — вы повидаетесь с нею.

— Сударыня, — ответил принц, — вы могли бы предложить мне более интересный визит; и если мне придется вам повиноваться, то не ручаюсь, что я не буду при этом хмуриться.

— А я ручаюсь вам, — сказала Истина, — что это будет не по вине Полихресты: прошу вас, повидайтесь с нею, и поверьте, что вы со временем проникнетесь к ней уважением.

— Что касается уважения и почтения, то я зара-

нее согласен уважать и почитать ее, сколько вам угодно; но, повторяю, никогда не допущу сплетни, будто я увлекся отставной любовницей какого-то ничтожного философа; это было бы донельзя пошло и смехотворно!

— Э, сударь, — сказала ему Истина, — кто предлагает вам увлекаться? Женитесь только на ней; это все, что от вас требуют.

— Но погодите, — возразил принц, — я придумал способ уладить все. Ливели должна быть моей, это дело решенное; я не могу обойтись без нее, и если бы вы уговорили ее быть только моей любовницей, то я женился бы на Полихресте, и все устроилось бы к общему удовольствию.

Фея, несмотря на всю свою природную серьезность, не могла удержаться от смеха, услышав про способ, предложенный принцем. «Вы молоды, — сказала она ему, — и предпочтенне, которое вы оказываете Ливели, извинительно».

— Ах, она будет мне еще нужнее, когда я состарюсь.

— Вы ошибаетесь, — сказала фея, — Ливели часто будет надоедать вам, когда вы будете на склоне лет; Полихреста же пригодится во всяком возрасте.

— Вот именно поэтому, — возразил принц, — я и хочу их обеих: Ливели позабавит меня в пору моей весны, а Полихреста утешит в дни старости.

Султанша

Ах, моя милая, вы восхитительны; никакая бессонница не устоит против вашего рассказа: вы прядете нить беседы и навеваете дрему с присущим вам искусством; никто не умеет отягчать веки так, как вы; каждым своим словом вы привязываете к ним легкий груз; через четыре минуты я буду, мне кажется, спать, как убитая. Продолжайте.

Первая одалиска

После этого разговора, который был продолжителен, как правильно заметила султанша, принц удалился в свои

прежние покон; он провел еще несколько дней с феей; та давала ему благие советы; пропуская их мимо ушей, он обещал вспоминать их при случае. Затем принц, к своему великому сожалению, снова сделался голубем; фея посадила его на руку и без церемонии бросила в воздух; он стрелой понесся в Японию, куда прибыл очень скоро, не смотря на дальность расстояния.

Султанша

Удалиться от Истины гораздо легче, чем встретить ее.

Первая одалиска

Фея, понимавшая, что, будучи при дворе, принц нуждается в ней более, чем когда-либо, поспешила закончить решение весьма трудной и весьма бесполезной проблемы...

Султанша

Ибо не всегда самые достоверные знания приносят нам наибольшую пользу.

Первая одалиска

... Она последовала за ним на близком расстоянии и догнала на башне обсерватории, где он отдыхал...

Султанша

И которая не была Парижской обсерваторией.

Первая одалиска

Она подставила ему руку. Птица, не колеблясь, села; и они вместе закончили путешествие.

Султанша

Ваш черед, вторая одалиска.

Вторая одалиска

Японский император был в восторге от прибытия феи Истины, которую он потерял из виду, когда ему было

четырнадцать лет. «Что это за птица?» — прежде всего спросил он фею, ибо безумно любил птиц; у него всегда были птички, и его любимым развлечением, даже когда ему стукнуло восемьдесят, было выводить коноплянок.

— Эта птица — ваш сын, — ответила Истина.

— Мой сын! — воскликнул султан, — мой сын — толстый, мохнопогий голубь! Ах, божественная фея, за что вы наказали меня такой пошлой метаморфозой?

— Это ничего не значит, — ответила фея.

— Как, чорт возьми, ничего не значит? — возразил султан, — какого дьявола я буду делать с голубем? И если бы это еще был голубь редкой породы, с каким-нибудь особенным хохолком; но ничего подобного, — это голубь как голубь, самый обыкновенный белый голубь. Ах, дивная фея, делайте все, что вам угодно: грубых, ученых, высокомерных, язвительных, зверских людей, но только не путайтесь ни в какие дела с голубями.

— Эту шутку сыграла с вашим сыном не я, — сказала фея, — тем не менее я восстановлю его прежний облик.

— Тем лучше, — ответил султан, — ибо, хотя мои подданные часто повиновались всяким птицам — вроде надутого индюка, лапчатого гуся и мокрохвостой пеголицы, однако я не знаю, согласятся ли они, чтобы ими правил какой-то голубочек.

Пока султан кратко излагал историю японской администрации, фея дунула на белую птицу, и та снова превратилась в принца Женнстала. Это чудо произошло в кабинете его отца, Замбадора; придворные, почти все друзья духа Руша (на туземном языке «лгун»), были раздосадованы, вновь увидя принца, но никто не осмелился выказать недовольство, и все сошло хорошо.

Замбадора разбирало любопытство узнать, каким образом сын его сделался голубем. Принц приготовился удовлетворить любопытство отца и рассказал следующее:

— Вы помните, достопочтенный султан, что когда моей матери, императрице, исполнилось сорок лет, вы сослали ее в старый заброшенный дворец на берегу моря,

под тем предлогом, что она больше не может иметь детей, что престол не должен остаться без наследника и что будет весьма кстати, если она помолится идолам — а она всегда отличалась большой набожностью — о даровании наследника вам и новой супруге, которую вы предполагали взять? Почтенная дама не вняла вашим доводам и не стала молиться, полагая, что ей не следует рисковать репутацией, которой она пользовалась: верили, что она получает свыше дождь, ведро, детей, дыни, все, о чем бы ни попросила, и она боялась, как бы не сказали, что ее не ставят ни во что ни на земле, ни на небе, ибо прекрасно знала, что если сама она недостаточно молода для вас, то и вы-то уж слишком стары для другой.

— Сын мой, — сказал Замбадор, — вы легкомысленны; вы говорите, как ваша мать, которая никогда не отличалась здравым смыслом. А знаете ли вы, что пока вы бегали по полям в своих перьях, я делал здесь детей?

Султанша

Может быть, это не совсем так; но самое главное, чтобы маленькие принцы появлялись на свет; происходят они от своего отца или от другого, — дедушки всегда очень довольны.

Вторая одалиска

Принц исправил свою ошибку, выразив отцу восторг по поводу того, что султан продолжает пребывать в добром здравии; затем прибавил: «Потрудитесь вспомнить, что произошло при дворе Тонгю. Вы отправили меня туда в качестве полномочного посла просить для вас руки принцессы Лирилы, что значит на местном языке «рохля» или «соня», и напрасно рассердились на меня за то, что, найдя Лирилу недостойной вас, я взял ее себе. Послушайте теперь, как это произошло.

Через несколько дней после предложения я сделал Лириле визит, во время которого она оказалась сонной менее обыкновенного. Прическу принцессы украсили розовыми лентами, скрашивавшими ее бледность. Искусно

задернутые малиновые занавеси бросали на ее лицо: отсветы, создававшие иллюзию жизни; она как будто вышла из рук знаменитого художника нашей Академии. Ее манера держать себя и жесты были так же безжизненны, но она не зевала каждые четверть часа. Своей апатией, своей действительной или притворной усталостью она напоминала женщину, накануне вышедшую замуж».

Султанша

Не можете ли вы, сударыня, подвигаться немного скорее; кажется, вы не принцесса Лирила?

Эта острота султанши привела в отчаянье одалисок и эмиров: всех четверых поджидали на свидание; Мирзога знала это и потешалась за пологом над их нетерпением.

Вторая одалиска

«Был назначен бал; этикет двора Тонгю требовал, чтобы кавалер, открывавший бал, являлся к своей даме по крайней мере за пять часов до его начала. Вот что, государь, заставило меня придти к принцессе Лириле в такой ранний час».

Султанша

А фея Истина присутствовала при этом разговоре принца с отцом?

Вторая одалиска

Да, сударыня.

Султанша

Я до сих пор не слышала ни одного ее слова.

Вторая одалиска

Она мало говорит в присутствии государей.

Султанша

Продолжайте.

1

Вторая одалиска

«Итак, у меня был с ней весьма продолжительный разговор, в течение которого она весьма явственно и почти без усилий произнесла довольно большое число односложных слов, что случилось с ней в первый раз в жизни. Час бала наступил. Я открыл его с нею, то есть процесса начала со мной реверанс, который никогда бы не кончился, так медленно она приседала; но тут подошли четыре дежурных придворных кавалера, подхватили Лирилу под руки и помогли мне приподнять и посадить ее на место».

Здесь щекотальщица, может быть, также ждавшая свидания, остановилась, и лукавая султанша сказала ей: «Не советую вам, сударыня, уставать так скоро: это место чрезвычайно интересует меня; я не сомкну глаз всю ночь. Вторая одалиска, продолжайте».

Вторая одалиска

«Из приличия я вступил с нею в беседу о вашей любви и о том счастье, которое сулит вам обладание ею. Я разглагольствовал на эту тему, не жалея слов, как вдруг она спросила меня, сколько вам лет. Это, как мне докладывали, был один из самых длинных вопросов, которые она когда-либо задавала. Я ответил ей, что вам, вероятно, шестьдесят».

— Вы солгали без зазрения совести, — сказал Замбадор, — мне было тогда не больше пятидесяти девяти.

Принц поклонился, не возражая, и продолжал историю своего посольства:

— При этих словах Лирила вздохнула, и я продолжал ухаживать за нею от вашего имени с истинно сыновним усердием; надо заметить, что она небрежно раскинулась, закрыв глаза, и я говорил с ней почти убежденный в том, что она спит, как вдруг Лирила обронила другой вопрос. Она сказала, — не знаю, проснувшись или во сне:

«А оп ревнив?»...

«Сударыня, — ответил я, — мой отец слишком уважает себя и своих жен, чтобы поддаваться столь гнусным подозрениям».

— Отлично сказано, — сказал Замбадор. — Я назначу вашего наставника в первую Пагоду, где освободится вакансия.

— Но, — продолжал принц, — когда он вздумает, кстати или некстати, забить тревогу по поводу поведения какой-нибудь из своих жен, то расправляется с нею по-свойски. Ей готовят теплую ванну и вскрывают вены в четырех конечностях сразу; она тихохонько отправляется заниматься любовными делами на тот свет, — и делу конец.

— И это недурно сказано, но лучше было бы помолчать, — заметил Замбадор. — Как же отнеслась принцесса к этим моим приемам?

— Не знаю, — ответил принц, — она сделала гримасу...

Замбадор сделал другую гримасу, и принц продолжал:

— Я постарался разгадать гримасу Лирилы: часто приходится ломать голову, беседуя с неразговорчивыми женщинами; я подумал, что ее следует ободрить.

— И правильно подумали, — вставил Замбадор.

— Поэтому я сказал ей, что это отнюдь не является вашей привычкой и что за сорок пять лет, которые прошли с тех пор, как вы спровадили на тот свет первую жену за удар веером по руке одного из ваших камергеров, вы уморили только восемнадцать или девятнадцать жен.

— Ах, сын мой, — сказал Замбадор принцу, — не занимайтесь математикой; я не знаю никого, кто делал бы столь грубые ошибки в счете.

Затем прибавил, обращаясь к фее:

— Сударыня, вам следовало, мне кажется, научить его немного арифметике; это было ваше дело; не знаю, почему вы ничего не сделали для этого.

Султанша

Фея, вероятно, напомнила Замбадору, что никогда не знают хорошо того, чему учатся против воли, а сын его Женистан с самого раннего возраста отличался непреодолимым отвращением к отвлеченным наукам.

Вторая одалиска

— Лирила ничего вам больше не сказала?— спросил Замбадор сына.

— Простите, государь,— ответил сын.— Она спросила меня, умерла ли моя мать. «Сударыня,— ответил я,— она наслаждается еще дневным светом и спокойствием в старом заброшенном замке на берегу моря, где молит небо о непослании многочисленного потомства моему отцу и вам; и надо надеяться, что в один прекрасный день вы разделите с нею восторги одиночества, если с вами не произойдет какого-нибудь прискорбного случая; ибо отец мой самый лучший человек в мире, и, хотя сажает в ванну и пускает кровь своим женам за удар веером, но нежно любит их и очень ухаживает за ними. Сударыня,— тотчас же прибавил я,— пожалуйста украсьте двор Японии; вас ожидают там утонченнейшие удовольствия: вы увидите прекраснейший зверинец, в честь вас будут устраивать бои быков; и я несколько не сомневаюсь, что по случаю вашего прибытия какой-нибудь носорог будет затравлен с очень веселым улюлюканьем».

В этом месте принцесса зевнула. Ах, государь, какой зевок! Вы никогда не зевали так протяжно ни на одной из ваших аудиенций. «Это означает,— подумал я,— что наши развлечения не пришлись ей по вкусу, и уверил Лирилу, что не замедлят изобрести для нее другие»

«А это далеко?»— спросила принцесса.

«Нет, сударыня,— ответил я.— Одна из самых удобных карет работы Фалькенберга доставит вас туда менее чем в три месяца, если вы будете в пути круглые сутки».

«Я терпеть не могу путешествий,— сказала Лирила, оборачиваясь,— при одной мысли о вашей карете я чув-

ствую себя совсем разбитой. Лучше бы вы поговорили со мной немного о себе, это меня, может быть, развлекло бы. А то вы без конца беседуете со мной о вашем отце, но ему уже шестьдесят лет и он за тридцать земель отсюда!»

Пронизав эту огромную фразу, принцесса два или три раза делала паузу; пошли толки, что ваша карета так жестоко растрясла ее, что из нее вылетело столько слов сразу. Лирила дошла до полного изнеможения, так как не только говорила, но взяла на себя, кроме того, тяжелый труд смотреть на меня. Я, кажется, сказал уже вам, государь, что это была одна из тех женщин, мысли которых приходится постоянно угадывать. Я пришел к заключению, что она не думает более о вас и что надо воспользоваться моментом, когда она еще думает обо мне, так как Лирила редко бывала занята в течение часа подряд одним и тем же предметом.

Султанша

Это мило! Первый эмир, продолжайте.

Первый эмир сказал, что никогда у него не было так мало воображения, как в этот вечер; он почему-то рассеян; чувствует недомогание в груди и умоляет султаншу разрешить ему удалиться. Султанша ответила, что для его здоровья будет лучше, если он останется; и приказала второму эмиру продолжать рассказ.

Второй эмир

Бал кончился. Принцессу отнесли в ее апартаменты, и я имел честь ее сопровождать. Ее уложили на большой диван. Служанки завладели ею, поворачивали ее, переворачивали и раздевали, и все это с такими церемониями и при таком полном безучастии Лирилы, что можно было подумать, будто она умерла, а они готовят ее к погребению. После этого они исчезли. Я тотчас же бросился к ее ногам и сказал ей самым растроганным тоном и с самым печным видом, какой только мог принять:

«Сударыня, я сознаю весь свой долг по отношению к вам и к своему отцу и никогда не льстил себя надеждой удостоиться вашего благоволения; но отсюда так далеко до Японии, а я так похож на отца!»

«Правда?» — сказала принцесса.

«Сушая правда, — ответил я, — и если исключить то, что я не достиг его возраста, а он, любя вас, не рискует короной и жизнью, то вы могли бы принять меня за него».

«Мне вовсе не хотелось бы принимать вас за другого такую ценой. Я была бы рада выбрать вас, именно вас, но с тем, чтобы вы от этого несколько не пострадали».

Во время этого разговора одна из рук Лирилы, увлеченная собственной тяжестью, упала мне на глаза; она мешала мне: я счел поэтому возможным переместить ее, не оскорбляя принцессы, и не ошибся в этом. Я вообразил, что мы пришли с ней к соглашению: ничего подобного, я пришел к соглашению лишь с самим собой. Лирила спала. К счастью, мне объяснили, что это была ее манера изъясняться согласие. Я поступил поэтому так, как будто она бодрствовала, и сочетался с нею браком до конца, попрежнему действуя от вашего имени.

— Ах, изменник! — промолвил султан.

— Государь! — сказал принц, — вы останавливаете меня в самом интересном месте, в тот момент, когда я подвигал ваши дела вперед изо всех сил.

— Подвигай, подвигай, — прибавил султан, — нечего сказать, хорошими делами ты занимаешься.

Женнстан, боявшийся, как бы его отец серьезно не рассердился, сказал в свое оправдание, что он мог коснуться всех этих подробностей, не подвергаясь опасности, а император — слушать их без раздражения, так как его величество не помышляет больше о Лириле.

— Сын мой, — сказал Замбадор, — вы правы; оканчивайте свое похождение и постарайтесь разбудить эту сонливую особу.

— Государь, — продолжал принц, — я старался изо всех сил, но тщетно. Я удалился после неслыханных усилий; ибо худшие из глухих те, кто не хочет слышать...

Султанша

А худшие из спящих те, кто не хочет проснуться, и худшие из пробудившихся те, кто не хочет заснуть.

Второй эмир

— Это поразительно, — сказал султан, — ибо столько резонов бодрствовать в подобном случае!

— Лирила, — ответил принц, — и думать не хотела об этих резонах. Я истолковал ее сон, как согласие приготовиться к путешествию. Произвели большие расходы, о чем она не удостоила даже справиться; и только в последний момент, когда уже запрягли лошадей в дивную карету, присланную вами, мы узнали, что принцесса остается. Лирила, не зная толком, что ей надо, обратилась ко мне со следующими словами:

«Принц, я думаю, вы можете ехать один, а я останусь».

«Почему же, сударыня», — спросил я.

«Почему? Мне кажется, что я не хочу ни вас, ни вашего отца».

«Но, сударыня, откуда у вас такое отвращение? А мне кажется, что другой вам, быть может, не поправится».

«Тем хуже для него; мне и тут хорошо».

«Ну, так оставайтесь здесь, сударыня»...

И я уехал, не испросив прощальной аудиенции у императора, на что тот, как вам известно, разобиделся. Я вернулся сюда отдать вам отчет в своей миссии, навлечь на себя ваш гнев за то, что не привез вам глупой супруги, и отправиться в изгнание в награду за свои услуги.

— Сын мой, сын мой, — внушительно сказал Замбадор принцу, — вы не открыли мне тогда всего — и умно сделали...

Султанша сказала щекотальщице:

— Довольно.

Эмиры и одалиски султанши предупредительно предложили продолжать, если ей угодно.

— Вы заслуживаете, — сказала она им, — чтобы я пой-

мала вас на слове; но я и без того уже достаточно позабавилась вашим нетерпением. Довольно. А вы, первый эмир, поберегите грудь для завтрашнего дня: я не хочу ничего терять, и вам придется потрудиться за двоих. Который час?

— Два часа утра.

— Я дразнила вас дольше, чем хотела; идите, идите скорее.

Четвертый вечер

Султанша

Постель плохо оправлена... На чем мы остановились?.. Принц продолжает свой рассказ?

— Да, сударыня.

— А что он говорит?

Первая одалиска

Он говорит: — Сначала я не знал, куда мне удалиться. Поразмыслив о своем невежестве, ибо я никогда не увлекался льстивыми речами, в которых восхваляли глубину моих познаний, я возымел желание снова завязать знакомство с Истиной, у которой провел свои первые годы. Я отправился с намерением найти ее и нашел очень легко, так как не был увлечен никакой страстью, которая могла бы удалить меня от местопребывания феи. На этот раз я путешествовал в более благоприятном настроении духа, чем в первый. Женщины вашего дворца, государь, и принцесса Лирила не отвлекли меня от истины до такой степени, как юные девы при обезьяне огненного цвета.

Султанша

Я думаю, что, действительно, образ красивой женщины плохой спутник для того, кто ищет Истину.

Первая одалиска

Я совсем забыл придворные обычаи этой феи и, прибыв туда, был очень удивлен, когда увидел всех почти

голыми. Богатые одежды, которыми я предусмотрительно запасся, были бы совершенно излишни, быть может, даже опозорили бы меня, если бы фея предоставила мне свободу действий. При вашем дворе и при дворе Тонгио царит пышность. У феи же Истинны, наоборот, все крайне просто, столы красного дерева, гладкие деревянные панели, зеркала без рам, белый фарфор без рисунков, почти полное отсутствие новой мебели.

Когда меня ввели, фея была одета в легкий газ, — она всегда облачается в него, принимая новых посетителей, но сбрасывает по мере того, как с ней знакомятся ближе. Кухетка, на которой покоилась Истинна, не удовлетворила бы самую неприхотливую горожанку: она была спиня, с ковравыми подушками, украшенными узорами по белому фону. Я был поражен скудостью этого убранства. Мне сказали, что фея почти никогда не надевает других одежд, кроме тех случаев, когда присутствует на какой-нибудь публичной церемонии или же принуждена переодеваться для достижения своих целей, например, когда ей приходится появляться перед сильными мира. Но ей это очень не по душе, так как красота ее почти всегда теряет при этом. Особенно непреодолимое отвращение чувствует она к румянам, к перьям, к эгреткам и мушкам. Драгоценные камни делают ее неузнаваемой. Она наряжается лишь с величайшей неохотой.

При ней находилась племянница, по имени Азема, что значит на туземном языке «простосердечие». У этой племянницы были довольно красивые глаза, кроткое лицо и, сверх того, кожа необыкновенной белизны. Тем не менее она не нравилась: у нее всегда был такой пресный, бесцветный, благопристойный вид, что нельзя было смотреть на нее без скуки. Тетке очень хотелось выдать ее замуж, и даже за меня, ибо ей исполнилось двадцать два года — возраст, когда или выходят замуж, или остаются старой девой. Но чтобы стать племянником феи, надо было соперничать с духом Руш, по-уши влюбленным в Азему.

Не бывало духа отвратительнее, опаснее, подлее

Руша: тщедушный, смуглый, невзрачный, угрюмый; взгляд исподлобья; толстые губы, курчавые волосы, большой рот, двойные зубы и гасконский акцент.

Султанша

Вы, кажется, говорили, что Руш на туземном языке значит «лгун»?

Первая одалиска

Кажется, да.

У Руша был очень злой язык и большие притязания на ум. Это был фат, хлыщ, нахал с женщинами, трус с мужчинами, болтун, помнивший много всякой всячины и забывавший самое главное, невежда во всем хорошем, легкомысленный, распространитель сплетен, рассказчик небылиц, выдумщик скандальных историй, которые выдавал нам за правду. Мы попадались впросак, и он подсмеивался исподтишка и считал нас глупцами, а себя — великим умницей.

Султанша

Не эта ли самая личность изобрела великое искусство насмешки! Если даже это неправда, то позвольте мне верить, что это так.

Первая одалиска

Фея показалась мне более достойной внимания, чем племянница. Я начал привыкать к ее строгому и серьезному виду. Фея обладала чарами, но им не всегда поддавались. Она совершенно не менялась, с ней же были переменчивы. Меня отталкивала иногда ее исключительная сухощавость, — лишь лицо сохраняло некоторую полноту. Среднего роста, с благородным видом, со степенной и размеренной поступью, с небольшими пронзательными глазами, с выразительным лицом, с большим ртом, прекрасными зубами, переливавшими всеми оттенками, она имела в чертах своих нечто античное, что не всем нравилось. У нее не было недостатка в остроумии. Обширностью и достоверностью своих познаний она превосхо-

дила всех. В ее голове находило место лишь то, что она предварительно исследовала самым тщательным образом. Фея Истина была лишена игривости и особой приветливости, любила прогулки, философию, уединение и хороший стол; писала шероховато; все видела, все читала, все понимала, все удерживала в памяти, за исключением истории и путешествий; восторгалась произведениями, где были очерчены характеры и нравы, но без примеси религии. В ее присутствии было запрещено говорить о боге, о любовнице, о короле. Она изучала почти исключительно математику. Ей нравилась и музыка, в особенности итальянская. К поэзии она была равнодушна. Детей любила до безумия, и к ней присылали их отовсюду; но они недолго оставались у нее; как только они делались взрослыми, Руш и его многочисленные приверженцы совращали их.

Султанша

Фея присутствовала при этом разговоре?

Первая одалиска

Да, сударыня.

Султанша

Как же она отнеслась к такому нелестному портрету?

Первая одалиска

Она подошла к Женистану, нежно поцеловала его, и принц продолжал:

— Я был из числа тех, кого Руш хотел поймать в свои сети; но я любил фею и был любим ею. Ей не очень понравилось бы, если бы я связался с единственным духом, к которому она питала отвращение. Поэтому я постарался держаться подальше от Руша. Он был уязвлен этим. Азема, на которую он имел виды, вздумала возметь их на меня, и Руш пришел в ярость, — совершенно напрасно, ибо мои намерения никоим образом не могли его встревожить. Тетка тщетно восхваляла

доброту и кротость характера Аземы; я ответил на похвалы феи и на кокетничанье ее племянницы, что Азема, конечно, даст счастье своему супругу, но что я не могу дать счастья ей; и к этому вопросу больше не возвращались. Тем не менее Руш не простил мне этого. Он вздумал отомстить мне так, чтобы месть соответствовала оскорблению, якобы нанесенному мною. Сначала он намеревался драться со мной; но, пораздумав, нашел, что у него не хватит мужества, и предпочел прибегнуть к своему искусству. Он еще больше разъярился на Истину и представил ее в таком обезображенном виде, что в тот день я не мог ее любить. По его словам это была педантка, враг наслаждений и счастья; чего он только не наговорил! Я проявил холодность к фее; сократил долгие беседы, которые имел обыкновенно вести с нею; едва ли даже не устыдился неизменной привязанности, какую когда-то питал к ней. Однако на другой день я снова увиделся с нею, но имел смущенный вид. Фея догадалась, что со мной; она спросила меня, какое впечатление произвела она на меня накануне.

«... Вы выглядели как нельзя лучше, сударыня, — ответил я. — Вы всегда очаровательны, но вчера вы были восхитительны».

«... Ах, сын мой, — сказала фея, — Руш соблазнил вас: какая жалость, как огорчает меня эта перемена! Принц, вы покидаете меня!»

Этот упрек задел меня за живое; кипувшись в объятия феи (ее объятия всегда открыты для тех, кто искренне возвращается к ней), я умолял ее не вменять мне в преступление разговор, продиктованный учтивостью.

С у л т а н ш а

Учтивостью? Разве он не знал, что это одна из близких родственниц и хороших подруг Руша?

Первая одалиска

Простите, сударыня; фея говорила ему это не раз, — и Женистан, бросившись к ее ногам, поклялся ей не

щадить больше Руша и его родственницы в ущерб Истине, если бы даже ему пришлось безмолвствовать и прослыть грубияном или дураком. Фея смилостивилась над ним и рассказала ему о жестоких кознях против нее, которыми забавляется Руш. «Он делает из меня то отжившую свой век старуху,— сказала она,— то молодого уроды; иногда он так разукрашивает меня, что ничего не остается от моего достоинства, и меня готовы принять за шутиху; в другой раз он наделяет меня диким и угрюмым видом. Словом, как бы он меня ни изображал, я всегда оказываюсь изуродованной. Один мой глаз он изображает голубым, другой черным; брови темными, а волосы белокурыми; но напрасно он надевает на меня личину,— зоркие глаза все равно узнают меня...

Султанша

Боги разрешили Рушу сеять иллюзии, но только на один миг,— для его вящего посрамления.

Первая одалиска

— Вы говорили со мной так, сударыня,— сказал принц, обращаясь к фее,— когда вам доложили о принце Любрелю, или, на туземном языке, «склочнике»; и о принцессе Серпиле, что значит «лукавая». Истине прислали двух этих учеников. «Что вы хотите от меня?— сказала фея, нахмурясь,— что я буду делать с этими людьми?» Она приняла их довольно холодно и даже не спросила, как поживают родители.

Султанша

Ваш черед, вторая одалиска.

Вторая одалиска

Любрелю очень развязно раскланялся с феей. Это довольно красивый малый, но косою и заика. Он говорит много и бессвязно и не противоречит себе только тогда, когда не думает об этом; неугомонный спорщик, доводы своего чувства он часто принимает за доводы

разума; глухой на одно ухо, он иногда слышит плохо и отвечает хорошо или слышит хорошо и отвечает плохо. В тот же вечер он сделался другом Руша.

Серпила — малсыкая, худая и черная; притворяется близорукой; курносая, с неправильными чертами, с неподнятыми углами рта; когда она замышляет какую-нибудь пакость, то левый угол рта у нее опускается, — это тик. У нее острый подбородок, темные брови до самых висков, черные и сухощавые руки, с которых она никогда не снимает перчаток. Серпила мало говорит, много думает, все тщательно рассматривает, не делает ни одного шага, не произносит ни одного слова без цели; разыгрывает всевозможные роли: ветренщцу, рассеянную, дурочку, и никогда не бывает так умна, как в те минуты, когда ее готовы принять за идиотку.

Серпила сразу не влюбила Азему; и с первого же дня принялась поднимать ее насмех и расставлять ей ловушки, в которые это доброе создание то и дело попадалось. Она рассказывала ей такие нелепости, которых не было и быть не могло. Наконец, она вздумала убеждать Азему, которая была ко мне равнодушна, что я, Женистан, люблю ее до безумия, но не осмеливаюсь признаться в этом.

«Почему же он так упорно молчит? — спрашивала Азема. — Если у него честные намерения, отчего он не поговорит с тетушкой?»...

«Принцесса, вы не знаете еще, как деликатны некоторые влюбленные, — ответила ей Серпила. — Обратиться к вашей тетке, значило бы покушаться на вашу особу, не зная, что говорит ваше сердце. Вы можете быть уверены, что принц скорее умрет от горя, чем решится на поступок, который мог бы не угодить вам»...

«Ах, я вовсе не хочу, чтобы он умирал, — возразила Азема, — я не хочу даже, чтобы он страдал»...

«Однако это так, и все останется попрежнему, если вы не примете меры».

«Но как мне взяться за это? Я так неопытна и так неловка во всем».

«Будь я на вашем месте, я нежно смотрела бы на него, когда он приходит к тетушке; если бы он подавал мне руку, то я пожимала бы ее как бы по рассеянности, я закидывала бы то одно словечко, то другое»...

«По правде сказать, боюсь, что я делала все это, не отдавая себе отчета»...

«Если это так, то надо сознаться, что Женнистан жестокий человек. По-моему, есть только одно средство»...

«Какое же?»...

«О! нет, я вам не скажу»...

«Почему же?»...

«Потому что, если я вам скажу, то вы, пожалуй, сообщите по секрету вашей тетке»...

«Не бойтесь, вы не поверите, как я умею хранить тайну».

«Так вот что: я написала бы»...

«Если в этом заключается ваша тайна, то прекратим разговор; я никогда не решусь на подобный поступок».

«Пусть будет по-вашему; не будем больше говорить на эту тему. Кажется, хорошая погода, не пройтись ли нам? Вас это развлечет».

«Очень охотно; может быть, мы встретим принца Женнистана»...

«Принц отказался от всяких развлечений. Он гуляет только в укромных и уединенных местах. Не знаю, до чего доведет его такая унылая жизнь. Однако, если он умрет, то вы будете виновницей»...

«Но мне вовсе не хочется, чтобы он умирал, я уже сказала вам это»...

«Тогда напишите ему»...

«Не смею, да и не знаю, что писать».

«А почему бы вам не поручить это мне? Вы немножко знаете меня и, конечно, не думаете, что я так неловка, как кажусь. Я улажу дело с соблюдением всех приличий, какие только можно себе представить. Письмо будет анонимным. Если признание будет иметь успех, то будет исходить от вас; если потерпит неудачу, то будет моим»...

«Вы очень добры»...

Султанша

Эта Серпила опасное создание. Простодушная Азема недостаточно опытна и не замечает расставленной западни. Было ли написано письмо?

Вторая одалиска

По словам принца, да.

Султанша

И получен ответ?

Вторая одалиска

Принц сказал, что нет.

Султанша

Почему же?

Вторая одалиска

— Я остерегался доверять Серпиле, — сказал принц, — тем более на глазах феи, которая сразу догадалась бы, в чем дело, и никогда не простила бы мне этой интриги. Азема была в отчаянии от моего молчания, но не жаловалась. Ее злая подруга хвасталась перед нею смелым поступком, который она совершила, чтобы услужить ей, и Азема благодарила ее от всей души. Руш не был так щепетлив, как я, и, говорят, воспользовался услугами Серпилы. Достоверно то, что связь между ними стала явной, и они образовали вместе с Любрелю род триумvirата, который в самое короткое время перевернул вверх дном двор феи. Придворные избегали друг друга, не разговаривали между собой; пошли бесконечные сплетни и дразги; сердились друг на друга, неизвестно за что, и это приводило фею в отвратительное настроение.

Султанша

Право, точь-в-точь, как здесь; я готова верить, что такой триумvirат существует при всех дворах.

Вторая одалиска

Фея велела в сотый раз обнародовать древние законы против клеветы; под страхом удаления от двора, запретила высказывать догадки, бросающие тень на врага, хотя бы у него была очень плохая репутация; усилила меры строгости; и когда мы порой начинали злословить, резко обрывала нас вопросом: «Разве с вами это произошло? Видели ли вы то, что рассказываете?» Наши ответы редко удовлетворяли ее. Однажды она четыре дня не пускала меня к себе на глаза за то, что я рассказал, как достоверный факт, о происшествии, случившемся в бытность мою при дворе Тонгю, в котором, однако, я не принимал никакого участия, и о котором знал лишь по слухам.

Несмотря на запреты Истины, Любрелю стоило величайших усилий держать себя в руках. У него то и дело срывались безрассудные слова, в его устах оскорблявшие менее, нежели в устах другого, ибо, как утверждали, он был, в сущности, скорее глуп и легкомыслен, чем зор; он сам понимал, что болтает зря, говоря во всеуслышание, будто я в близких отношениях с теткой и в неплохих с племянницей, что между нами все устроилось с обоюдного согласия: днем я возлюбленный Аземы, а ночью любовник Истины.

Руш, присутствовавший при этом разговоре, ответил, что он предоставляет Любрелю болтать о старой фее все, что ему взбредет в башку, но требует, чтобы, говоря об Аземе, он взвешивал свои слова. Любрелю никогда в жизни не взвешивал своих слов и ответил Рушу пируэтом, а тот процедил сквозь зубы, что он увлекся Аземой, о чем знают все, что он любим ею и давно задумал жениться на ней, и хотя начал с того, чем другие кончают, однако попрежнему влюблен в нее.

Любрелю хорошо запомнил эти последние слова и передал их на другой день Аземе, прибавив от себя несколько весьма жестоких нелепостей. Азема была крайне огорчена, вся в слезах отправилась жаловаться к тетушке и попросила послать ее на некоторое время к другой

тетке, к фее Зирфеле, что значит на туземном языке «скрытная»; Истина согласилась на это. Отъезд держали в тайне, и Азема исчезла без ведома Руша. Он поднял шум, когда узнал об этом, но Азема была уже очень далеко. Он поскакал за нею, не догнал и вернулся еще гнуснее прежнего, заподозрив меня в похищении предмета его любви и твердо решив заставить раскаяться в этом. Его угрозы несколько не испугали меня; я знал, что его могущество ограничено и что он может повредить мне, только действуя вместе с духом Нюктоном, что значит «притворщик», резиденция которого отстояла за тысячу с лишком миль от дворца Истины. Но — кто бы мог подумать! — в одно прекрасное утро Руш исчез, и стало известно, что он поехал посоветоваться с Нюктоном, как лучше отомстить.

Он не проехал и четверти мили, как вдруг послышался грохот во дворе перед дворцом; подумали, что вернулся Руш; ничуть не бывало, это была одна из его подруг и родственница Любрелю, которую случай забросил в эту страну; ее звали Тросила, что значит «чудачка». У нее была магия рыскать, куда глаза глядят, только бы не ездить по большой дороге, где ее экипаж разбился вдребезги; она прибыла на поровнистом муле, вся в грязи, такая оборванная, в таком растрепанном виде, что можно было умереть со смеху.

Ей отвели апартаменты, — у Истины всегда есть запасные; Тросила отдыхала, ожидая свою свиту и проклиная ее, но и та не оставалась в долгу. Наконец, свита прибыла. Из дорожной кареты, похожей на мышеловку, извлекли прислужниц Тросилы; это были хромоножки трех родов: одна хромала на правую ногу, другая на левую, третья на обе. Тросила смотрела на них из окна и смеялась до упаду над их походкой, как будто для нее было новостью странное зрелище этих трех хромоножек, поспешно ковылявших к ней. Пока кучер, одетый шутом, и слуга, наряженный арлекином, выпрягали из кареты двух лошадей, одну белую, другую черную, Тросила занималась своим туалетом: она начала его в пять часов

вечера и едва кончила в восемь, после чего явилась представиться фее Истине.

И никогда не видел ничего пелепее ее наряда; ее особа привлекла мое внимание, а также внимание всех остальных.

Султанша

Странности обращают на себя больше внимания, чем красота,— это их привилегия. Люди охотнее увлекаются тем, что их поражает, нежели тем, что должно было бы восхищать их.

Султанша произнесла эту сентенцию слабым, прерывающимся голосом, что возвещало приближение сна.

Вторая одалиска

Тросила была скорее высокого, чем низкого роста, и сложена непропорционально; ноги с длинными голеними и бедрами непомерной длины придавали ей вид стрекозы, в особенности, когда она сидела; талия отсутствовала; верхняя часть одной руки была полная, другой — сухошавая; кисть одной — безобразная, другой — красивая; одна ступня — маленькая и изящная — в огромной, подбитой ватой туфле; другая — большая и нескладная — в маленькой туфле; но это не имело значения, ибо таким образом обе туфли оказывались одинаковыми. Правое плечо Тросилы было немного выше левого, хотя корсет и усвоенные манеры сглаживали этот недостаток; несмотря на румянец, у нее был плохой цвет лица; один глаз — голубой, другой — серый; нос длинный и заостренный; прелестный рот, когда она смеялась, но к несчастью для приближенных она целыми днями грустила, неизвестно почему, ибо не хотела объяснять свою грусть нервами или истерией.

На ней был атласный розовый балахон с фиолетовой отделкой; голубое бархатное платье со шлейфом, отороченное крепом; бриллиантовая брошь, откуда свешивалась богатая ладанка, хотя в ту пору ладанок уже больше

не носили; в правом ухе серьга с подвесками из великолепных бриллиантов, в левом — восточная жемчужина; зеленое перо в прическе, одна половина которой была в наколке с длинными концами, а другая — в чепце; огромный веер в руках.

Таково было одеяние, в котором Тросила предстала перед нами.

Султанша

Можно было бы обойтись без жемчужины в левом ухе.

Вторая одалиска

Она поздоровалась с Истиной, не глядя на нее, бесцеремонно растянулась на оттоманке, вытащила из кармана лорнет, в который и не подумала смотреть, вставила в весьма серьезный разговор три-четыре шутки некстати, поиздевалась над Истиной и над остальным обществом и удалилась.

Султанша

Советую вам последовать ее примеру. После прошлой ночи вы, вероятно, нуждаетесь в отдыхе. Приятных сновидений, господа, приятных сновидений, сударыни, ибо, полагаю, что на сей раз вы идете спать.

Пятый вечер

В этот вечер Мангогул приказал оставить дверь покоев султанши открытой; и когда Мирзога легла, воспользовался шумом, который произвели импровизаторы, усаживаясь вокруг ее постели, чтобы войти незаметно для нее. Он стоял, облокотясь на стулья второй одалиски и первого эмира, когда султанша спросила последнего, позволяет ли ему состояние его здоровья вознаградить ее за молчание, которое он хранил эти два дня. Эмир ответил, что постарается угодить ей, и начал так:

Первый эмир

Мне, как говорится, пришла блажь увлечься ею.

Султанша

Мне — значит принцу Женистану, а сю — очевидно, Тросилой?

Первый эмир

Да, сударыня.

Султанша

Ах, мужчины, мужчины!.. Они, кажется; еще больше сходят с ума, чем мы!

Первый эмир

Сударыня, конечно, сделает исключение для султана.

Султанша

Продолжайте.

Первый эмир

Не трудно было найти случай открыть мои чувства, но Истина не должна была ничего знать об этом. Однажды фея была поглощена делами, и я, под тем предлогом, что мешаю ей, пошел ухаживать за Тросилой, которая приняла меня радушно. Я вернулся к ней на следующий день; сначала она была со мной холодна. Ее дурное настроение прошло, как только она заметила, что я несколько не стараюсь рассеять его; она насмеялась над религией, над жрецами и святошами; презрительно говорила о скромности, о стыде — главных добродетелях своего пола, называя их уздой, придуманной для дурочек; мне представлялось, что победа одержана: не приходилось ни бороться с предрассудками, ни устранять сомнений, и я с нетерпением ждал нового свидания в надежде, что счастье мне улыбнется; я боялся только, как бы свидание не затянулось, и у меня не осталось бы свободного времени, которое я не буду знать, как убить. Как-то мне представился случай проводить Тросилу в се покоп. Дорогой я попросил разрешения остаться у нее на минутку; она изъявила согласие. Не откладывая в долгий ящик, я начал говорить ей разные нежности и любезности, какие приходили мне в голову; сказал, что полюбил ее

с той минуты, как имел счастье увидеть; что это был один из тех внезапных порывов симпатии, в которые я до тех пор плохо верил, и что я, очевидно, обуреваем страстью, раз дерзаю заявить об этом при второй встрече с нею; она внимательно выслушала меня, затем вдруг разразилась смехом, встала и позвала всех своих прислужниц; когда те прибежали, она велела им уйти. Я попросил ее придти в себя от неожиданной атаки, которой она, благодаря своим чарам, вероятно, подверглась не в первый раз. «Вы не ошибаетесь, — ответила она, — меня любили, мне делали признания, и я должна была бы привыкнуть к этому; но я всегда удивляюсь притязаниям мужчин, убежденных, что ради их любезностей мы должны жертвовать честью, репутацией, нравственностью, скромностью, стыдом — большей частью добродетелей, составляющих украшение нашего пола, ибо, судя по их поведению и по поведению женщин, к этим именно любовным пустякам сводятся настойчивость одних и уступчивость других». Продолжая еще менее естественным, еще более патетическим тоном, она воскликнула: «Нет, благопристойность умерла; связи выродились в ужасное распутство; стыд исчез с лица земли: так боги отомстили за себя; и почти все мужчины»...

Султанша

Стали лживыми и нескромными.

Первый эмир

Ваше высочество несомненно соблаговолит сделать исключение для султана.

Султанша

Продолжайте.

Первый эмир

Я был немного сбит с толку этой неожиданной отповедью и собирался напомнить Тросиле правила, которые она излагала накануне, но она избавила меня от этого нелепого замечания, попросив удалиться: она боялась,

как бы не стали злословить о ее поведении. Я повиновался, твердо решив, что предоставлю Тросиле чудить, сколько вздумается, и никогда больше с ней не увижусь. Но я понравился ей, и на следующий день она начала меня подзадоривать, говоря со мной очень нежно и многозначительно, и я поддался увлечению.

Султанша

Вы мужчины — марионетки, и только.

Первый эмир

Ваше высочество несомненно соизволит сделать исключение для султана.

Султанша

Эмир, относитесь почтительно к султану, но относитесь почтительно и ко мне и продолжайте.

Первый эмир

Я отправился в ее апартаменты в назначенный час, рассчитывая найти ее одну. Ничуть не бывало, — она брала урок английского языка, который продолжался уже очень долго; мое присутствие несколько не сократило его. Мы без конца сидели бы втроем, если бы учитель английского языка, не лишенный сообразительности, не сжалился надо мной. Но моей пытке не суждено было кончиться на этом. Тросила приняла меня так, как будто я упал с неба, не предложила сесть, не сказала почти ни слова; и, не давая мне говорить, позвонила и велела принести бандуру, на которой принялась наигрывать, как будто была одна и играла от скуки.

Здесь султан не мог удержаться от смеха. Султанша сказала: «Действительно, это довольно смешная сцена».

И эмир продолжал рассказ.

Первый эмир

Я дал ей пробренчать песенку, потом менуэт, и она собиралась уже начать проклятую модную арию, которая

не кончилась бы никогда, но тут я взял на себя смелость остановить ее, взяв за руки.

«Ах! Это вы, — сказала она, — что вы тут делаете?»

«Я явился сюда по вашему приказанию, сударыня, — ответил я, — и уже почти два часа жду, когда вы наконец заметите мое присутствие»...

«Неужели правда?»...

«Если вы сомневаетесь, то ваш учитель английского языка подтвердит это»...

«Значит, вы слышали, как он дает урок? Это хороший преподаватель; что вы думаете о нем? А на своей бандуре я начинаю играть недурно. Но присядьте, я сегодня в ударе и сыграю сейчас контраданс последнего бала, это доставит вам удовольствие»...

«Сделайте милость, сударыня, выслушайте меня. Я пришел сюда сейчас вовсе не для арий на бандуре; оставьте на минуту ваш инструмент и сообразоволяйте выслушать меня»...

«Вот чудак, — сказала Тросила, — вы не знаете, от чего отказываетесь. Я собиралась играть для вас сегодня вечером божественно»...

«Сударыня, — возразил я, — если я вас стесняю, я уйду»...

«Нет, оставайтесь, сударь. Откуда вы взяли, что вы меня стесняете?»...

«Тогда оставьте этот проклятый инструмент, или я его сломаю»...

«Ломайте, дорогой мой; ломайте, он мне опротивел»...

Я отвязал от бандуры привязь и слегка пожал при этом талию музыкантши. Тросила сидела на табурете; это положение было неудобно.

Султанша

Эмир, вообразите, что я сплю, и продолжайте.

Первый эмир

Я взял Тросилу за красивую руку, поцеловал эту руку несколько раз, подвел принцессу к кушетке и подтолкнул

на нее; она соглашалась без всякого ломанья. И вот я сижу рядом с нею, снова целую ей руку и взволнованным голосом заявляю, что обожаю ее.

Султан воскликнул по рассеянности: «Обожай, обожай. проклятая скотина!» К счастью, султанша не слышала его или притворилась, что не слышит.

Первый эмир

Тросила, очевидно, поверила, ибо она провела мне по глазам другой рукой и остановила ее на моих губах. Я взглянул на нее в этот момент и нашел очаровательной. Ее улыбка, игривость, звук голоса — все возбуждало во мне желание. Она лепетала со мной, как ребенок; это окончательно вскружило мне голову, вскоре я не владел собой более и склонился к ней на грудь. Не помню точно, что делали мои руки. Тросила, казалось, испытывала такое же смятение; и мы готовы были вкусить блаженство, как вдруг неслыханная причуда Тросилы вывела нас из этой сладострастной позы. Тросила резко оттолкнула меня и принялась плакать, заливаясь горючими слезами.

«Ах, дорогой Зюльрик, — воскликнула она, — нежный и верный любовник, что случилось бы с тобой, если бы ты узнал, до какой степени я забыла тебя!»

Ее слезы и вздохи настолько усилились, что я боялся, как бы она не задохлась.

«Уходите, сударь; я вас не выношу, я пенавижу вас. Из-за вас я нарушила клятвы и обманула единственного человека, с которым связана самыми торжественными узами; вас это не сделает счастливее, а я умру от горя»...

Эти последние слова и обильные слезы, следовавшие за ними, убедили меня в том, что момент упущен. Я удалился с твердым намерением улучшить его вновь. На другой день я послал записку Тросиле и получил ответ, что она хорошо спала и ждет меня пить чай. Я немедленно отправился и, к счастью, застал ее еще в постели.

«Милости просим, принц, — сказала она, — присядьте подле меня. Я питаю к вам чувства, которых не могу более таить. Дело идет о моем счастье и, может быть, даже о моей жизни. Постарайтесь же не злоупотреблять моей искренностью. Я люблю вас самой нежной и самой страстной любовью. При ваших достоинствах для вас, должно быть, не новость слышать это. Ах, если бы я встретила в вашем сердце ту же нежность, которую вы заронили в мое, как счастлива была бы я! Скажите, принц, не ошибаюсь ли я, когда льщу себя надеждой на взаимность? Любите ли вы меня?»

«Ах, сударыня, люблю ли я вас? Разве я не уверял вас в этом сотни раз?»

«Неужели это возможно?»

«Это — сама истина».

«Верю, так как вы говорите это; но я, хоть убей, ничего не помню. Поистине, я в восторге от того, что слышу от вас. Значит, я очень вам нравлюсь, очень?»

«Как никому на свете».

«Ну, а мне никто не нравится так, как ты, дорогой мой, — продолжала она, — прижимая мою руку к своему колену. Ты очарователен, божественен, неописуемо занимателен, и мы будем безумно любить друг друга. Говорят об уме Вандемилля, Илло, Жиржиля. Я немного знакома с ними и уверяю тебя, это вздор, совершенный вздор».

Тросила встречала много умных людей, но признавала умными только себя и своего любовника.

«Теперь я могу, значит, надеяться, сударыня, — сказал я ей, — что вы не будете больше вспоминать ни Зюльрика, ни кого бы то ни было другого?»

«Что вы говорите о Зюльрике? — возразила она. — Это ничтожный глупец, воображающий, что надо только томно вздыхать возле женщины и надоедать ей объяснениями в любви, — и она будет покорена. Это один из тех людишек, которые готовы сотни раз умереть за вас и бросают вас, как только надо оказать вам незначительное одолжение; но вы — другое дело; какое бы отвращение вы ни питали к совам, я ручаюсь, что вы победите его,

если моя благосклонность будет зависеть от того, будете ли вы ласкать мою сову».

— Государь,— сказал Женнстан отцу,— другие женщины заводят чижка, попугая, обезьяну, мопса. Тросила же обожала сов... Да, государь, сов!.. Из всех птиц я не переносу только эту. У Тросилы была сова, и она показывала ее только самым интимным друзьям.

Султанша

То есть всему свету.

Первый эмир

Ее тотчас же принесли мне. «Посмотрите на мою совушку,— сказала Тросила,— она прелестна, не так ли? Белая гусарская шапочка набекрепь замечательно идет ей. Это выдумка монах хромоножек. Удивительные женщины! Но почему вы ничего не говорите о моей совушке?»

«Отчего бы вам не увлечься каким-нибудь другим животным, сударыня? В Ост-Индии, в Китае, в Японии нет никого, кроме вас, кому бы пришла фантазия иметь сову в шапочке».

«Вы ошибаетесь,— ответила она,— эта птица в моде: вы с луны упали, что ли? Здесь все держат сов, уверяю вас; без совы здесь не обойдешься. Обещайте же мне немедленно завести сову; я чувствую, что не могу вас без этого любить».

Я обещал ей все, что угодно, умоляя не испытывать моего терпения.

Султанша

Кажется, эмир, мне пора снова заснуть. Вот я сплю. Продолжайте.

Первая одалиска

Тросила согласилась, но с условием, что я заведу сову.

«Ах! Хоть четырех, сударыня»,— ответил я.

Она моментально открыла мне объятия. Я испытал на себе страсть светской женщины, меньше всего на свете

склонной к любви, и ответил со всем пылом, чтобы не дать ей остыть.

«У вас будет сова, — говорила она мне прерывающимся голосом, — принц, вы обещаете мне это».

«Да, сударыня, — ответил я в такой момент, когда можно надавать каких угодно обещаний, — клянусь вам в этом моей любовью и вашей».

При этих словах Тросила умолкла, я также. Мы с полчаса пробыли вместе, как вдруг она холодно сказала мне, чтобы я дал ей поспать и удалился. Если бы я не знал, как вести себя с нею, то обвинил бы себя за это внезапное равнодушие, но ни мне, ни ей не в чем было меня упрекнуть. Я решил поэтому повиноваться, и даже, может быть, старательнее, чем она ожидала. Я вернулся к Истине, которая показалась мне более прекрасной, чем когда-либо.

Султанша

Истина — самое верное утешение для впавших в немилость; те, кого постигнет несчастье, находят в ней особую прелесть.

Вторая одалиска

После всех этих происшествий вновь появился Руш. Он виделся с Нюктоном, и они сговорились загнать меня, по их выражению, на сто футов под землю. Бедная Азема, убежище которой они открыли, уже испытала их жестокую ненависть. Руш осыпал ей лицо порошком, от которого она вся почернела. Она не решалась показываться в таком виде и жила затворницей, ежеминутно проклиная Руша и беспрестанно орошая слезами отражавшее все ее безобразие зеркало, с которым никогда не расставалась. Тетка узнала об ее несчастье, сжалилась над нею и поспешила на помощь. Она попыталась отмыть лицо своей удрученной племянницы, но все ее труды были напрасны: Азема, как была, так и осталась черной. Это побудило фею превратить ее в голубку и вернуть ей первоначальную белизну в другом образе.

По возвращении от Аземы Истина задумала оберечь

меня от козней Руша. Для этого она велела мне уехать инкогнито. Но нет ничего удивительнее капризов женщины, и особенно капризов Тросилы! Едва она узнала, что я далеко от нее, как у нее явилось желание быть как можно ближе ко мне. Она справилась, по какой дороге я поехал, и помчалась вдогонку. Руш, осведомленный о нашей любовной истории и хорошо знавший окружающих, особенно Тросилу, не сомневался, что откроет мое убежище, следуя за нею. Он угадал, и однажды утром мы очутились все трое, одетые по-домашнему, в одном и том же саду.

Присутствие Тросилы вознаградило меня немного за появление Руша. Я был польщен тем, что женщина с ее характером отмахала из-за меня четыреста пятьдесят миль, и решил добиться у нее нового свидания. Это не помогло мне избежать встреч с Рушем, ибо Тросила и Руш были давным-давно знакомы и всегда прекрасно уживались. Вместе с нею он сочинял все свои скандальные истории. Он придумывал основной сюжет; она разукрашивала его оригинальными подробностями, — этим объясняется, что их слушали с удовольствием, повторяли всюду, делали вид, что верят им даже тогда, когда не верили.

Султанша

В вашей сказке иногда столько скрытого смысла, что я готова считать ее аллегорией.

Первый эмир

Раз вечером одна из хромоножек Тросилы провожала меня к своей госпоже по потайной лестнице, как вдруг я стукнулся головой о голову Руша, пробравшегося вниз по той же лестнице. Мы оба упали — так силен был толчок. Руш узнал меня по крику, который я испустил. «Несчастный, — воскликнул он, — судьба привела тебя сюда, трепещи. Наконец-то ты испытываешь на себе мой гнев». Он тут же произнес какие-то непонятные слова, и я почувствовал, что мои ляжки входят внутрь, сокращаются и изгибаются в противоположном направлении; ногти удлиняются и делаются кривыми; кисти рук исче-

зают, а верхняя часть их и остальное туловище покрываются перьями. Я хотел крикнуть и мог извлечь из своего горла только хриплые зловещие звуки. Я издал их несколько раз; апартаменты огласились ими, и эхо повторило их. Тросила прибежала на воркованье, которое ей очень понравилось, и стала кликать меня: «Гуль-гуль-гуль»... Но я не отважился доверить свою особу женщине, имевшей пристрастие только к совам. Я вылетел в окно, решив достичь местопребывания Истины и освободиться с ее помощью от злых чар; но никак не мог вновь найти дорогу к ее резиденции. Чем дальше я летел, тем больше сбивался с пути. Я не хочу злоупотреблять вашим терпением, рассказывая вам свои остальные странствования и блуждания. К тому же всякий путешественник склонен приврать. Я боюсь впасть в искушение и предпочитаю, чтобы Истина сама окончила рассказ о моих приключениях.

Султанша

Эта фея впервые принимает участие в рассказе о путешествии.

Первый эмир

Надо же, чтобы она сделала что-нибудь для вас и для меня: я был так искренно привязан к ней и мы столько делали для нее,— сказал Женнстан отцу.

Султанша

Это старинная сказка: она относится к тем временам, когда короли любили истину.

Первый эмир

Женнстан остановился. Заговорила Истина; и так как она соблюдала крайнюю точность в своих рассказах, то изложила в четырех словах то, что мы размазали бы на двадцати страницах.

— Я хотела бы,— прибавила она,— освобождая принца от перьев, выкинуть из его головы одну фантазию,

которая пришла ему, когда он был в этом облачении. Он воспылил страстью к одной из дочерей Кипкипки.

— К той,— сказал султан,— которая согласилась от-
править его на вертел.

— Вы хотите сказать — на кухню. Да, она самая.

— В таком случае, он с ума сошел. Женщина, кото-
рая так мало дорожит жизнью своего любовника, на-
смеется над честью мужа. Значит, мой сын хочет быть...
Однако я был бы очень доволен, если бы мы начали
сами наделять себя наследниками. В этом слишком долго
участвовали другие. Вы всеведущи, сударыня: не можете
ли вы сказать нам, как это наладить?

— Прошлого не воротишь,— ответила Истина,— но
я отвечаю вам за будущее, если вы жените принца на
Полхресте. Ни одна женщина не будет так верна и так
плодовита, как она; я ручаюсь вам за легион внучат,
и все будут от Женнстана.

— Что же мешает просить ее руки? — спросил
султан.

— Одно маленькое препятствие: Полхреста правится
вам, но ничуть не правится вашему сыну. Он не пере-
посит ее, считает скучной, рассудительной мещанкой,
и не знаю еще кем...

— А он видел ее?..

— Никогда. Ваш сын человек умный, а что умного
в том, чтобы полюбить или возненавидеть женщину, ко-
торую уже видел? Это и всякий дурак может...

— Чорт возьми,— сказал султан,— мой сын волен ду-
мать, что ему угодно, однако я все-таки познакомился
с его матерью, прежде чем жениться на ней, а я вовсе
не дурак.

— По моему мнению,— продолжала фея,— вашему
сыну следовало бы хоть на этот раз не выкидывать
никакой шутки в погоне за оригинальностью, которая
так идет ему, а проникнуться вашим простодушiem и
повидаться с Полхрестой, прежде чем отвергать ее; но
не так-то легко уломать принца. Без вашего влияния
не обойтись.

— О, если дело идет только о том, чтобы прикрикнуть на него погромче, то я гаркну во все горло. Вы сейчас увидите.

Он тотчас же велел позвать сына и, приняв величественный вид, который умел напускать на себя, когда его заранее настраивали, сказал:

— Сударь, я хочу, желаю, требую, приказываю вам повидаться с принцессой Полихрестой в понедельник; она должна вам понравиться во вторник; вы женитесь на ней в среду; иначе она будет моей женой в четверг...

— Но, батюшка...

— Извольте молчать. В четверг Полихреста будет вашей женой или моей. Такова моя воля, и никаких разговоров!

Принц, никогда не оскорблявший своего отца чрезмерной почтительностью, готовился выступить с возражениями, несмотря на категорический запрет; но султан заткнул ему рот возгласом: «Повинуйтесь!», повернулся спиной и предоставил ему вымещать досаду на фее.

— Сударыня, — сказал он, — я очень хотел бы знать, почему вы с невероятным упрямством вмешиваетесь в то, в чем ровно ничего не смыслите. Вы не умеете преувеличивать ум, красоту лица, знатность рождения, богатство, таланты, не умеете прикрашивать недостатки: вам ли братья за сватовство? Ваше пристрастие к подруге, очевидно, доходит до крайности, если вы воображаете, что она может понравиться по портрету, нарисованному вашей рукой. Вы знаете все пословицы, вам следовало бы не забывать ту, которая запрещает соваться не в свое дело. Испокон веков браками ведает Руш. Предоставьте же это ему: не вам с ним тягаться; и было бы верхом комизма, если бы столь пелепый брак, как предлагаемый вами, совершился без его посредничества. Но ни вы, ни он не добьетесь своего. Я повидаясь с вашей Полихрестой, так как этого требуют, но, чорт возьми, не буду ни глядеть на нее, ни разговаривать с нею, и любопытно будет посмотреть, как ваша легкомысленная подруга победит мою молчаливость и заинтересует меня. Можете,

сударыня, заранее поздравить себя со свиданием, где мы все трое будем играть презабавную роль.

Первый эмир собирался продолжать, но Мангогул дал знак одалискам, эмирам и щекотальщице выйти.

— Почему вы уходите так рано? — сказала султанша.

— Потому, — ответил султан, — что мне падосла их метафизика, и я гораздо более расположен заняться с вами более существенными вещами.

— Ах! Вы здесь!

— Да, сударыня!

— И давно?

— О! Очень давно.

— Первый эмир, вы два или три раза расставляли мне западню, и я не буду откладывать мечь до дня страшного суда Браны.

— Эмир вышел, мы одни. Скажите, сударыня, вы решаете мне остаться?

— Разве вам нужно мое разрешение?

— Нет, но я был бы польщен, если бы вы дали мне его.

— В таком случае, оставайтесь...

Шестой вечер

Султанша сказала щекотальщице: «Сударыня, подите сюда и поправьте мне подушку: поднимите ее повыше... Очень хорошо... Вторая одалиска, продолжайте. Я предвижу, что дальнейшее больше по вашей части, чем второго эмира. А если Мангогулу придет фантазия второй раз присутствовать при наших беседах, кашляните два раза. Начинайте».

Вторая одалиска

Все, что лишено того блеска, который поражает с первого взгляда, крайне не нравилось Женистану. Природная живость не позволяла ему ценить по-настоящему

истинные достоинства и отличать их от мишуры. То был национальный недостаток, от которого фея не могла избавить принца, но она надеялась устранить его действие: Истина предвидела, что если Полихреста останется в своем затрапезном платье, то принц, к несчастью, привыкший при дворах отца и Тонгю к нелепым и пышным нарядам и к перемене мод каждые полгода, конечно, примет ее за провинциалку дурного тона, не умеющую связать двух слов. Во избежание этого, Истина дала знать Полихресте, что хочет поговорить с нею. Та пришла.

— Вы давно уже вздыхаете, — сказала ей фея, — по сыне Замбадора. — Я говорила с ним о вас; но он, по видимому, мало расположен пойти навстречу нашим желаниям. Во время своих странствований он влюбился в молодую ветреницу, не без достоинств, но с нею он натворит только всяких глупостей; я очень хотела бы, чтобы вы постарались помочь ему отделаться от этого каприза; и это вполне достижимо, если вы немного поспособите природе, угождая вкусам принца и следуя советам доброй подруги: например, у вас прекраснейшие глаза — других таких не сыщешь в мире, но они слишком скромны; вместо того, чтобы их вечно потуплять, следовало бы поднять их и кокетничать ими — нет ничего легче. Рот ваш мал, но он слишком серьезен; лучше было бы, если бы он смеялся. Я ненавижу румяна, но терплю их, когда дело идет о том, чтобы привлечь милого сердцу. Прикажите же своим прислужницам достать румян. Уберите, пожалуйста, эту копну волос, — они закрывают вам лоб, и снимите чепец: женщины надевают его только на ночь. Этот мех не по сезону; завтра же я пришлю к вам хорошую советчицу по части туалета и надеюсь, что вы последуете ее советам, как бы они ни показались вам смешны.

Полихреста собиралась возразить фее, что она ни за что не решится преобразиться с головы до ног, и что роль молоденькой ветреницы ей не к лицу; но Истина приложила палец к ее губам и велела нарядиться, не пребрегая ничем, чтобы пленить принца.

На следующее утро фея Шюршиль, или на туземном языке «кокетка», прибыла с полным снаряжением, чтобы заняться туалетом Полихресты. Корзинка, подбитая голубым атласом, заключала убор, отличавшийся крайним изяществом и изысканным вкусом; бриллианты, веер, перчатки, цветы — все было там, даже обувь — очень красивые, необыкновенно искусно расшитые туфельки. Туалетные принадлежности были разложены во мгновение ока, все ящички расставлены и открыты; начали с того, что выровняли зубы, что причинило Полихресте сильную боль; положили два слоя румян; на левый висок налепили большую мушку а-ля королева, а другие, поменьше, искусно рассеяли по всему лицу; так закончилась эта немаловажная часть туалета. Я забыла сказать, что ей подкрасили брови и выщипали лишние волоски. На жалобы, вырвавшиеся у нее при этой операции, ответили, что густые брови свидетельствуют о дурном тоне. Оставили столько, сколько было нужно, чтобы придать ей детский вид; она выдержала эту пытку с героизмом, достойным другой женщины и возлюбленного, которого Полихреста хотела пленить. Шюршиль сама приложила руку и пустила в ход все свои глубокие познания в этой области, чтобы уловить то невыразимое, что придает лицу особую прелесть; она достигла этого, но лишь после пятишести неудачных попыток. Наконец, на Полихресту надели бриллианты. Шюршиль держалась того мнения, что ими не надо злоупотреблять: она боялась, что чрезмерное обилие их ослабит естественную привлекательность принцессы; что касается прислужниц, то если бы дать им волю, они охотно усыпали бы Полихресту бриллиантами до самых колен. Затем ее зашнуровали. На нее надели фижмы огромных размеров, очень шокировавшие ее; она попросила дать ей поменьше. «Э! Что вы, — ответила Шюршиль, — если немного убавить фижмы, то у вас будет вид торговки в подвенечном платье, а без румян вас примут еще за кого-нибудь похуже». Пришлось выдержать искус. Одевание продолжалось, и, когда Полихреста была в полном наряде, она взглянула на себя в зеркало:

никогда еще она не была так хороша и никогда еще не чувствовала себя так скверно. Ее осыпали комплиментами. Истина сказала со своей обычной искренностью, что в этом костюме она правится ей меньше, но зато больше понравится Женнстану; что он забудет ради нее Ливели и что она может ждать на следующий день сонета, мадригала, «ибо, — прибавила Истина, — он пишет довольно красивые стихи, несмотря на все мои старания отвлечь его от этого легкомысленного занятия».

Фея дала после обеда концерт; играли на волюнках, бандурах и флейтах. Пригласили Женнстана; Полихресту посадили так, чтобы ее красота выигрывала: над ее головой не было люстры, глаза ее не были затенены и не казались впалыми. Рядом с ней оставили место для принца; он пришел поздно, ибо вовсе не горел нетерпением увидеть свою сельскую богиню: так окрестил он Полихресту. Он появился, наконец, и приветствовал фею и остальное общество со своей обычной грацией и рассеянным видом. Истина представила его своей протеже; та встретила его робко и смущенно и сделала очень глубокий реверанс. Между тем принц рассматривал ее так внимательно, что она растерялась; он сел подле нее и сказал несколько любезностей; Полихреста отвечала ему весьма рассудительно, и он составил выгодное представление об ее характере, но возымел желание держаться от нее подальше. «Э! К чорту здравый смысл, будьте только милы и веселы; вот самое главное, да еще старые лундоры в придачу», — говаривал один дворянин...

Султанша

Замок которого готов был развалиться.

Вторая одалиска

Хотя денежные дела принца были очень запутаны, он был слишком молод, чтобы усвоить эти правила: ему пужна была Ливели со всеми ее прелестями и кокетством; он живо представлял себе, как она играет в волан или жмурки, набивая шишки на лбу, и только еще пуще

резвится и смеется; в конце концов, Женистап по-уши влюбился в Ливели. Что ему делать с недотрогой, до того серьезной, что с ней можно умереть со скуки, которая всегда говорит только кстати и основательно взвешивает каждый свой поступок.

После концерта был устроен фейерверк, за которым следовало роскошное пиршество. Принц попрежнему занимал место рядом с Полихрестой; он был с нею вежлив, но ничего не чувствовал. Фея спросила у него на следующий день, что он думает об ее подруге. Женистап ответил, что находит ее достойной всякого уважения и что он возымел к ней глубочайшее почтение.

— Я предпочла бы, — сказала Истина, — чтобы вы возымели к ней другое чувство. Как-никак, приятно осчастливить добродетельную и наделенную превосходными качествами женщину.

— Ах, сударыня, — возразил принц, — если бы вы видели Ливели! Как она прелестна!

— Я вижу, — сказала Истина, — что эта милая сумасбродка не выходит у вас из головы, но это совсем не подходящая для вас партия.

Султанша

Во всякой семье, велика она или нет, хоть один из супругов должен обладать здравым смыслом.

Вторая одалиска

Принц хотел возразить в оправдание своей холодности, но фея властным тоном приказала ему ухаживать за Полихрестой и повторила, что он полюбит ее, если вооружится терпением. С другой стороны, она уговорила свою подругу проявить некоторую инициативу и не пренебрегать ничем, чтобы понравиться принцу. Полихреста пыталась, но тщетно; надо было преодолеть слишком большое препятствие: ей было тридцать два года, а Женистану только двадцать пять; и он говорил, что все пожилые женщины скучны; фея не обижалась, хотя и была весьма преклонного возраста.

Султанша

Одна лишь она знает тайну, как вечно казаться юной.

Вторая одалиска

Принц, когда имел время поразмыслить, всегда повиновался приказу феи; он опять увиделся с Полихрестой, ему даже понравилось бывать у нее...

Султанша

Всякий раз, как он проигрывался или ссорился с какой-нибудь из своих любовниц.

Вторая одалиска

С течением времени принц сделался другом Полихресты, оценил ее характер, познал всю силу ее ума, стал запоминать ее слова, приводить их, и вскоре его отталкивали от Полихресты лишь добродетельный вид, сдержанность и какое-то фамильное сходство с Аземой, при одном воспоминании о которой он начинал зевать. Важные услуги, оказанные ему принцессой, окончательно победили его отвращение. Фея, и не думавшая отказываться от своего плана, возобновила атаку. Тем временем, принцу доложили, что несколько иностранных вельмож, которым он во время опалы надавал векселей, требуют уплаты, и он женился.

Он стоял у алтаря с нахмуренным челом, вспоминая Ливели и вздыхая о ней. Полихреста заметила это; она упрекнула его, но так кротко, с таким достоинством, так осторожно, что он не мог удержаться от слез и поцеловал ее.

Султанша

Мне жаль их обоих.

Вторая одалиска

«Я равнодушен к Полихресте,— рассуждал он сам с собой,— но она очень любит меня; ни одну женщину в мире, не исключая и Ливели, я не уважаю так, как

ее. И я еще прихожу в отчаяние от того, что сделался ее супругом! Фея права, тысячу раз права: я сумасшедший. Разве часто встречаются столь достойные женщины? Разве можно огорчаться тем, что обладаешь одной из них? К тому же она не лишена прелестей, и даже весьма долговечных: и в шестьдесят лет она хорошо сохранится. Я убежден, что она никогда не выживет из ума: у нее столько здравого смысла и знаний, что этого запаса хватило бы на всю жизнь целой дюжины других женщин. Несмотря на все это, я страдаю. Откуда это жестокое непослушание моего сердца? Безумное сердце, прихотливое сердце, я укрошу тебя».

Этот монолог, а также то, что Полихреста предложила принцу, заставили его, если не любить ее, то, по крайней мере, жить с ней в ладу.

Султанша

Держу пари, я знаю, что она предложила ему. Продолжайте.

Вторая одалиска

— Принц, — сказала она ему однажды, немного времени спустя после их свадьбы, — законы империи запрещают многоженство; но принцы крови выше законов.

Султанша

Вот чего бы я не сказала.

Вторая одалиска

Я непрочь разделить вашу любовь с Ливели.

Султанша

Очень хорошо.

Вторая одалиска

Но извольте отказаться от путешествий к Тросиле.

Султанша

Чудесно.

Вторая одалиска

Разве здравомыслящая женщина может быть польщена вашими чувствами, когда подобные же чувства вы питаете к распутнице, никогда не знавшей любви, с пустым сердцем, способной лишь увлечь вас на путь, гибельный для моего и вашего счастья и для благополучия ваших подданных? Кто может поручиться, что эта властная сумасбродка не дерзнет вмешиваться в выбор ваших министров и генералов? Кто поручится, что из-за минутных поблажек не поплатятся жизнью десятки тысяч ваших подданных и не пострадает честь нации? Я не знаю намерений Ливели; но заявляю вам, что в мои намерения не входит иметь какие-либо близкие отношения с человеком, способным увлекаться Тросилой и ее совами.

Султанша

Эта речь Полихресты приводит меня в восторг.

Вторая одалиска

Принц готов пожертвовать Тросилой, лишь бы согласился уступить ему Ливели.

Султанша

Наш жребий — любить государя, уменьшать бремя его скипетра и родить ему детей. Я иногда просила султана за кое-кого из моих друзей, но так, что это ни в коем случае не было в ущерб чести или целостности империи. Призываю в свидетели султана. Я спасла жизнь нескольким несчастным и покамест несколько не раскаиваюсь в этом.

Вторая одалиска

Женистан представил предложение своей супруги на обсуждение государственного совета, и оно было принято единогласно. Осталось только получить разрешение жрецов, правивших империей вместе с министрами, с тех пор как Замбадор одряхлел. Было созвано несколько церковных соборов, на которых не пришли ни к какому

решению. Наконец, после долгих словопрений, доложили принцу, что он может со спокойной совестью иметь двух жен ввиду того, что в священных книгах есть примеръ, санкционирующие двоеженство, и, кроме того, допустимо изъятие из закона, что обойдется ему в сто тысяч эю.

Женистан лично отправился в Китай и снова увиделся с Ливели. Она стала еще милее. Отец выдал ее за принца, и они вернулись в Японию. Полихреста нисколько не ревновала его к своей сопернице, и принц был так тронут ее готовностью жертвовать собой, что с этого времени она сделалась единственной поверенной его тайн. Он имел от нее много детей, которые все остались живы и здоровы. Иначе было с Ливели: она родила только двух, да и то семимесячных.

Истина оставалась при дворе в течение нескольких лет; но когда смерть Замбадора передала скипетр в руки его сына, она увидела, что к ней относятся все более и более пренебрежительно, смотрят на нее косо, почувствовала себя лишней и удалилась, увезя с собой сына принца от Полихресты и дочь, которую ему родила Ливели. Тросила была совсем забыта, и Женистан, деливший время между делами и удовольствиями, наслаждался тем, что составляет истинное счастье государя, — благополучием, которое он давал своим подданным, как вдруг случилось необыкновенное событие, вызвавшее переполох при дворе и среди народа.

Тут султанша приказала первому эмиру продолжать; но, прежде чем начать, эмир кашлянул два раза; Мирзоза поняла, что султан только что вошел. «Довольно», — сказала она, и собравшиеся удалились.

Седьмой вечер

Первый эмир

Однажды султану Женистану доложили, что толпа юношей и девушек, с белыми крыльями за спиной, просит его дать им аудиенцию. Их было пятьдесят два, и во

главе их был некто вроде депутата. Этого человека с его крылатой свитой ввели в тронный зал. Они весьма почтительно приветствовали императора: депутат — держа руку у тюрбана, молодежь — кланяясь и трепыхая крыльями; затем депутат произнес следующую речь:

— Султан, непобедимейший из непобедимых, помните ли дни, когда, подвергшись преследованиям злого духа, вы пересекли в быстром полете необъятные страны, прибыли в Китай в образе голубя и соблаговолили спуститься на храм обезьяны огненного цвета, где нашли голубятню, достойную птицы вашего сана? В этой блестящей молодежи вы видите, плодовитейший государь, свое многочисленное потомство — плоды вашей любви и чудесные результаты вашего воркованья. Белые крылья, украшающие их плечи, не позволяют вам сомневаться в их высоком происхождении, и они прибыли требовать при вашем дворе подобающего ранга.

Женистан внимательно выслушал речь депутата. В нем что-то дрогнуло: он узнал своих детей. Чтобы придать им некоторое сходство с детьми Полихресты, он сейчас же велел отрезать им крылья.

— Покажите мне, который из них от принцессы Ливели, — сказал он затем.

— Принц, — ответил депутат, — одного его недостает, — ваша семья была бы в полном сборе, если бы фея Корибела, что значит на туземном языке «неугомонная», крестная мать того, о ком вы спрашиваете, не похитила его в вихре света, чему вы были очевидцем, когда великий Кинкинка схватил его за крыло и едва не лишил жизни.

Принц был очень недоволен тем, что одного из его детей оставили в таких дурных руках.

— Ах, принц! — прибавил депутат, — фея сделала из него ужасного сорванца; проделки его крайне забавны. Что бы он ни увидал, сейчас же ему подавай; он кричит, доводя до отчаяния своих гувернанток, пока не исполнит его каприза; ломает, разбивает, кусается, царапается; фея запретила прекословить ему в чем бы то ни было.

Здесь депутат улыбнулся.

— Чему вы улыбаетесь? — спросил принц.

— Одной из его проказ.

— Какой же именно?

— Как-то вечером, во время ужина, мальчику пришла фантазия мочиться в блюдо, и ему разрешили это. Минуту спустя, он захотел, чтобы крестная мать показала ему свой зад; пришлось удовлетворить его любопытство. Он не ограничился этим...

Султанша

Минуту спустя он захотел, чтоб она показала это всем остальным.

Первый эмир

«Это самое», — прибавил депутат. «Старый дурак, — обрывал его принц, — вы сами не понимаете, что говорите. Этому ребенку грозит опасность превратиться в шалопая, и он будет обязан этим своей крестной матери. Лучше бы он оставался у бабушки. Приказываю вам, во имя вашей длинной бороды, которую я велю срезать до корня, не отпускать его, как только Корибела пришлет его к нашим девам, а то он окончательно испортится».

На этом аудиенция кончилась; депутата отпустили, и дети Женистана были размещены в различных апартаментах дворца. Но едва Ливели узнала об их прибытии и об отсутствии ее сына, она закричала так, что голова пошла кругом у всех, кто приближался к ней. Ее долго не могли успокоить, — это удалось только после того, как ее обнадежили, что сын вернется. С этого дня к заботам об империи и к обязанностям супруга принц присоединил заботы и обязанности отца.

Из совета Женистан шел к Ливели отдохнуть от государственных дел. Едва он появлялся, как она была уже в его объятиях. Его очень забавляла ее легкая и шутливая болтовня. Ее веселость и ласки так увлекали его, что он не замечал, как летит время, и забывал все

на свете. Ему всегда было жаль расстаться с нею. Она пробуждала в нем склонность к добрым делам, и можно сказать, что благодаря ей было оказано множество милостей, хотя она не ходатайствовала, пожалуй, ни об одной. Полихреста казалась Женистану весьма почтенной женщиной, с которой он часто скучал и которую охотнее видел в государственном совете, чем в своих внутренних покоях. Когда надо было довести до конца какое-нибудь важное дело, он шел к ней черпать познания, мудрость, силу, которых ему недоставало. Она все предвидела, все всесторонне взвешивала и, по общему мнению, не меньше делала для славы принца, чем Ливели для его наслаждений. Она никогда не переставала любить супруга и выказывать ему свою нежность самым утонченным вниманием.

Ливели немножко подозревали в неверности; она требовала от Женистана чрезмерного баловства, с увлечением предавалась удовольствиям, обладала необузданными страстями, была капризна и требовала, чтобы ее капризы исполнялись всеми; приходилось почти всегда угадывать ее желания. Она сказала однажды, что если бы боги не снабдили людей органами речи и сами люди обладали некоторой проницательностью и большей склонностью любить, то можно было бы чудесно объясняться без слов, вместо того, чтобы говорить иногда целыми часами, не понимая друг друга; существовал бы только язык жестов, а он редко бывает двусмысленным; о характере судили бы по поведению, о поведении по характеру; и все суждения были бы правильными. Когда мысли Ливели были верны, они могли привести в восторг, так как соединяли верность суждения с оригинальностью. Ее живость не мешала ей быть наблюдательной; она не была лишена способности размышлять, быстро соображала и обладала здравым смыслом. Малейшее возражение выводило ее из себя. Она вела себя так, точно все было создано для нее одной. Порой она пеняла принцу за те часы, которые он посвящал делам, и не могла простить, что часть времени он проводил с Полихрестой.

Она спрашивала его, чем он занимался со своей нудной супругой; сколько раз он зевнул, находясь рядом с ней; повторяла ли она с ним математику.

— Эта женщина — превосходная советчица, — отвечал ей принц, — и для блага подданных мне следовало бы видеться с ней почаще.

— Очевидно, из уважения к ее достоинствам, — замечала Ливели, — вы делаете ей ребенка каждые девять месяцев.

— Нет, я делаю это для спокойствия государства, — возражал Женистан. — Вы ничего не доводите до конца; Полихресте приходится исправлять ваши или мои собственные ошибки.

При этих словах Ливели раздражалась смехом и принималась передразнивать Полихресту; она спрашивала Женистана, какой вид был у той, когда он ее ласкал. «Ах, принц! — прибавляла она, — или я ничего в этом не смыслю, или ваша степенная статуя должна иметь в минуту наслаждения очень глупый вид».

— Вы безжалостны, — возражал принц, — говорят вам, что, находясь с ней, я не думаю ни о чем, кроме блага государства.

— А со мной о чем вы думаете? — продолжала Ливели.

— О вас и о своих удовольствиях.

К этим вопросам Ливели прибавляла другие, ставившие принца втупик. Он отвечал на них, как умел; но лучшим средством выйти из затруднительного положения, средством, всегда имевшим успех, было предложить Ливели новое удовольствие. Та ловила его на слове, и спор прекращался. Она была наделена от природы талантами, которых почти не приходилось развивать, легко схватывала все, но почти ничего не удерживалось в ее памяти. Надо признаться, что если обаятельные женщины редки, то и держать их в руках очень трудно. Ливели можно было упрекнуть только в легкомыслии. Принц стал ревновать и попросил ее прекратить приемы.

Султанша

Стеснять такую женщину, значит наверняка перестать ей нравиться.

Первый эмир

Действительно, я читал в секретных мемуарах, что брат Женистана, человек весьма привлекательный, пренебрегая запретом императора, обманывал бдительность евнухов, пробирался к Ливели и увеселял ее в уединении. Он, вероятно, был безумно влюблен, ибо рисковал в этом деле ни много, ни мало — своей головой, но, к счастью для него, принц ничего не узнал.

Султанша

Пока брат принца был любим.

Первый эмир

Действительно, когда Ливели стала к нему равнодушна...

Султанша

То есть через месяц.

Первый эмир

Она открыла все султану.

Султанша

Все, эмир, все! Ваши мемуары не верны. Будьте уверены, что Ливели не шла в своей откровенности дальше других женщин, и что Женистан догадался об остальном.

Первый эмир

Он страшно разгневался на брата и приказал арестовать его; но того предупредили, и он скрылся, спасшись бегством от гнева императора.

Султанша

Второй эмир, продолжайте.

Второй эмир

В это время депутат привез ко двору сына, которого родила принцу Ливели и который провел первые годы жизни у крестной матери, феи Корибелы. Не бывало ребенка хуже этого, ни один не приводил в такое отчаяние своих родителей. Отец его, Женистан, не ошибся относительно полученного им воспитания. Делали все возможное, чтобы исправить его, но характер уже сложился, и, как ни бились, ничего не достигли. Едва ему минуло восемнадцать лет, как он убежал от императорского двора и стал скитаться по разным царствам, всюду оставляя следы своего взбалмошного нрава. Он кончил плохо. Это была олицетворенная отвага. Однажды, после ужина, где кутили напропалую, два знатных молодых человека поссорились, выходя на улицу. Принц вмешался в их ссору, о чем эти сорванцы его не просили, был вынужден драться с теми, кого хотел помирить, и получил два смертельных удара шпагой.

Султанша

Ваш черед, первая одалиска.

Первая одалиска

Одна из двух его сестер вышла замуж за духа Ролькана, что значит на туземном языке «фанфарон». Что касается других детей, происходивших из храма обезьяны огненного цвета, то, сколько им ни резали крылья, перья снова отрастали. Никогда еще не видели и никогда не увидят ничего красивее их. Мужское поколение имело склонность к искусству и наполнило Японию замечательными мастерами во всех его отраслях. Внуки были поэтами, живописцами, музыкантами, скульпторами, архитекторами. Дочери были так прелестны, что на них женились без приданого.

Султанша

Тогда, очевидно, думали, что большие достоинства равноценны большому состоянию. Это было в незапамятные времена. Ваш черед, вторая одалиска.

Вторая одалиска

Один из сыновей Полихресты унаследовал престол. Его братья сделались великими ораторами, глубокими политиками, учеными геометрами, искусными астрономами, следуя, с согласия родителей, своим естественным наклонностям, ибо таланты были окружены тогда в Японии почетом.

Султанша

Продолжайте, вторая одалиска.

Вторая одалиска

Другая дочь Ливели была божественна. Она родилась у этой прелестной принцессы, когда Женистан был уже в зрелом возрасте, и соединяла в себе столько достоинств, что феи стали завидовать ей. Они не могли потерпеть, что смертная сравнялась с ними, и наслали на нее бледную немочь, от которой она умерла, прежде чем нашли человека, достойного быть ее лекарем.

Султанша

Продолжайте, первый эмир.

Первый эмир

В этой семье были также и герои. История Японии повествует об одном, которого чтут до сих пор; его портреты появляются на табакерках, экранах, зонтиках всякий раз, как народ бывает недоволен царствующим государем: народ позволяет себе выражать таким образом недовольство. Герой этот отвоевал трон, отнятый у его предков. Вскоре эта династия пресеклась; все выродилось, и ныне едва знают, в какую эпоху царствовали Женистан и Полихреста. Осталось лишь предание о них, вокруг которого ведутся споры. Об их веке говорят, как у нас о золотом веке. О тех временах слагают легенды.

Султанша

Я довольна вашей сказкой; кажется, давно у меня не было такого легкого, такого сладкого, такого продолжительного сна. Я бесконечно благодарна вам за это.

Она прибавила любезность щекотальщице и отпустила их.

Вернувшись к себе, первая из одалисок нашла великолепную японскую курильницу.

Вторая — два браслета, — на одном из них были портреты султана и султанши.

Щекотальщица — несколько кусков материи, которая могла удовлетворить самый изысканный вкус.

На следующий день султанша послала первому эмиру великолепную саблю и тюрбан своей работы.

Второй получил в награду рабыню редкой красоты: эмир часто засматривался на нее, и султанша заметила это.

ПРИМЕЧАНИЯ

Монахиня

Повесть «Монахиня» была написана Дидро в 1760 г. История создания этой повести и обстоятельства, сопровождавшие работу над ней Дидро, столь оригинальны, единственны в своем роде и, вместе с тем, столь характерны для литературного быта Дидро и его друзей, что заслуживают быть здесь вкратце воспроизведенными. Обо всех этих обстоятельствах спустя 10 лет, т. е. в 1770 г., с приведением относящихся к делу документов, рассказал на страницах своей «Корреспонденции» М. Grimm.

В начале 1759 г. один из добрых друзей Гримма и Дидро маркиз Марк-Антуан де-Круамар выехал из Парижа в свое имение в Нормандию. Он говорил, что едет туда не надолго, чтобы лишь привести там в порядок свои дела. Между тем время шло, а Круамар не возвращался. Приятели, соскучившись без «обаятельного маркиза», как они его называли в своем кругу, решили пойти на шутку, чтобы выгащить его обратно в Париж. В это время в обществе много говорили о деле одной молодой монахини из Лоншана, которая три года назад возбудила процесс против монастырских властей и настаивала на официальном расторжении данного ею монашеского обета на том основании, что он был у нее вырван насильственно. Эту монахиню звали Сюзанной Симонен. Было известно, что, никогда не видя ее, не зная даже ее имени, маркиз Круамар высказывал по ее адресу сочувствие. Сюзанна Симонен проиграла процесс, и далее какие бы то ни было следы этого реально-исторического персонажа исчезают. Здесь-то и решились выступить со своей шуткой приятели Круамара.

Зная доброту и отзывчивость маркиза, высказанные уже им симпатии к бедной монахине, Дидро «продолжил» в своем творческом воображении историю Сюзанны. Он предположил, что ей удалось бежать из монастыря, и, в поисках выхода из нелегального положения в обществе, в каком она таким образом оказалась, Дидро «заставил» ее написать просительное

письмо маркизу Круамару. Были приняты все возможные предосторожности и меры к тому, чтобы шутка оказалась похожей на правду. Прежде всего, истинная Сюзанна Симонен вовсе не обязана была знать ни точного звания Круамара, ни того, что он в данное время не находится в Париже. Поэтому составленная Дидро записка, переписанная одной девушкой, была направлена «графу де-Круамару, начальнику королевской военной школы», двоюродному брату Марка-Антуана Круамара.

Записка Дидро-Сюзанны гласила: «Несчастливая женщина, которой маркиз де-Круамар интересовался три года назад, когда он жил около Королевской музыкальной академии, узнала, что он живет теперь в военной школе. Она посылает спросить, может ли она еще рассчитывать на его доброту теперь, когда ей приходится умолять больше, чем когда-либо. Пожалуйста, одно слово в ответ; положение ее стесненное, и особа, которая передаст эту записку, ни о чем этом не подозревает». В ответ посыльному было сообщено устно, что налицо ошибка и что г. Круамар, которого ищут, находится в настоящее время в Кане.

Тогда в Кан было отправлено второе письмо «Сюзанны». Войдя в роль созданной им же самим бедной монахини, Дидро писал: «Я не знаю, кому я пишу, но в том отчаянии, в каком я нахожусь, кто бы вы ни были, я пишу вам. Если меня не обманули в военной школе и если вы — тот великодушный маркиз, которого я ищу, я буду благословлять бога; если вы не он, я не знаю, что мне делать». Изложив обстоятельство дела, Дидро, в качестве Сюзанны, писал: «Помогите! Вот услуга, которую я осмеливаюсь ожидать от вас и которую вам легче оказать мне в провинции, чем в Париже: если бы вы или ваши знакомые нашли мне в Кане или еще где место горничной или прислуги, или простой служанки!» Дальше Сюзанна описывала маркизу, что она умеет делать (и что совпадает с соответственными местами в самой повести), и в заключение дала адрес некоей г-жи Маден в Версале, на имя которой просила написать в двойном конверте ответ. Эту Маден, вдову одного пехотного офицера, нашел Гримм. Он ничего не сказал ей о шуточной мистификации Круамара и легко получил от нее согласие на использование ее адреса.

Друзья даже думали, что Круамар сразу разгадает шутку, и полагали, что все сейчас же закончится общим смехом, но, каково было их изумление, когда вскоре на имя г-жи Маден пришел от Круамара ответ, в котором он, приняв все всерьез, выражал полную готовность устроить у себя в Кане Сюзанну Симонен, давал указание, как ей приехать, сохраняя инкогнито, и писал, что поджидает ее в ближайшую пятницу.

Пришлось изворачиваться. Дидро не было, и Гримм, приняв на этот раз роль Сюзанны на себя, написал Круамару, что она чувствует себя очень больной. «Если бог,—писала теперь Сюзанна-Гримм,—призовет меня к себе, я буду беспрестанно молиться за ваше здоровье; если я выживу, я сделаю все, как вы мне указываете».

Узнав об этом письме, Дидро остался недоволен, он считал, что письмо выдает шутников с головой, и предложил, чтобы кончить забаву, написать Круамару последнее «предсмертное» письмо Сюзанны. Однако это письмо отправлено не было, забава продолжалась, и, вместо «предсмертного» письма, Дидро написал два новых от имени г-жи Маден, в которых рассказывалось о болезни Сюзанны и приводились некоторые подробности о ее жизни и личности.

Круамар отвечал соболезнованиями и вновь подтверждал свою готовность устроить Сюзанну. Эта переписка продолжалась в течение февраля, марта и апреля 1760 г. «Сюзанна» поправлялась очень медленно, и Дидро, под видом г-жи Маден, точнейшим образом информировал беднягу Круамара о состоянии здоровья больной. Когда она, повидимому, уже была близка к выздоровлению, Маден-Дидро писала подробно о том «приданом», которое она приготовила Сюзанне: здесь были и платья, и белье, и «две дюжины носовых платков», и «много ночных чепчиков», и «шесть пар нитяных чулок» и т. п. Так жизненная шутка Дидро облекалась в плоть художественного произведения.

Вскоре друзья получили из Кана сведения, что Круамар выписал к себе свою маленькую дочь, что он ожидает приезда из Парижа какой-то девушки, которую он предназначил в гувернантки дочери.

Дело принимало серьезный оборот, и с затянувшейся шуткой необходимо было покончить. Выход оставался один — заставить Сюзанну Симонен умереть! И, как писал Гримм в 1770 г., «ни молодость, ни красота, ни невинность сестры Сюзанны, ни ее мягкая, чувствительная и нежная душа, способная трогать наименее склонные к состраданию сердца, не могли спасти ее от неизбежной смерти». Поэтому 7 мая 1760 г. г-жа Маден-Дидро писала Круамару, что Сюзанна находится при смерти: «Бедная несчастливица еще жива, но это не может продолжаться долго. Ее силы исчерпаны, она больше почти не говорит, ее глаза открываются с трудом». Чтобы сделать приятное Круамару, Дидро вкладывает в уста умирающей Сюзанны благодарность ему за его доброту. Наконец, через три дня, 10 мая, Маден-Дидро сообщила Круамару, что Сюзанна умерла. 18 мая огорченный маркиз утешал эту женщину, приютившую у себя Сюзанну, в ее несчастии.

Для самого Круамара мистификация его приятелей раскрылась лишь восемь лет спустя. Только в 1766 г. он вернулся в Париж и вскоре же у каких-то знакомых случайно встретил настоящую г-жу Маден. Все его расспросы относительно Сюзанны ни к чему не приводила. Маден отвечала полным недоумением. Гримму пришлось разъяснить незадачливому маркизу всю историю.

Так кончилась эта бытовая забава Гримма и Дидро, но из приятельской шутки родилось одно из самых сильных художественных произведений Дидро. Забава послужила толчком для работы мощного творческого воображения Дидро. Оттолкнувшись от реального жизненного факта, — процесс молодой монахини против монашеских властей и проигрыш ею этого процесса, — он стал воссоздавать этот образ в его истории и переживаниях. Обстоятельства и условия шуточной забавы — написанное им от лица Сюзанны первое письмо Круамару — определили жанр произведения: повествование от первого лица, от лица самой героини. Ожидание от Круамара запроса относительно прошлого Сюзанны, ее семьи, обстоятельств вступления в монастырь и необходимость, в развитие мистификации, быть готовым ответить на все эти вопросы положили начало повести, к которой он приступил в феврале или марте 1760 г., после первого письма «Сюзанны» к Круамару. Вчувствование, вживание в образ привели к созданию замечательных страниц, насыщенных равно и реалистическими, и психологическими моментами. Заканчивалась повесть уже после «смерти» Сюзанны. В конце 1760 г., и этим объясняется некоторое несовпадение фактических данных повести, с одной стороны, и писем «Сюзанны» к Круамару — с другой.

Беззаботность Дидро по части публикации своих произведений, а может быть, и благополучное завершение шутки над Круамаром оставили повесть неопубликованной. Впервые она была издана лишь в 1796 г., в разгар буржуазной революции.

Можно себе представить социально-политический резонанс «Монахини», если бы она была опубликована в 60-х годах, — ее антицерковное, антикатолическое значение бесспорно. Это было отмечено и после ее опубликования в 1796 г. революционной прессой.

Литературно-общественный успех «Монахини» вызвал многократные переиздания повести. Так, из первых известны издания 1796 г. (два), 1797, 1798, 1799, 1804, 1822 (три). В 1824 и 1826 гг. во Франции «Монахиня» была запрещена к изданию, и следующие ее выпуски относятся уже к июльской революции: 1830, 1831, 1832 (два) и т. д. В 1797 г. в Риге вышел немецкий перевод; вскоре повесть была издана по-английски и по-испански. Первый русский перевод в XIX в. был запре-

щен, и «Монахиня» на русском языке увидела свет лишь после Октябрьской социалистической революции.

¹ *Марсель* — известный в то время учитель танцев.

² *Яксенисты* и *молинисты* — см. т. I, стр. 454 и 455.

³ «*Красные каблук*» — так называли во Франции XVIII в. щеголей и фатов.

⁴ *Манури* — видный адвокат во Франции XVIII в.

Нескромные сокровища

Роман «Нескромные сокровища» был написан и анонимно издан Дидро в 1748 г. Семейное предание говорит о том, что этот роман был написан Дидро в результате пари с мадам Пюизье, чтобы доказать, что нет ничего легче, как писать в скабрёзно-развлекательном стиле Кребильона-сына. Роман был написан в течение чуть ли не нескольких дней. Действительно, основной стержень романа — изобретение «гения Кукуфы» и использование Мангогулом чудесного кольца в целях выведения самых интимных переживаний героини романа. Однако, во-первых, в этом отношении молодой Дидро лишь отдал дань довольно распространённому в то время во Франции жанру галантной литературы; во-вторых, этот стержень является, в конце концов, чисто внешним, и не в нём следует искать сути романа и, в-третьих, даже в этом «неприличном» романе основной нитью проходит буржуазно-моральная тенденция Дидро.

Приключения Мангогула с его кольцом позволяют Дидро в юмористическом и даже в сатирическом плане представить широкую картину испорченности нравов великосветского общества во Франции XVIII в. Рассыпанные по всему произведению насмешки Дидро по адресу церкви и церковных кругов (одни «браминь» утверждают, что изобретение Кукуфы — козни дьявола, а другие с тем же успехом, — что это кара «божия за грехи»), по адресу академических ученых (спор между «вихревиками» — картезианцами и «притяженцами» — ньютоновцами), по адресу шарлатанов-изобретателей, петиметров, ханжей и т. д. — все это заставляет видеть в «Нескромных сокровищах» произведение гораздо более значительное, чем это полагала официальная буржуазная критика XIX в. Равным образом, никак нельзя забыть и о том, что первый набросок критики так называемого псевдо-классического искусства и зародыш программы искусства реалистического содержится у Дидро именно в «Нескромных сокровищах» (суждения Мирзозы о французском театре). Знаменательным фактом является то обстоя-

тельство, что именно в этом фривольном романе Лессинг нашел отправной пункт для своего учения об искусстве. Двадцать лет спустя, он поместил в своей «Гамбургской драматургии» соответственный отрывок из «Нескромных сокровищ» Дидро. Таким образом, фривольность и скабрёзность «Сокровищ» — это дань времени, своеобразная среда развития французской литературы XVIII в., а сатирическая картина светского общества, критика церкви, науки, искусства — это зародыш будущих литературных и общественных деяний Дидро.

Уже современники понимали, что Конго это — Франция, Банза — Париж, Брама — христианско-католический бог, брамины — священники и т. д., и т. п., однако идти дальше и видеть в Эрgebезде — Людовика XIV, Манимонбанде — Марию Лешинскую, в Мангогуле — Людовика XV, в Мирзоэе — мадам Помпадур, в Селиме — Ришелье было бы весьма необоснованно. Не говоря уже о том, что для этого Дидро даёт слишком мало портретного материала, следует признать, что «Сокровища» как литературное произведение метили не столько в отдельных лиц, сколько в общество в целом и в отдельные его круги и звенья, — такова их литературно-общественная установка, таково их сатирическое назначение. Это — именно широкая общественного звучания сатира, острый социальный памфлет, а не скандальный пасквиль на отдельных лиц.

Современники поняли эту острую направленность «Нескромных сокровищ» против нравов господствующих классов, и, во время ареста Дидро в 1749 г., полиция допрашивала его об его авторстве или, по крайней мере, об его причастности к «Сокровищам». Дидро отрицал как то, так и другое.

Без ведома Дидро «Нескромные сокровища» переиздавались при его жизни несколько раз: в Голландии в том же 1748 г. и затем в 1753 (с иллюстрациями), в 1756 и 1772 гг. (с повторными иллюстрациями 1753 г.). После смерти известны издания 1786, 1798 (Нэжона, с добавлением трех неопубликованных глав) и 1833 гг., когда дальнейшее их переиздание было запрещено. В 1749 г. «Сокровища» были изданы в английском переводе.

¹ «Софа» и «Танзай и Неадерна» — произведения Кребильона-сына; первое издано в 1745 г., второе — в 1734 г. «Исповедь графа***» — произведение Дюкло, изданное в 1742 г. Все три — образцы французской галантной литературы XVIII в., уснащенные непристойностями.

² Желиот — артист оперы, имевший большой успех, в особенности у дам.

³ Камальдульцы (camaldules) — так называли монахов-бенедиктинцев.

⁴ Здесь Дидро в сатирической, довольно, впрочем, безобид-

ной форме высмеивает две враждовавших между собою школы ученых и натурфилософов: «*вихревики*» — последователи Декарта, картезианцы, одним из основных моментов своей системы считали вихревую форму движения материи; соответственно, геометр Олибри — Декарт; «*притяженцы*» — последователи Ньютона, исходившие в небесной механике из понятия притяжения, или силы тяготения; соответственно, физик Чирчино — Ньютон.

⁵ *Утмиутсоль* — композитор Люлли. *Уремифасолясиутутут* — композитор Рамо. Дидро юмористически изображает споры между «люллистами» и «рамистами», волновавшие музыкальные круги Парижа в середине XVIII в.

⁶ «*Дарданус*» — опера Рамо, слова Лабрюйера, впервые была поставлена на сцене в 1739 г.

⁷ *Шевалье* и *Мор* — актрисы Парижской оперы.

⁸ Имеется в виду монах Кастель; о нем см. т. I, стр. 493.

⁹ Намек на Р. Декарта, согласно учению которого душа человека имеет своим местопребыванием шишковидную железу как единственный непарный орган в голове.

¹⁰ Доктор Жан-Луи Пти (1674—1750) — хирург, изобрел особую перевязку, которая значительно уменьшала после операций кровотечение.

¹¹ См. примеч. 9.

¹² *Кребильон-сын* (1707—1777) — посредственный французский писатель, известный своими галантными, чрезвычайно непристойными романами.

¹³ Коллекции и библиотека графини Верю славились в XVIII в. своей ценностью. Еще в XIX в. библиофилы разыскивали экземпляры книг из ее библиотеки.

¹⁴ Главой 35-й начинался II том первого издания «Нескромных сокровищ».

¹⁵ Измененные имена действующих лиц: *Полипсил* — Филоклет в трагедии Софокла, *Форфанти* — Улисс; *Ибрагим* — Неоптолем.

¹⁶ Вся предыдущая речь — пародия стиля Кребильона-сына.

¹⁷ Гомер.

¹⁸ П. Вергилий Марон.

¹⁹ Пиндар.

²⁰ К. Гораций Флакк.

²¹ Сократ.

²² Платон.

²³ Анакреон.

²⁴ Вольтер.

²⁵ Стих из «Генриады» Вольтера, песнь 8.

²⁶ Стих из «Заиры» Вольтера, акт 5, сцена 9.

²⁷ Литературные критики.

²⁸ Составители хрестоматий, сборников, компиляторы.

²⁹ Текстологи, комментаторы.

³⁰ На Монмартре была иезуитская базилика.

³¹ отец Г... — иезуит Гардуэн, автор «Апологии Гомера».

³² брамин — от. Кастель, см. примеч. 8.

³³ Тот же Кастель.

³⁴ Имеется в виду старинная порнографическая книга Николая Шорье: *Iohannis Meursii Elegantiae latini sermonis, seu Aloysia Sigea Toletana, de arcanis amoris et Veneris*.

³⁵ де-Клавиль — автор «Трактата об истинной заслуге человека».

³⁶ «Жизнь Марианны» и «Крестьянин-выскочка» — романы Мариво; «Заблуждения сердца и ума» — роман Кребийльона-сына.

³⁷ Бион — инженер и оптик, ум. в 1733 г.

Белая птица

Небылица в лицах

Повесть «Белая птица, небылица в лицах», или в другой переводческой традиции «Белый голубь, детская сказка», была написана Дидро около 1748 г., т. е. в то же, приблизительно, время, что и «Нескромные сокровища». Повесть эта в свое время не увидела света. Когда, во время ареста в 1749 г., Дидро учинили допрос, его спрашивали, не он ли является автором этого произведения. Очевидно, повесть ходила в рукописях, и полиции было известно об ее существовании. Дидро отрицал на допросе как свое авторство, так и какое бы то ни было участие в работе над ней.

Современники хотели увидеть в Мангогуле (персонаже, перешедшем в эту повесть из «Нескромных сокровищ») Людовика XV, но нужно признать, что для таких сопоставлений Дидро не дает никакого материала. Некоторые политические намеки можно усмотреть в словах султанши: «Принц, воспитанный под наблюдением Истины!.. Это не так нелепо, чтобы насмешить, но слишком несуразно, чтобы можно было поверить» и далее: «Принц, упорствующий в своем влечении к истине! Опять небылица!», а также в словах второй одалиски: «Она (истина) мало говорит в присутствии государей». Очевидно, эти выражения и были поставлены в вину Дидро.

В целом, «Белая птица» не характерна для дальнейшего литературного творчества Дидро. Это — его дань галантной и «ориентальной» беллетристике середины XVIII в. В ней гораздо меньше скабрзностей, чем в «Нескромных сокровищах», и гораздо больше моральной дидактики. Ее мораль несложна: принцам и государям надлежит придерживаться истины и быть

в союзе с благоразумием и простотой. Им не возбраняется увлекаться миловидностью и живостью, но поддаваться этим чарам в государственных делах нельзя. Подобные абстрактно-моральные аллегории были в ходу в либеральной французской литературе XVIII в., и молодой Дидро не избежал, правда, кратковременного, их влияния.

Впервые «Белая птица» была издана Нэжоном в «Сочинениях» Дидро в 1798 г. Уже к этому времени она представляла лишь исторический интерес.

Перечень иллюстраций

1. Д. Дидро. <i>С гравюры О. де-Сент-Обена по рис. Греза (Госуд. музей изобразительных искусств)</i>	VI—VII
2. Факсимиле первой страницы ленинградской копии «Монахиня» (Госуд. публичная биб-ка им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде)	8—9
3. «Монахиня». <i>С гравюры Вакуой по рис. Шаллиу (из парижского издания 1798 г.)</i>	176—177
4. Титульный лист первого тома «Нескромных сокровищ» изд. 1748 г.	184—185
5. «Нескромные сокровища». <i>С гравюры из издания 1748 г., к ил. 4</i>	192—193
6. «Нескромные сокровища». <i>С гравюры из издания 1748 г., к ил. 26</i>	288—289
7. «Нескромные сокровища». <i>С гравюры из издания 1748 г., к ил. 31</i>	304—305
8. «Нескромные сокровища». <i>С гравюры из издания 1748 г., к ил. 32</i>	312—313
9. «Нескромные сокровища». <i>С гравюры из издания 1748 г., к ил. 33</i>	320—321
10. Титульный лист второго тома «Нескромных сокровищ» изд. 1748 г.	328—329
11. «Нескромные сокровища». <i>С гравюры из издания 1748 г., к ил. 50</i>	424—425

Содержание

А. Ф. Ивашеко. Реалистические повести Дидро VII

Романы и повести

Монахиня. Перев. Н. Соболевской 1

Нескромные сокровища. Перев. Е. Б. 185

Белая птица, небылица в лицах. Перев. Н. Соболевской 447

И. К. Луппол примечания 521

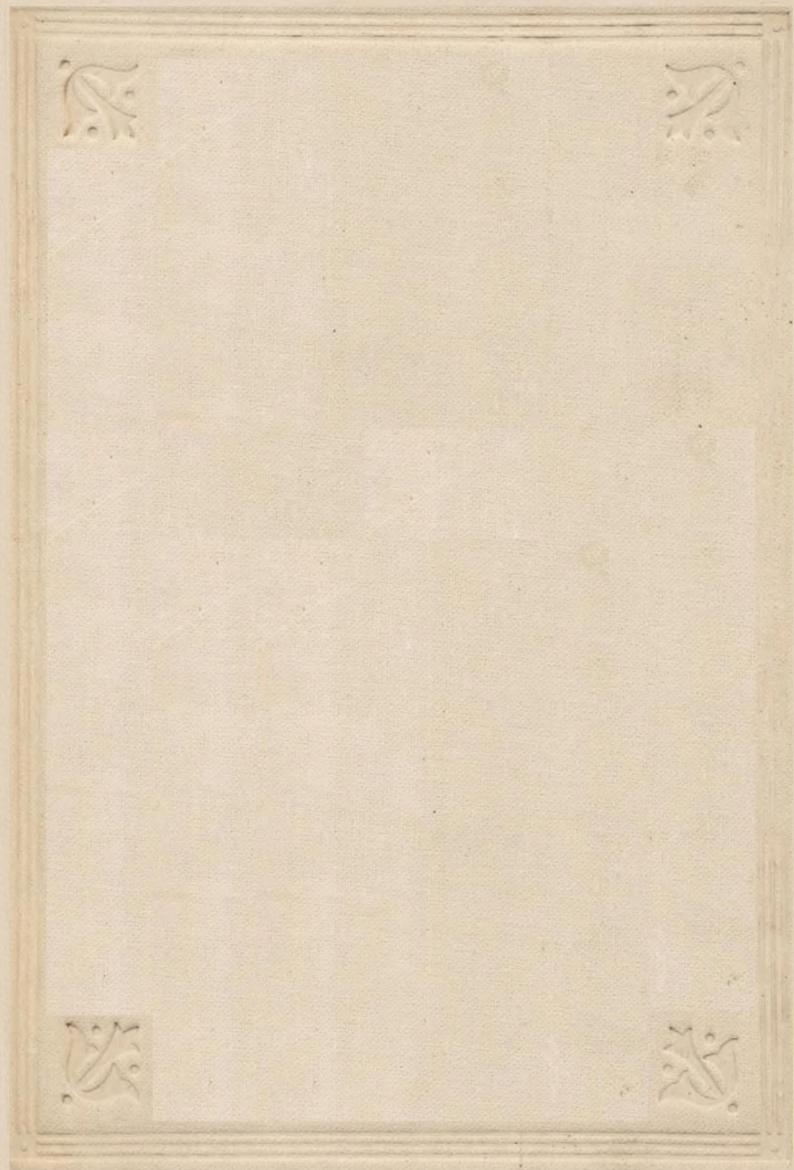
Перечень иллюстраций 533

Редактор Л. Д. Т а р а с о в
Художественная редакция
М. П. С о к о л ь н и к о в
Лит.-техническ. наблюдение
В. В. Ч е ш х и н а
Тех. ред. Л. А. Ф р я з ь н о в а

Сдано в набор 21. XI. 36. Под-
писано в печать 14. V. 37.
Тир. 5.300. Уполю. Главли-
та Б-9074. Зак. тип. № 1016.
Бум. 82×110—¹/₃₂. П. л.
33¹/₂+11 вкл. У. а. л. 28,55.

Ф-ка книги «Красный про-
летарий», Москва, Красно-
пролетарская, 16.

Цена Р. 9.00
Переплет Р. 2.00



Собрание сочинения

ДИДРО

в десяти томах

под общей редакцией
И. К. Луппола

Том I

ФИЛОСОФИЯ
(вышел в свет)

Том II

ФИЛОСОФИЯ
(вышел в свет)

Том III

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ
(готовится)

Том IV

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ
(готовится)

Том V

ТЕАТР И ДРАМАТУРГИЯ
(готовится)

Том VI

ИСКУССТВО
(готовится)

Том VII

СТАТЬИ ИЗ «ЭНЦИКЛОПЕДИИ»

Том VIII

ПИСЬМА К С. ВОЛАН
(готовится)

Том IX

ПИСЬМА К ФАЛЬКОНЭ,
ГРИММУ и др.
(готовится)

Том X

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К РОССИИ

«А С А Д Е М И А»

Москва, Б. Вузовский, 1
Ленинград, Пр. 25 Октября
«Дом книги»



ДЕНИ
ДИДРО
СОЧИНЕНИЯ



ACADEMIA

ДЕНИ
ДИДРО
СОЧИНЕНИЯ



ACADEMIA

Дидро — идейный вождь революционной французской буржуазии XVIII в., талантливый, остроумный и блестящий представитель эпохи просвещения. Французская «Энциклопедия» XVIII в., как систематизация и оформление буржуазной идеологии, как оружие борьбы против «фанатизма и тирании», обязана всем своим содержанием его всеобъемлющему уму и боевому темпераменту. Нет ни одной области идеологии, в которой бы Дидро не сказал своего веского и решающего для XVIII в. слова. Философия, техника, естественные науки, литература, театр, искусство по заслугам считают Дидро в своих рядах. В десяти томах собрания сочинений Дидро «Academia» дано все его наиболее важные и характерные произведения.

Цена Р. 9.00
Переплет Р. 2.00